

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

2002

9

2002

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

В 2002 И В 2003 ГОДАХ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Глаша (повесть);
АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ. В русском жанре (эссе);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Новая повесть;
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Видение Азии (тывинский дневник);
ИГОРЬ ДЕДКОВ. Из дневников 1987 — 1994 годов;
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);
ОЛЬГА ИВАНОВА. Вольный посох (стихи);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ. Знобкая память (стихи);
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);
МАКСИМ КРОНГАУЗ. Заметки о языке;
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
АЛЕКСАНДР КУШҢЕР. Сквозь ночь (стихи);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новые рассказы;
ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман); Алексия: десять лет
спустя (эссе);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ВИКТОР ПАНОВ. И там жили (рассказы; из наследия);

(См. на обороте)

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. **Перед вторым пришествием** (роман);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Третье дыхание** (повесть);
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. **Филологические новеллы**;
РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. **Облюбование Москвы: Кузнецкий мост** (эссе; продолжение);
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Избранник** (роман); **Призрак среди руин** (повествование в рассказах);
МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. **На солнечной стороне улицы** (роман); **Несколько торопливых слов любви** (новеллы);
РОМАН СЕНЧИН. **Нубук** (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. **Новые рассказы**;
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. **Игры на свежем воздухе** (рассказы);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания**;
ИРИНА СУРАТ. **Пушкин и Мандельштам** (параллели);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. **«Отдай мое»** (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. **Прощание с гармонистом** (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. **Сансаныч** (повесть);
АНТОН УТКИН. **Новый роман**;
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. **Праздничность** (эссе);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Откос** (повесть);
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. **Питомник** (рассказы);
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ. **Домашние люди** (современная история);

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ЛАРИСЫ МИЛЛЕР, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА; статьи, очерки, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ИРИНЫ СУРАТ, ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2002 и в 2003 годах: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2003». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2003 года — 414 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ — Водяной гиацинт, стихи	7
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ — Горизонт событий, роман	12
ВЕРОНИКА КАПУСТИНА — Благодаря луне, стихи	61
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА — Своя правда, повесть	65
ЕФИМ БЕРШИН — Обыкновенный снег, стихи	113
НИНА ГОРЛАНОВА — Рассказы	117
АЛЕКСЕЙ ПУРИН — Ледяной улов, стихи	124

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

«ПИСАТЕЛЬ — ЭТО ТОТ, КОМУ ПИСАТЬ ДАЕТСЯ ВСЕГО ТРУДНЕЕ». Письма И. С. Шмелева к Н. Я. Рощину. Публикация, предисловие и комментарии Л. Г. Голубевой	128
«ОТКЛИКАЮСЬ ФРАГМЕНТАМИ ИЗ СОБСТВЕННОЙ БИОГРАФИИ...» Эпизод переписки Г. П. Струве и В. В. Вейдле. Публикация, подготовка текста, предисловие и комментарии Е. Б. Белодубровского	133

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

АЛЕКСАНДР НЕКЛЕССА — Трансмутация истории. 11 сентября 2001 года в исторической перспективе и ретроспективе	143
---	-----

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — Силовики	160
---------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА — К кому едет ревизор? Проза «поколения пехт»	171
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Алексей Зверев. Зеленые игры	182
Ольга Канунникова. Люди и дибуки	185

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Светлана Иванова. Без наркоза	189
Сергей Загний. Красота сверх необходимого	192

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА	195
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО	203
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	210
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	213

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	217
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	220
SUMMARY	240

**11 ИЮЛЯ 2002 ГОДА НА 78-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА «НОВОГО МИРА»,
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАБОТАВШИЙ В ОТДЕЛЕ ПУБЛИЦИСТИКИ,
ИЗВЕСТНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК С ПОЛЬСКОГО
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЛАРИН.
ВЫРАЖАЕМ НАШИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ
И БЛИЗКИМ ПОКОЙНОГО.**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-радиовещания и средств массовых коммуникаций.

ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ

*

ВОДЯНОЙ ГИАЦИНТ

Кукушонок

Я кукушонок в утреннем гнезде,
Кругом галдят, как в иностранной школе,
Я поднял клюв к тоскующей звезде,
Я голоден. Я полон сил и воли.

Где мой отец, где мудрость не из книг?
Где матери-защитницы объятья?
А сестры где? Где щебетанье их?
Где шумные доверчивые братья?

Тоскует молча белая звезда,
Чуть видная сквозь облачные дымы,
В мученьях бьется красная звезда,
Страдания ее неисследимы.

Я — кукушонок. Скверную игру
Вы, ближние, играете со мною.
Я на любом дворе не ко двору,
Я жду — пусть встанет солнце ледяное.

В море странствий

Душа моя изготовилась совершенно
Отправиться в бесконечное море странствий,
Она построила себе нечто
Из улыбок школьных подруг,
Из пустых бутылок, выпитых вместе с друзьями,
Из водяных гиацинтов¹,
Затянувших зеленою сетью
Тропические пруды.

Вот я лечу по Луизиане:
Слева и справа,
Как бревна,
Торчат из воды крокодилы,

Захаров Владимир Евгеньевич родился в 1939 году в Казани. Академик РАН, директор Института теоретической физики им. Ландау (в Черноголовке). Лауреат двух Государственных премий в области физики. Живет в Москве и по несколько месяцев ежегодно преподает в США. Постоянный автор нашего журнала.

¹ Иначе *эйхорния* — вредный водяной сорняк, заполняющий водоемы в южных странах.

На корягах лежат
 Грациозные черепахи...
 Нечувствительно въеду я
 В бескрайнее море странствий —
 Вот тогда и понадобится ЭТО,
 С любовью построенное из взглядов детей,
 Из свежераспиленных досок,
 Из запчастей для дрянного автомобиля,
 Переплетенное и соединенное вместе
 Водяным гиацинтом,
 Который есть самый жадный до жизни
 Сорняк.

Уже выведены специальные рыбы —
 Они питаются водяным гиацинтом,
 Их потом продают на базарах.
 Надеюсь, они не встретятся мне
 В неизведанном море странствий,
 Иначе на чем будет держаться
 Мое утлое плавательное средство,
 Построенное из справедливых упреков жены,
 Из несправедливой ругани продавщиц в магазинах,
 Из гениальной живописи
 На стенах моей квартиры,
 Скрепленное, укрепленное водяным гиацинтом,
 У которого такие
 Невзрачненькие цветы.

Разыскивается...

Разыскивается собака, неизвестно где зарыта,
 Стареющей графини серебряное корыто,
 Ныне, присно, а теперь и всегда
 Будет разыскиваться закатившаяся звезда.

Разыскивается тигр, ставший тигром бумажным,
 Гимн с текстом бодрым и авантажным,
 С музыкой — чтоб успокаивала и вела!
 Разыскивается новая метла.

Разыскивается мантия, что не вся молью побита,
 Разыскивается душа у бандита,
 Разыскивается рак, свистнувший на горе,
 Организаторы взрывов домов в сентябре.

Разыскивается то, что плохо лежало,
 Разыскивается правосудия неподкупного жало,
 Рай, что был от нас на расстоянии руки,
 И блаженной памяти
 Полные сладких надежд деньки.

Разыскивается теорема, что заменит нам аксиому,
 Разыскивается истина, что сбежала ночью из дому,
 В чем была, упрямица, в том и ушла.
 Пропадет, плохи ее дела.

Да что ее разыскивать, вон она ковыляет,
Каждый поговорит с ней, кто пожелает,
В рваном платье, в дырявом платке,
А осенний ветер хлещет жгутом по реке.

Разговор с птичкой

Почему бы не поговорить с птичкой,
С этим присевшим на куст бурьяна
Маленьким кардиналом
Ярко-красной расцветки, —
Значит, самец!

Эй, парень!
Каково тебе там, среди дикой природы?
Впрочем, дикой ее
Можно назвать только условно,
Ты живешь
На задах американских коттеджей,
В эвкалиптах,
Где царствует аризонский ветер,
Во дворах,
Где хозяйничают собаки.
С диким лаем
Бросаются они на заборы,
Если рядом проходит
Малахольный редкий прохожий.

Я всегда боюсь, что собака
Вырвется и укусит.
Если, птичка, такое случится,
Я подам на хозяина в суд
И выиграю процесс:
Я ведь в Америке, а не в России,
Здесь правосудие очень серьезно.

Да, да, именно так!
Уймитесь вы, скептики, мнимые патриоты.

Впрочем, я хотел поговорить с птичкой,
Маленьким кардиналом,
Но уже не получится — улетел.

Ты и я

Ты хоть и не ешь белены,
Но пьянствуешь с отцом панночки,
Сотником тем иль хорунжим,
И тебе снятся
Здоровые мужские сны
С бабами, с автомобилями,
С огнестрельным оружием.

И ты учишься
Водить вертолет,

И уже давно
 Научился слалому,
 А когда Хома Брут
 Попадет в переплет,
 Скажешь: ну
 Не повезло малому.

Вот эскимос
 В свой садится каяк,
 Едет туда, где тюленей немало,
 А я, диссидентам
 И декадентам свояк,
 Читаю роман
 «Голубое сало».

Целый день мучаюсь,
 Как шерстобит,
 Имея в своих мечтах Индию,
 Но судьба совершает кульбит —
 Я попадаю
 В страну Мурлындию.

А там украшена
 Граффитями стена
 И стоят
 Три современные грации,
 Там, на окраинах
 Моего сна,
 Все кошки мяучат
 Об эмиграции,
 И всходит общая
 Над всеми луна,
 И все во сне
 Набираются силушки,

Но все-таки краешки
 Моего сна не хотят
 Превращаться в крылышки.

Зазеркалье

В Зазеркалье вторгается Время, и вот
 Там, где воды беспечные стьли,
 Равнодушный, надменный, безжалостный флот
 Рассылает разбойные кили.

В Зазеркалье вторгается Время, и вот,
 Насмотревшись на прелести эти,
 Я пускаю на волю свой крохотный плот —
 Где-то есть мое место на свете!

Вспоминаю последние школьные дни,
 Тех подруг незабвенные чары,
 Робость рук...
 А вдали полыхают огни,
 Равнодушно бушуют пожары.

Напряженный звучит в Зазеркалии свист,
Равнодушие валы свои катит,
На пергаменте неутомимый хронист
За измену и глупость in folio, в лист,
Равнодушьем бессовестным платит.

Белые олеандры

Белые олеандры
Качаются, ах, качаются,
Ветер из пустыни
Не дает им просто цвести.
Прежние дни счастливые
Кончаются, ах, кончаются,
Солнца тяжелый шар
Стало трудно нести.

Белые олеандры
Перед стеною кирпичною,
Ветер из пустыни —
Это хор голосов:
«Встань, очнись и иди,
Брось заботы привычные,
Встань, очнись и иди —
Ангел сдвинет засов.

А на ушедшую жизнь
Оглянись без печали и гнева».
Мы погостили,
И нам пора по домам,
Белые олеандры
Под розовым небом Бер-Шевы,
Рядом с колодцем,
Из которого пил Авраам.



ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ

*

ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ

Роман

Я не стану описывать исторических ошибок нашего времени... Кто их не знает, кто их не видит! Они не касаются моей жизни.

Декабрист Н. И. Лорер.

ПРОЛОГ. ...Когда облаченные в резиновые костюмы водолазы вошли в воду, птясь от берега спинами вперед, раздвигая льдины неуклюжими руками, Шура поняла, что с этой минуты время для нее остановится, а потом потечет вспять, как Иордан в день Крещения, и что бы теперь ни подняли со дна реки, будущее, сомкнувшись с прошлым, наконец достигнет ее. Ослепительное будущее: смерть сына станет разрастаться облаком, увеличиваться в размерах, как плод, который она когда-то носила под сердцем, скоро он перерастет саму Шуру, и в тени огромной смерти Германа она начнет тихо угасать, пока не состарится совершенно, а сын будет продолжать расти без нее, двинется по ее следам, как плющ, оплетая известные кладбища, землю, переполненную человеческим родом, уже достигшим ее ядра и начинающим упорно пробиваться назад сквозь слежавшийся прах бесчисленных поколений, раздвигая *кости сухия*, свиток человечества станет разматываться, начиная с Адама и заканчивая Германом, мертвые потянутся из чрева земли, поддерживая друг друга плетями рук, и ангелы, как слуги, поднесут каждому их скрытые во мраке вины, — что же касается Шуры, ей они вручат большую плитку довоенного шоколада, украденную ею зимой 1942 года у умирающего от голода соседа-немца, ее единственного друга... Этот взгляд она несла по жизни — кроткий взгляд умирающего, высунувшегося из кучи тряпья на диване и молча смотревшего на Шуру, на перепачканный шоколадом рот и на руку, расписавшуюся за бандероль, адресованную не ей. Когда ангелы ударят по рубильнику и зажгут прожекторы Страшного суда, тогда все увидят в ее ладони надкушенную шоколадную плитку с раскаленной фольгой, но она не разожмет руки, пока немец не подведет к ней ее сына Германа, которого спустя много лет после своей смерти заманил в реку...

В тот день, когда Шура в последний раз видела Германа, она поссорилась с мужем, выставив его за порог дома, потому что он подарил своей подруге Ольге Бедоевой малахитовую шкатулку, вывезенную из блокадного Ленинграда, единственную Шурину драгоценность, отдал за Шуриной спиной, добренький за ее счет.

Полянская Ирина Николаевна родилась в городе Касли Челябинской обл. Закончила театральное училище в Ростове и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор романов «Прохождение тени» («Новый мир», 1997, № 1—2), «Читающая вода» («Новый мир», 1999, № 10—11). Лауреат премии журнала «Новый мир». Живет в Москве.

Журнальный вариант.

В распахнутую настежь дверь Шура вышвыривала его вещи, попадавшие ей под руку. Анатолий с беспомощной улыбкой на добром бабьем лице сам подавал ей то пальто, то разношенные старые ботинки, хорошо сознавая, что никуда он на самом деле не уйдет, пересидит на крыльце, закутавшись в выброшенные вещи, а ночью кто-то из детей, прокравшись на цыпочках мимо спящей матери, откроет ему дверь. Вслед за одеждой мужа на крыльцо полетели его рукописи, веером рассыпались по двору фотографии... А вот этого надругательства над отцом дочь Надя вынести не могла. Она рывком стянула со стола скатерть вместе со школьными тетрадками, а потом принялась хватать из шифоньера костюмы и платья на плечиках и тоже швырять их с крыльца. Герман кинулся подбирать выброшенные на снег вещи. Надя натянула пальто и устремилась на улицу. Герман, ни секунды не медля, бросился следом. Мать, увидев, что он побежал раздетым, полетела за сыном с полушубком и шапкой в руках, потому что знала, что, если сестра куда-то бежит, — брата не удержать... Герман на ходу накинул на себя полушубок, а шапку мать сама нахлобучила ему на голову, в последний раз коснувшись своего мальчика... После чего вернулась к крыльцу и стала подбирать вещи — свои и мужа. Присмиривший Анатолий, тихо вздыхая, помогал ей.

Надя пришла поздно ночью — одна, с мокрыми ногами и оледеневшими рукавами пальто. На вопрос, где Герман, ответила сквозь зубы, что понятия не имеет, легла в кровать и затихла. Спустя некоторое время мать услышала странные звуки, доносившиеся из детской. Надя лежала с раскрытыми глазами и мотала головой по подушке, тело ее сотрясал озноб.

Утром дочь увезли в городскую больницу с подозрением на пневмонию. Шура пошла в школу, надеясь увидеть там Германа, но в школе его не оказалось. Девочка из Надиного класса сообщила, что вчера вечером видела Германа вместе с сестрой: они шли к реке. Услышав слово «река», Шура потеряла сознание...

Пока взрослые вызывали «скорую помощь» и милицию, соседские дети сбегали к дымящейся промоинами и полыньями реке и принесли красную Надину варежку. Надя — бледная, с высокой температурой — лежала на больничной койке и, смежив веки, молчала как каменная. Когда мать размахнулась и ударила ее по щеке, она раскрыла глаза и уставилась на ее руку, но не на ту, которой мать ударила дочь, а на другую — которой она много лет тому назад расписалась за чужую бандероль...

Милиционер тоже от нее ничего не смог добиться. Надя твердила, что была на реке с одноклассником Костей Самсоновым. Куда девался Герман, она не знает. Костя, допрошенный отдельно, рассказал то же самое. Только добавил, что они с Надей попытались перейти на другой берег к храму Михаила Архангела, но когда ступили на лед, он треснул, и они, провалившись в воду по пояс, с трудом выбрались на берег... После этого вернулись в поселок. Отец рассказал милиционерам, что Герман и раньше исчезал из дома: один раз, никого не предупредив, уехал с дачниками в Москву, в другой раз несколько суток прятался на огородах у Юрки Дикого.

Так, в ожидании, прошло несколько дней. Лед уже разломился, река тронулась. Шура ходила вдоль берега, подолгу сидела на опрокинутых лодках. После того, как она и ночь провела на реке, вызвали бригаду водолазов.

...Когда из пузырящейся воды наконец показались медные головы водолазов, Шура вышла из оцепенения и истошным голосом закричала. Женщины, толпившиеся вокруг нее, схватили ее за руки. Шура кричала до тех пор, пока водолазы не выбрались на берег. Потом смолкла и села на снег. Мужчины разоблачали задубевших от ледяной воды водолазов. Милиционер записывал: «Прошли до понтона. Нет его в реке. Если б он утонул, мы б его нашли. Тело не могло унести за понтон». Водолаз, с которого Анатолий снимал костюм, сказал ему: «Зря старались, папаша. Может,

сбег твой парнишка?» Юрка Дикой, пока Анатолий хлопал себя по карманам, сунул водолазу в руку купюру: «Согрейтесь, ребята». Женщины подняли послушную Шуру со снега: «Пойдем, Петровна». Прежде ее никто не называл Петровной.

Вечером Костя привез сбжавшую из больницы Надю, закутанную в его пальто. Отец ей обрадовался, точно сообщнице. С той минуты, как водолазы вышли на берег, он ожил и почувствовал себя хозяином положения. Надя сильно кашляла, но на это никто не обращал внимания. Отец, оживленно жестикулируя, изображал сцену с водолазами. Он успел уже где-то приложиться к бутылке. «Они говорят: не бывает так, чтоб от человека ничего в реке не осталось, хоть сапог с ноги или еще что! А я им: правильно, сапоги бы точно остались, они ему были велики, правильно, мать?» Шура медленно повернула голову, прислушиваясь. «Водолазы прошли до понтонного моста», — напомнили отцу. Анатолий, довольный, хлопнул себя по коленям. «Верно! Дальше понтона, сказали, его бы не унесло!» — «А мы уж решили — утонул», — произнесла Шура, стараясь дотянуться до Нади взглядом. Надя кивнула. «Еще чего — утонул!» — повысил на них голос Анатолий. Шура ответила ему виноватой улыбкой. «Сбежал наш сынок, мать! Не вынес нашей ругани! Гера такой, чуть что не по нему — сразу деру! Было же так, мать?» — «Было», — повинилась Шура. Надя закашлялась. «Вот! Простыла! Бегаете вечно невесть где, что ты, что Гера!» — «А когда Герман вернется?» — тихо спросила Шура. Соседи один за другим выходили на улицу. Костя приблизился к Наде, та сделала ему знак: уйди! Костя вышел. Надя и отец пристально смотрели друг на друга. «Когда! Кабы я знал — когда! — воскликнул отец. — Надо ждать. Может, он записку оставил? Поискать надо». — «Может», — сказала Надя, внимательно всматриваясь в отца. «Так ты поищи, Надежда! И не смотри на меня так! Когда он с дачниками убежал, мелом на заборе написал: мол, я в Москве!» — «Надыке таблеток надо давать», — донесся из-за полуоткрытой двери голос Кости. «Да-да, — спохватился Анатолий. — Мать, где у нас есть что от кашля?» — «Не надо мне, — пробормотала Надя, — подохнуть бы, чтоб этого не видеть». — «А главное, что я забыл вам сказать!.. — совсем зашелся в крике отец. — Тамара-просфорница в этот день переходила реку по льду! А она в два раза тяжелее Геры будет! Вот увидите, Герман скоро появится. У меня нет сомнений». Анатолий в изнеможении опустил на табурет и закрыл лицо руками.

Шуре приснилось, будто умерший немец сказал ей, что вернет ей Германа — хоть со дна реки, хоть с арктической льдины, — если она выполнит кое-какое условие. «Я не могу вернуть вам тот шоколад, — ответила Шура, — да и зачем он вам теперь?» Но немец потребовал, чтобы она прочитала тысячу книг с его полка. «Вы хорошо знаете, — с досадой возразила Шура, — что той ужасной зимой я сожгла ваши книги. Все они вылетели дымом. Осталась только одна, про Сараевское убийство, вы листали ее до последней минуты, зачитывая мне вслух, какой мучительной смертью умирал Гаврила Принцип в Терезиенштадте. Я не рискнула бросить в печь и ее, к тому же, когда мои руки дошли до убийства в Сараеве, началась весна, сто с лишним дней и ночей мы провели с вами вместе, вы все рассказывали мне свою тысячу книг, а я слушала и запоминала, чтобы не умереть от голода, холода и отчаяния, а потом со спрятанным под полкой маминной шубы Гаврилой Принципом села в машину и поехала по ледяной Дороге жизни». Немец посмотрел на ее рот и левую руку и сказал: «Ме-е»... Шура осторожно обстригала большими садовыми ножницами свалывшуюся шерсть на боках козы Званки.

Первыми ушли цифры: даты, числа, которые подпирали ее школьный предмет, вокруг них, как привязанная к колышку Званка, кругами ходило

Время. Невозможно шаг сделать, чтобы факт не разветвлялся во все концы света: по нему уже ползли грибковые наросты политики, философии и литературы. Принцип оказался ни при чем. Просто в мире было отлито критическое количество стальных капсул: на австрийских заводах Шкода в Богемии, немецких заводах Круппа в Эссене, Эргардта — в Дюссельдорфе, французских заводах Шнейдера в Крезе, и они роем египетской саранчи устремились на все живое. Вошел в действие закон взаимовыручки жизни и смерти: когда жизнь забывала о себе, забираясь в раковины диковинных вещей и политических утопий, на землю обрушивался серный дождь, или всемирный потоп, или моровое поветрие, чтобы послужить исправлению нравов.

...В каком году Русь приплыла в Византию и на скольких ладьях? Когда Владимир взял на меч Рогнеду? «Где наша дружина?» — спросили древляне Ольгу. «Каким обычаем не стало царевича Димитрия?» — спросил Нагова Шуйский. «Знаешь ли, что будет завтра утром?» — спросил Глеб Святославович волхва. «Я сотворю великия чудеса», — ответил волхв. Глеб взял топор и разрубил его надвое.

Январь, апрель, года, века, населенные пункты, поля сражений, династические перевороты, землетрясения скашивали терпеливое колебание одной струны, одной волны, которая вынесла на берег шлемоблещущих водолазов. Смуты, побоища, ристалища, великие завоевания Изабеллы и Фердинанда, снятие осады с Орлеана — все убралось в спрессованные штабели исторических дат, как мумиеобразные подмороженные тела во дворе блокадной больницы, слепленные льдом, припорошенные снегом, год, месяц, число не имели значения, разве что взвешенная на весах и признанная чересчур легкой блокадная пайка в 125 граммов, тогда как все вокруг наливалось свинцовой тяжестью — время, вода, сила трения, давление воздуха на душу населения. Несколько шоколадных долек могли уменьшить тяжесть и даже снова восстановить кладку исторических событий.

Ничего не восстанавливалось. Что было — водолазы не подняли со дна реки. Шура застывала на полуслове, лихорадочно листала свои конспекты, подглядывала в учебник, в котором на забытом языке излагалось то, что было, какие-то беды выедали вокруг нее жизнь, ничего не осталось за спиной, все еще было впереди. Она едва помнила, что необходимо опрашивать детей, ставить отметки в журнал, что-то черкала на той странице, где стояла дата исчезновения Германа. Ученики видели, что историчка уже не та — мятая блузка, спущенные чулки, шпильки выпадают из волос, — но все еще пыжится, что-то несет про Людовика и его отрубленную голову, которая спросила у палача: «Друг мой, как там экспедиция Лаперуза?..» И чтобы Александра Петровна совсем уж ничего от них не требовала, дети догадались заговорить с ней на тему, которой избегали взрослые, — о ее пропавшем сыне Германе...

Тут у Шуры со всеми классами установились такие задушевные отношения, каких прежде не было. Никаких строгостей, никакого Лаперуза, тишина в классе, чтобы директор ни о чем не проведал и забава не кончилась. Дима выходил к доске — рассказать о том, как они с Германом рыбалили на острове. Люба с места из-за парты вспоминала, как они строили шалаши. Окончательно распоясавшись, дети наконец отбросили прошлое и заговорили о настоящем. Старшие и младшие классы соревновались друг с другом в выдумке. Германа видели в городском автобусе с биноклем в руках. Он промелькнул в окне электрички. В полуметном зале кинотеатра дожидался начала утреннего сеанса. Шура на все кивала, слушала с жадностью все новые и новые свидетельства о жизни сына и самое интересное стала записывать прямо в классный журнал, перемахнув наконец с марта в май. Тогда дети пошли на контакт с Германом. Один мальчик одолжил ему удочку, уже зная, что в учительскую стали просачиваться

кое-какие слухи об уроках истории, другой сидел рядом с ним в парикмахерской, третий встретил его в Москве, и Герман сказал ему, что собирается на мыс Шмидта, куда раз в неделю летает самолет с Чкаловского аэродрома, и попросил займы денег. Дочь Надя могла бы быстро положить конец этому безобразию, но она и пальцем не шевельнула. Тут дети совсем взбесились. Принесли географическую карту, показали Петровные мыс. Ведь Герман бредил Севером. Герман работает на метеорологической станции, помогает аэрологу запускать в стратосферу зонды, которые, как Летучие Голландцы, вечно скитаются в стратосфере. Северное сияние, переливаясь всеми цветами радуги, дивным цветком вырастает из льда, над которым носятся розовые чайки, и гагары тоже стонут. Хорошо бы поехать в эти замысловатые края, но тут в дело вмешался директор, наступил конец истории, и Шуру дали вторую группу инвалидности.

1

СМЕРТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. После того как Шурин отец перед самой войной угодил в проскрипционные списки, а мама слегла в больницу, Шура впервые постучалась в дверь к соседу. Дверь немедленно открылась, точно немец неотступно стоял за нею, прислушиваясь к шагам на лестнице и поджидая гостей. Немец тоже попал в проскрипционные списки за бесцеремонные исторические аллюзии, которые он позволял себе на лекциях, но его просто отправили на пенсию. Не успела Шурина мама подписать опись конфискованного имущества, как имя отца исчезло и с дверной таблички, и из списков жильцов дома. А к Хассе по-прежнему заходили его бывшие студенты и коллеги, приносили ему гостинцы. Шуру прежде здесь привечали, немец читал ей старинную скандинавскую балладу о Германе Веселом Герое, бывало, и угощал чем-то вкусным, но тогда Шура есть еще не хотела, а оставшись одна, не выдержала.

Немец обрадованно схватил Шуру за руку и втащил в свое логово. Он-то был готов сколько угодно голодать, лишь бы по-прежнему обитать в перекрытом вынужденным увольнением речевом потоке, который и был его жизнью и памятью. В его голосовых связках скопилось великое множество мировых событий, как неисчислимое войско в узком проходе Фермопил, через которые пробирались персы в пестрых хитонах с рукавами из железной чешуи, ассирийцы в медных шлемах, с панцирями и деревянными лицами, арабы в длинных бурнусах, фракийцы в лисьих шапках, писидийцы с щитами из невыделанных бычьих шкур, и немцу требовался хоть один-единственный слушатель, чтобы всадники, пехота и боевые колесницы, толпящиеся у его губ, могли пройти к своей неведомой цели. Шура стала ходить к немцу, чтобы поесть, а не послушать, ей и в голову не приходило, что весь этот бред исподволь входит в ее жизнь, иначе она не позволила бы нагружать себя осажденными городами, изошренными пытками, пирамидами черепов, чумой в Элее и голодом в Леонтине, наводнением в Долонии и пожаром в Сардах... А сколько было дурных предзнаменований! На древках знамен вдруг вспыхивал огонь, королька с лавровой веткой в клюве растерзала стая птиц, в гигантскую маслину ударила молния и расколола ее надвое, соловей свил гнездо над заживо похороненной весталкой... Слишком много всего входило в Шуру с каждым глотком подбеленного сгущенкой кофе, толпы истерзанных голодом людей из Пиреи, Мелоса, Вавилона сгрудились возле скромных гостинцев, уму непостижимо, сколько событий подняли тростниковые перья историков. История мира брала разбег под небом соседа, пролегалла через его гортань, альвеолы, бронхи и легкие. Он создал ее из собственного дыхания, дрожания голосовых связок, речевых пауз и не представлял себе по-настоящему, что

она и в самом деле развивалась и существовала вне его организма. Цивилизации сидели в суфлерской будке, паслись на книжных грядках; иногда немец обращал к ним растерянный взгляд, забыв название какой-нибудь пересохшей речки, подле которой шло сражение за тело царя Леонида. На самом деле его память давным-давно отпочковалась от книг, сделавшись отдельной древней библиотекой — Мусейоном.

Вероятно, сосед слегка тронулся умом, после того как в его глазах погасла аудитория, к которой он привык, как будто в окружающем его пространстве вмиг полетели электрические пробки.

Он не мог понять, что случилось. Факты настоящего времени не затрагивали его сознания. Он, конечно, знал, что его коллега, Михаил Дмитриевич Приселков, создатель истории русских летописаний, впервые показавший, что русские летописи — это памятники горячей политической борьбы, а вовсе не дело рук бесстрастных Пименов, сидел на Соловках, что Сталин самолично редактировал учебник по истории для четвертого класса профессора Шестакова... Ну и что? Иван Грозный переписал историю России, представив ее как историю единовластия, а до него новгородские летописцы из-за вражды с Москвою ни словом не обмолвились о Куликовской битве... Немец знал, что историк Николай Арсентьевич Корнатовский стучал своей знаменитой палкой на студентов, задававших ему вопросы из досоветского периода, что в университетской газете печатали призывы к бдительности и разоблачению врагов народа, окопавшихся среди профессуры... Но, входя в лекторий исторического факультета на шестьсот мест, Хассе забывал, что все это происходило и происходит в действительности. И когда однажды отчаянный студент (или провокатор) написал на доске печатными буквами: *«Разве можно было убивать царя вместе с детьми? И устраивать процессы над бывшими большевиками?»*, немец не смутился, а бодро процитировал своего любимого Макиавелли: *«И тут уж недостаточно искоренить род государя, ибо всегда останутся бароны, готовые возглавить новую смуту; а так как ни удовлетворить их притязания, ни истребить их самих ты не сможешь, то они при первой же возможности лишат тебя власти»*... Не заволновался немец и тогда, когда на следующий день на доске появилась новая надпись, также цитата из сочинения флорентийского мыслителя: *«Однако же нельзя назвать и доблестью убийство сограждан, предательство, вероломство, жестокосердие и нечестивость: всем этим можно стяжать власть, но не славу»*... Студенты сидели тише воды, ниже травы, отводя глаза в сторону, но немец, прочитав написанное, одобрительно хмыкнул, как шахматист, приветствующий ход соперника, и, смахнув написанное влажной тряпкой, снова процитировал «Государя»: *«...люди поступают хорошо лишь по необходимости, когда же у них имеется большая свобода выбора и появляется возможность вести себя как им заблагорассудится, то сразу же возникают величайшие смуты и беспорядки»*. Отвечая неведомому оппоненту, Хассе ухмылялся: теперь он не сомневался, что в студенческой среде завелся провокатор. Но вместо того, чтобы прогromеть с кафедры: «Кто?!», как это сделал бы Николай Арсентьевич, когда на третий день появилась надпись: *«Люди уже не верят в социализм»*, немец снова прибег к любимому флорентийцу: *«Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой. Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они безоружны, не могли бы добиться длительного соблюдения данных ими законов»*... Хассе казалось, что он принимает участие в игре, что 599 студентов держат его сторону и что 600-й, неведомый, восхищенный находчивостью немца, доносит наверх, что профессор Герман Хассе вполне благонадежен. Предвкушая дальнейшее развитие событий, он с удовольствием думал об этом 600-м, который сейчас чешет лоб, обдумывая новую каверзу, и в ожидании ее перечитал «Государя» от корки до корки, но через день, войдя в аудиторию, не об-

наружил на доске никакой надписи, кроме сегодняшнего числа — 19 апреля 1941 года, — это была дата его изгнания из университета.

Теперь множество лиц, между которыми он аккуратно распределял морские поветрия, падение великих городов и имена выдающихся полководцев, слились в угрюмое личико девочки-подростка, одинокой и никому не нужной. Немец словно забыл, что ее мать, с которой он совсем недавно играл в четыре руки транскрипции Листа, еще жива. Шура смутно чувствовала, что для людей этой удивительной породы, к которой принадлежали и ее родители, практика давно шла на поводу у риторики, что было верным симптомом наступления глобальных перемен и смещения каст, предваряющих эпоху бюрократического косноязычия: резкое уменьшение словарного пайка по всей диагонали страны, появление громковещателей на улицах и репродукторов в домах, утрата вещами своей насыщенной формы, когда трое людей входят в дом и, сунув хозяину в лицо клочок бумаги, начинают рыться в шкафах, разоряют книги, как мальчишки птичьи гнезда, смотрят на просвет корешки, срывают обложку, топчут страницы. Вошедшие люди вскрыли в гостиной паркет, ковырялись в цветочных горшках — в земле, скрывающей свои сокровища, где в темных глубинах из магмы кристаллизуется кремнезем, постепенно заполняя трещины и полости вмещающих пород, прежде чем перейти в отцовский кабинет, где хранилась его коллекция драгоценных минералов, созданных солнцем, ветром, водой и временем.

Геология — особенная наука, единицей измерения в ней служат тысячелетия. Сказочная палитра верхнего карбона и среднего кембрия вспыхивала перед глазами отца, когда он одной рукой включал осветитель микроскопа, другой клал шлиф на столик, подправлял фокусировку и подключал анализатор, и ему открывались миры, вызванные к жизни поляризованным светом... Линза из исландского шпата, минерала, обладающего двойным лучепреломлением, помогала ему расшифровывать породы, возраст которых исчислялся сотнями миллионов лет, с удивительными образованиями в них вроде хитинового слоя скорпиона, гифами грибов и комочками актиноцветов... Понятно, что в ультракрасных лучах ископаемых времен отец в упор не видел некоторых современных образований. Он был главным консультантом на строительстве канала Москва — Волга, знал наперечет все «бараньи лбы» на берегах, склоны водоразделов, балки, овраги, шурфы, состав породы, но не задавался вопросом, почему на строительстве используется труд заключенных и какой, собственно, породы эти самые заключенные... Он не понимал того, что делается под носом, иначе не удивился бы так сильно незванным гостям, которые, как солнце, ветер и вода, в мгновение ока разнесли его жизнь, истолкли в своей дьявольской ступе стены его жилища, звуки и краски, бумагу и камни. В часы обыска с его лица не сходило изумление, как будто добрейший Петр Евгеньевич обнаружил в современных огородных почвах трехгранную гальку, лежащую острым концом к направлению доисторического ветра — так называемого «ископаемого ветра», буйного ветра, уносящего коней и всадников, разрушающего породу, сметающего с лица земли города и память о них... Один из вошедших поинтересовался: «Товарищ, не найдется ли у вас ящичка, чтобы упаковать коллекцию?» Другой, отодвинув локтем смету экспедиции в район реки Лены, над которой еще недавно трудился отец, стал составлять опись камней. И тут отец понял: ему предстоит пройти шурфы и штольни такие крошечные, какие германские рудокопы проходили с пением псалмов, опасаясь галлюцинаций и обвалов породы. Покорно прикрыв глаза, он принялся диктовать.

Его коллекция содержала: *гиацинт*, наводящий на человека сон, и *оникс*, ввергающий его в бессонницу; предохраняющий от яда *яспис* и из-

лечивающий от лунатизма *серый агат*, который в прежние времена находили в гнездах ласточек; спасающий от укусов смертоносных гадов *агат* и целебный для зрения *изумруд*; *гранат*, изгоняющий из людей бесов, и *аквамарин*, от которого бледнеет луна; помогающий при родах *нефрит* и усиливающий храбрость *сердолик*; *авантюрин*, создающий бодрость духа и вдохновение, и *соколиный глаз*, подтачивающий силы врага; предохраняющий от ран *опал* и спасающий от удущья *сапфир*; оберегающий от измены *кошачий глаз* и *янтарь*, утишающий страсть; навевающий меланхолию *малахит* и *сардоникс*, защищающий от обмана; *гематит* против вспышки гнева и *рубин*, рассеивающий тоску; *халцедон*, привлекающий к женщине сердца мужчин; *биритл*, привлекающий к мужчине женские сердца, а также *бирюзу*, камень победы... Увлечшись, отец позабыл, кому он читает лекцию, которую гости прослушали с явным удовольствием, — играл голосом, жестикулировал, расхаживал от витрины к витрине, как будто натянул на себя броню из *авантюрина*, создающего бодрость духа и вдохновение.

Тут началась война, и Шура поняла, что напрасно она пропустила мимо ушей историю Пелопоннесской войны, полагая, что к ней это не имеет никакого отношения, успокоившись на мысли, что мир больших величин слишком велик для того, чтобы ему было дело до ее крохотного существования. Оказалось, что именно до нее и до таких, как она, ему и есть дело, до ее куска хлеба, тепла и дыхания, что государства базируются на съедобных вещах, имеют вкус и вес, и они тают во рту с невообразимой быстротой, сдобренные слюной, как торт под названием «Город», выставленный еще в довоенное время в витрине кондитерской на Шпалерной, — огромное колесо с крепостными стенами из клубничного крема, дозорными вышками из взбитых сливок и цукатов, белыми песочными зданиями, облитыми глазурью, с озерцами из желе, купами зелени из мармелада. Или как торт «Время» — со взбитым из белков циферблатом, со стрелками из толченых орехов, показывающими всегда одно и то же время — двадцать пять минут двенадцатого дня или ночи, с насыпью цифр из шоколадной стружки, с этого времени ленинградцы начали выкапывать блиндажи в отложениях девонского периода, когда появились первые хрящевые рыбы, легочные и кистеперые, клещи и амфибии...

В июле в больнице имени Софьи Перовской умерла мама. Шура давно уже поселилась возле ее смертного одра, выполняла все поручения персонала, мыла полы, выносила судна, протирала ватой с перекисью водорода пролежни умирающим, как будто предчувствовала, что здесь ее спасение. Пробегая мимо кондитерской, Шура поглядывала в витрину: *Время* все еще показывало двадцать пять минут двенадцатого... Но к началу бомбежек, когда они вместе с соседом-немцем наклеили на стекла крестообразные полосы, еще не представляя себе, что клейстер — это еда, *Время* стало пожирать *Город*. Оно выросло прямо на глазах, как будто надувалось от голода, делалось огромным, как дальние сибирские перегоны, вытягивало человека в струну, как приливные силы за барьером горизонта событий в черной дыре космоса, где пространство, которое мы покоряем, подменяется временем, над которым мы не властны, выбирая из организма самое ценное и невесомое — память, любовь, жалость, тогда как все тяжелое — кости, кровь и жизнь — приходилось таскать на себе. Немец выстаивал очереди за хлебом, отоваривал свою и Шурину карточки, за это Шура приносила ему в целлулоидной коробочке большую кашу. Тихим голосом он продолжал рассказывать свои истории, и Шура слушала его, боясь выбиться из заданного ритма, точно в этих рассказах скрывались какие-то дополнительные калории, как в соевом молоке или кильке с погашенными глазами.

Когда Время было кремовым и песочным, облитым глазурью и посыпанным толченым миндалем, их старое, обитое английским шелком кресло звало к тишине и размышлениям, а мамины часики с надетой на стекло никелированной решеткой и ключиком уютно шуршали в кулаке, словно пойманная стрекоза. Но пришло время, и на первый план выдвинулись грубые, неоднозначные вещи, фоновые предметы, хранящиеся в чулане, вроде лестницы-временки или жестяных кружек, а все яркое, метафизически насыщенное подалось в тень. Одни вещи могли дать тепло, другие — нет. Жизнь теплилась вокруг протоптанной в пыли поляны, где вдруг выросли табурет, печка, жестянка, молоток и ножовка, с помощью которых Шура расщепляла паркет, кровать немца с сугробом слежавшейся одежды, диванчик Шуры, покрытый тяжелыми бархатными портъерами, одно на двоих ведро, к которому вела отдельно протоптанная в пыли тропинка в библиотеку... Что касается библиотеки, то если в октябре книги шли выборочно на быстрое, первоначальное тепло и немец долго торговался за каждую книгу, которую Шура обрекала на гибель в огне, то в ноябре он перестал ощущать ценность отдельной книги и в библиотеку заходил только по нужде, не замечая расстроенных полок, похожих на клавиатуру с вырванными клавишами.

Между сентябрем и ноябрем был октябрь, месяц равновесия, когда жизнь, базирующаяся на привычках и условностях (одной из которых была культура), все еще стоящая на почтительном расстоянии от человеческого организма, не сделала еще нескольких семимильных шагов и не подошла к нему вплотную. Ручейками убегали из города пшено, гречка, сахар и мука, расчищая горизонт от иллюзий, общественных и личных, наступало время прозрения, для каждого свое, застывшее на двадцати пяти минутах двенадцатого.

На дворе, незамутимая бомбежками, стояла золотая осень. До середины ноября не сократилась норма продажи хлеба. С сентября по октябрь это произошло трижды: в октябре только прошла перерегистрация карточек, норма не уменьшилась. Шура получала по служебной двести граммов. Столько же получал сосед-немец по иждивенческой. Были еще колбаса из конины, студень из бараньих кишок с гвоздичным маслом, холодец из телячьих шкур, яичный порошок, кисель из водорослей. Жмых, отруби, солод, мельничная пыль, рисовая лузга, кукурузные ростки обеспечили более-менее мягкую посадку в ноябрь — пасмурный и холодный, в котором норма выдачи хлеба понижалась дважды. Но зато на Ладого стал нарастать лед. Секретарь горкома Алексей Кузнецов каждое утро справлялся о ладожском льде, каков его прирост на душу населения, может ли по нему пройти хотя бы лошадь без груза... 22 ноября, когда норма хлеба уменьшилась до ста двадцати пяти граммов, толщина льда выросла вдвое, и по Ладого пошли машины.

В конце октября немец в последний раз вошел в библиотеку за книгой не для тепла, а для чтения. Он примостился на ступеньках лестницы и так бы и застыл на них, как дряхлый Ясон возле скелета своего «Арго», если б Шура не согнала его оттуда. Немец вцепился в последнюю свою книгу, которую пытался читать в отсутствие Шуры, ту самую, которая когда-то повлияла на его решение эмигрировать в СССР, — «Сараевский выстрел».

...Знала или не знала Сербия (белградское правительство) о готовящемся покушении на австрийского престолонаследника Франца-Фердинанда? Этот вопрос обсуждался в печати больших держав летом 1914 года и был в целом решен отрицательно, иначе Франции, Англии и России пришлось бы признать заявление Германии о локальности Австро-Венгерского и Сербского конфликта.

Начало новой послевоенной эры брало разбег от темы невинности Сербии. Германия в это время голодала и потому была настроена серьез-

но. Эта серьезность оказалась исполнена такого пафоса, что побежденная страна очень быстро поправила свою промышленность и подняла сельское хозяйство; рядовой немец, листая протоколы Парижской конференции или газеты с выступлениями Чемберлена, остро ощущал, что время на его родине берет разбег, что слова обесцениваются, как курс стремительно падающей марки, и что государство нуждается не в литературных изощрениях, а в примитивном руническом письме, дарованном скандинавам богом Одинем, в мифах, знаках, каббале. Тут Розенберг выдвинул идею генетического стандарта, требующего отсутствия в немецкой крови примесей начиная с 1750 года. У Германа Хассе в жилах, кроме немецкой, текла и еврейская, и хорватская, и французская кровь, и он стал подумывать об эмиграции. И тут в его руки попала книга «Сараевский выстрел», написанная ленинградским историком, в которой на основе австро-венгерских, белградских, итальянских и французских источников доказывалось, что Сербия знала. Для большинства мировых держав это была идея будущих времен, а для России, думал Хассе, — нелицемерная практика настоящего момента. Он решил перебраться в Советский Союз, в Ленинград.

Температура опускалась ниже и ниже, тонкая ледяная основа на Ладогe подбивалась изнутри новыми слоями льда. Редкие прохожие на улице вдруг застывали в равновесии между жизнью и смертью, и порыва ветра было достаточно, чтобы уложить их на снег с неотоваренными карточками у сердца. По утрам Шура уходила на работу, а немец — в свою книгу «Сараевский выстрел». Рассказывая вечерами Шуре о прочитанном и передуманном за день, он начинал понимать, что войны шьются на вырост, они не ограничены ни поколениями, ни определенными датами. По Ладогe пошли первые машины с продовольствием, одновременно с которыми двинулись грузовики на Серафимовское, Большеохтинское, Смоленское и Богославское кладбища — а также по направлению к огромному пустырю вдоль старой Пискаревской дороги.

В обвальной ноябрьской, декабрьской, январской смерти чувствовалась какая-то оскорбительная для нее незавершенность, несмотря на огромный ее объем. Смерть была отлучена от причитающегося ей траурного ритуала и как будто отставлена на потом, отложена в сторону, как человеческие тела в больничном дворе, месяцами лежащие под навесом, спаянные между собою снегом и льдом, высокая обледеневшая поленница, из которой, если б появился грузовик, мертвых пришлось бы вырубать топорами. В самом низу лежали тела, раздетые и завернутые в простыни или одеяла — ноябрьские мертвецы, выше — мертвые в той одежде, в какой застала их смерть. Земля оказалась слишком мелкой для того, чтобы сразу принять в себя столько умерших, команды МПВО взрывали ее возле старой Пискаревской дороги, опрокидывали в яму полные кузова смерти, не помещавшейся в землю. Подъезды к кладбищам были завалены замерзшими телами. Мертвые как будто все еще находились в пути к месту своего упокоения, как будто пытались из разных точек города сползти в ямы, цепляясь друг за друга одеревеневшими конечностями.

Такого не было ни в Платеях, ни в Потиде, взятых после осады и опустошенных лакедемонянами... Об афинянах было известно, что они по обычаю своих предков совершали торжественную церемонию погребения павших воинов в первый год войны зимой. Останки свозились отовсюду в кипарисовых гробах на повозках. Лишь одна повозка, покрытая траурным ковром, оставалась пустая — для пропавших без вести. Погибших воинов на три дня помещали в шатре, а потом хоронили. Римляне про своих усопших говорили: «отжившие свое», прибегая к эвфемизмам из страха, потому что мир мертвых был ими тогда недостаточно изучен. Далекое, красивые времена, когда в войнах не был задействован воздух, небо не было еще приведено в полную боевую готовность...

В январе сосед почти перестал разговаривать с Шурой от слабости, а в феврале пришла бандероль. В тот день Шура вошла в подъезд вместе с почтальоном. Он спросил ее, не занесет ли она бандероль немцу, раз ей все равно подниматься на тот же этаж. Почтальон был укутан в длинный холщовый плащ с капюшоном, его замотанной бабьими платками головы почти не было видно. Он попросил расписаться в получении посылочки с фронта, для чего подал ей карандаш. Шура почему-то расписалась левой рукой. Сквозь разорванную бумагу бандероли виднелась фольга. Шуре в голову не приходило, что она съест шоколад одна, но на площадке третьего этажа она машинально остановилась возле своей квартиры, в которой уже четыре месяца как не жила, только заходила в нее за новой порцией паркета, и открыла дверь...

...Впоследствии, вспоминая эту минуту, когда еще действовали законы растянутого времени, ей казалось, что она довольно долго стояла между двумя дверями, как на распутье, но на самом деле запах шоколада быстро сбил ее с толку и привел в ту из квартир, в которой она когда-то ела и шоколад, и многое другое... Шура и думать позабыла про немца. Она просто вступила в другое время — кремовое, цукатное, посыпанное кокосовой стружкой, облитое глазурью, в двадцать пять минут двенадцатого, затаившееся, как запах в витрине кондитерской на Шпалерной...

Съев шоколад, она вспомнила о совершенно целой пайке хлеба и, счастливо улыбнувшись, пошла в логово соседа, потому что именно у него она привыкла есть свой хлеб. Она отрыла немца из сугроба одежды, в котором он прятался, чтобы дать ему кружку кипятка с запаренным в ней одним лавровым листом, случайно найденным среди старых итальянских писем отца, присланных из Рима с проходившей там конференции. Немец открыл глаза и уставился на ее левую руку. Потом медленно стал поднимать взгляд до уровня Шуриных губ, испачканных шоколадом. Веки его как будто замерли. Тут Шура испугалась, что, встретившись с ней глазами, немец увидит внутри ее шоколадку, и, отвернувшись, быстро принялась подкармливать книгами гаснущий огонь в буржуйке. Спустя неделю немец умер, а еще через несколько дней Шура уехала по Дороге жизни, везя под полой маминой шубы книгу, выпавшую из рук умершего от голода и холода человека...

В судьбах мира *легочники* играют настолько огромную роль, объяснял Шуре немец, заходясь в приступах кашля, что, честное слово, науке давно бы следовало заняться туберкулезной психиатрией или даже исторической фтизиатрией. По оказываемому ими влиянию на ход истории они далеко превосходят и *шизофреников*, и *сифилитиков*, и больных *гемофилией*, хотя именно эти страдальцы, вольно или невольно, вызвали самые главные потрясения двадцатого века. Чахотка проходит красной нитью через революционное движение, начиная хоть от Чернышевского и заканчивая Держинским и Горьким, главные провокации века осуществлялись с ее помощью. Будущее переживало инкубационный период при субфебрильной температуре, чутко реагировало на некроз в полости легких, на появление в очагах гигантских клеток, уменьшение содержания лимфоцитов в крови и увеличение лейкоцитов. В инкубационный период революции впрягли огромные пространства — Герцена, Бакунина, Лаврова читали от Хабаровска до Лондона, а в Сербии, где процесс образования очагов будущего шел с невероятной интенсивностью, «Что делать?» Чернышевского заучивали наизусть. Будущее прослушивало чахоточника трубкой, простукивало ему грудь, пытаясь понять, насколько сильна в его организме интоксикация и необратим процесс, так как благодаря повышенной температуре и сдвигу лейкоцитной формулы пациент пребывает в постоянном нервном возбуждении, легко переходящем в готовность к самопожертвованию. Самостоя-

тельной роли в истории он играть не может, но из него получается перво-классный исполнитель, который, когда надо, уходит. В легких одержимых революционным порывом туберкулезников идет процесс освобождения всего земного шара от угнетателей, угнетающих шар, они бросаются в борьбу, как в пучину, и погибают с «Марсельезой» на устах...

Когда Гаврила Принцип проходил церемонию посвящения в члены тайной организации «Черная рука» в освещенной восковой свечой комнате, посредине которой стоял стол с разложенными на нем револьвером, ножом и крестом, Центральная управа тайного общества была осведомлена о процессе в легких этого скромного, сумрачного, сутулого юноши. Несмотря на свою выносливость и огромную физическую силу, он был уже обречен. «Черная рука» была организацией внутри организации «Народна Одбрана», возникшей в ответ на аннексию Боснии и Герцеговины, — силовую акцию империи Габсбургов, послужившую спусковым крючком австро-сербского конфликта, вызвавшую взрыв возмущения в славянском мире и вялое сожаление в остальных европейских столицах.

По-видимому, он родился весной 1894 года. Точная дата неизвестна. Приходской священник заносил в церковный Домовный рождения и смерти целыми списками, чтобы лишний раз не утруждать себя раскрытием тяжелой книги. В двенадцать лет мальчик поступил в сараевскую гимназию, стал лучшим ее учеником. Никто не знал, что он страдает приступами лунатизма. Никто не снабдил его серым агатом, чтобы излечить от этой изматывающей нервы болезни. Иногда он просыпался глубокой ночью, пронзенный странным ощущением, что вот сейчас, не меня положения тела, стронется с места и поплывет в воздухе... Собственное тело казалось ему невесомым, как лунный свет. Это необычное видение потом сыграет свою роль в формировании его взглядов: идеи и предметы, слова и людей он будет воспринимать с заданной детским лунатизмом высоты. Он жадно пролистывает книги — социалистические, националистические и анархистские брошюры, — в революционной риторике он не видит самого себя, то есть из ее мнимых глубин не восстает юношеское эго, страстная жажда проявить себя в ярком поступке... Он — какой-то буквальный мечтатель, он и в самом деле мечтает об объединении и процветании Сербии, не облекая родину в свою иллюзорную самость, как другие его ровесники. Его душа лишена самолюбия, этой защитной функции юной личности, на которую мир обрушивается всей своей тяжестью, позволяя лишь в двадцать — двадцать пять лет разглядеть скрытые во мраке слов корни мироустройства, приводные ремни истории, механизм личной и социальной выгоды, в просторечье именуемый политикой. Тут еще и туберкулез.

В начале марта пелену хмары, повисшей над Ленинградом, прорвало солнце. Снег стал понемногу оседать, обнажая на улицах мертвых, которых не успели подобрать и вывезти на кладбища. Особенно много их оказалось на обочинах улицы Комсомола, по которой обычно следовали к Пискаревке колонны «ЗИСов», нагруженных окоченевшими трупами с торчащими из-под брезента скрюченными руками, почерневшими ногами, развевающимися волосами... Снег скользил, как ткацкий челнок по нитям, утолщая слой чистого белого савана над теми, кого не успела подобрать похоронная команда, не одолевшими пропасти осенних и зимних месяцев, над кем задернулся полог, под кого стужа, как заботливая нянька, подоткнула ледяное одеяло. Этого материала, снега, было в ту зиму хоть залейся, мертвые лежали слоями, пересыпанные слоями снега, гарантировавшего им сохранность до весны, по ним были проложены тропинки. По такой тропинке Шура с одним выздоравливающим солдатом приволокла на больничный двор на фанерном листе своего умершего соседа, зашитого в одеяло, и там пристроила его крайним в нижнем ряду... Теперь, когда

пригрело мартовское солнце, поленница подобранных на улицах трупов росла не по дням, а по часам. Траурные птицы не кружили над поленницей мертвых, доставлявшихся с ближайшей улицы Желябова и Шведского переулка, как это случалось прежде на великих полях сражений, только белые маргаритки снега кружили и кружили над ледяным пространством города.

15 июня 1911 года студент Жереич совершил покушение на военного губернатора Боснии и, преследуемый полицейскими, застрелился. Белградская пресса объявила его национальным героем, отомстившим угнетателю сербов. Пять выстрелов Жереича в разряженном воздухе еще не оперившейся катастрофы подняли мощную волну, под сурдинку которой и происходит тайное созревание «Черной руки» — кабинета теней, взявшего на себя миссию осуществления национальной идеи. Лунная тема начинает звучать в жизни Принципа с пронзительной силой. Ночами он просиживает на могиле Жереича. На безымянном деревянном кресте перочинным ножиком вырезает имя, ставшее для него заветным. Высаживает на могиле маргаритки.

Возможно, юноша был не единственным, кто проводил ночи на могиле героя. Возможно, время от времени целый десант юношей высаживается по ночам на могилах героев, а днем отсыпается на гвоздях, как заповедал Рахметов. Но проходит время высоких бессонниц и пира Луны, и молодость возвращается к источнику жизни, Солнцу. Зброшенные могилы героев оживают по случаю национальных торжеств, с перезахоронением останков, трансляцией речей записных логографов, Бетховеном в первых рядах, приспущенными национальными флагами, дальними родственниками в черном драпе и крепе, морем цветов, народными празднествами, сразу за которыми грянет еще одна грабительская экономическая реформа, предложенная бывшими ночными посетителями героических могил. Но Принцип так и не уйдет со своей (Жереича) могилы, пустит в ней корни наравне со своими маргаритками. Могила Жереича под его любящим взглядом лунатика и жутким присмотром полной луны развернется в колоссальное европейское кладбище, над которым ночные птицы, обленные в черный креп и драп, совершают дозорный полет.

Спустя два месяца после убийства Франца-Фердинанда Гаврила Принцип скажет на суде, что в их путешествии в Сараево «было что-то таинственное»... Почему он так сказал? Он не мог не знать, что вся Сербия, как и Босния, покрыта частой сетью «поверенников» — доверенных лиц «Народной Одбраны». На каждом участке пути их встречали и провожали «поверенники», а сербские полицейские, едва завидев трех парней с котомками за плечами, смотрели в другую сторону, крестьяне затыкали себе уши, чтобы не слышать, как молодые люди тренируются в стрельбе, во все горло распевая старинную песню побратимов по разведке: *«„Брат мой названный, Иван Косанчич, ты разведал ли войско у турок? Можем ли врага осилить?“ Отвечает Иван побратиму: „Брат любимый, Милош мой Обилич, я разведал турецкое войско. Велика у турок сила — коли солью мы все обернемся, обед туркам посолить не хватит“»*...

28 июня убийца и его жертва как будто вслепую ищут друг друга. Принцип занял удобную позицию на пути следования кортежа эрцгерцога, но его опередил Габринович, бросивший букет цветов с запрытанной в него бомбой прямо на колени Францу-Фердинанду, который успел вышвырнуть ее из машины... Принцип поменял позицию, и они могли бы разминуться, если б машина, возглавлявшая кортеж, не свернула в переулок. Переулок был узким, образовалась пробка: Принцип подошел вплотную к автомобилю Франца-Фердинанда и выстрелил. На него набросились

полицейские и повалили на мостовую; он пытался проглотить заготовленную ампулу с ядом, но руки у него уже были связаны.

Мир забыл о юном гимназисте прежде, чем за ним затворились тяжелые двери крепости Терезиенштадт. Принцип умирал медленной смертью от голода и гноящихся ран, полученных им после убийства эрцгерцога. Шла война, и населению Австро-Венгрии не хватало военных пайков, что уж говорить об узниках. Несмотря на физические муки, он часто бывал в приподнято-поэтическом настроении, жил внутри своей грезы о родине, о любви, о Жереиче, оставив за спиной историю с застывшими фигурами «отживших свое», увлекаемых на покрытых коврами повозках, из которых одна предназначалась для без вести пропавших, безвестных, всеми забытых — пустая, но она, увы, не для Гаврилы Принципа.

Шура отправилась на Дорогу жизни почти налегке. Из вещей на память о соседе-немце прихватила книгу. Еще прицепила веревочку к маминной пудренице и повесила ее на шею наподобие медальона. В пудренице давно ничего не хранилось, кроме маминого отражения, если оно, конечно, уцелело.

Пассажирами поезда, который следовал к Ладоге, были дети. Одна девочка, закутанная в овчинный полушубок и в шапке-ушанке, из-под которой остро несло скипидаром, прибилась к Шуре и в поезде задремала на ее плече, не выпуская из рук узелок. На всех детях было столько одежды, что они казались прежними, упитанными детьми, лиц почти не было видно, но Шура знала, как выглядят эти скелетики с проваленными глазами, ввалившимися щеками, тонкими кистями рук и блестящими, красными шарами суставов. Слишком часто их приносили в больницу.

Поезд подошел к Ладоге. Пассажиров закутали в одеяла, пересадили в машины, покрытые брезентом, и они покатали по гладкому льду. Над ним в ночи на большом расстоянии друг от друга висела цепочка огней, кое-как освещавших трассу. Только у рокового девятого километра, где лед змеился опасной трещиной и саперы без конца наводили новые переправы после того, как несколько машин вместе с людьми ушли на дно, огней было больше. Они мигали в воздухе, как далекие звезды. На самом деле вдоль тридцатикилометровой трассы стояли девушки-регулирующие с фонарями «летучая мышь», их стекла на ветру быстро закоптевали, поэтому близкие огни казались далекими, как звезды. Навстречу колоннам с пережившими эту зиму людьми ехали машины с Большой земли. Они везли сухие фрукты, сыр, яичный порошок, муку, мясо, витаминную кислоту, рыбий жир, сахар, орехи — еду, которую Ленинград последний раз видел в ноябре изображенной на сброшенных немцами листовках с призывом сдаваться, сдаваться этим пышным маковым бубликам, свежим гамбургским окорокам, упитанным саксонским коровам, предлагающим консервированное и сгущенное молоко, гирляндам швабских сосисок, желтому силезскому сыру...

Свет карманного фонарика разбудил Шуру уже в Лаврове. Военный, посветивший ей в лицо, спросил: «Идти можешь?» Шура указала ему на привалившуюся к ней девочку с узлом. Военный сказал: «Твоя сестренка умерла». И протянул Шуре выпавший из рук девочки узелок. В эвакуационном пункте Шура поела пшеничную кашу с хлебом, после чего развязала узелок, чтобы посмотреть, что за наследство оставила ей умершая девочка. Это была малахитовая шкатулка.

2

ЛУЧ И КАМЕНЬ. В шкатулке лежало несколько старых фотографий, на которых были запечатлены, по-видимому, родные и близкие умершей девочки. При первом же взгляде на эту шкатулку Шура (дочь геолога) по-

няла, что она изготовлена старинным умельцем из яснополосчатого бирюзового малахита. Рисунок на шкатулке был подобран так умело, что в нем не чувствовалось плоскостного изображения. На атласных лепестках каменной *розы* задержался луч, который осторожно подбирался к туго спеленатой в бутоне жгучей архитектуре цветка, пронизанной жаром и алым мраком подземных глубин. Она невесомо парила над гладью, полированной жженой костью. Стоило немного повернуть крышку, и роза заволакивалась диковинными *деревьями*, еще один поворот — и на нижнем ее лепестке появлялся *заяц*... Вращая шкатулку в руках и вглядываясь в переплетение узоров и пятен, можно было увидеть также *крокодила, оленя, ястреба, куницу, русалку*. А если шкатулку подставить под косою луч солнца, из глубины всплывет новая вереница образов: *восьмиугольные часы на подставке с львиными лапами, сфинкс, плетущий паутину паука, длинный меч с рукояткой, похожей на лиру, хрустальная чаша*... Выложенные неведомым уральским умельцем знаки ходили по кругу, поднимаемые солнечным лучом на поверхность.

Наверное, бывшая хозяйка шкатулки примешивала этот малахитовый калейдоскоп к своей блокадной иждивенческой пайке, как Шура к своей трудовой — горячечный бред немца, что и позволило им обоим дожить до весны. Но малахит на человека навеивает меланхолию, несмотря на увлекательный театр теней, о чем скорее всего не знала девочка, схороненная в братской могиле в Лаврове. Этот камень, радуя глаз, придавил ее детское сердце.

...Весной 1942 года по московскому радио объявили о начале приема в хореографическое училище.

«Пойдешь на просмотр, — объявила Шуре Наталия Гордеевна — тетя Таля, родная сестра ее матери, приютившая вывезенную из блокадного города Шуру. Она работала аккомпаниатором в Большом театре. — Для балетных спектаклей нужны дети, а большинство воспитанников училища эвакуировались в Васильсурск. Тебя могут зачислить в пятый класс по хореографии и в восьмой по общеобразовательным».

За время блокады Шура успела забыть все, чему когда-то училась, все па и координация движений, которым обучали ее в балетной студии, исчезли из ее мышечной памяти. Но в голосе тети Тали звучали фанфары. Подумать только: нужны дети. Они нужны, с этим не поспоришь. За неимением других гостей, их, детей, можно пригласить хотя бы на маскарад у Флоры из «Травиаты», потому что спектакли на сцене филиала Большого театра на Пушкинской возобновились еще полгода назад, а *гости* эвакуировались прямо с бала Флоры в Куйбышев. На балетных спектаклях дети тем более нужны: шесть белоснежных *невест* для «Лебединого», шесть серебристых, с блестками на головках *дриад* к третьему акту «Эсмеральды», десять красных *маков* и десять желтых *лотосов* в черных бархатных лифах и трусиках в мелкую зеленую оборочку из тюля для «Красного мака»; нужны *одалиски* в шальварах, с покрытыми драгоценными камнями поясами для «Бахчисарайского фонтана», нужны *сульфиды* в одноименном балете для общей коды — одни вылетят из первой кулисы в движении тан леве, другие — из второй перекидными жете...

Тетя Таля с блаженным выражением лица наигрывала Шуре «бег» Джульетты, эксцентрическую тему Меркуцио, синкопированную мелодию Танца Рыцарей, застывающее остинато лейттемы «напитка»... Против этой музыки трудно было возразить, тем более что Шура, как дочь исчезнувшего в шурфах «Крестов» человека, должна была позаботиться о том, чтобы как следует внедриться в массовку на Флорином маскараде, чтобы закрепиться в этом мире, а пока Шуру кто-то должен был держать крепкой рукой, как фигуру из фанеры на маскараде у Флоры, к тому же у нее перед глазами был пример — тетя Таля, которая вместе с Шуриным отцом мог-

ла бы легко угодить в проскрипционные списки, но ее удержала крепкая рука мужа — знаменитого фотографа...

Федору Карнаухову позировала вся партийная элита. На стенах квартиры тети Тали, как охранные грамоты, висели снимки Ленина в кепке парижского клошара, Кирова в пиджаке и Орджо в гимнастерке, Скворцова-Степанова с Демьяном Бедным (оба с удочками в руках), Подвойского на капитанском мостике эсминца, с которым пятнадцать лет тому назад соседствовали взъерошенные Троцкий и Шляпников, прибывшие прямо с икс-съезда, вскрывшего их антипартийную позицию, позже замененные методом фотомонтажа молодым Микояном... И власть, и ее грядущие жертвы — все замирали перед стеклянным глазом, выдерживая полуминутную экспозицию.

Сын Федора Карнаухова — Валентин — с детских лет не расставался с «ФЭДом». «ФЭД» — аббревиатура. В ней заключено, как в магическом кристалле, имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. Глазок «ФЭДа» с дальним видоискателем — это глаз самого государства, бдительное око, запускающее свои щупальца сквозь покров материального, восходящее над планетой как еще одно солнце, обернутое в тихую ночь... В одиночке Феликсу не раз доводилось видеть, как с тихим скрежетом отворялся металлический затвор на тюремном глазке и огромное око, щекоца металл щетинками ресниц, вбирало в себя его целиком, застигнутого врасплох, с поднятыми костяшками пальцев, изготовившимися простучать в стену темницы заветное «борьба». Поэтому он не любил фотографироваться. Но Федору Карнаухову удалось заснять Феликса в момент его переезда в кремлевскую квартиру...

...ФЭД вошел в просторную комнату с двумя высокими окнами и поставил чемодан на старинный низкий диванчик с резной спинкой. За ним вбежал сын Ясик, волоча саквояж. ФЭД, в длинном черном пальто и фетровой шляпе, слегка смущенный просьбой фотографа, обнял мальчика, положив на его бархатную беретку свою руку. Фотограф взвел затвор и, попятившись, удалился на удобное расстояние, держа палец на спусковой кнопке. Карнаухову в эту минуту томительно долгой экспозиции были понятны чувства человека, оставшегося по ту сторону объектива. И его сыну Валентину тоже были понятны эти чувства... Фотограф, будучи смышлен, мог сделаться ключевой фигурой истории, сколачивающей свой капитал на неведении позирующих. Пятнадцатилетний Валентин уже мысленно горевал о том, что ему предстоит снимать этот мир без помощи груши. Уже не требовалось долгой экспозиции, парализующей натуру, что утверждало оператора в его абсолютной власти над нею, поэтому множество народа встало за спиной камеры по *эту* сторону объектива, чтобы снимать остальной мир — по *ту*.

Класс для занятий танцем был с паркетными полами, покрытыми красной мастикой, пачкающей балетные туфли, с зеркалами от пола до потолка, с набегающим на одну сторону изображением вереницы девочек у станка... Шура давно отвыкла от зеркальной симметрии углов, стен, арок, проблесков стекол, верениц девочек, подражавших друг другу в движениях и позах, среди которых она не сразу смогла узнать себя. Девочек было двенадцать. Шура стояла у станка восьмой, а на середине класса — третьей, в третьем ряду, и все время путала себя то с Таней Субботиной, то с Милой Новиковой, в таком же черном трико, с такими же косичками, убранными в тугую корзинку.

Пока Шура лихорадочно отыскивает свое изображение в зеркале (опущенная вниз рука открывается во вторую позицию), руки девочек проходят через седьмую позицию в первую, а она беспомощно машет крыльями, как мельница, пытаясь установить контакт между собою и отражением. Шура боялась признаться себе, что зеркало вместе с вереницей девочек в

нем пугает ее. Да, хорошо быть Таней или Милой, моющей раму с переводной картинкой дали: Мила моет раму, поставляет изображения дня или ночи, заводских труб или крон деревьев, припорошенных сумерками, часть замка или фрагмент крепостной стены, осколок озера, намек античной колонны, усеченный конус кладбища с вкраплением в него двух-трех могил, угол балкона, обвитый плющом из папье-маше, — декорации, в которых Шура, если сильно постарается и овладеет координацией движений, будет танцевать *Главного амура* в «Шелкунчике» или *Изящную куколку* в «Дон Кихоте», *Птичку* в «Золушке» или *Белочку* в «Морозко». Да, конечно, еще нужно воображение, чтобы за частью замка видеть целый замок, а не часть ленинградского дома с лестницей, уходящей в небо, не фрагменты ленинградских квартир, распахнутых прямо на улицу с головешками оплавленных пожаром вещей, не усеченное бомбежкой кладбище с раскрытыми настезь могилами, — нужно воображение, которое было у летчиков, разбрасывающих с воздуха над окруженным городом саксонских коров с выменем, полным сгущенного молока.

Как только Шура получила аттестат на руки, она забросила в чулан свои балетные туфли и решила заняться предметом, не требующим от нее ни координации движений, ни пластики, ни физической выносливости, которых у нее не было. Аттестат она положила в малахитовую шкатулку, где лежала стопка чужих фотографий и книга соседа-немца, предметом которой была история Тридцатилетней войны XX века, закончившейся наконец в тот самый год, когда Шура решила поступать в институт...

Какое значение в жизни Шуры могли иметь оказавшиеся в шкатулке эти четыре фотографии, сделанные в ателье на Невском в начале нашего столетия, вывезенные ею вместе с Гаврилой Принципом из Ленинграда?.. В каких родственных связях могла состоять умершая девочка с этой дородной дамой в гигантской шляпе, украшенной птицами и цветами?.. С этим молодым человеком с жидкой бородкой и выпуклыми глазами, в студенческой тужурке с гербовыми пуговицами, в черной «николаевской» шинели с пелериной и бобровым воротником?.. С этой девочкой в муслиновом платье и с серсо в руке, перевитым лентой?.. С этим приземистым мужчиной, на лице которого застыло ироническое выражение, в сюртуке из черного крепа с шелковыми отворотами (на одном из них университетский значок), в полосатых визитных брюках?.. Все они смотрели судьбе в глаза, не предполагая, что не пройдет и двух-трех десятков лет, как от всего их кустистого семейства останется одна Шура. Если бы студент, девочка, дама и господин могли представить себе такую возможность, наверное, они попытались бы подать Шуре знак с отплывающей льдины прошлого, на какое чувство ей следует ориентироваться в этом мире: надежду, сомнение, любовь?..

У Анатолия, свежее испеченного Шуриного поклонника, тоже хранились две старые фотографии. На одной был снят мужчина с усами и выпученными глазами, в черной шинели и меховой шапке с эмблемой городского, с шашкой на перевязи. На втором — группа рыбаков разного возраста, в холщовых рубахах и рабочих передниках, тянущих из реки сети. Анатолий полагал, что тот, в шинели, — его дед, умерший от голода в Челябинске. Одним из рыбаков, тянущих сети, был его отец.

В те времена перспективу заменял задник. Отсутствие перспективы создавало впечатление, что и Толины, и Шурины карточки сделаны в одно и то же ороговевшее мгновение, в которое оказались впаяны все действующие лица: и девочка с серсо, и полицейский с усами, и рыбаки в холщовых рубахах. Через них Анатолий и Шура тоже состояли в родстве, прочнее генеалогических корней и сословных уз их связывали цепи неведения. Они не понимали забытый язык забытых вещей. И вообще: вещь с момен-

та запечатления начинает насыщаться историзмом. Вокруг кружевного жабо или темляка на шашке, как планеты, вращаются эпохи. Можно сказать и так, что Глюк сочинял свою музыку во времена *особенно смело* изогнутого турнюра, а Колумб открыл Америку в эпоху *гофрированных стоячих* воротничков. Что касается социально опустошенного манто, повисшего на одних плечиках с утепленной шинелью на ватине, то эти вещи явились на свет в самое что ни на есть костюмированное время, во дни эпохального переодевания, когда шляпы с цветами и перьями слетели с головок трех сестер, а чахоточный подпольщик, которого не ждали, облачился в черную, поблескивающую, как прессованная паюсная икра из грядущих спецраспределителей, лайку.

Что могло помешать Шуре выйти замуж за Анатолия, похожего на крестьянского поэта Есенина, и внести свою лепту в продолжающийся эксперимент по головокружительной перетасовке населения и созданию новой сословной палитры, в результате которой на свет должно было родиться новое, умное, вымечтанное Милой, моющей раму на самом высоком этаже, где облака и орлы равны, удивительное поколение?.. Вот о чем думала Шура, приглядываясь к синеглазому робкому рабочему парню, по милости Милы оказавшемуся в одной компании с ее родственником Валентином — оба учились на журналистов.

Шура уже знала, с какой легкостью новые идеи могут вскрыть паркет и отправить его в жерло буржуйки, смахнуть, как паутину, стены человеческого жилища, истолочь в прах камень, железо и дерево, — но оставалась еще *земля*, незыблемое вещество, из которого вознеслись и дерево, и металл, и камень, медленная земля, дробившая закованные в броню вражеские рати нежными ростками овса и клевера. В ней растворялось убийственное время, которому и город, и библиотека — на один зуб, она имела множество медвежьих углов, не охваченных проскрипционными списками окраин, объятых вечным покоем пространства — не внести ничего туда и не вынести ничего оттуда, — застывших на берегах и канувших на дно водохранилищ, как град Китеж, русских деревень, в одной из которых родился Анатолий...

Анатолий лишился своей малой родины, ушедшей под воду волжского водохранилища, и теперь с успехом спекулировал ею, очаровывая девушек рассказами о своем босоногом детстве, пробуждая чувство сострадания и странной вины в тех, у кого с родиной (малой) было все более или менее в порядке. Поигрывая кистью шелкового шнурка на поясе, он выглядел пророком; понял, что от него именно этого и ждут. Анатолий проповедовал второй крестовый поход интеллигенции в народ, который на этот раз, благодаря культурно-техническому прогрессу, окажется удачным. Даже скептически настроенный к фольклору и захолустьям Валентин слушал его не без интереса, наматывая кое-что на ус...

...Когда николевские вьюги след заматают, застенчиво рассказывал Анатолий, и парни варят бражку для святочных посиделок, волки — у-у-у! — становятся особенно опасны, так и рыщут по ершистому утреннему снежку. Утречком выйдешь во двор — вся поленница заготовленных на зиму дров раскатана по бревнышку, в грядках чучела стоят переодетыми в бабьи сарафаны да распашонки, а из-под дырявых ведер у них — соломенная коса! Свет начинает прибывать с края неба, поэтому темная сила, — Анатолий восхищенно хлопает себя по колену, — свирепеет, такое начинает творить, что хоть святых из избы выноси! Но тут медведь в берлоге поворачивается — значит, солнце повернуло на весну: пора скатывать с гор колесо, сжигать его у проруби и кормить кур с правого рукава, обязательно с правого, чтобы хорошо неслись... Снег вырос под самое окошко, продышишь в стекле дырочку и видишь: ребята катаются с горок на обледенелых рогожах и

старых корытах... Ранней весной чистят курятники, ладят насесты, окуривают можжевельником или богородичной травкой стены. Тропинки чернеют в снегу, облака сбиваются над рекой, трясогузка садится на лед, еноты выходят из нор, из трухлявых пней вылазят ежи — начинается половодье. На Егория скотину выгоняют из хлева и, зажегши страстную свечу, приговаривают: *Пусть наша скотинка будет горька зверю!* Кукушка кукует прежде листа на дереве — значит, год будет холодный, опечаленно заключал Анатолий, но, выдержав паузу, оживлялся: прилетают серые мухоловки, пеночки, стрижи... Вот июнь с косою по траву пошел, солнечный луч вьется в березе. В Иванов день девушки собирают двенадцать трав с двенадцати лугов... По реке плывут заговоренные венки из чабреца, лопуха и иван-да-марьи. Лето поворачивает на зиму, сияют Стожары, к льняной ниве выносят творог, чтобы лен был бел. Соломой кормят огородное пугало, чтобы червь не съел капусту. Когда яблоки ночью начинают часто падать на землю, охотники выезжают в поле с наговором: *По праву сторону железный тын, по леву огненная река, тут убьешься, там сгоришь, иди, белый зверь, заяц черноухий, беспяточно в мои ловушки...*

Шура беспяточно шла по заснеженным улицам Москвы, влекомая Анатолием, который робко держал ее за пустой большой палец варежки. Она сжимала ладонь в кулак для тепла. Дома и знакомые улицы расступались перед ними, исчезали под талантливим напором Толиной сказки, как невидимая «коровья смерть», которую на Агафью били граблями по углам коровника, скатывались с пространства, как первый снег со стогов, которым понастоящему только и можно выбелить холстину... Шура шла за рассказчиком как замороженная, не замечая, что варежка соскользнула с ее руки... Была бы корова, а подоинок найдется. Шура нагнала свою варежку, всунула в нее ладонь, и Анатолий цап ее рукой! Так и пошли дальше...

Весна наступила тихая, темная... Долгое время, до первого березового листа, до отлета из зимних краев снегирей и свиристелей, ее сопровождала траурная маршевая классика, без которой не обходятся ни одни большие похороны. Еноты и ежи уже повывлезали из трухлявых пней, ясень пустил лист перед березой, но заезженная пластинка траурной зимы вращала Шестую симфонию Чайковского, си-бемоль-минорную сонату Шопена, адажио Альбини. Шрифт газет сливался с непроницаемым свинцовым небом.

В начале этой весны Валентин через друзей покойного отца раздобыл пропуск на Красную площадь, красный квадратик с надпечаткой «Вход повсюду», и получил полное право пройтись с «ФЭДом» под одеждой по притихшим улицам Москвы, пролезть под грузовиками, перегородившими Неглинную, пробиться через толпу у Малого театра к Шопену, Чайковскому, Альбини, гудящим из Колонного зала, от которой концентрическими кругами по всей стране расходились заводские гудки, траурное позвякивание орденов и медалей на алых подушечках, цоканье лошадей с султанами на головах, шелест венков. Не прилетели еще серые мухоловки, стрижи и пеночки, а вокруг гроба, покрытого крышкой с полукруглым плексигласовым фонарем, разросся полуночный папоротник, весна концентрическими кругами разошлась по земле...

...Та памятная зима навалилась на город с необычайной, обвальнoй мощностью. Далекое шевеление костра, разложенного у будки охраны, казалось слабым и невнятным, как последняя воля, выраженная костенеющим языком умирающего: тайну этого тепла ночь собиралась унести с собою. Но для него — человека, умевшего считывать тайны и с губ умирающих, и с коробок папирос, переданных в тюрьму Марии Спиридоновой (в мундштуке одной свила гнездо контрреволюция), и с трепета пальцев матроса-

балтийца со свежей наколкой, все ухищрения безликой тьмы не составляли секрета. Он знал даже это: происхождение огня во мраке ночи — в замороженный Кремль на днях вместо дров завезли шпалы, чтобы они согрели тех, кто там работал и жил. Не успел снег припорошить их под будкой Троицкого моста, как ФЭД вызвал коменданта и велел ему отвезти шпалы туда, откуда их взяли. «А откуда, кстати, дровишки?» — уже уходя, поинтересовался ФЭД. «С Павелецкой службы пути», — угрюмо отозвался Мальцев. С Павелецкого шла дорога на Горки, к больному Ильичу. ФЭД замедлил шаг, обернулся. Мальцев, помертвев, выткнулся перед ним. Передернув плечами, ФЭД продолжил свой путь через занесенный снегом плац между колокольней Ивана Великого и Спасскими воротами к бывшему зданию Судебных постановлений, где на втором этаже уже не светило, увы, во мраке ночи окно сгоревшего на работе Якова.

Приказы его выполняли, но стоило отвести глаза, снять палец с курка, дать высохнуть чернилам на бумаге, все расплзлось, сводки с фронтов приходили, когда фронты переставали существовать, рапорта содержали в себе бесконечные ябеды, и задним числом по ним можно было реконструировать сложную, многоходовую личную интригу командующих, в которой принимало участие множество фигур, действующих непонятно в чьих интересах. Непонятно, каким чудом одерживались победы. Может быть, и эти шпалы, послужившие для обогрева не тех, так других людей, тоже в конечном счете сделали свое дело: слишком безысходной казалась бы сегодняшняя ночь, сплошняком проносящаяся мимо дрезины, на которой он вез Сергея Меркулова, скульптора и художника...

Звезды северного полушария, разбросанные по небу, освещали их путь. Большая Медведица в это время года стоит на хвосте, как кобра, Алькаид — внизу, выше — Мицар, потом — Алиот, параллельно ему — Мегред, выше — Фекда, левее — Мерак и Дубхе. Алькор рядом с Мицаром, по которому древние проверяли остроту зрения кандидатов в легионеры, не разглядеть: глаза утратили способность различать маленькую звездочку, утратили способность видеть в ночи горящее окно кабинета Якова. Мать говорила про звезды, что это ангелы зажигают лампадки. Комиссар Отто Юльевич Шмидт объяснил ФЭДу, что все небо — и Стожары, и Волосы Вероники, и Каллисто, и, конечно, Млечный Путь — сделано из лития, бериллия, бора, водорода и гелия — веществ, которые есть и на Земле, в ее недрах, мантии, ядре. Шмидт смотрел на ФЭДа с доброй усмешкой, такая усмешка всегда появлялась на лице матери, когда она, выслушав жалобу няньки на маленького ФЭДа, что он опять молился ночью при свече и стучал головкой о пол, приказывала приготовить для мальчика отвар цитворы с медом.

На станции они пересели в сани. Чувствовать тепло рядом сидящего человека и не заговорить с ним почти невозможно, и ФЭД отрывисто спросил: «Вам удобно?» Меркулов кивнул. Он не знал, куда его везут. Вечером ему позвонили и властным, не терпящим возражений голосом задали вопрос, на который он ответил: четыре кило гипса, немного стеарина, меди и метра полтора суровых ниток... а через час его поднял с кровати солдат с залепленной снегом бородой, вслед за которым он вышел на улицу. Вьюга ложилась на снег широкими ступенчатыми пластами, выдувая арки в высоких сугробах, постепенно затухала, впадала в спячку. Небо прояснело. Где-то в глубине ночи разрасталась большая, пожалуй, даже огромная смерть, ее лицо надо было скрыть маской из гипса и стеарина.

Дорога от станции, несмотря на вьюгу, оказалась накатанной, чья-то большая смерть утоптала ее в снегу. Притихшие сосны и их тени были неподвижны. Подвязанный тряпицей колокольчик под шеей лошади не издавал ни звука. Вдали показался особняк с одним освещенным окном. Меркулов мог бы узнать его по газетным снимкам. Впрочем, он до по-

следнего момента не догадывался, к чьей большой и уже вполне оформившейся смерти прикатили его санкции...

Художник принялся за свои манипуляции с лицом усопшего. Чтобы превратить смерть в метафору жизни, думал ФЭД, метафора должна быть больше и выразительней того или иного события. Метафорой были вороны, созревающие на ветвях Александровского сада, которых чем больше отстреливали от скуки латышские стрелки, тем больше становилось, черных крылатых дьяволов, срывающихся с ветвей, орущих так, что не слышен делался шум моторов, которым старались заглушить смерть. Только смерть или ее угроза могли унять повальное разложение там, в России, и здесь, в Москве. Разлагались фронты, разлагались чернила, которыми писали декреты и постановления, разлагалась жизнь, полная ненавистных вещей, реквизированных из богатых особняков. Стены тюрем разлагались, по ним плесенью шли доносы, проверить которые было невозможно, под сытое урчание моторов стреляли на Лубянке и в Лефортове, в Бутырках и «Крестах», стреляли даже под окнами в Александровском саду по каркающим воронам, которых Ильич, удрученный расходом патронов, в конце концов приказал стрелкам оставить в покое.

Пожалуй, с нею можно было бороться, даже с физическими особенностями ее проявления — распадом материи, о чем свидетельствовал опыт египетских жрецов. Наука двигалась вперед семимильными шагами, но материя расползалась еще быстрее, как будто мстила за себя. Эфирное тело революции было еще во чреве партии, а уж после того, как родилось на свет, захлебнулось бы в измене, если б не ФЭД. Он мечтал железным обручем схватить уползающую от вечной юности материю материальными же способами, на примере одного отдельно взятого тела. Кто завладеет телом Ленина, тому суждено продолжить дело Ленина. Но кто бы им ни завладел, прежде всего необходимо спасти это тело, тело революции, от разложения. На заседании Похоронной комиссии разгорелась настоящая битва за тело Патрокла. Одного из главных заинтересованных лиц, Ахилла, на этом заседании не было — он находился на лечении близ Сухуми, и Сталин предусмотрительно послал ему телеграмму с ложным указанием дня похорон Ильича. Правда, Троцкий успел высказаться загодя, еще в декабре, — он был настроен решительно против сохранения тела. Бухарин сказал, что считает для Ленина оскорблением саму постановку вопроса. Крупская требовала, чтобы мужа похоронили в земле. Каменев буркнул, что сам Ильич непременно был бы против. Ворошилов и Ярославский робко заметили, что «крестьяне не поймут» идеи бальзамирования тела. Рыков и Калинин высказались туманно. Сталин неопределенно пожал плечами: тело Ленина требуют сохранить рабочие. Преображенский попросил назвать имена рабочих. И тут ФЭД, поняв, что тело Ленина ускользает от него, побелев как смерть, закричал: *«Я вас ненавижу, Преображенский! Я вас ненавижу!»*, после чего упал на пол и забился в припадке. *«До чего довели Феликса Эдмундовича»*, — укоризненно произнес Сталин, и вопрос был решен.

Плотным кольцом они окружили тело вождя, словно повивальные бабки, — Феликс, Вячеслав, Авель, Леонид, анатомы, патологоанатомы, танатологи, биохимики, прозекторы. Казалось, смерть — бабочка с огромным размахом крыльев, билась о пуленепробиваемое стекло саркофага, как наемная плакальщица. Но на самом деле она уже незаметно откладывала свои личинки в пустотах черепа и опавшем левом подреберье, микроскопическими пигментами метила теменные бугры, крылья носа, веки, кисти, голени, фаланги пальцев. Красин предлагает заморозить тело. Танатолог Шор предлагает покрыть кожу умершего лаком. Анатом Воробьев предлагает удалить из тела кровь и пропитать все ткани бальзамирующими ве-

ществами. Ритуальное действо началось. Танатос, аскетичный бог с железным сердцем, отвергающий любые приношения, отошел в сторону, уступив место врачам.

Формальной целью той давней поездки в Италию было лечение, а фактической — встреча с Горьким на Капри. В Италии ФЭД должен был ознакомиться с делами провокаторов, наводнивших партию, разобраться с методами их внедрения в боевые ряды, характеристиками, повадками, географией передвижений, сопоставленной с последними провалами конспиративных квартир, сорванными забастовками, разгромами типографий, арестами и ссылками. ФЭД занялся этим еще в Цюрихе и почти сразу обнаружил цепочку следов, ведущих к предательству, — на самом деле хорошо утопанных и провокаторами, и истинными революционерами тропинок. ФЭД ночами просиживал над этими шахматными партиями. Однажды, сверяя проваленные явки с именами фигурантов, железный ФЭД наткнулся на самого себя, его имя выпало после составления сложной формулы из цифр, адресов, сверки подслушанных разговоров, сопоставления круга знакомств... ФЭД слегка смутился. Он помнил стену Варшавской тюрьмы, но с какой стороны стены стоял он, с какой — провокатор, он сейчас припомнить не мог. Зеленые холмы да долины, хрустальная синева озер, светлый мелодический рисунок Грааля, сменивший зловещую тему братоубийства на границе Саксонской Швейцарии, в местечке, где шестьдесят лет тому назад Вагнер написал «Лоэнгрин», эфирные образы увертюры и стук — не колес или провокаторов в стену — его собственного сердца. Горький и Капри подождут. ФЭД ехал в Ватикан.

ФЭДа можно принять за статую, сидящую то в беседке на островке посередине пруда, то на мраморной скамейке розария, то на краю фонтана. Он неподвижен, как воздух, пропускающий через себя аромат резеды, звезды жасмина, толпы деревьев, беломраморных статуй, отражающихся в водоемах, паломников и туристов. Никто здесь не знает его, вот что особенно радует. Об этом он пишет одной из своих корреспонденток по имени Сабина. В каждой капле чернил отражается высокое небо, подпираемое мраморными пророками, евангелистами, мучениками, простор, расчищенный архитектором Браманте от случайных холмов, рощ и виноградников, где когда-то стоял языческий храм Аполлона, благодаря чему солнце в этих краях всходит на несколько секунд раньше, аллеи, цветники, глубокие тени кипарисов, жужжание пчел, полет бабочек. Здесь невероятно яркие звезды, не то что в туманной Польше. Он всерьез подумывает, не остаться ли ему в Италии насовсем, не сбрить ли свою польскую бородку, что, конечно, было бы очень плохо по отношению к товарищам, субсидировавшим его поездку, — на эти деньги можно было бы купить динамит или выпустить листовку...

Гуляя по садам Ватикана, однажды на холме ФЭД залюбовался работой тучного полуголого садовника в холщовых штанах, занятого посадкой деревьев. ФЭД подошел поближе и заглянул в приготовленную для деревца яму. Внутри земля везде одинакова, невидимые челюсти таинственных существ перемалывают суглинок, перемешанный с песком, и чернозем, подпитываемый подземной влагой. ФЭД вдруг застеснялся своего роста и присел на корточки. Садовник поднял голову и, улыбнувшись ФЭДу, как близкому знакомому, ткнул запачканным землею пальцем в лежащий на земле саженец. ФЭД понял. Одной рукой он взял саженец, другой перемешал землю в яме, воткнул в нее деревце и стал засыпать тонкие корни землей. Садовник помогал ему, пригоршнями насыпая землю на корни. Работая в четыре руки, они вскоре наполнили яму землей до краев и принялись ногами уплотнять почву, начиная с краев ямы... Закончив работу, ФЭД хотел достать из кармана платок, чтобы обтереть руки, но садовник

удержал его руку и что-то сказал. «Не понимаю», — развел руками ФЭД. «Прима», — отозвался садовник и запачканными руками обтер его физиономию. ФЭД хмыкнул и грязными ладонями ответил ему тем же. Чумазые, как родные братья, они похлопали друг друга по плечу. «Прима», — указывая на деревце, снова ласково произнес садовник и принялся подвязывать тонкий ствол к колышку. Поднявшись по мощеной дорожке на холм, ФЭД оглянулся. За это время садовник успел посадить еще несколько деревьев. Его деревце было первым в ряду. Теперь здесь, в Италии, с улыбкой подумал ФЭД, у него есть своя недвижимость. Своя лиственная *тень*, которая будет ходить вокруг дерева, как привязанная. Расти, как летнее облако. *Сень*, о которой скорбел пророк Иона, сидя у врат Ниневию. Дерево будет жить вдали от него, шелестя листьями, приманивая птиц, в заботах о собственном росте прислушиваясь к затевающим что-то доброе для него тучам, к клокущей в его корнях подземной влаге...

В ряду деяний, прославивших железного ФЭДа, это, может быть, самое неприметное и замечательное, останется мало кому известным. Об этом дереве ФЭД долго будет вспоминать. Кто-то из красных дипломатов, оказавшихся в Вечном городе, однажды разыщет в саду Ватикана лавровое дерево, сверившись с нарисованной рукой ФЭДа схемкой, и привезет в Москву сорванный с живой ветки листок. ФЭД будет тронут. Он и предполагать не мог, что со временем дерево вырастет и принесет удивительные плоды. Многие приехавшие со всего мира туристы, проходя мимо стоящего в крайнем ряду лавра, будут срывать с него вечнозеленые листья на память о своем посещении садов Ватикана... Эти листочки, попавшие в записные книжки туристов, сгибы географических карт, проспектов с видами Ватикана, словно сорванные могучим ветром, перелетят через кордоны и границы, водные и земные пространства. Этот листопад благоуханного лавра, посаженного когда-то рукой железного ФЭДа, покроет страны и континенты, отдельные листья выпадут на Москву и Ленинград, чтобы осесть в гербарии школьника, в конверте любовного послания, в дипломатическом паспорте, в ящичке из-под цветных мелков, в супе блокадника. Таким образом, сколь бы ни был прихотлив маршрут ФЭДа, листок лавра мог достигнуть его в любой точке планеты.

В ту смутную весну, когда рыдающая траурная музыка покрывала тающий снег и лед на реке, Валентин сфотографировал жениха и невесту. Шура с льняной, обвитой вокруг головы косой, в светлом строгом костюме. Анатолий, стриженный под уже не модный полубокс, в однобортном пиджаке и рубашке с мягким отложным воротничком. Серые глаза Шуры смотрят настороженно и близоруко, точно она уже провидела землю, на которой они поселятся, землю, на которой наши предки выжигали лес, три года кряду засеяли ляды рожью, а потом оставляли ее под паром, поскольку под новую пашню она согдится не раньше, чем через тридцать пять лет. Ясный есенинский взор Анатолия заволокла мечта, возможно, о культуре, которая окончательно задернет полог над родной затопленной избой с покривившимися окнами, сгнившими венцами и матицами, крытой почерневшей дранкой, трудовыми книжками, свекольным листом, щавелем и крапивой вместо хлеба в голодном мае, размоченными липовыми лыками для плетения лаптей... Рано или поздно культура поглотит и крапиву, и лебеду, и яровую солому, мелко нарубленную в сечку, что идет на корм скоту, и торжественно пропишет по своему адресу сто пятьдесят трудодней, которые полагалось отработать его матери — бабе Пане, чтобы не отняли приусадебный участок, и затопленные деревни. Старинные книги, где написана всякая правда, раскроются скатертью-самобранкой, скоро, скоро пройдет тридцать пять лет... А пока жених и невеста, скованные цепями неведения, напряженно смотрят в будущее, и пережившие блокаду вместе с людьми ангелы скорби незримо обрамляют фотографическое поле.

ЗЕМЛЯ, ДОМ. Деревня, в которой Анатолию и Шуре выделили пустующий дом, лежала в семи километрах от райцентра. Маленькая, сонная, вытянувшаяся вдоль дороги, с одной стороны ведущей в поселок, где в редакции районной газеты стал трудиться Анатолий, с другой — к понтонному мосту через речку Лузгу. Толя решил, что это — судьба. Его фамилия была Лузгин... За речкой — еще пять деревень, в средней из них, Цыганках, Шура начала преподавать историю в восьмилетке.

Домик был старенький, но еще крепкий, с облупившимися стенами, когда-то крашенными зеленой краской, двумя прокопченными комнатами с просторной кухней, отделенной от горницы высокой приступкой. Перед печкой с чугунной дверцей, из которой тянуло могильной землей, на полу валялась старая щепка. Анатолий натаскал из колонки воды и выскоблил пол; Шура вымыла стены и окна. Покрасили полы, побелили потолок. Потом сделали первую семейную покупку: рулоны светло-бежевых в желтую полоску обоев. Вычистили устье печи, прочистили дымоход. Только тогда решили разобрать вещи в чулане. Постелили себе под ноги старую школьную карту Союза Советских Социалистических Республик и уеслись на него, уткнувшись пятками в коричневый Казахстан и синюю Киргизию. За бежевой Эстонией, салатовой Латвией, желтой Литвой, лиловой Белоруссией, зеленой лужайкой Украины, бордовой Молдавией и голубым пятном Черного моря земля утрачивала краски, бледнела, как приговоренный к пожизненному заключению, снежно белела, как еще не открытая ни Христофором, ни Марко, ни Васко, — туда, казалось, еще не ступала нога человека. Белая как снег земля, терра инкогнита. В районе Чукотского моря черной тушью была написана мелкими буквами немецкая фраза. Шура прочитала: *«Душа любит того, кто похож на ее тело»*. — «Как это понять?» — через паузу спросил Анатолий. Шура думала не о душе и теле, а о том, как могла немецкая фраза залететь в Чукотское море. О том, кто жил в доме прежде. «Разве моя душа похожа на твое тело? — допытывался Анатолий. — И вообще — как душа может быть похожа на тело?»

Волосы у Шуры были пышные, длинные, до нежной выемки под коленями. Анатолий расчесывал ее волосы ореховой гребенкой сверху донизу. Волосы искрились в ребрах гребенки. Под затылком младенческие завитки, Анатолий дул на них. Тоненькие чистые проборы умиляли его. Шура разрешала ему забавляться с косой. Он плел ее, как у них в деревне, — на девять деленок. Сначала туго, потом сплетая пряди слабее, чтобы коса была ровной. Кончик косы насаживал на перламутровый, с серебряной пуговкой треугольник, принадлежавший когда-то его молодой матери. Какие волосы! Он дышал через них. Плел не одну, а двенадцать кос, укладывавая их баранками на затылке, за ушами, на макушке... Перевивал пряди стеклярусом, влетал в них живые цветы. Пропускал через пальцы, укладывав колосом над затылком, обвивал косой голову, как короной. Даже когда они, обнявшись, прогуливались вдоль деревни, боялся выпустить прохладную Шурину косу из рук, обвивал ею свою шею... Но почему-то разговора у них не получалось настоящего. Шура ускользала от его вопросов, требовательных, мужских, о ее женском прошлом, да и сама все время уклонялась, когда Анатолий разговаривал с нею неммым прикосновением пальцев, как с глухонемой. Прозрачная пряжа, которую они ткали ночью, днем распускалась, как небрежно заплетенная коса, — Шура плела ее теперь сама, ей наскучила игра с ее волосами. Анатолий все никак не мог понять той загадочной фразы насчет души и тела. Ему чудилась в надписи на старой школьной карте какая-то угроза, смысл не давался ему, а немецкого языка, чтобы проверить перевод, он не знал. Шура устала отвечать на его вопросы и предпочитала отмалчиваться, словно пряталась от него за

странной надписью, как за дверью, ключа от которой он не имел. Однажды, когда он прибивал ковер в детской, Шура как будто нарочно подставила палец под гвоздь, и Анатолий ударил по ее пальцу молотком. Шура вскрикнула. Анатолий, побледнев, рванул окно, сгреб снег и стал растирать ушибленный палец. Шура снег терпела, но когда он стал дуть на ее палец, а потом целовать его, вдруг зло отдернула руку. И Анатолий, разозлясь, сам не понимая, что делает, вогнал гвоздь в ее косу, прибив ее накрепко к стене. И вышел из горницы, в сердцах хлопнув дверью... Поостыв на холодке, вернулся в дом. Прибитая к стене Шура сидела на стуле и с рассеянным выражением лица крутила на ушибленном пальце обручальное кольцо.

«...В газете нет мелочей, в ней все важно: и содержание корреспонденций, очерков, фельетонов, и верстка, и качество печати, и запахи свинца, типографской краски, и стрекот линотипа...» — поучал на летучках свой небольшой коллектив Зуев, главный редактор районной газеты, в прошлом комиссар партизанского отряда «Ураган», наводившего страх на оккупантов.

Анатолий азартно записывал за ним: «...и запах типографской краски, и стрекот линотипа...» Он собирал материалы о партизанском движении в крае и надеялся когда-нибудь написать о Зуеве. Во времена оккупации за голову Зуева, автора пламенных партизанских листовок, поднимавших народ на борьбу с врагом, немцы готовы были выплатить 15 тысяч марок. Портрет его, перепечатанный с захваченного немцами фотоснимка, украшал здание немецкой сельхозкомендатуры в Цыганках: Зуев на фоне старой, чихающей «азротушки» с чернильной подписью внизу: «Агитсамолет на посевной». Лицо человека-невидимки, время от времени появляющегося в оккупированных деревнях то в образе уродливого горбуна, припадающего на одну ногу, то под видом немецкого солдата на мотоцикле, то почтенного старца с седой окладистой бородой. Анатолию казалось, что газета, возглавляемая таким могучим человеком, способна сдвинуть весь район, а то и область к былинному будущему, о котором в то время много говорилось и писалось. 15 тысяч марок, набранные крупным кеглем, как нимб, еще незримо сияли над головой легендарного Зуева.

Главный редактор сам вычитывал и правил рукописи, рисовал макеты, раздавал задания, верстал четыре полосы газеты, поднимался в наборный цех, диктовал прямо на линотип передовицы, в которых клеймил догматизм, цитатничество, иссушающее живое газетное слово, обрушивался на украшательство, вошедшее в моду в журналистской среде, когда вещи называют не своими именами, например, телевизор — голубым экраном, нефть — черным золотом, небо — пятым океаном, и засоряют язык иностранными словами.

Анатолий добросовестно старался не цитировать, не украшать, когда садился за репортаж о колхозниках, наладивших производство хозяйственных сумок из камыша, или фельетон о бабках-знахарках, торгующих щепками дуба, в дупле которого в прошлом веке поселился, как птица, и прожил много лет почитаемый селянами отшельник... Он приезжал на отдаленную свиноферму, где пожилая свинарка Рая в замызганном синем халате, хлопая свиней по осклизлым щетинистым спинам, выгребала совковой лопатой грязную жижу, доходившую до краев ее сапог. Несмотря на грязь и отсутствие необходимого корма, трудящаяся женщина владела реальностью так же сноровисто, как совковой лопатой, знала точно, сколько нужно ввести в кормовой рацион поросят сенной трухи, моркови и картофельной затирки, с какого момента кормить подсвинков лебедой, крапивой и кухонными остатками, когда кастрировать хряков, как обеспечить полный рост костяка и мышц, на которых будет отлагаться сало... Только моркови, картофельной затирки и кухонных остатков не имелось в рационе поросят, застенчиво признавалась Анатолию свинарка Рая. Не было у

нее и помощницы. У одной на все рук не хватало. В военные годы помощница была, а теперь как будто все ушли на фронт, некому работать на свиноферме. Поросят же надо было кормить часто и понемногу, чтобы у них не случилось поноса, успевать готовить им пищу, мыть посуду, в которой она готовится, просушивать ее на солнце, чистить кормушки... И ни в коем случае не кормить молодняк вчерашним пойлом... Голос свинарки Раи звучал ровно и добродушно. Профессионализм, как вольфрамовая дуга, работал на весь круг ее интересов и понятий, не оставляя никаких глухих тупиков и срезанных мраком углов, и это мирное единение с ситуацией подготовки кормов и чистки загонов выстраивало систему взаимоотношений с миром, не требующих от женщины лишнего рвения... Толя слушал, делал записи в блокноте, шелкал фотоаппаратом «ФЭД». Натура перла на него сплошняком, густой грубой массой, сенной трухой, древесной золой и красной глиной из поросячьих загончиков для его, Анатолия, нормального откорма вчерашней несъедобной пищей, а свежее пойло, должно быть, съедали какие-то таинственные люди, которые должны были обо всем этом позаботиться — о картофельной затирке, овсяном молоке для подсвинков. Натура как таковая не могла, не имела права войти в репортажное поле, со всех сторон ограниченное ожиданием мифического будущего, в котором поросят будут обеспечивать кормом пять-шесть раз в день... Зуев в легендарные времена пускал под откосы составы и взрывал тщательно охраняемые немцами мосты, но поросячий понос и прочие сигналы бедствия его красный карандаш автоматически удалял из Толиных корреспонденций, как «голубой экран» и «пятый океан», и Анатолий волей-неволей был вынужден равняться на карандаш, выводя заболевших поросят за пределы репортажного поля, чувствуя, как его «ФЭД» тянет его на дно, наливаясь свинцовой тяжестью от увиденного, и жаловался Шуре, что немцы, как видно, явно переборщили, предлагая за голову Зуева 15 тысяч марок.

Это была земля, со всех сторон ограниченная кромкой бесконечного леса, в который наши предки врезались с топором и огнем, проникая в сумеречные хвойные чащи подсеками, десятками и сотнями починков через урочища, холмы и реки, ориентируясь на белую ольху и березу, указывающие на пригодную для выращивания хлеба землю. Еще недавно в лесах прятались партизаны. Грибники и ягодники до сих пор находили на полянах ржавые, но вполне пригодные «дегтяри», шмайссеры с рожками, полусгнившие офицерские ранцы, отделанные телячьей кожей, покрытые никелем губные гармошки, саперные лопатки вперемешку с костями и черепами павших тевтонов и славян.

В Цыганках в бывшем помещичьем доме с башенкой во времена оккупации размещалась немецкая сельхозкомендатура. Каждую неделю бригада «доильцев» на трех мотоциклах, гремя бидонами, совершала объезд окрестных лесных деревень, отбирая картофель, масло, яйца, мед, выдаивая коров, чтобы лишить местное население возможности помогать засевающим партизанам, которые очень быстро обжили лес, научились сидеть у огня так, чтобы запах дыма не пропитывал одежду. Бессонный патруль тревожно вглядывался в светлую от снега ночь, и снег скрипел под его сапогами. Со стороны леса стояла непроницаемая тишина, как будто он необитаем, но каждое утро из него в деревню и из деревни в лес вела цепочка следов, обрывавшаяся у тропинки, почему-то хорошо утоптанной, хотя ночью шел снег. А однажды, когда он перестал идти, неуловимые партизаны на взгорке перед самым лесом вытоптали глубокое русское слово **СМЕРТЬ**.

Партизанское воинство возглавлял бывший первый секретарь райкома Михаил — после того, как немцы пришли в райцентр, он в одиночку заминировал и взорвал запруду, и река затопила машинный парк, который

оккупанты использовали для ремонта техники; заместителем у него был Николай, старый моряк, вместе с начальником штаба Георгием он устроил на дороге засаду, перебив конвой, освободил военнопленных и увел в лес. В райцентре, занятом немцами, полиграфист Кирилл возглавил в типографии подпольную группу, которая под строгим надзором фашистов печатала материалы командования немецкой армии и оккупационных властей, — но стоило дежурному офицеру отвлечься, как печатник быстро подменял набор и печатал листовку, а потом подпольщики распространяли ее по деревням. Одна вдова в Белой Россоши, по имени Юлиания, выпекала для партизан по сорок килограммов хлеба, примешивая ко ржи, которой было мало, лебеду и древесную кору. Партизаны варили в котле снаряды, из которых предварительно выкручивали взрыватели, а когда толловая начинка становилась текучей, выхватывали снаряды из котла, выливали толловую жигу в железные формы, где она застывала. Группа подрывников из трех человек с самодельной взрывчаткой отправлялась на задание к железнодорожным путям: Ананий устанавливал заряд на середине рельса, Евстафий отмечал его вехой, Азарий поджигал запал. Партизанский разведчик, бывший пастух Трифон, держал под контролем передвижение войск и техники противника. Ночью фашисты с самолетов сбрасывали осветительные фонари на парашютах. На большаке было светло как днем, но осветить лес им не удалось. Тогда они схватили фельдшера Козьму и потребовали, чтобы он отвел их к стоянке партизан. Тот завел в глухой лес. Тридцать немецких автомашин, набитых оружием и солдатами, завязли в болотистом овраге. После этого осатаневшие немцы схватили жителей окрестных деревень и согнали их в озеро. Стоял апрель, озеро едва оттаяло. По берегам его полицаи разложили костры. Они стояли и грелись у огня, призывая тех, что были в озере, выйти из воды и указать им путь в партизанский лагерь. И вдруг один человек, находившийся на берегу, увидел, как яркие ночные звезды пришли в движение и сошлись в середине неба прямо над головами стоящих в озере. Какой-то юноша не выдержал ледяной пытки и выбрался на берег, и одна звезда тут же погасла. Тогда тот, который увидел это с берега, вошел вместо него в воду, и звезда встала над его головой. Утром этот юноша по насыпи законсервированной в тридцатые годы железной дороги через лес привел гитлеровцев к партизанскому лагерю. Партизан там уже не было. Еще тлели угли от костров, в глубоких ямах, забранных жердями и укрытых еловым лапником, лежали мешки с зерном, в зимних землянках пахло сырыми ватниками, ружейной смазкой, махрой и бензином, тлели копилки из снарядных гильз, на нарах кое-где белели разорванные в клочья недописанные письма, и от жерновов, которые недавно вращала ходившая по кругу лошадь, пахло хлебом, а люди и кони исчезли...

По воскресным дням, когда Шура проверяла школьные тетради, Анатолий отсыпался, как после тяжелого похмелья, потом быстро завтракал и, хоть дел в доме было невпроворот, уходил в лес. Переходил по мосту Лузгу, шагал через Кутково, Болотники, Рузаевку, Цыганки и Корсаково, заходил ненадолго в просторный храм Михаила Архангела, где в это время пожилой отец Владислав страстным дребезжащим голосом произносил проповедь двум-трем старушкам, и выходил из Корсаково к лесу. Партизанскими тропами он спускался через шлюзовавшееся в сумеречных соснах время к своей затопленной деревне, давным-давно покинутой жителями на плотах, машинах, груженных разобранными строениями, переселявшимся на высокий берег Волги, на стрелку возле Шексны, где в считанные дни вырос поселок с индустриальными названиями улиц. Партизанский лес лежал на том же уровне, что и затопленный город Молога с окрестными деревнями, — это партизаны, уходя на запад по тайным коммуникациям через Новомихайловский и Клетнянский лес, затопили его в

непроходимых дебрях вместе с землянками, шалашами из лапника, радиомостом, переброшенным к оперативному отделу 10-й армии, по которому шли шифровки, лошадьми с блестящими, как хромовые сапоги комсостава, боками, бочками для теста, телегами, нарами из жердей для хранения зерна, аэродромами с пепелищами костров в два ряда, мешками немецких марок, захваченными при разгроме полицейской управы. Деревья одержимо шагали сквозь лес с копытами лунного света наперевес, расступаясь лишь перед тайными аэродромами, с которых неслышно, как стрекозы, снимались «У-2», проходили порог невозвращения и, взмывая над мемориальным лесом, уносились в далекую изобильную страну, где мифические стада коров и цистерны с горючим медленно, но верно превращались в культурный слой и торфяные болота.

Она не нуждалась в помощи. Мела ли никольская вьюга, Шура отважно пускалась в путь, поземка заносила маленький, вдавленный в едва угадываемую тропинку след валенок, и завеса снега тут же скрывала женскую фигурку; обрушивался ли на землю майский ливень, Шура, не выказав ни тени досады, накрывалась мягкой клеенкой и устремлялась к школе, до которой было идти и идти по расквашенной дороге; ударили ли рождественские морозы, она, без слов отдав мужу овчинный полушубок, выходила с ним из дому в стареньком пальто тети Тали, отворачивая лицо, чтобы пар ее дыхания не смешивался с паром его дыхания, и бежала к мосту, словно там, за рекой, в деревянном доме бывшей дворянской усадьбы с башенкой на втором этаже, где учительницы, бывшие фронтовички и партизанки, пили нескончаемый чай, находился ее настоящий дом.

Анатолий тоже избегал излишних споров. Краткий период выяснений для него минул, оставив непроходящее чувство недоумения и мужской обиды. Он без единого слова отдал бы ей и зонт, и полушубок, попроси она его об этом, но Шура не желала просить. Между прочим, полушубок ей необходим был даже больше, чем ему. Идущего на работу Анатолия в соседней деревне почти всегда подхватывал «козлик», управляемый молодым бухгалтером автопарка, а Шуру на окраине Куткова поджидал учитель труда и, если дорога была накатанной, усаживал в самодельные финские сани и мчал ее в Цыганки, где находилась школа, распевая во все горло пионерские песни. Она — на санках, он — на «козлик», с каждой минутой расстояние между ними увеличивалось, росло — расстояние, которое она не так давно, в траурную рыдающую весну, решила сократить из какой-то странной прихоти, похожей на помрачение, наваянное, навверное, фольклором, идущим от самой земли, умаляющим личное и навязывающим родовое и вечное, поддавшись его талантливому мужскому напору. Траурная весна государственной тризны пронеслась между шумными похоронами и тихой свадьбой, между железным тыном и огненной рекой и улеглась в фотоснимках под слой выпавшей на бумагу серебряной пыли, как под седую воду.

Анатолий же в свободное время повадился ходить в гости. С некоторых пор он опекал двух бывших народоволок, дряхлых сестер Шацких, коллол им дрова, забрасывал в сарай уголь, за что они платили ему воспоминаниями о временах своей пламенной молодости, делились подробностями актов против тех или иных царских сановников, а Шура, чтобы ее дыхание не смешивалось с его дыханием, избегала о чем-либо его просить, даже воду носила из колодца сама. Она вгрызается в суглинок лопатой, греет руки в навозе, торфе и древесной золе, отгораживается от мужа пухлым справочником садовода, саженцами яблонь и жимолости, таскает землю домой, чтобы прорастить в ней огурцы и свеклу, бросает в нее семена.

С некоторых пор она не переносит ни его тени в саду, ни его отражения в зеркале. Стоит ему приблизиться к ней, как садовые ножницы начинают лихорадочно клацать над малинником, стоит подойти к простенку,

где висит зеркало, она тут же уносит свое отражение. Что делать! Что делать! Она и за столом не хочет сидеть вместе с ним, вечно пританцовывает с бутербродом в руке над какой-нибудь книжкой. Заслышав голос Лемешева, быстро прибавляет звук в радиоточке, чтобы не слышать Толин голос. Прозрачно и отрешенно звучат скрипки, интонирующие мотив Граала. На светлых волнах Шельды покачивается ладья, влекомая белым лебедем, в ней рыцарь в сверкающих на солнце доспехах. *«Ты никогда не спросишь, откуда я и как зовут меня»*. Ни о чем Анатолия никогда не спросит, как будто у него нет своего мнения, собственного голоса, высокого, почти как у Лемешева. Но сейчас время низких голосов, басов или баритонов. Громких. Уверенных в себе и своем праве. *«Кто быть слугой Граала удостоен, тому дарит он неземную власть, тому не страшны вражеские козни: открыто им то, что враг должен пасть!»* Анатолий прислушивается к этим новым уверенным голосам, не объявят ли они о пересмотре дела Шурино отца, чтобы она смогла снова взять его фамилию. «С чего ты взял? — ровным голосом отвечает Шура. — Не собираюсь я этого делать. Я говорила об имени, а не о фамилии. Имя своему сыну я дам сама...» — «А если родится дочка?» — «Девочку можно назвать Надей. Хорошее имя — Надежда». Разговор происходит между кашей и какао, между отрешенными скрипками и рассказом Лоэнгрин. Анатолий поглядывает на часы. Шура стоит на одной ноге, с чашкой в руке, рассеянно улыбаясь в окно Юрке Дикому, который, перегнувшись через изгородь, что-то кричит ей. Не успевает Анатолий обернуться к окну, Дикого уже и след простыл. Анатолий закручивает Лемешева до отказа, перекрывает ему кислород. Шура невозмутимо тянет руку к радиоточке. «Как-никак я отец, не грех бы со мной посоветоваться насчет имени для сынка». *«Отец мой Парсифаль, Богом венчанный, я — Лоэнгрин, святыни той посол!»* Прозрачно и легко звучат аккорды деревянных духовых инструментов. Лейтмотив Граала замирает в крайних высотах струнного оркестра. Голос Анатолия становится совсем высоким: «Что ты молчишь? Я, кажется, к тебе обращаюсь!» — «Ко мне», — как эхо отзывается Шура.

4

ПОДВОДНЫЕ РЕКИ, ПЛАВУЧИЕ ОСТРОВА. Вслед за солнцем они передвигаются легкими летучими отрядами, лютиковые семейства делают набег на губоцветные, астровые вторгаются в пределы дымяноквых, фиалковые просачиваются в толстянковые. Они бегут наперегонки, у каждого своя дистанция, свой период цветения. Цветы перебрасываются формой, как мячиком, — лепестки, язычки, трубочки, многоярусные мутовки, розетки, метелки, канделябры, розочки, зонтики, свечи, ушки несут соцветия в пазухах листьев, в корзинках, в полусферах, в гроздьях, и все это живет, дышит, трепещет, ютится невесомым перышком в складках стихий, перенимает их качества: *анемон* — ветра, *пиретрум* — огня, *альстиба* — солнца.

Над цветами стоит невидимое облако пыльцы, которой они обмениваются друг с другом, как любовники записочками, к тому же повсюду жужжат, стрекочут, трещат почтальоны, разнося корреспонденцию по адресам, затерянным в траве.

Куда бы ни направилась Надина бабушка Паня — главный декоратор канала Пелагея Антоновна, — цветы увязываются за нею, как музыка за военным оркестром: осыпают ее платые мелким сором, овевают пухом пыльцы, цепляются за нее усиками, как дети, пытаются осеменить ее волосы, ноздри, одежду. Многие из них зимуют в городской оранжерее. По весне они, как птицы из гнезда, выглядывают из контейнеров, которые бабушка несет в обеих руках или везет на тележке. Расширяющимися кру-

гами цветы растекаются от Приречной площади, охватывают набережные и улицы, спускающиеся к пристаням, цветут на клумбах, рабатках, бордюрах, партерах, газонах группами и массивами, среди которых возвышаются солитеры: *пион китайский, ирис сибирский, космея, клещевина. Клематис, душистый горошек, декоративная фасоль, ломонос* и *хмель* осваивают вертикаль — ползут по проволоке, деревянной решетке, арке, оплетают подпорки, образуя зеленые колонны. Бабушка поддерживает на берегу реки иллюзию непрерывного цветения умелым сочетанием растений, расцветающих в разное время.

С весны до поздней осени цветочные пятна перемещаются по клумбам и газонам, вместе с птицами эта легкая, поспешная красота снимется с земли и улетит на запад солнца. Грустно, золоченые застежки слетели с воздуха, изумрудные шкатулки захлопнулись, закрылась навигация на Волге, усталые чудеса смежили веки.

Днем бриз насыщен морской влагой; ночью восходящий поток воздуха несет медвяные запахи побережья. Берег неровный, кое-где обрывистый; деревья с полуобнаженными корнями нависают над ожерельем валунов; на отмелях покачиваются заросли тростника и рогоза. Чистые березовые рощи сменяются полузатопленными сосновыми борами, с которых давно осыпалась хвоя. В засушливую погоду уровень водохранилища падает — и на дневную поверхность выходит часть затопленной Мологи. Вода полощется между остатками стен и фундаментом снесенных построек, деревянными заборами, шестами карусели на бывшей ярмарочной площади, где когда-то персы, арабы, греки, итальянцы, скандинавы, новгородцы обменивали бархат, переливчатый шелк, украшения из яшмы и серебра, восточные пряности на местный лен, беленые холсты, меха, мед, деготь, скипидар. В хорошую погоду сквозь воду видны очертания улиц, сохранившиеся руины домов, церковь со взорванной колокольней, где теперь хозяйничают стайки рыб.

К площадке старого маяка ведет винтовая лестница, обвивающая металлический столб в узкой кирпичной шахте. Подъем Надя ощущает не столько ногами, сколько руками, которые, как невод, вытягивают из тяжелой, плещущей волнами тьмы ее тело. Кажется, что поднимаешься со дна колодца, пятно таинственного света маячит высоко над головой, и лестничная спираль закручивает идущего вверх медленно, постепенно, мигая по бокам окошками-бойницами. Надя рада любому судну, проходящему мимо маяка: и рейсовым судам, и тем, кто плывет вне расписания, — сухогрузы «Большая Волга», танкеры «Волгонефть», перевозящие нефтепродукты, лес, руду, соль, колчедан и лесоматериалы, толкач «Зеленодольск», теплоходы класса О, ходящие по водохранилищу, и класса Л — по малым рекам. Память у Нади как бабушкин ларь, в котором приплыло все ее добро на плоту во время великого переселения из затопляемой деревни, — серебряные наперстки, старые образа, коклюшки, бархатные лоскуты, медальон с часами, дубовый крест с могилы родителей, книги на медных застежках, яхонтовые пуговицы, фантики от ярмарочных тянучек — все, что могло, запрыгнуло в ее сундук, как зайцы деда Мазая. Все вперемешку. Так и у Нади в голове — и звезды, и названия бабушкиных цветов, и внутреннее устройство судов, а кому это все надо? Знакомый врач Лазарь Леонидович с туристического парохода говорил: «У тебя феноменальная память».

Никита ложится навзничь на нагретой солнцем площадке старого маяка и прикрывает глаза, на которых выведено синим «Они устали». «Они» — на левом веке, «устали» — на правом. Никита умеет выворачивать одно веко с «устали» так, что глаз остается открытым и страшным,

даже не щурится. Был у него один дружбан, с которым они вместе много лет назад дробили огромные валуны — «гости из Скандинавии», принесенные ледником, и бросали на вагонетки щебенку и гравий, так тот Коля тоже умел жутко выворачивать веко, и у него была такая же наколка. Никита и Николай вдвоем на пару развлекали взрывников, мигая татуировкой, один закрывал «усталый» глаз, а другой — глаз «они»: два циклопа, вкативших вагонетку во глубину скандинавских гор, куда не ступала нога авантюриста Пера Гюнта, в одно ухо влезли, нормандское и варяжское, в другое вывалились — скифское. И принялись грызть грунт кайлом, черпать породу, дробить валуны. Дул зимний, пронизывающий до кости ветер. Обжигал глаза. Два молодых великана, плечом к плечу, повернув лица к грандиозной стройке с «они устали», смотрели сквозь свои усталые бельма в темную глубь камня (*«Камень поддается человеку»*), спиной чувяли смерть, нарастающую, как грунтовые воды, которые круглосуточно откачивали насосами (*«Люди сильнее стихии»*), а за этой водой стояла другая вода, паводковая, с ледяными заторами, угрожающими перемычкам (*«Весна на котловане»*), а за ней — третья вода, гидромониторов, крушившая твердую породу (*«Люди твердой породы»*). Во время короткого отдыха приносили газеты, одни закручивали табачок в *«весну на котловане»*, другие обматывали ступни в *«твердую породу»*. Когда уровень верхнего бьефа стал медленно расти, много всего ушло под воду, в том числе и те, кому смерть оборвала срок, только кое-где, как мачты потопленных судов, торчали колокольни церквей, со стен которых смотрели раскрытыми глазами в воду Христос, Казанская Богородица и святые со ангелами, пронзая темную воду золотыми лучами, видя и сквозь усталые человеческие глаза, и сквозь *духов злобы поднебесных* хрустальный город из сапфира и ясписа, на который не ложится пыль.

Никита смотрит на Надю своей *усталостью* сквозь пальцы темной загорелой руки, и его усталость плавно перетекает в сон. Надя озирает знакомые окрестности. Вдали торчат плавучие и порталные краны грузового порта. Справа — дровяной склад, где можно кататься на круглых литых баланах, только вовремя надо увернуться, чтобы не зашибла потревоженная пирамида бревен. За ним — лесопилка, от нее пахнет несколько иначе, чем от бревен, — внутренним деревом. Дальше хлебные амбары, возле которых все оживает ближе к осени, когда съезжаются машины с зерном. Слева — док для ремонта и зимовки судов. Здесь еще зимуют земснаряды, катера, один паром, переделанный из парохода «Четвертый» с одинаковой конструкцией носа и кормы, так что он может пришвартовываться к дебаркадеру любой своей частью, ледоколы «Капитан Зарубин», «Капитан Крутов», «Капитан Букаев» и «Комсомолец», участвовавший еще в Сталинградской битве.

На «Богатыре», построенном в 1887 году, в каюте первого класса сейчас проживает Никита. Когда «Богатырь» сломают, чтобы переделать его в сухогруз, Никита перейдет на «Волгарь». Пароходов на его век хватит. Он охраняет суда от грабителей. Хоть с них и вывезена мебель, посуда, книги, одеяла, всегда есть что стащить — например, гребной винт, стойки, колосники, канаты, муфты, трубы, угольники. Отсюда, с вышки, все суда как на ладони, и, пока Никита дремлет, Надя несет за него вахту.

Воскресенье — томительный день. Никого вокруг — ни на складе, ни у амбаров. Знакомые ремонтники, водители, техники отдыхают. Надя дует Никите на глаз *«устали»*.

Никита перестает сопеть. «Чего тебе?» — «Акватория на горизонте покрылась судами», — отвечает Надя. «Ну и пусть себе». Надя дует изо всех сил. «Ох, надоела ты мне!» — «Никита — ну!» — требовательно говорит Надя. Никита садится. «Ладно, чего там?» — «Нет, не ладно! Спрашивай

как надо!» Никита сокрушенно вздыхает. «А скажи-ка мне, моторист-рулевой Надежда, что это там в тридцати градусах по курсу?» — «Колесный двухпалубник, — рапортует Надя, — путь следования от Рыбинска до Калинина. Вышел из шлюза. От буя номер три пойдет курсом на триста двенадцать градусов». — «А это кто только что отшлюзовался?» — «Товарный заднеколесник». — «А там?» — «Винтовой пароход. Идет пока на маяк „Зональный“». — «Как называется?» — «„Михаил Фрунзе“, бывший „Князь Михаил Тверской“». — «Откуда знаешь, ты ж читать не умеешь?» — «Идет по расписанию», — отрывисто говорит Надя.

Последнее время ей все, кому не лень, напоминают, что она не умеет читать, — видно, бабушка подучила. А сама азбуку купила: «Смотри, Дежа, какой арбуз на картинке, не пойму, камышинский или астраханский... Какая это буква за ним прячется?» Надя свирепеет, когда с ней так разговаривают. Восьми букв, застилающих Никите белый свет, с нее пока довольно.

«А скажи-ка, матрос-рулевой, кто это тянется к шлюзу?» — «Двухпалубник „Спартак“, бывшая „Великая княжна Татиана Николаевна“». — «Тогда скажи мне, почему на реке так много было князей?» — «Потому что их прогнали в семнадцатом году». — «Это я знаю, я интересуюсь, почему они все ходили по нашему плесу... Не в Астрахань, например?» — «Потому что на нашем среднем плесе до революции жили одни князья. А на верхнем плесе — от Твери до Рыбинска — кучковались композиторы, „могучая кучка“ назывались. И все суда на этом плесе назывались ихними именами. В те времена пианин было раз-два — и обчелся, не то что сейчас — на каждом линейном теплоходе, вот они и жили кучно вокруг Рыбинска и Твери, где было по пианину. Как кто захочет сочинить симфонию, садится в барку и плывет либо в Рыбинск, либо в Тверь. Говорили, что у композиторов свое расписание было: в среду, допустим, сочиняет симфонию Чайковский, а в субботу — Глинка. А от Нижнего до Астрахани в те времена плавали „Лермонтов“, „Пушкин“ и другие писатели. Там они и жили, поближе к Кавказу, потому что на Кавказе они все дрались на дуэли — и Лермонтов, и Дантес, и Тургенев тоже дрался. И все они — и композиторы, и писатели — ездили к князьям на наш средний плес на балы, потому что у них в Рыбинске было свое княжеское пианино, только один не ездил, самый главный писатель Горький, к нему эти князья сами ездили, пока их всех не выселили с нашего плеса. Они, говорят, много кладов зарыли в Мологе, и как Мологу потопили, сундуки стали всплывать, а там все червонцы да бриллиантовые короны».

В маленьком бараке, в котором когда-то поселились четыре семьи из Мологи, теперь проживают четыре человека: Надя с бабушкой Паней, одинокий Карпов и Нина со шлюза. Жизнь теперешних обитателей барака почти безбытна, они существуют все время налегке, как будто накануне очередного переселения. И то сказать, Волга с каждой весной все ближе подходит к заборчику палисада, полного мологской сирени. Двери комнат нараспашку, мебель все та же, перевезенная на плотках, готовят только по большим праздникам, питаются всухомятку, как придется. В коридорчике стоит только обувь, велосипед Карпова, шкаф, куда складывают старые газеты и где лежит металлическая коробочка из-под зубного порошка с отверстиями в крышке, завернутая во влажную холщовую тряпку. Там на промытой в холодной воде чайной заварке хранится мотыль. За шкафом — две удочки в собранном виде, Карпова и Нади. Карповский удильник покороче, у Нади — длиннее, с хлыстиком из целлулоида, с легким поплавком из сердцевины репейника, кивком из куса граммофонной пластинки, белой мормышкой с бусинами и прозрачной леской. Когда наступают длительные пасмурные оттепели с мокрым снегом или дождем, Надя с Карповым собираются на плотву. На Рыбинском водохранилище плотва гораздо

крупней, чем, к примеру, на Рузском. Потому что она питается дрейссеной, мелкой ракушкой, которая распространилась сюда от устья Волги...

Надя уже заметила: чем гуще у человека борода, тем он молчаливей. Зимний рыбак должен быть молчалив, иначе от разговора у него на бороде налипают сосульки. Олег-москвич — зимний рыбак, и Карпов — зимний. Олег всю ночь помалкивает над лункой, а Карпов молчать не может, любит учить. Надя и сама не прочь поучить человека. Она говорит: «Олег молчит, чтобы не замерзла борода». Карпов смачно хмыкает от Надиной глупости, даже с каким-то сладострастным подвыванием. «При чем тут борода! Подумай, садовая твоя голова, ему что — борода в рот, что ли, лезет? Не потому Олег твой молчит». В голосе Карпова слышится ядовитый укор. «Ну что, сообразила, почему он молчит?» Наде надоело. Она сползает с сани и не оглядываясь идет прочь. Карпов кричит: «Ты чего, чего!» Надя останавливается, издали строго говорит Карпову: «К свиньям. Быстро говори, почему Олег молчит!» — «Так он же шуку ловит!..» — радостно выпаливает Карпов. Надя молча возвращается, залезает обратно в сани. Карпов со всех сторон подтыкает ее спальниками. «И что шука?» — надменно спрашивает Надя. «Шука тварь осторожная, она подо льдом хорошо слышит. Ее ловят, когда лед покрыт снегом, и ходят по нему тихо-тихо». — «Эй, ты меня разыгрываешь? Снег-то скрипит...» Карпов на мгновение смешался. «Ничего не скрипит, он же влажный...» Надя пожимает плечами: болтун.

Олег молча делает лунки, одну в пяти-шести метрах от другой, острые края обрабатывает пешней, удаляет из воды ледяную крошку, чтобы блесна могла уйти в воду. Надя поглядывает на Олега и старается повторять его движения. Зафиксировав леску на конце удильника, Олег слегка приподнимает от дна блесну и делает взмах кистью, затем быстро опускает кончик удильника. А иногда кладет блесну на дно и, слегка пошевелив ею, ведет ее вверх, коротко встряхивая. Ощувив поклевку, Надя почтительно спрашивает: «Подсекать?» — «Поводи», — коротко отзывается Олег. Надя сдает и водит удочкой, пока не утомит рыбу. Самое главное — завести голову шуки в лунку. У Олега это легко получается, а у Нади хищница становится поперек лунки, и, чтобы развернуть ее, опять надо звать Олега, а она уже свой лимит вопросов, как говорит Олег, исчерпала... Сколько Надя ни вытащит щучек, он ни разу не похвалит ее, а бабушке потом скажет: «Трещала всю рыбалку». А Карпов хвалит ее за каждую малую плотвичку.

Подошел охотник Витя, держа за уши подстреленного на островах зайца. Длинный, грязноватый, окровавленный заяц похож на печальную куклу Пьеро в несвежем костюме. Весь какой-то смутный, неживой, хотя и не полностью еще погружившийся в смерть, ветер шевелит пегую шкурку как-то отдельно от зайца, значит, он совсем умер. И рыба под снегом смутная, медленно загружается сном, мерзлой слякотью. Еще одна рыбка забилась на льду, а Витя уже тает в тумане с двумя подлещиками, которых подарил ему Карпов. Надя знает, это примета такая: как только Витя растает в тумане, клевать перестанет, хоть откупайся от него подлещиком, хоть нет, как будто за ним, за его печальным зайцем уходит любопытная рыба.

Надя сидит над лункой, смотрит в дремотную воду и представляет бабушку, бродившую когда-то подо льдом, как вдова по мертвому полю боя. Что можно увидеть из ледяного оконца? Торговую площадь с Богоявленским собором, длинным зданием ломбарда, пожарную каланчу, построенную по проекту губернского архитектора — брата писателя Достоевского? Детский приют на Череповецкой улице? Кладбище у Всехсвятской церкви, утопающее в сирени и черемухе? Плотва идет по пересечению Петербургско-Унковской улицы и Воскресенского переулка, где справа — кинематограф, слева, вдали, — Бахиревская богадельня, старинные дома из кир-

пича и дерева — купеческие и мещанские, дубовые рощи, заливные луга, золотые песчаные пляжи, белая пристань с мостками, к которой причалил небольшой свежесмоленный баркас... Несколько человек торопливо выпрыгивают на пристань. Впереди всех — Надин дед-геолог, Петр Евгеньевич, загорелый, похожий на древнего грека с небольшой курчавой бородой и насмешливыми глазами, с пенсне на черном шнурке, в белом кителе, парусиновой фуражке и с тростью в руке, за ним — несколько крупных чинов «Волгостроя» в военной форме без знаков отличия (летучий эскадрон НКВД), за ними — двое местных коммунистов. Город, по которому проходила маленькая процессия во главе с Петром Евгеньевичем, был старинный, чистый, здоровый, весь в черемухе и сирени, в нем никогда не бывало ни чумы, ни холеры, единственная вина его заключалась в том, что он стоял на пути столицы, не позволяя ей сделаться портом пяти морей. Взгляд бабушки неузнаваемо скользит по лицу идущей навстречу ему бабушки, он еще не знает (и никогда не узнает), что у него с этой случайно встреченной на улочках Мологи простой женщиной в ситцевом платочке спустя много лет родится общая внучка Надя. Свежий ветер с Волги обдувает загорелое лицо деда, высадившегося на эту землю, чтобы затопить и ее — затопить родину бабушки! — он шагает по дну водохранилища сквозь невидимую воду (кислорода в его баллонах всего на пять лет). Они все шли по дну, и ученые, и инженеры, и волгостроевцы, и местные коммунисты, и бабушка Паня, спешащая по тротуару на работу и принужденная посторониться, чтобы пропустить эту группу оживленно жестикулирующих людей в защитных гимнастерках и форменных кителях — с разными сроками кислорода за спиной, как 33 богатыря, разрывающих величавую ткань воды земснарядами, бой-бабами, тракторами, цеплявшими помеченные меловыми варфоломеевскими крестами 220 домов, подлежащих сносу. Остальные 460, помеченные, возможно, ноликами, предлагалось жителям разобрать и перевезти на новое место, а кто не согласен, пусть продаст свои дома «Волгострою» и ищет себе жилье где хочет. Оставалось еще 32 человека одиноких и старых, приковылавших себя к родным стенам, которые требовали, чтобы их утопили вместе с городом, но этих старых и одиноких силой отвязывали и развозили по инвалидным домам.

Жалко было город, упоминавшийся в летописи аж с 1149 года; но исчезнувшие хвощи и рептилии с дельфиньими головами и рыбьими хвостами упоминались в геологической летописи земли с каменноугольного периода, а что касается воды, то она упоминалась с пятого дня творения... Вот о чем думал Надин дед, который, дыша жабрами, шел по дну сообщающихся сосудов пяти морей. Одно только смущало его: расчеты некоторых ученых показывали, что вода станет над городом чуть выше человеческого роста, на такой глубине топят слепых котят, а не древние города... Когда вода разлилась, она долго хлопотала и кипела, бешено била волной в берега, смывая с них постройки, но глубины в ней не было. Воздух долго выходил из города и окрестных сел, вода все пузырилась и пузырилась, хотя по календарю давно пора было констатировать смерть двухметроворостую.

Бабушка Паня и мама Шура состояли в регулярной переписке. Шура писала свекрови о хорошей, дружной жизни с ее сыном Анатолием и интересовалась дочкой Надей: не болеет и не шалит ли. Писала о маленьком сыне Германе — о том, как он, встав на цыпочки, помогает ей крутить ручку мясорубки, как кочует следом за матерью из класса в класс и всегда сидит на задней парте тихо, как мышь, обрисовывая на листе бумаги свою руку, как на его ладонь садятся во дворе прикомрленные синицы, и Герман не шелохнется, пока птичка не склюет все зерна и не вспорхнет с руки. Бабушка передавала привет сыну и внуку и заводила рассказ о Наде. Она писала о доброй, тихой, послушной девочке, которая день-деньской

возится с цветами в палисаде и шьет куклам платья, как Надя помогала биологам кольцевать рыб и больше всех закольцевала, как она плавает под водой, словно рыба, потом вдруг почерк ее убыстрялся и делался почти неразборчивым, когда бабушка описывала страшный шторм, разыгравшийся на море, и Надю на плавучем острове, куда она сбежала от всех, в том числе и от бабушки, и где провела несколько дней, ночуя под опрокинутой лодкой, пока ее не заметили с плавучей метеостанции и не сняли с острова... Отпечаток руки Германа, который вкладывали бабушке в каждое письмо, как будто медленно увеличивался в размерах, что было неудивительно — мальчик рос. Все чаще Шура писала о том, что пора Наде вернуться в семью, чтобы подготовиться к школе, а бабушка все чаще роняла в палисаде лейку, которая сделалась неподъемной, шланг с водой выскальзывал из ее рук, и наконец она выложила Наде всю правду. Надя уселась за азбуку, а спустя несколько дней уже смогла написать родителям письмо о том, что отсюда она никуда не поедет и будет жить с бабушкой всегда.

Вода отсекает звуки, далекие и близкие, и кажется тихой, как растение. Но внутри ее клокочет яростная жизнь, неистовый воздух рвется из потайных карманов воды, потому что внизу разлагается торф, выделяя легкий метан, скапливающийся под торфяной залежью. И однажды пласт земли, как связка воздушных шаров, отрывается от дна водохранилища и всплывает на дневную поверхность вместе с бледными, безжизненными, как будто нацарапанными иглой на стекле скелетами бывших деревьев, восставших со дна, и рождается остров. Проходит несколько лет — на плавучем острове поднялась березовая и осиновая роща. Волны гонят остров то в открытое море, то прибывают к берегу. Он блуждает по воде, как отвязанная лодка, и если вдруг подойдет к плотине — на ней бьют тревогу, вызывают пожарные машины, которые пытаются разрезать остров пущенной из брандспойта струей воды.

На один из таких островов однажды высадилась Надя, пристав к нему на лодке. Остров был совсем невелик — шагов пятьдесят в длину, в поперечнике и того меньше. Весь день она ловила с берега рыбу, потом достраивала шалаш, сложенный неведомыми рыбаками, варила на костре уху из пойманной рыбы. Послушный дуновению легкого *хилка*, остров едва заметно дрейфовал в сторону устья Согожи. В корнях ближайшей березы Надя вырыла яму и сложила в нее весь свой запас картошки, моркови и сухарей, превратив ее в погреб. Вечером улеглась спать в шалаше, укрывшись ватником.

На второй день пребывания на острове с северо-запада задул настойчивый ветер. Чайки всполошенно закружились над морем, сложив в выраже сложенные под острым углом крылья, что означало надвигающийся шторм. Ослепительно белые облака, по краям обведенные чернью, вспучились, выбросив дымные космы по течению ветра, и на горизонте слились с морем. В полдень наступили призрачно-пепельные сумерки, по морю пошли серые волны с пенными барашками. Чайки, словно поглощенные воздухом, исчезли, только где-то далеко над морем еще мелькали белоснежные крылья и оттуда доносился вой, перемешанный с дикарским хохотом. Потом все стихло, даже шелест берез пресекся, и трава, по гривам которой еще недавно рыскал ветер, выпрямилась. Послышался монотонный и сдавленный гул из глубины моря, по небу с тихим треском пролегли огненные русла, и в судорогах слепящего света Надя увидела, как с середины моря медленно и величаво идут на остров волны с изогнутыми гребнями...

С воинственным криком Надя прыгнула в воду, упершись в борт головой, руками перевалила лодку через край сплавнины, но дыхание волны уже настигало ее, и она, бросившись плашмя на лодку, слилась с ее пахну-

щей смолой обшивкой. Волна накрыла Надю с головой. Вторая волна ударила сильнее, перелившись через лодку, как всадник через седло. Понесся треск деревянного борта. Надя ухватилась за нос лодки и сумела дотянуть ее до шалаша. Третья волна лишь огрела ей ноги. Узловатые, со сломанными углами молнии плясали в небе. В их мигающем свете было видно, как березы и осины раздувают свои кроны, словно паруса, а то и машут ими отчаянно, как сигнальными флагами. Гул грома не прекращался, как будто тяжелые шаги ударяли о жестяное небо. Сорвались первые тяжелые капли дождя. Надя метнулась в шалаш и, лишь укрывшись в нем, осмелилась оглянуться на море. Вдали короткими вспышками мелькали огни бакенов, пляшущих на волнах, будто сошедшие с ума шахматные пешки. Остров уносило от них все дальше и дальше. Она нащупала фонарик и посветила им в вынутую из планшета карту.

Надя пыталась по карте определить, в какой точке моря ее застиг шторм. День она плыла при *хилке* и рассчитывала, что, если ветер не переменится, ее снесет в устье Согожи. Но *хилок* сменился на *луговой* и погнал сплавину в окрестности реки Сити, — так она решила, увидев Наволокские развалины. И вот тут между зоной торфяников и акваторией порта Брейтово ее настиг шторм... Если после шторма задует *морьяна* — тогда остров внесет в Мологу. Хуже, если задует *южак*, — тогда она снова окажется на середине моря...

В границах голубых линий, отмечающих на карте перепады глубин, ясно проступало древнее русло Волги, стелившейся по дну водохранилища, превратившейся в *подводную* реку, глубоко просвечивающую сквозь новую широкую воду. Бабушка рассказывала Наде, как по дну Волги когда-то давным-давно проложили толстую чугунную цепь, по которой от Твери до Рыбинска бегали пароходы туерного типа, принадлежавшие Волжско-Тверскому пароходству «по цепи». Полтора десятка туеров ходили по ней, как кот ученый, и днем и ночью... Цепь с грохотом и лязгом поднималась с носа паровой машины, проходила через барабан со звездчатыми шестернями, а потом опускалась с кормы на дно реки. Для расхождения со встречным туером звено цепи расклепывалось или обрубалось, суда расходились, и паровой кузнец в промасленных перчатках снова сковывал цепь. Эта гигантская цепь длиной в 370 километров, проложенная по руслу Волги, стоила один миллион рублей, тогда как стоимость туеров и прочего оборудования не превышала семисот тысяч. К началу века туерное пароходство «по цепи» распалось, и миллионная цепь была поднята со дна — но не вся. Обрывки этой цепи, образовавшей русло в русле, похожее на след животного, когда-то ползавшего по древнему ложу Волги, осели на дне, зацепились за подводные камни, поросли водорослями, как заглохшая колея травой. Иногда рыбаки поднимали со дна остатки этой цепи как свидетельства богатырского прошлого Руси. Чугунные звенья вместо грузил прилаживали к снастям, вешали рядом с подковами на воротах дома, обточенные умельцами, словно браслеты, носили на кисти левой руки. Такой браслет в юности имелся у Никиты. На нем было выточено: «По цепи». Народ не спешил расставаться со своими цепями. Рыбак, имеющий браслет, всегда мог рассчитывать на помощь своих собратьев по ремеслу, скованных, как цепью, рыбацкой дружбой.

Струи дождя прорвали покров шалаша. Надя стряхнула с карты целое море и затолкала ее в планшет. В зыбунах неподалеку страшно бурлила вода. Опрокинув лодку, Надя заползла под нее, завернулась в попону и сухой ватник и, поджав колени к подбородку, медленно согреваясь, затихла, слушая сквозь сон, как снаружи шел дождь, пополняя запасы воды подземных и подводных рек...

Проснувшись, Надя приподняла борт лодки, словно край одеяла, и выглянула наружу. Гладь моря искрилась пляшущими светляками. Алое

солнце в дымке предвещало отличный день. Вчерашним штормом весь клюквенник оторвало от острова и унесло в море. На новом краю сплавины расположилась пара журавлей — самочка спокойно чистила свое оперенье, а самец расхаживал вокруг нее, изогнув шею, полураспустив крылья и развернув веером куцый хвост.

Надя забросила в воду леску с крючками, насадив на нее наживку из манных катышей. Поймав пару ряпушек, разожгла сушняк и, надев рыбу на прутик, принялась обжаривать ее на костре. Вырыла из земли свой провиант, перекусила рыбой и размокшими сухарями. С нескольких уцелевших кустиков клюквы собрала ягоду, раздавила ее в кружке и зачерпнула воды. Поев, осмотрела борт лодки, обнаружила в нем заметную пробоину. Попыталась ее заделать, но безуспешно. Нужны были гвозди, молоток, куски фанеры и резины для наведения заплат. Оставалось надеяться на помощь рыбаков, которые, конечно, ее уже хватились и ищут.

Днем Надя гуляла по острову, вдоль берега которого уже успела протоптать тропинку, собирала букетики из колокольчиков и крохотных диких ярко-желтых лилий. Вечером, нарубив в лодку березовых веток, укрывалась в нее спать. По ясному небу, как по тихой воде, проходили огни Большой и Малой Медведицы, Дракона, звезды Водолея и Льва. Вдали по тихой воде шли суда с мачтовыми огнями. Два огня, один над другим, — проплыл буксировщик, тянущий баржу. Два белых огня и выше красный — прошла баржа с нефтью. Три белых огня треугольником — баржа, которую толкает пароход...

Утром Надя наконец определяет свое местонахождение по земснаряду, работающему в Югском заливе...

Она опускается на колени и, свесив голову с крутой кромки плавучего острова, похожей на край ивовой корзины, видит распаханное водой монастырские коридоры, по которым, как связка ключей, вдруг промелькнет рыба, засыпанные битым кирпичом фундаменты домов, неровно обрезанный лес пней, почерневшие кресты кладбища, распластанную под водой далекую жизнь... Во дни Великого Переселения библейское равенство меж мертвыми было нарушено: схороненные на кладбищах Мологи и соседних деревень были поделены на покойников «живых» и «мертвых». Мертвецы, имевшие родственников, которые могли выкопать гробы и перевезти их на высокий берег Волги, оказались словно бы не вполне мертвыми, став частью имущества живых. О них еще помнили: память живых, как погребальные пелены, обвила *кости сухия*, переложенные в новые домовины из дуба и сосны. Живые резво работали лопатами, спасая с во их мертвых от подступающей воды, — до чужих мертвых им дела не было. Обветшавшие, изъеденные плесенью гробы извлекали из ям на веревках, плоскогубцы тупились о мертвые гвозди. Переселенцы вынимали из могил перемешанные с землей кости отцов и дедов, вместе с истлевшими кусками парчи и венчиками, слипшимися с лобной костью, аккуратно укладывали в новые домовины. Отслужив литию, штабелем наваливали гробы на лодки, обвязав сверху веревкой. И вот лодки с незабвенными пускались в еще один свой последний путь по воде, по руслу древней скифской реки — Великой Рахи, над которой уже реяла прохлада новой высокой воды, в будущем обязанной избавить суда от мелей и волока. А всеми позабытые «мертвые» мертвые, не имевшие родни, оставались лежать в родной земле, которая на картах будущего уже была залита водами водохранилища вместе с крестами в изножье и деревьями в изголовье, высаженными после сороковин, — плакучими ивами, липами, черемухой... Их поросшие мхом надгробия погрузились все глубже в пучину забвения. Когда строители перекрыли последние отверстия в Рыбинской плотине и древняя Волга вместе со своими притоками ушла под воду и стала *подводной* рекой, несколько гробов, как буи, вырвались на поверхность воды и долго метались по вол-

нам, отыскивая старое русло. Другие удержала земля или тяжелый гранит, или дерево в последнем объятии обвилось гребнем своими корнями...

Опустив глаза, смотреть и смотреть вниз, пока они не устанут. Это единственное, что Надя может сделать для земли, ставшей дном: пока они не устали, смотреть и смотреть, как волна перелистывает истлевающие на глазах страницы книги с буквами, цепляющимися за дно, словно якоря. Глаза погружаются на такую глубину, что их не удерживает схваченная дикорастущей корневой системой память, из-под которой всплывают полустертые впечатления. Какая-то крылатая роза с сердцевинкой, битком набитой дворцами, ангелами, водопадами. Под лепестками раскрывается лесная чаща с древовидными папоротниками и гигантскими стрекозами, несущими грозные жала, болотные огоньки на цыпочках перебегают пространство, может, это Всехсвятский маяк покачивается на волнах, может, огоньки плавучей метеостанции. Сквозь розу проходит ось Вселенной с разлитыми по листьям мирами, на них, как на плотах с имуществом бабушки, сплавляется всякая всячина: могилы предков, венчальные свечи, голубиные гнезда, фотографии мужчин в рыбацких фартуках, тянущих сети, окованный медью ларь и книга, которую Надя однажды видела в руках матери... Знания в ней преподаны через букву, одна целая, другая закатилась во тьму, как притопленный бакен, бумажная плесень встает, как зарево, над каждой страницей, слова перебрасываются знакомыми буквами, как цветы семенами с соседних куртин. Страницы слиплись и превратились в волнообразные пласты какой-то неведомой породы. Из-под панцирных створок вдруг блеснет краткое сказание о принце, ходившем по ночам на могилу героя и высаживающем на ней маргаритки, о светлом мученике, нагом и больном, сидящем в темнице. Тьма разлившейся воды обрамляла эту историю.

5

НЕПОДВИЖНОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ В СУМЕРКАХ. Шура в молодости никогда не писала писем и не получала их, поэтому она не представляла себе истинных масштабов параллельного потока жизни, заряженного энергией разлуки, — в деревню письма приходили редко, — но, когда (в год рождения Нади) по соседству с Белой Россосью в рекордно короткие сроки вырос небольшой ПГТ и туберкулезный санаторий на берегу реки, открытки и письма стали долетать сюда большими стаями, и тогда Шура вспомнила о самодельных абажурах, вазах и шкатулках из почтовых открыток, какие она видела сразу после войны в изголодавшейся по домашнему уюту Москве...

Как только Шура перешла работать в новую Калитвинскую школу, она бросила среди детей клич, чтобы они приносили ей ненужные открытки. Первая же изготовленная ею ваза произвела в поселке переполох и обрушила на Шуру целую лавину почтовых открыток.

Ярким ирисом Шура простегивала географию Советского Союза с прилегающими к нему странами социалистического лагеря, с детьми которых стали активно переписываться ее дети, прочным петельным швом соединяя Маточкин Шар с Сахалином, Северный Ледовитый океан с Черным морем, Поволжье с бассейном Оби, Памир с Полесьем, подбирая открытки по теме: пейзаж к пейзажу, город к городу, цветы к цветам, праздник к празднику. Память уходила внутрь, культура оставалась снаружи. Каждый праздник приносил розы, воздушные шары, гербы и флаги, ледяные избушки, странствующих Дедов Морозов, виды Южного берега Крыма и Кавказских Минвод, подбоченившиеся кукурузные початки в алой косынке, ковры-самолеты, летящие сквозь климатические и часовые пояса. Прошел год — и в октябрьской троице место Сталина занял Ленин, прошло

еще два года — и снегурки с мишками пересели в космические ракеты, прошло еще три года — и кудесница полей исчезла с веселой картинки.

Само время дышало спекшейся розой в сообщающихся сосудах ледяных избушек. То, что было написано чернилами на открытках, поглотили васильки и маки. За спиной Деда Мороза с ярмарочным мешком, например, дрожащим почерком бабушки Пани было выведено: «Дежа! Внучка! Приезжай повидаться со мною, старая совсем стала...» Шура зашила слова свекрови суровым ирисом. А ее дети делали уроки и читали книги каждый под своим абажуром...

В 1934 году ИЗОГИЗ выпустил почтовые фотокарточки героев-полярников, и их мужественные лица, подбитые двадцать третьим февраля, украсили навесной фонарик над письменным столом Германа. Отто Шмидт с пронзительными глазами и черной бородой, сшитый с летчиком Ляпидевским в кожанке и белой фуражке с гербом, сшитый с летчиком Кастанаевым в летном шлеме, сшитый с немолодым уже Фабио Фарихом в костюме и галстукe, сшитый с Леваневским в шапке-ушанке, сшитый с Молоковым в меховом тулупе, сшитый с Отто Шмидтом, водили хоровод вокруг лампочки, и Герман, то и дело отвлекаясь от уроков, разглядывал суровые мужские лица, снятые в контрастном свете, — с едва наметившейся улыбкой на губах, отретушированные лики героев. Весной — летом 1934 года только и разговоров было что о знаменитой льдине, в школах каждый день вывешивали сводки о состоянии льда, сколько народа уже вывезено на Большую землю (в числе первых спасенных была маленькая девочка Карина), сколько полетов к льдине совершил каждый из летчиков. Но с той героической поры проехало много снегурок на тройке с колокольчиками, теперешние учащиеся путали Отто Юльевича с лейтенантом Шмидтом — липовым отцом Остапа Бендера, льдина, когда-то национализированная государством, скорее всего растаяла, и летчикам уже не поклоняться, как Перуну и Дажь-богу, поверх суровых лиц Молокова и Ляпидевского наклеили лица Столярова и Урбанского. Но лицам последних все-таки чего-то не хватало, хоть они здорово верили в предлагаемые обстоятельства, чтобы летчики и играющие их артисты могли беспрепятственно ходить друг к другу в гости через реку времени.

В спортивный зал из окон льются осенние солнечные лучи. Герман скользит взглядом по шеренге напротив. Там стоит его сестра Надя, наэлектризованная временем до корней волос. Волна жгучего времени перебегает от самой невысокой девочки в Надином классе и до альбиноса Кости, который, стоя сзади в строю, с бессмысленной ухмылкой водит мизинцем по бессильно повисшей белой руке Нади. В глазах детей плавают огненная тьма, разламывающая породу, вооружающаяся чем попало и крушащая все на своем пути. От руки к руке перебегают время по часикам, все часы стучат вразнобой, как ни сверяй его по Кремлю. Глаза и губы парят в живом потоке осеннего света, перелетая, как маска, с лица на лицо, то здесь, то там вспыхивает бессмысленная улыбка, подавленный смешок. Наваждение. Душная молодость. Брачующиеся аисты поют дуэтом. Гоголь распускает веером хвост и распушает перья. Поднимают и опускают хохолки, трясут рогами, крутятся на ветке, как пропеллер, трубят, ревут, оставляют пахучие метки. Что естественно, то не безобразно. Но правда в том, что все это неестественно — кипенно-белые воротнички, остроносые туфли, бензиновая зажималка в накладном кармане вельветовой куртки. Лишь тьма упадет на поселок, все станутся косматями, как отец, когда он горячим шепотом просит открыть ему запертую дверь спальни, обманутый дружелюбным обращением матери за ужином. Открой, открой, ну открой же. Трубный шепот просачивается через щели и бродит по комнате. Сон Германа вспорот, зарезан, как сон Дункана, этим кипящим шепотом, труб-

ным ревом. Сам он ничего не может предпринять, беспомощный, толкает крепко спящую на соседней кровати за ширмой Надю. Надя вскакивает и кричит звонким голосом: «Папка, иди спать!» Большое животное раздражается тяжелым вздохом, тяжело переваливаясь, уползает в свою берлогу, в чулан, который отец давным-давно превратил в свое жилище. Надя, обернувшись к стене, снова крепко засыпает, ей все нипочем; маму в ее спальне сотрясает дрожь отвращения; Герман не может заснуть до утра.

Директор с мягкими добрыми щеками и ясными, как у младенца, глазами продолжает речь. Его часы безнадежно отстают. Ему кажется, что в партизанских лесах еще живут призраки партизан, а между тем — там прорублено много просек и не осталось даже следов партизанских кострищ. Фаянсовая посуда теперь пользуется бóльшим спросом, чем солдатская железная каска с двумя молниями у виска. У всех начальников часы отстают, а у их подчиненных идут вперед. Что касается детей, они все уже в завтрашнем дне. Директор бубнит невнятное: *Сбор макулатуры, подойти с ответственностью, переработка бумаги — под нож пойдут вчерашние газеты и обернутся завтрашними новостями. Старые газеты, списанные книги...*

Учитель химии Михал Михалыч Батаганов, стоящий рядом с матерью Германа, нежно наклоняясь к ее уху, шепотом продолжает: *этикетки, спичечные коробки, ценники...* Косой луч солнца, в котором размагничиваются часовые механизмы и пыльные пчелы засыпают в полете, выхватывает склоненные друг к другу лица. Страус и его подруга тычут клювами в песок... *Автобусные билетки*, продолжает мама, *елочные клоуны...* В глазах обоих светится смех, отбрасывающий тень на лицо стоящей в шеренге напротив учительницы биологии Эльвиры Евгеньевны, жены Михал Михалыча, чернявой, с острым некрасивым страдальческим лицом. Она — известный ленинградский биолог, заведовала кафедрой в институте, пока не случилась какая-то история с сыном, и они вынуждены были переехать в поселок. Чем ослепительней блузки у Александры Петровны, тем более мягкой и неряшливой выглядит манишка Эльвиры Евгеньевны. На рукаве пиджака — жирное пятно. Михал Михалыч мог бы удалить его с помощью экстракции: надо смочить ватку бензином и протереть несколько раз — тогда жир перейдет в раствор. Но Михал Михалыч сам-то как голубь-доминант, который затрачивает на чистку своих перьев не менее часа, красив и опрятен, а голубь, которого клюют, быстро опускается, ходит с запачканным хвостом, грязными перьями, вид у него, как у больного, на него нацеливаются вороны... *Картонки из-под гербария, свадебные веночки*, посмеиваясь в бороду, шепчет Михал Михалыч... *Партизанские листовки, объяснительные записки*, прикрыв губы пальцами, отзывается мама. На губах у нее тлеет такая же бессмысленная блаженная улыбка, как у Кости, щекочущего пальцем локоть ее дочери Нади. Это игра такая. Герман видит, как мамино лицо все больше молодеет в потоке осеннего света, лицо Эльвиры темнеет, она старается не смотреть на тех двоих, шепчущихся напротив... *Письма, написанные растворенным в воде крахмалом и йодом, хроматографические трубки*, свистящим шепотом продолжает учитель химии... *Законы двенадцати таблиц, кодексы Юстиниана*, отвечает учительница истории. Если несколько кукурузных палочек положить в банку, куда заранее капнуть одеколона, а потом закрыть их, то через десять минут, открыв крышку, уже не почувствуешь запаха: его поглотило пористое вещество палочек. Это явление называется абсорбцией. Даже самый разочарованный ум может абсорбироваться в шум пористой крови, осенний луч, полет стелющихся над землей ласточек, предвещающих грозу.

Когда две его одноклассницы, Таня и Люба, позвонили в дверь, Герман производил на кухне химический опыт. Вовсе не обязательно было впускать девочек в дом, особенно зоркую Любу, которая с налету подмечает

всякое растерянное движение человека и обращает его в свою маленькую пользу. Коренастая девочка с невозмутимым лицом, медленным оценивающим взглядом, в котором тлеет бессознательный инстинкт порабощения окружающих... Таня и красивее, и выше ростом, но она подпала под власть Любы, которой неведом страшный натиск таинственной силы одинокой юности, нежно ломающей кости, раскачивающей по ночам деревья за окном. Незнакомая кровь шумит в ушах, отдается в ногтях, в груди нарастает гроза, слезы теснятся в горле. Таня все время должна что-то рассказывать Любе, чтобы не остаться наедине с шумом в ушах, слышать собственный голос, выводящий на орбиту слов совсем другую историю, чем эта, необъяснимая, живущая внутри ее. Люба, как курочка, склевывает признания Тани, а сама про себя не рассказывает ничего, только шурится.

Сцена в общем-то мимолетная и стремительная, как квинтет цыган и цыганок во втором акте «Кармен», но Герман, не прерывая манипуляций с опытом, чувствует, как волна разных ритмов буквально разрывает атмосферу... Отец мечется в поисках макулатуры и, чтобы угодить незнакомым девочкам, готов отдать им фотографии, книги, художественные открытки. Он, как всегда, не видит лиц, перед ним образы представителей дальнего мира, обратившихся к нему за помощью. Но настороженный Герман за его человеческой открытостью и слабостью видит цель, которую втайне от себя самого преследует отец: насолить маме, раз представился повод, всучить девочкам что-то такое, за что она будет ругать его, чтобы позорящая его подоплека их отношений приобрела иной центр тяжести, более определенный и менее для него обидный. Тем временем Люба, не ожидая приглашения, уселась на стул и, когда отец крикнул из маминой комнаты: «Гера, угости своих подружек чаем», — спокойно отозвалась: «Спасибо, мы не хотим». Таня осталась стоять. «Что это?» — спросила Люба. Герман вынужден поднять на нее взгляд, чтобы понять, к чему относится ее вопрос. Вообще он не собирался этого делать. Люба смотрит на щепотку красного порошка, который он перочинным ножиком счищал с гвоздя, вынутого из раствора медного купороса. «Медь», — кратко отвечает Герман, прислушиваясь к топоту отца за стеной. Так и есть, шарит по книжным полкам. «Зачем?» — вопрос Любы. Герман молча откупоривает флакон с водой, йодной настойкой и бензином, всыпает туда порошок, встряхивает его и ставит перед Любой. Люба, стараясь не выдать своей растерянности, некоторое время смотрит на флакон. «И что?» Легким пренебрежением пронизан каждый ее жест, она знает, что этот мир на каждом шагу требует, чтобы на него наложили узду, иначе он рассыплется, как пачка фотографий, которую отец в соседней комнате сгреб с книжных полок. «Йод вступил в реакцию с медью, вот — получился йодид меди». (Классные фотографии матери рассыпались по полу, лица детей под ногами отца, а вот и Михал Михалыч на снимке прошлогоднего выпускного класса насмешливо шурится...) «И зачем это нужно?» — презрительно спрашивает Люба. Таня молчит, Герман чувствует ее теплые зрачки на своих веках. «Химик велел всем с-сделать дома опыт». Сказав это, Герман слегка краснеет, и Люба замечает это. «Михал Михалыч?» — громко спрашивает она. (Отец за стеной вонзает каблук в ухмыляющегося Михал Михалыча, грозно хмурит брови... Рыбы, угрожая, раздвигают плавники и поднимают шипы. Обезьяны скалят зубы. Кобра раздувает капюшон.) Герман краснеет еще больше. «А ведь правда, — вдруг покладисто произносит Люба и ставит свой стул ближе к Герману. — Тань, чего стоишь, садись». Выдвигает ногой табуретку из-под стола. (У Михал Михалыча перебит нос, вытекли оба глаза, смяты лицевые кости...) Люба энергично трясет флаконом, как градусником. «И правда, порошок растворился, смотри, Тань». — «Это явление называется экстракцией, — объясняет Герман, — с-с его помощью извлекают масло из с-семян подсолнечника». (Отец кладет покореженный снимок на стол, в основание пирамиды из макулатуры. На

стол поверх снимка со стуком ложится какая-то тяжелая книга. «Книга о вкусной и здоровой пище», догадывается Герман, тетя Таля подарила ее маме на свадьбу. О вкусной и здоровой. Распятые в панировочных сухарях цыплята, молочные поросята тычутся мертвыми мордочками в край блюд, рагу из телятины в винном соусе, все самого нежного возраста, на самый утонченный вкус... У прямоходящего вида вдруг сильно возросла доля мяса в питании. На каменных орудиях обнаружены следы разделки туш животных. Анализ костей зверушек, сохранивших следы обработки, показал, что это были кости падали. Прямоходящие были трупоедами, как гиены, шакалы, марабу и грифы. Благодаря мясу у них сильно развилось одно из полушарий мозга, появилось абстрактное мышление. Правда, асимметрия полушарий наблюдается и у глупой канарейки, объясняемая ее способностью к имитации звуков.)

«Как интересно», — подает голос и Таня. Она смутно чувствует, что есть какая-то связь между помятой манишкой Эльвиры Евгеньевны и энергичным топотом Гериного отца в соседней комнате. Что весь белый свет соткан из снующих, как ткацкий челнок, связей, развивающих абстрактное мышление, соединяющих разновременные и разнородные явления, например, выход Леонова в открытый космос с выводом американских войск из Вьетнама, ввод советских войск в Чехословакию с появлением в поселковой школе Михал Михалыча и Эльвиры Евгеньевны, произошедшим, правда, в результате какой-то истории, которую преподает Гериная мать. Захватывающие связи пронесются по земной коре, как сейсмические волны, цепляя волокна парок.

На пороге комнаты возникает торжествующий отец. Он уже упаковал вкусную и здоровую с разбитым в кровь лицом учителя химии (директору тоже досталось), художественные открытки со старыми учебниками истории, в которых петитом набрано, что Екатерина переписывалась с Вольтером. Люба почти испуганно смотрит на отца: нет-нет, у нас есть мешочки, зачем нам ваша красивая сумочка, ее, наверное, Александра Петровна сшила? Таня подставляет мешочек, Люба берется за углы пестрой сумки... Сколько лишних движений! Чтобы раздолбить сосновую шишку, дятлу требуется семьсот ударов. Герман выхватывает из мешка — здоровую пищу, кости трупов, хрящики нежного возраста: «Это мамина книга». Отец ухмыляется и разводит руками. Он всех приглашает посмеяться вместе с ним. «Это книга для бо-ольших богатеев! Нам, простым людям, картошечки бы с селедочкой, правда, девчата?» — «А открытки! — восклицает Таня. — Мы всем классом собирали их для Александра Петровны». Среди открыток смятая фотография. Люба смотрит на нее — и молча сует во вкусную и богатую пищу. «Вы так ничего себе не возьмете», — замечает отец. «Нет, почему же, вот — учебники возьмем, Александра Петровна все равно ими не пользуется, у нее свой материал. Да и они ужасно старые...» Старые. Никакой связи между казнью Людовика Шестнадцатого в 1793-м и созданием ВЧК в 1917-м. «Берите, берите», — отец делает широкий жест рукой и опрокидывает флакон с заданием Михал Михалыча. «Извини, сынок, я не нарочно», — врет отец. Люба дергает Таню за рукав. «Спасибо вам. Мы пошли». По комнатам словно смерч пронесся: красноватая лужа на полу, рассыпанные открытки, грудой книг завален стол. Сцена сыграна. Отец молча уходит в свою конуру.

...Как защититься собакоголовым обезьянам от леопарда, льва и гиеновых собак? Они должны создать прочную организацию, чтобы дать отпор внешнему врагу. Но обезьяньи союзы непрочны, они то и дело предают друг друга, строят козни, и не создать бы им сложного иерархического общества, если бы не могучий инстинкт! Одна обезьяна, наиболее догадливая, хватается какой-либо незнакомый предмет, к которому более осторожные

обезьяны не рискуют приблизиться, например, пустую канистру, и начинает бить в нее, как в барабан. Или старается занять высокое место — кочку, пень. Если какая-то из обезьян слишком настойчиво претендует на кочку или канистру, наша обезьяна дерется с нахалом до тех пор, пока он не встанет в дамскую позу подчинения. Вокруг победителя тотчас начинают виться самки и «шестерки» — самые слабые, но наиболее лживые и коварные, которые будут повторять за лидером все его действия. Субдоминанты отделены от доминантов «шестерками». Они образуют тайные союзы, чтобы со временем свергнуть захватившую власть особь. Но павианы, например, образуют иерархическую пирамиду по возрастному признаку. Несколько седых патриархов, которые когда-то в молодости были способны неожиданно для остальных ударить лапой по канистре или занять кочку, оказываются наверху еще и потому, что пережили своих сверстников, погибших от зубов львов или стресса. Это групповое доминирование седых павианов называется геронтократией — властью старцев. Даже когда они впадают в старческий маразм, седые павианы не забывают в нужном месте и в нужное время скалить зубы, заставляя других самцов вставать в позу подчинения, требовать себе пищу, добытую другими. Патриархи находят себе поддержку в нежном возрасте — юные павианы видят в седой гриве атрибут власти и с радостью подчиняются ей. Старики любят свою молодежь, ибо, достигнув преклонных лет и почти утратив вкус ко многим вещам, сохраняют лишь страсть к учительству. Они учат юных раздирать гнилые пни, переворачивать камни, раскалывать орехи, докапываться до воды...

Между школьниками, копошащимися за партами, и студентами, сидящими за столами в аудиториях, которым совсем недавно преподавала Эльвира Евгеньевна Батаганова, большая разница. Школьники испытывают чистый и невинный интерес (или не испытывают) к обычаям собакоголовых обезьян и ничего дальше павианов не видят. Метафорическое мышление у них не развито. Детям неинтересны потайные карманы аллегорий с зашитыми в манжеты бритвенными лезвиями, им интересны конкретные обезьяны. Если сумеешь удержать их интерес на способе размножения кольчатых червей, на процессе молекулярного распада олова в результате оловянной чумы, не будет никаких листовок о разложении власти, которые Петр Григоренко раздает у проходной завода «Серп и молот», никакого нравственного распада общества, засвидетельствованного в далеком Нью-Йорке выходом сборника «Память», ширящегося по всей стране движения диссидентов, запрягших одну на весь самиздат «Эрику», пробиравшую пятнадцать экземпляров без интервалов — сплошняком на папиросной бумаге, политического изолятора на четвертом этаже Института Сербского, ленинградской спецбольницы с глазками и кормушками, двадцать седьмого отделения Кашенко, теории вялотекущей шизофрении Снежневского, трех уколов сульфазина, вызывающих сильнейшую боль и лихорадку, или аминазина по пять кубиков, от которого впадают в спячку, укуток в мокрые простыни, Мордовского лагеря, — если не будить спящую собаку... Если не носиться с капитаном Копейкиным как с символом. Не устраивать длинных перегонов из гипербол, метафор и цезур между обеими столицами, каждые двадцать миль меняя уставших лошадей. Чистить ружья обмылком кирпича, завещанного предками. Поймите, ребята, речь идет о павианах, ни о чем другом, только о павианах, которые учат юных докапываться до воды и раскалывать орехи. Никаких подводных течений, второго плана, сквозной мысли, параллельной культуры катушек Высоцкого, разматывающихся от Бреста до Сахалина, смеха сквозь слезы... Поверьте старой биологине: нет ничего плохого в школе, в которой строят рентген и в санэпидемстанцию выгонять глистов и бьют линейкой по рукам, чтобы не читали под партой «Трех мушкетеров»...

Студенческая же аудитория — пороховой погреб. Нежному возрасту достаточно упомянуть седых павианов, чтобы субдоминанты перемигнулись и начали скалить зубы... Скажешь про «позу подчинения», так лучшая часть студенчества встрепенется и пойдет прибавать к палкам самодельный плакат «Уважайте конституцию!» и «Долой позорную статью 190-1». Кто по будильнику встает на завод, тот никогда не познает опытно 190-1-й и, прочитав статью «Наследники Смердякова», зевнет и включит «Новости» с хорошими новостями. Валовой продукт на душу населения хорош, и вьетнамцы хороши, дали прикурить Америке из своих зарослей сахарного тростника... В детстве прилаживали скворечни к весенним березам, потому что конкретные скворцы прилетели, на крыльях весну принесли, в юности мастерят плакаты для далекой Пражской весны, доносимой голосами с иностранным акцентом: и старый павиан им уже не обезьяна, а душитель свободы, пустая канистра — средства массовой информации, кочка — Кремль и стена джунглей — «железный занавес»... А тут еще с катушек хриплый голос Высоцкого пересекает глушилки незаконной кометой: парня в горы тyani, рискни.

Чтобы раздолбать сосновую шишку, маленькому дятлу надо семьсот раз ударить клювом, а тут целую страну решили пятнадцатью полуслепыми копиями разделить под орех!.. Родной сын Сережа, подающий надежды биолог, вместо кольчатых червей занялся делом общественного спасения и сбором информации с передаваемых на волю тюремных клочков — и вылетел в два счета из университета... Когда Никсон приезжал в Ленинград, с Сережи потребовали расписку, чтобы он в это время не принимал участия в антиобщественных акциях, и отключили дома телефон... Теперь Сережа ошивается в Москве сторожем-дворником, по уши в революционной романтике бюллетеней, листовок, укруток-усушек — с неподкупным блеском в глазах, без всякого чувства вины, что из-за него мать выставили с любимой работы и фактически отправили в ссылку. А отец гордится даже сыном, что у того при обыске изъяли «Большой Террор» и номер спецвыпуска «Посева» со следами жирных пальцев оставшихся в стороне субдоминантов. Жирные пятна удаляются экстракцией, удалишь — и никакого контекста, один жирный подтекст, в который ребенок влип, как муха в янтарь, сделавшись для отца темой возвышенных бесед с Александрой Петровной, которая тихо преподает дневную историю, где нет ни «воронков», ни топтунов, ни указа об уголовной ответственности детей от апреля 1955 года... Собакоголовые обезьяны должны объединиться, чтобы защититься от львов, леопардов, гиен.

Когда Оля Бедоева, идущая с коромыслом на плече по протоптанной в снегу тропинке, видит шагающего ей навстречу человека, она пугливо делает шаг в сторону, уступая дорогу, и ждет стоя в снегу. Анатолий, встречаясь с Олей у колонки, всегда махал ей рукой — проходи, мол, но Оля, набывчившись, стояла в сугробе, и он понимал, что она так и будет стоять, пока вода в ее ведрах не затянется льдом, а ее саму не засыплет снег. Однажды Анатолий подошел и сказал: «Здравствуй, Ольга». — «Здравствуйте, Анатолий Петрович», — выдохнула неподвижная фигура. Анатолий поставил свои пустые ведра на снег. «Давай я поднесу тебе...» Оля испуганно шарахнулась в сторону, вода из ее ведер двумя широкими языками смахнула корку снега. «Нет-нет, спасибо вам, Александр Петрович».

Оля с полными ведрами. Все время попадается на его пути. Идет навстречу сквозь снег, сквозь дождик, сквозь сумрак прокуренного коридора редакции, который моет руками, согнувшись в три погибели, что-то пришептывая над полом, как английский король Карл Стюарт на эшафоте, под которым спрятался Атос...

Олю воспринимают просто — как факт. Если не у кого стрельнуть десятку, попросишь у нее взаймы, а она с такой торопливой готовностью

выворачивает карманы рабочего халата, что мелочь летит во все стороны. Анатолию интересно, почему она так дика, печальна, молчалива, почему торопится отдать первому встречному все, что у нее есть, до последней копейки... Оля родилась в Теберде, у нее там мать с отчимом живут, оба уже старые, а сама она выросла у тетки... Перепутались следы и роли, но конверт с анонимной тяжестью, в котором исторические события сплелись с генетическим кодом, доставлен точно по адресу, адресованный всем, всем, как карандашные строки странных стихотворений, написанные круглым ученическим почерком на стенке автобуса, курсирующего между райцентром и Кутково: *«Как хороша с молоком ты, пшенная каша! Если добавить еще ломоть тыквы, конечно... Что? Неужели забыла ты высеять тыкву? Как же! Сажать ее следует рано. Тыквы рассаду выращивай только в горшочках. Но семена не забудь поддержать во влажных опилках... Славная, славная с тыквою пшенная каша.»* Кто автор? Автор пожелал остаться неизвестным. И когда только он успевает намалевать свои стихи на стенке кабинки водителя? К кому обращены эти каракули, которые через несколько дней смываются и заменяются новыми? Может, в них содержится какой-то намек или даже тайное пророчество?

Оля верит в это и списывает стихи в блокнот, а потом показывает их Анатолию, который сам однажды в автобусе и обратил ее внимание на странные каракули. И с тех пор они вместе ломают голову над неизвестными стихами. *«Любит Петренко галушки, Петрович же — дранки, Петридзе — сациви под ркацетели. Русский Петров обожает блины со сметаной. Из-под несущки Козловых возьми два яичка, у Наливайко коровы добудь молока посвежее. Да замеси как сметана жидкое тесто. Позже плесни кипяточка покруче. Будут блинчики тогда тонкие и с пузырьками».* Козловы живут в Цыганках, Наливайки — в Рузаевке, а где пекутся блины — непонятно. Оля и Анатолий, повязанные общей тайной, наперебой списывают в блокноты неуклюжие строки, потом размышляют над ними. Больше им как будто говорить не о чем, зато, кроме их двоих, никто и не смотрит на эту детскую пачкотню.

Если Оля первая обнаруживает свежие вирши в автобусе, она, несмотря на испытываемую ею робость перед Александрой Петровной, приходит к калитке дома Лузгиных и ждет, пока кто-нибудь не заметит ее в окно. Сколько Шура ни приглашала ее войти в дом, Оля тихо отвечает: «Спасибо. Мне бы Анатолия Петровича...» Толя выходит на крыльцо. Оля заговорщицки кивает ему и идет к себе. Анатолий тут же набрасывает на себя куртку и натягивает сапоги. «У вас что, роман?» — с надеждой в голосе спрашивает его Шура. Анатолий ответа не дает, величественно махнув рукой на прощание. Оля поджидает его дома с листком бумаги, на котором она отпечатала на редакционной пишмашинке новое народное стихотворение. *«Зима начинает сдаваться на милость весны светлоокой. Пора высевать кукурузу, фасоль, огурцы, баклажаны. Но перец зеленый и помидоры помедли высаживать в почву. Минует опасность морозов, тогда ты не мешкай».* С каждым новым стихотворением Оля все больше выпрямляется, смелеет, будто корявые строчки дают ей повод привстать на цыпочки, сделаться выше ростом.

Проходит время, и Оля впервые отказывает в десятке Диме из отдела писем, раскатавшему губу на свежее «Жигулевское» в соседнем продмаге. Следы в редакционном коридоре затирает тряпкой на палке. Распускает пук густых смольных волос по плечам. Когда по телефону звонят жены журналистов, отрывисто отвечает: «Его нет» — и тут же нажимает пальцем на рычаг. Уходя с работы, забывает проветрить помещение. Зато у себя дома, где со времени смерти бабушки не делалось настоящей уборки, выскабливает застаревшую грязь металлическим скребком, меняет занавески на окнах, крахмалит скатерть и ставит на стол вазу с тремя розами из кра-

шенных куриных перышек. Ветер плещет в подсиненные ситцы, вздувает тюль, сквозь который просвечивает молодая зелень. Действительно, весна за окном. *«Смотри-ка, голые слизни добрались до помидоров. Цела ли гашеная известь в нашем чулане?»* Анатолий и Оля, как заговорщики, склонились над таинственными буквами с наклоном влево, что снова высыпали над кабиной водителя, как пляшущие человечки Конан Дойля. Оля уже смело отворяет калитку, входит во двор Толиного дома и тонким голосом зовёт: «Анатолий Петрович!», и Толя, провожаемый любопытным взором Шуры, гордо шествует навстречу Оле. У него и плечи распрямились, и в походке появилась небрежность. *«Эос летит на своей колеснице багряной. Шлейф ее звездный вьется меж Гончими Псами и Андромедой... Срежь георгины, поставь их в стеклянную вазу с горлышком узким, и к ним ты добавь повилику. Вот и отметим с тобою день твой рождения».* Анатолий потрясен: день рождения у него действительно в июле... Наконец-то тайна уловлена игольным ушком конкретного факта, кривая строка подплыла к какой-то реальности. Это знак. Теперь надо во все глаза следить за беспризорными стихами. На Олином столе поверх толстой общей тетради, в которую Оля записывает свои сны, лежит стопка отпечатанных на машинке виршей, в вазе горят георгины.

Оля в редакции небрежно машет тряпкой на палке, и паутина в углах кабинетов ее не волнует. Если попросят ее, как бывало, сбежать в типографию за свежими гранками, то неохотно собирается в путь недалекий, сумрачным взором блестя из-под челки пушистой... Наш автобус доставляет все новые вести. Радостно щебечут воробьи в яблонях. Анатолий каждый вечер бросает скомканную рубашку в бак с грязным бельем, прибавляя Шуре забот. Пусть знает, что на окраине Россоши в избушке на курьих ножках под розовым абажуром против нее плетется заговор. Надя, свирепо оттеснив мать с порога, кричит во двор: «Папки нет дома!» Но Анатолий уже выскочил из своей конурки.

Между тем шифр легко прочитывается сквозь модные в этом сезоне оборки на Олином платье. А на работе никто ни о чем не догадывается. Анатолий и Оля здороваются сквозь зубы, как будто между ними нет никакой общей тайны. Оля держится прямо и, если ее спрашивают о чем-либо, отвечает звонким счастливым голосом. Небо склоняет тяжелые ветки с плодами. Ночь загустела в пространстве, завязи туч полновесней. Ничего не происходит, кроме наступающей осени. Анатолий уже чувствует утомление от этой игры. Зритель, на которую она рассчитана, то есть Шура, ведет свою параллельную игру с одним человеком — коллегой, преподавателем химии...

Анатолий неохотно выходит на крыльцо, вяло следует за Олей... Что-то копится на темном краю неба, какие-то параллельные вести несутся по своей орбите, как комета, лето закатывается за край горизонта. У Оли белый плащ, и Шура купила такой же, может, вся Россошь и Калитва ходят в белых плащах, отовариваются же в одном магазине!.. У Шуры такой же, как у всех, белый плащ, но другой — он весь пропитан Толиной тревогой... Что делать! Что делать! Кто подскажет? Пляшущие человечки размыкают хоровод, их вереницу уносит куда-то в сторону. Чем лучше становятся стихи, тем ослепительней сияет Шурин плащ сквозь лесную чашу. Весной Оля должна дать окончательный ответ в Теберду — поедет она жить к старенькой маме и больному отчиму или нет.

Проходит несколько дней, и Анатолий, выскочив из своего редакционного кабинета, налетает на Олю, стоящую во тьме коридора с его курткой в руках, в которую она самозабвенно зарылась лицом... Тут он все-все понимает. И когда Оля (она уже уволилась с работы и собралась уезжать в Теберду, они не виделись больше месяца), стоя за калиткой, тоненьким

голосом зовет Анатолия Петровича, чтобы вручить своему другу на память *тетрадь снов*, ему уже не нужно ее признание, что она-то и была автором тех детских стихов! Он презирает ее за эту интригу так глубоко, что, ничего не соображая, только желая как-то отделаться от нее, взамен *тетради снов* отдает ей малахитовую шкатулку Шуры, битком набитую скопившимися виршами, и, стиснув зубы, смотрит, как Оля, прижав шкатулку к груди, уходит по темной тропинке, унося с собою розу, сфинкса, часы на звериных лапах... И тут снег лавиной обрушивается на землю.

В 1912 году лейтенант российского флота Г. Л. Брусиллов на средства своего богатого дяди снарядил экспедицию на Север. Он так страстно мечтал осуществить сквозное плавание по Северному морскому пути за одну навигацию, так торопился со сборами, что забыл прихватить на борт своей «Святой Анны» санное снаряжение и солнцезащитные очки, и эта оплошность, на первый взгляд не слишком значительная, на самом деле оказалась такой же катастрофической, как если бы судно получило серьезную пробоину...

Писатель Вениамин Каверин вбил в эту пробоину изрядный сюжетный клин, разложив образ реального лейтенанта на двух капитанов и одного демагога и вредителя Николая Антоновича...

В 1928 году, когда каверинский Саня Григорьев поступал в летную школу, весь мир устремился на поиски пропавшей экспедиции Нобиле. Но пока французы, англичане и итальянцы снаряжали суда и дирижабли, советские летчики с самолетов указали знаменитому ледоколу «Красин» оптимальный путь во льдах. Ледокол в сочетании с самолетом — такого еще не было в истории освоения высоких широт, и именно на это новшество авторитетно указал великий путешественник Нансен.

Три года понадобилось Госплану СССР, чтобы осмыслить новое фундаментальное открытие, после чего «Сибиряков» получил возможность пройти по «чистой воде».

История «Двух капитанов» разыгрывается в жуткой тесноте и даже скученности, в коммунальном ящике, оплетенном не вполне надежными широтами и долготами, так как судовые хронометры, как указывает в своем рапорте капитан Татаринев, не имели поправки в течение более двух лет... Герои романа в своих передвижениях по лику земли покрывают почти четыре десятка градусов широты от Энска до Земли Франца-Иосифа, но все время наталкиваются друг на друга... Письмо, выловленное из реки в сумке утонувшего почтальона, все же доходит до адресата.

Читательская наивность и доверчивость Германа априори обеспечивала успех роману плюс небольшое з-заболевание, с-слегка сместившее центр его личности в сторону пряничных меридианов Сани Григорьева... Много позже, уже разлюбив эту книгу, он разгадал простодушную хитрость матери, читавшей ему вслух историю про немого мальчика Саню — немого от рождения, а вот поди ж ты, выбившегося в полярные летчики! У заики, ясно, перед немым преимущество... Да еще лики Молокова, Ляпидевского, Леваневского на самодельном абажуре, фантастическим светом заверяющие подлинность всей этой хитрой каверинской акупунктуры, легкого пробегания пером по заранее оговоренным в Кремле болевым точкам кредитования всей имевшейся в наличности реальности: здесь немного про бездомных, про беспризорных, здесь малость проблему подрастающего поколения осветим, здесь тему вредительства, весьма актуальную, здесь слегка про блокаду Ленинграда и ее героических защитников — слегка... Расчет писателя встретился с расчетом матери, переживающей за своего ребенка, в неуловимой точке чуткого детского времени, гораздо более протяженного, чем путешествие капитана Татаринева, дрейфующего вокруг Земли Франца-Иосифа и почему-то открывшего Северную Землю чуть ли

не десятью градусами дальше... Роман, прочитанный вслух матерью с выражением, потому что она поняла тайное с-страдание сына, который с того момента, как пошел в школу, стал говорить очень медленно, заменяя начинающиеся на две непослушные буквы слова их синонимами, совершенно случайно попал в точку.

Интерес к литературе с тех пор остановился для Германа на одной книге, освещенной реальными летчиками-героями, — как внимание Сани Григорьева, задержавшееся на точке пересечения 80 градусов 26 минут северной широты и 92 градуса 8 минут восточной долготы, к которой вела таинственная цепочка следов: письма в сумке утопленника, фотография в Катинском доме, две тетради штурмана Климова, латунный багор со «Святой Марии», кусок парусины, измятая жестянка с клубком веревок, лодка, поставленная на сани, в ней два ружья, секстант, полевой бинокль, спальник из оленьего меха, топор, бечевка с самодельным крючком, примус в кожаной — теплее, все теплее! — часы, охотничий нож, лыжные палки, пакет с фотопленкой, — горячо! — палатка во льдах и под ней — совсем горячо! — заледеневшее тело капитана Татаринова... Тут и немой заговорит.

Среди множества историй особого внимания заслуживают истории о чувстве одиночества. Дух индивидуализма, погруженный в раствор коммунального отчаяния, в романе Каверина начинает оформляться в робкую тенденцию (вредительство, очковтирательство и проч.). Но только дух авантюрного одиночества питает хорошую историю. На фоне такого одиночества роль общества чисто функциональна. Оно ведает физиологией, проталкивая по кишечным петлям гнилое мясо Николая Антоновича, а химические процессы совершаются вне поля его зрения. Вредительство в романе — это еще и просверленные Николаем Антоновичем дырки в фор-трюме корабля своего соперника, под второй палубой, значительно ниже ватерлинии вырезы борта вместе со шпангоутами, вплоть до наружной обшивки, дыры шириной от 12 дюймов и длиной до 2 футов... Вот это вредительство так вредительство! Право, одного Николая Антоновича на такое не хватило бы, здесь действовала группа диверсантов...

Герман в дыры не поверил. Негодные ездовые собаки, гнилое мясо — еще куда ни шло, но что касается двухфутовых вырезов — это уж дудки. Это опять же автор их вырезал... Через просверленные дырки постепенно и улетучились простор Севера и полеты Сани Григорьева вслепую через белую мглу. Забытые очки лейтенанта Брусилова слетели с капитана Татаринова, как бинты с тела человека-невидимки, и «Два капитана» провалились в трещину...

Истории о чистом одиночестве всегда уникальны, Сане Григорьеву этого чувства не доставало. Например, такая история из истории, рассказанная Герману мамой...

21 ноября 1783 года на Марсовом поле собралась большая толпа парижан. Люди окружили воздушный шар. Вокруг него суетятся изобретатели — братья Монгольфье. Это не первый запуск *летального* (как говаривали раньше) аппарата в Париже, но никогда еще «воздушный глобус» из шелка не достигал столь внушительных размеров — 14 метров в поперечнике.

Король Людовик Шестнадцатый, в коричневом кафтане с вышивкой, поверх которого надета голубая орденская лента, *собственноручно* удерживает одну из веревок, опутавших оболочку. Известный химик Пилатр де Розье, сделав поклон в три темпа, просит у него дозволения сесть в корзину, но король, опасаясь за его жизнь, отказывает ученому. Между тем наиболее находчивые из парижан протискиваются сквозь толпу — кто с барашком в руках, кто с петухом, кто с уткой. Животных сажают в кор-

зину, после чего Жозеф Монгольфье дает знак отпустить веревки. Король послушно следует приказу изобретателя. Шар взмывает вверх. Король, приставив ладонь к глазам, следит за стремительно уносящимся в небо «глобусом»...

Время делает мощный глоток, сдвигает шелковые и парусиновые декорации с неба, и под ним вдруг оказывается хитрое сооружение с косо падающим ножом. Палач дает знак, веревку отпускают, душа взмывает в небо... Но смерть с косой на башенных часах еще не сделала и четверти оборота по кругу; король стоит задрав (еще целую) голову в небо, смотрит на медленно плывущую в сторону небольшой рощицы точку... Башенные часы вращают жернова, король смотрит в небо, из лопнувшей оболочки со свистом выходит воздух.

Король смотрит в небо, по которому наконец проложена первая трасса, и это слишком серьезное событие для того, чтобы оно Людовику, любителю технических новшеств и всяческого прогресса, могло сойти с рук, — серьезнее, чем плетущиеся против него заговоры в Пале-Рояле, листовки Камилла Демулена, отставка Жана Неккера и растраты огромных средств на Трианон. Но канаты давно опущены, на парусиновой галерее улетают любимый токарный станок короля и географические карты, которые он клеит на досуге, милые патриархальные занятия, освященные духом абсолютизма, не считающегося ни с бараном, ни с петухом, ни с осатаневшей от налогов толпой парижан, ни с оборотом календарей-хронометров в карманах ростовщиков, ни с новой воздушной трассой... Сам, лично отпустил веревку.

Это правдивая история, в ее шелковой оболочке нет дыр, просверленных Николаем Антоновичем, через которые улетучивается авантюрный дух одиночества, нет вырезов ниже ватерлинии, через которые хлынет гнилое мясо из знаменитого фильма Эйзенштейна. История об одиночестве барана, влекущегося на бойню. И никаких немых мальчиков-летчиков. Но как ни странно, человеческий организм легче усваивает гнилое, как это утверждает Эльвира Евгеньевна, скорбный биолог, поэтому коллективный дух Сани Григорьева в сознании Германа одержал временную победу над одиноким духом короля. И чтобы проделать обратный путь от конца книжки к ее полному исчезновению из памяти, надо отыскать припорошенные снегом знаки — латунный багор, жестянку с веревками, кусок парусины, секстант, сумку почтальона, — назад, назад к реальным с-самолетам Молокова, Леваневского...

(Окончание следует.)



ВЕРОНИКА КАПУСТИНА



БЛАГОДАРЯ ЛУНЕ

* *
*

Благодаря Луне,
и только ей одной,
висящей в тишине
над жизнью заводной,

Благодаря Луне
однажды в феврале
осознаешь вполне,
что это на Земле.

Ведь нам еще знаком
другой подлунный мир,
где Солнце под замком,
зенит его, надир

утрачены во мгле,
пропали, не видны,
но чудом уцелел
зеркальный свет Луны.

Там ночь на нас горой,
уснул — и был таков,
как маленький герой
«Серебряных коньков»,

на лезвии конька
ты катишься, скользя,
не рассветет пока,
догнать тебя нельзя.

А унесет отлив
плавучую страну —
тогда, глаза открыв,
застав еще Луну,

вновь обрета и вес,
и ломоту в костях,
вдруг радуешься: здесь
ты дома, не в гостях.

И после ночи нов
наш плотный, несквозной
мир стульев и шкафов
и весь пейзаж земной.

А сна оборван край,
и вызывает страх
его невнятный рай
на беговых коньках.

Похож на явь, похож!
Но чем-то нам не мил:
там раз — и обойдешь
того, кого любил.

А свист, а мертвый гул,
а страх на вираже!
Кто раньше нас уснул,
недостижим уже.

Шаги его легки,
он встал на скользкий путь...
Скорее снять коньки!
Вернуть, вернуть, вернуть!

Вернуть неровный пол,
в ботинке вечный гвоздь,
пусть неприятен гость —
он наяву пришел,

угрюмую весну,
проклятый недосып
и на небо Луну,
как на стену часы.

* *
*

Пока заблужденье такое еще живет,
Что мир ужасен, но человек хорош,
Пока ты объект своих забавных забот,
Пока тебе подают хоть медный грош

Общей луны, брошенной в наш канал,
Стоит этот город — тупик, заправский ад,
Позволяя думать, что это он виноват,
Это он замучил тебя совсем, доконал...

Он тебе назло поставил тяжелый столп
На пустынной бульжной площади, у реки.
Он сгущает свой бедный воздух и шепчет: «Стоп!»,
Не давая тебе коснуться чьей-то руки.

Это он клешнями своих разводных мостов
Не пускает наверх, в кучевой и перистый рай,
Куда ты каждую зиму сбежать готов,
Это он хрипит простуженно: «Не умирай!»

«Человек хорош, это я, это я урод, —
Согласится собор, золоченой каской слепя, —
Посмотри, как бледен, светел, прекрасен тот,
Кто идет вдоль реки ко мне, забыв тебя...»

Перестань на миг заблуждаться на этот счет:
Человек не лучше, чем камни, мосты, трава, —
И разлезется город, разъедутся острова,
А какой-нибудь в море обиженно утечет.

* *
*

Чужой язык меняет голос:
тон повышает, понижает.
То серебрит, как время волос,
то будто в воду погружает.

Пугают сны таким кошмаром:
стучусь к тебе, а дверь закрыта.
Ты отвечаешь мне на старом,
остывшем языке забытом.

Твой голос тише стал и глуше.
За словом — шлейф беззвучной пыли.
Ты не устал и не простужен —
тебя там просто подменили.

Я говорю: «Открой» — на четком,
обидно правильном наречье,
как будто вычистили щеткой
все звуки перед нашей встречей,

Обильно смазав, как детали.
Твой диалект — сухой и мертвый,
как будто голос твой пытали.
На пленке ставят мне затертой

останки, усмехаясь криво...
Страшней, чем двери, даже стены,
больнее ссоры и разрыва
любые тембра перемены.

* *
*

Видишь не дальше носа — такой туман.
Упираешься взглядом в пустой товарный вагон.
Сопrotивляясь, пространство вытолкнет, как лиман,
в ту же точку, откуда брали разгон.

Да, перемены есть: тогда гобой
в переходе метро сопел, теперь кларнет.
Но все происходит с тобой, опять с тобой.
Это все еще ты, а прошло, например, семь лет.

Так плыви себе под кларнет, гобой, фагот.
 Суетись, пританцовывай, не понимай,
 почему тебе нужен этот, не близок тот,
 и тебя выбирает хам, войдя в трамвай.

В ту секунду, когда поймешь, какой закон
 возвращает тебя в неясность из пустоты,
 и откроется горизонт, отойдет вагон,
 вдруг окажется: это уже не ты.

* *
 *

Крикливым клином улетают от нас туристы,
 Покрывшись в этом старом парке гусиной кожей.
 Они забудут зонтик старый и неказистый,
 Двоих оставших на скамейке забудут тоже.

Застрять на парковой скамейке им лет на двести.
 Такая выпала удача, и тяжело длится.
 И почему всех одиноких ссылают вместе?
 И отчего у этих ссыльных такие лица,

Как будто их несут по свету, влекут по кругу
 Крылатые большие силы, как гуси Нильса?
 И если бы они рискнули обнять друг друга,
 То воспротивился бы воздух и уплотнился.

* *
 *

Поддай мне запыленный южный сон —
 не станцию, а просто остановку,
 не доезжая Харькова. Вагон
 пускай ведет к обеду подготовку,
 шурша фольгой куриной, помидор
 искусно и бескровно рассекая.
 Какой давно некрашенный забор,
 какой ребенок, женщина какая
 стоят в окне вагона моего,
 о чем ревет ребенок этот трубно —
 не важно, и подателю всего
 устроить сон такой совсем нетрудно.
 Поддай мне промедленье, мысль о том,
 о чем, проснувшись, позабуду вскоре:
 вот эта жизнь — кому-то вечный дом.
 А мы... мы постоянно едем к морю.



ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА



СВОЯ ПРАВДА

Повесть

ИРИНА

Ее жизнь была проста и сложна одновременно. Впрочем, как у каждого человека.

Ирина Ивановна Гусько родилась в простой русской семье, в городе Баку. Баку в те далекие советские времена — интернациональный город, объединивший все народы.

Жизнь протекала во дворах.

Маленькая Ирина играла с соседскими детьми — Хачиком, Соломончиком, Поладом и Давидом. Приходило время обеда, из окон высовывались мамы и бабушки и звали детей, каждая со своим акцентом. И все было привычно. Иначе и быть не могло.

Ирина любила бегать к морю и залезать с мальчишками на нефтяную вышку, на самый верх. Это было опасно. Дети могли легко сорваться, разбиться, соскользнуть в смерть. Они не осознавали этой опасности. Дети.

Родителям было не до Ирины. Она сама формировала и сама заполняла свой день. Набегавшись, возвращалась домой, спала без задних ног. При этом задние ноги были грязные и в цыпках. Однако — детство, начало жизни, ее нежное сияние. Ирина любила постоянно орущую мать, постоянно дерущегося брата. Любят ведь не за что-то. Просто любят, и все.

Ирина училась на три и четыре. По пению — пять. Она хорошо пела — сильно и чисто. Ее всегда ставили запевалой. Она становилась впереди хора, исполняла запев. А хор подхватывал — припев. Какое это счастье — стоять впереди всех и петь...

Ирина окончила школу и поступила в Педагогический институт. Учитель — это всегда хорошо. Почетно и сытно.

Ирина видела своими глазами, как азербайджанские родители таскали учителям корзины с продуктами: домашние куры, фрукты, зелень. Учителя в ответ ставили нужные отметки. Зачем глубинные знания восточным девочкам? После школы выйдут замуж, будут рожать детей. Математика понадобится только для того, чтобы считать деньги на базаре. А русский может не понадобиться вообще.

Ирина помнила заискивающие лица родителей и учеников. Ей это было по душе: держать в страхе и повиновении. Как Сталин всю страну, но в более мелком масштабе.

Ирина хотела властвовать. Так она побеждала комплексы униженного детства.

В студенческие годы у нее было одно платье. Вечером стирала, утром гладила. Но даже в этом одном платье в нее влюбился Володька Сидоров, из Политехнического института. Они познакомились на танцплощадке.

Токарева Виктория Самойловна родилась в Ленинграде. Закончила сценарный факультет ВГИКа. Автор многих книг прозы, а также сценариев «Джентльмены удачи», «Мимино» и др. Печаталась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и т. д. Живет в Москве.

Прежде чем пригласить Ирину, Володька заслал к ней своего друга Бориса — спросить: пойдет ли она с ним танцевать?

Борис — высокий красавец — подошел к Ирине, у нее сердце всколыхнулось. Она готова была упасть в его руки. А оказывается, Борис просто спросил: пойдет ли она танцевать с его другом?

— А где он? — разочарованно спросила Ирина.

Володька приблизился — коротенький, широкоплечий, как краб. Не Борис, конечно. Но и не урод. Почему бы не потанцевать? Мог бы и сам подойти.

На другой день они отправились в кино. Володька в темноте взял ее руку. Ирина хотела в туалет по малой нужде, но выйти среди сеанса было неудобно. Она терпела, мучилась, и Володькина нежность не производила должного впечатления.

После сеанса отправились в парк. Володька прислонил Ирину к дереву и, нажимая на ее тонкий девичий стан, стал впечатывать свои губы в ее губы.

Современная девушка сказала бы запросто: отойди на пять шагов и отвернись. И через десять секунд жизнь приобрела бы совсем другие краски. Но девушки пятидесятых годов — это другое дело. Мальчик не должен знать, что в девушке скапливается моча, — это стыдно. Они вообще — дюймовочки, рожденные в цветке.

Короче говоря, Ирина описалась в тот самый момент, когда Володька ее целовал. Было темно, ничего не видно, только слышен шум падающей струи.

Володька повертел головой на короткой шее и спросил:

— Что это?

Ирина тоже повертела головой, как бы прислушиваясь, и спросила:

— А где это?

Потом она быстро увела Володьку от этого дерева к другому и целовалась с другим настроением, полностью участвуя в поцелуе, изнывая от томления. Разве что тормозила его руки, когда они соскальзывали ниже талии.

Вечером опять пришлось стирать платье. Володька ничего не заметил в тот раз. А если бы даже и заметил — легко простил. Его ничто не могло свернуть с пути познания Ирины, ее тепла, ее запаха и тайных тропинок. Он хотел познавать — дальше, и глубже, и долго. Всегда.

Они поженились.

Мать рассказывала соседям: как ни придешь, всегда лежат. И это правда.

Через девять месяцев у них родился ребенок. Мальчик. Хорошенький, со светлыми кудряшками, как Ленин в детстве.

У Ирины — сессия, ребенок в яслях. Придешь забирать — он мокрый по горло, простуженный, недокормленный. Голова идет кругом: не знаешь, за что хвататься — за пеленки или за конспекты. В зеркале Ирина натыкалась на свое серое лицо с синяками под глазами. Хотелось лечь и ни о чем не думать, заснуть летаргическим сном. Володька не помогал, у него одно на уме. Ирина подчинялась с обреченностью овцы, но, даже занимаясь любовью, думала о том, где взять денег, что сварить на завтра, как сдать экзамен.

Принято считать, что материнство — счастье. Счастье — когда есть деньги, есть помощники. Когда есть все, и ребенок — ко всему.

А когда нет ничего, сплошные нагрузки, то ты уже не человек, а лошадь под дождем.

Прошло десять лет.

Володька после института работал на заводе маленьким начальником. Шум, грохот, пьяные работяги. Трезвыми они бывали до обеда, то есть до двенадцати часов. А после двенадцати — святое дело. И Володька с ними. Но меру знал. Его уважали.

На работе Володьке нравилось. Он вообще любил работать. Ему было интересно в процессе... Конечная цель определена, и каждый день — продвижение к цели.

А дома — скучно. Ирина вечно чем-то недовольна, вечно ей мало денег. Сын постоянно что-то требует: то катай его на спине, то учи уроки, то играй в прятки. А Володька устал. Какие прятки... Он предпочитал лечь на диван и уснуть.

Он так и поступал. Газету на лицо, и — на погружение.

Появлялась Ирина и начинала дергать вопросами, как рыба за крючок. Володька всплывал из своего погружения, разлеплял глаза. Ну не может он приносить больше, чем ему платит государство. Не может он идти в гости, ему там скучно. Он может работать и спать. Да. Такой у него организм.

Противоречия со временем не рассасываются, а усугубляются. Ирина в знак протеста игнорировала супружеские обязанности, отказывала в жизненно необходимом. И все кончилось тем, что у Володьки появилась любовница — армянка. Ирине передали: с волосатыми ногами. Раньше он приходил домой, ел и спал. А теперь — приходил, ел и уходил. Спал у армянки.

Начались скандалы на новую тему. Раньше было две темы, теперь стало три.

Ирина решила гнать неверного мужа из дома, но мать сказала:

— Ты что, сошла с ума? Кто же отдаст родного мужа в чужие руки?

Ирина задумалась. Ей стало обидно, что Володька, ее, и только ее, вдруг нашел другие ноги, глаза, не говоря об остальном.

Ирина работала в школе, в младших классах. Проверка тетрадей съедала все свободное время.

В учительской активно обсуждали ее семейную ситуацию. Ирина поделилась с подругой, географичкой, а то, что знают двое, — знает свинья. В песне поется: «Мне не жаль, что я тобой покинута, жаль, что люди много говорят...»

У Ирины было чувство, что она голая стоит посреди учительской, а все ходят вокруг нее кругами и рассматривают с пристрастием. Было стыдно, холодно и одиноко.

Большинство коллектива держало сторону Ирины: самостоятельная, в порочащих связях не замечена, прекрасный специалист. Дисциплина в классах — как в армии, учебный процесс обеспечен. И закон на ее стороне: штамп в паспорте, ребенок. Семья.

А армянка — кто такая? Но были и сторонники армянки. Говорили, что, как всякая восточная женщина, армянка беспрекословно подчиняется мужчине, не задает лишних вопросов, не критикует, упаси бог. Только вкусно готовит и подчиняется. Ну и отдается с большим энтузиазмом. Всю душу вкладывает. И опять же — южный темперамент. Ну и глаза — большие и бархатные. У всех южных людей большие и красивые глаза. Вырисовывался привлекательный образ: красивая, кроткая, покорная, темпераментная... Володьку можно понять.

Ирина пригорюнилась. Что делать?

Укреплять семью — дружно посоветовали в учительской. Родить второго ребенка — ребенок привяжет. И опять же алименты. На двоих детей — тридцать три процента. Зачем армянке алиментщик? Армяне умеют считать деньги. А если родится девочка, Володька вообще никуда не денется. Отцы любят девочек как ненормальные.

Сказано — сделано. Ирина изловчилась и зачала ребенка. А через девять месяцев родилась девочка. Назвали Снежана. Имя — нежное, нерусское. Ирина предпочитала все нерусское, это называлось «преклонение перед Западом». Хотя скоро выяснилось, что Снежана — болгарское имя. Курица — не птица, Болгария — не заграница. Лучше бы назвали Мария,

международный стандарт. Но Снежана осталась Снежаной, сокращенно — Снежка. Это имя ей очень шло.

Володька ходил задумчивый, но образа жизни не поменял. После работы приходил домой, ел и уходил. А основная его жизнь протекала у армянки.

— Хочешь, я его изобью? — спросил Павел, старший брат Ирины.

— Не знаю, — задумчиво ответила Ирина.

Она действительно не знала, что делать. С одной стороны, ей хотелось избить и даже убить Володьку, чтобы не достался никому. А с другой стороны, он был ей дорог именно сейчас, когда ускользал из рук. Ирина вдруг увидела в нем массу достоинств: немногословный, честный, трудяга, а главное — мужик. Мужская сила — в глазах, в развороте плеч и в верности, как это ни странно. Он больше десяти лет был верен Ирине, теперь до конца дней — той. Видимо, одной женщины маловато для мужского века.

Павел избил Володьку без разрешения. По собственной инициативе. Так он защищал честь сестры. Не один, а с товарищем. Они метелили Володьку, пока тот не упал. А когда упал — дали пару раз ботинком в морду. От души. Володька вернулся домой, выплюнул зубы, собрал вещи. И уехал из города. Вместе с армянкой. Боялся, что и ее побьют.

Ирина отчитала Павла. Он сорвал всю схему. Девочка бы росла, Володька бы привыкал и, возможно, оторвался от армянки. А если не оторвался, жил бы на два дома. Все лучше, чем ничего. А что теперь? Тридцать три года, двое детей. Кому нужна? Кому нужны чужие дети...

Надо было выживать. Но как?

Ирина отдала девочку в ясли, и сама в ясли — работать. Пришлось уйти из школы. В яслях обе сыты, дочка присмотрена. И еще домой прихватывала из столовой: кастрюльку супа, сверху кастрюльку котлет с лапшой, в банку компот из сухофруктов. Получалось полноценное питание для сына Саши — белки, витамины. Жить можно, с голоду не помрешь. И на одежду хватало: зарплата плюс Володькины алименты. Были сыты, одеты и даже принаряжены. На праздниках Снежана смотрелась лучше всех в бархатном зеленом платице и лаковых туфельках.

Но не хлебом единым жив человек. Особенно в молодые годы.

Директор детского сада подкатывался к Ирине, но у него изо рта воняло горохом. Говорят, нелюбимые плохо пахнут. А любимые — благоухают. Взаимное тяготение скрыто в запахах. Как у собак. Просто люди об этом не догадываются.

Ирина не могла целоваться с директором. Ее мутило.

Потом возник вдовец. Познакомились в очереди за картошкой. Вдовец с ребенком, мальчик — Сашин ровесник... Не старый, лет сорока пяти. Приличный. Ирина стала присматриваться: жилплощадь, зарплата... Но однажды вдовец произнес такую фразу:

— Ты своего сына отдай матери. А Снежана пусть останется с нами. У нас будет двое детей — твоя девочка и мой сын. Поровну.

Когда смысл сказанного дошел до Ирины, а дошел он быстро, в течение минуты, вдовец перестал существовать. То есть физически он еще стоял посреди комнаты, но для того, чтобы дойти до порога, одеться и выйти за дверь, ему понадобилось три минуты. После чего он исчез из ее жизни и из ее памяти.

Саше к тому времени было двенадцать лет. Длинненький, с крупными коленками на тонких ногах, как олененок. Он везде ходил следом за матерью, носил тяжелые сумки, помогал, как настоящий мужчина. Ирина советовалась с Сашей по части прически и макияжа. И он давал совет типа: не крась губы фиолетовой помадой, ты с ней как утопленница... Ирина стирала с губ модный в те времена фиолетовый цвет, заменяла на нежно-розовый. И действительно становилась моложе и естественней.

Ирина любила сына до судорог, хотя видела его недостатки: ленивый, безынициативный... Но при чем здесь достоинства и недостатки, когда речь идет о собственных детях. Недостатки Ирина тут же превращала в достоинства. Ленивый, зато не нахальный. Скромный. А эти «не ленивые» прут, как носороги, попирая все человеческие ценности.

Когда за вдовцом хлопнула дверь, Ирина заплакала. Но слезы были светлые и крепкие. Она поняла, что ей ничего не светит по части любви, надо жить ради детей и ставить их на крыло.

Снежана пошла в первый класс, и Ирина вернулась в школу. Снежана училась хорошо, хватала на лету. Было ясно, что девочка неординарная. И другие замечали.

Ирина уже ничего не ждала для себя лично, и в этот момент судьба сделала ей царский подарок. Этот подарок назывался Кямал.

Сначала Ирина услышала его голос.

Она сидела дома, проверяла тетради, когда зазвонил телефон. Ирина сняла трубку и отозвалась:

— Але!..

— Попросите, пожалуйста, Джамала, — прозвучал приятный мужской голос.

— Вы не туда попали, — вежливо ответила Ирина и положила трубку.

Сосредоточилась на проверке тетрадей, но снова — звонок и тот же голос:

— Позовите, пожалуйста, Джамала...

— Я вам уже сказала: вы не туда попали. — Ирина положила трубку.

Прошло пять секунд. Звонок.

— Нет тут никаких Джамалов, — с легким раздражением отчитала Ирина. — Вы какой номер набираете?

Приятный мужской голос проговорил нужный ему номер.

— Ну вот так и набирайте, — велела Ирина.

— Извините, — отозвался приятный баритон.

Ирина положила трубку, но уже не могла сосредоточиться на работе. Ей казалось, он снова позвонит. И он позвонил.

— Але! — гавкнула Ирина.

В трубке молчали. Несчастный обладатель баритона уже не решался позвать Джамала.

— Это вы? — проверила Ирина.

— Это я, — честно отозвался баритон.

— На телефонной станции неправильно соединяют, — предположила Ирина.

— А что же делать?

— Дайте мне телефон вашего Джамала, я его наберу и скажу, чтобы он вам позвонил. Как вас зовут?

— Кямал.

— Он вас знает?

— Ну да. Я его родной брат.

— Хорошо. Я скажу, чтобы Джамал вам позвонил. Какой телефон?

— Мой?

— Да нет. Зачем мне ваш? Джамала телефон.

Кямал продиктовал. Ирина записала и положила трубку.

Далее она набрала нужные цифры. Подошел голос, как две капли воды похожий на предыдущий. Значит, Кямал и Джамал — действительно братья.

— Позвоните, пожалуйста, своему брату Кямалу, — официально проговорила Ирина. — Он не может до вас дозвониться.

— А вы кто? — спросил Джамал.

— Телефонистка.

Ирина положила трубку. Сосредоточилась на работе. Она проверила четыре тетради, когда снова раздался звонок.

— Большое спасибо, — сказал Кямал. — Все в порядке.

— Ну хорошо...

— А как вас зовут? — спросил вдруг Кямал.

— А зачем вам? — не поняла Ирина.

— Ну... Я к вам привык. У вас такой красивый голос.

Ирина усмехнулась.

— А давайте увидимся, в кино ходим, — предложил Кямал.

— А как вы меня узнаете?

— А вы возьмите в руки газету.

Баритон был неопасный и очень нежный. А в самом деле, почему бы и не сходить в кино...

— А сколько вам лет? — спросила Ирина.

— Двадцать шесть. Много.

Ирина огорчилась. Ей было тридцать два. На шесть лет старше.

Но в конце концов, не замуж же выходить. А в кино можно сбежать и с разницей в шесть лет.

— Значит, так, — распорядилась Ирина. — На мне будет белый шарфик в черный горох. Если я вам не понравлюсь, пройдите мимо.

— Вы мне уже нравитесь, — простодушно сознался Кямал.

Молодой наивный мальчик. Это тебе не вдовец с копотью жизненного опыта.

Ирина оставила Снежку на Сашу. Показала, чем кормить и во сколько. А сама нарядилась, надушилась духами «Белая сирень» и отправилась к кинотеатру.

Ирина стояла полчаса и поняла, что Кямал не придет. Вернее, он был, но прошел мимо. Зачем ему нужна русская тетка с двумя детьми? Про детей он, конечно, не знал, но узнал бы. Ирина вздохнула и пошла к автобусной остановке, чтобы вернуться домой. Она уже сделала десять шагов, когда перед ней внезапно, как из-под земли, возник Омар Шериф в натуральную величину. Белые зубы, белая рубаха, русая голова. Русский азербайджанец. Такое тоже бывает. Он схватил Ирину за руку и сказал, задыхаясь:

— Меня Джамал задержал. Приехал в последнюю минуту.

— А вы бы сказали, что спешите...

— Не могу. Старший брат.

Значит, брата нельзя напрягать, а Ирину можно. Мусульманская семейная клановость имела свои достоинства и недостатки, как два конца одной палки.

Ирине стало ясно, что эта встреча ничего не даст. Кямал — законченный красавец. Зачем она ему? Даже смешно. Жаль? Ничуть. Она ничего не приобретала, но и не теряла. Еще не вечер, и жизнь впереди. Не этот, так другой. А можно — ни того, ни другого. Мужчина нужен для продолжения рода. А дети — уже есть. Программа выполнена.

— На журнал опоздали, — сказал Кямал. — Но ничего...

Он взял Ирину за руку, будто знал давно, и они побежали. И белый шарфик в черный горох развевался на ветру.

Журнал уже шел, но их пустили. Они прошли на свои места и сели рядом.

Зерно сыпалось в закрома страны, узбеки собирали хлопок, и он тоже сыпался, как вата. Ирина преувеличенно напряженно смотрела на экран, а Кямал — она это видела боковым зрением — смотрел на Ирину. Присматривался. Примеривался.

Кямал был хороший мальчик из хорошей азербайджанской семьи. Его мать, актриса ведущего бакинского театра, хотела для него хорошую девочку из хорошей азербайджанской семьи, не актрису, не дай бог... Такая

девочка все не находилась. Не простое это дело — правильно выбрать другую жизнь, мать будущих детей.

Кямал в темном зале обсматривал русскую молодую женщину, и она нравилась ему все больше. Во всем мягкость: в овале лица, в льняных волосах, во взгляде голубых глаз. У азербайджанских девушек не бывает такой голубизны и такой льняной мягкости.

Когда фильм кончился, Кямал был влюблен окончательно и готов к любой аванюре.

Авантюра затянулась на долгие годы.

«Какое счастье, что Володька меня бросил, — думала Ирина. — Иначе я не узнала бы, что бывает такое...»

Кямал работал в правоохранительных органах, в чине капитана. Его отец и брат тоже трудились на этой ниве. Отец — генерал, Джамал — полковник. Может быть, они сами себе давали звания...

Кямал приходил на работу, окидывал взглядом стены кабинета и звонил Ирине в школу. Она уже ждала его звонка и сдергивала трубку.

— Позовите, пожалуйста, Джамала... — произносил Кямал.

Ирина радостно хохотала, звенела как колокольчик. Кямал слушал ее счастливого звон, в нем все резонировало и отзывалось. Кямал шептал Ирине в ухо такие вещи, о которых принято молчать. Ирина в ужасе шила глазами по сторонам — не слышит ли кто. Нет. Никто не слышал и даже не догадывался.

Ирина обмирала от слов. Пульс начинал стучать в самых неожиданных местах — в горле, например, в губах и много ниже.

— Спасибо. Вы очень любезны, — сухо проговаривала Ирина, чтобы ввести учительскую в заблуждение. Пусть думают, что она разговаривает по делу. Но любовь — разве это не дело? Это самое главное из всех дел, какие существуют в жизни человека.

Звенел звонок. Ирина брала журнал и шла на урок. Она двигалась как лунатик, глядя в никуда и туманно улыбаясь.

Кямал хватал плащ, выбегал на улицу, запрыгивал в троллейбус. Через двадцать минут он оказывался возле школы. Садился на скамейку и поднимал лицо, наводил взгляд на уровень второго этажа.

Ирина подходила к окну. Видела Кямала и наводила свой взгляд на уровень его глаз. Их взгляды пересекались, и по ним текло электричество большой мощности. И если в это электрическое поле попадал комар или жук — падал замертво.

Ирина не могла вести урок. А выйти из класса она тоже не могла. Директору бы это не понравилось. Ирина давала невинным детям самостоятельную работу, например, нарисовать птицу. Или — написать сочинение: как я провел лето. И снова возвращалась к окну. И замирала. И жуки падали замертво, попадая в силовое поле их любви.

Вечерами Кямал учил со Снежаной уроки, играл с Сашей в шахматы. Он был практически мужем и отцом. Дети его любили, особенно Снежжка. Она не помнила родного отца. Это место в ее душе занял Кямал. Многие говорили, что они похожи: Снежжка и Кямал. И действительно что-то было.

Иногда ходили в гости. Но это был круг Ирины. В свой круг Кямал ее не вводил. Ирина имела статус любовницы, а в Азербайджане этот статус не престижен, мягко говоря. Но что они понимают? Ни у кого и никогда не было такой близости. Ирина и Кямал вместе ели, вместе спали, вместе думали. И не было такой силы, которая могла бы их растащить по разным пространствам.

Умер Павел — старший брат Ирины. Тот самый, который избил Володьку. Болезнь называлась длинно и мудрено: лимфогранулематоз. Заболевание крови. И от чего это бывает?

Ирина пошла в больницу брать справку, удостоверяющую смерть. Ей выдали его вещички: пиджак, брючата и часы. Часы еще шли. Ирина заплакала. Кямал стоял рядом и страдал. Павла он не знал, но горе любимой видел впервые, и его сердце рвалось на части.

Потом они шли по больничному парку. Кямал вдруг остановился посреди дорожки и стал страстно целовать ее лицо, глаза, рот. Это противоречило мусульманской морали: целоваться среди бела дня при всем честном народе. Это не Франция. Но Кямал игнорировал мораль. Ирина отвечала ему так же истово. Казалось бы, горе должно отодвинуть неуместную страсть. Но ничего подобного. Ирина топила свое горе в любви, от этого любовь становилась выше, полноводнее, как уровень воды в водоеме, если туда погрузить что-то объемное.

А может быть, горе выбрасывает в кровь адреналин, а счастье — расщепляет и выводит из организма. И человек лечится любовью интуитивно.

Но скорее всего, счастье и горе — два конца одной палки. И составляют единое целое.

У любви есть одно неприятное осложнение: аборт. Предотвратить их было невозможно. Ирина не хотела и не могла думать о последствиях, когда попадала в объятия столь желанные. Все остальное меркло в лучах нежности и страсти. Природа мстила за разгильдяйство. У природы свои законы.

К абортам Ирина относилась легко, гораздо легче Кямала. Провожая любимую женщину в абортарий, он мотал головой, как ужаленный конь.

— Оставишь ты меня без потомства, — упрекал Кямал. Он хотел ребенка, но предложения не делал. Он хотел оставить все так, как есть, плюс еще один ребенок, сын. Фархадик, например.

Однажды Ирина задумалась: а почему нет? Пусть будет Фархадик, где два ребенка, там и три.

Ирина тянула с очередным абортom. Жалко было убивать плод любви. Она поехала к матери — посоветоваться. Мать жила в поселке, под Баку. Ирина ехала на электричке и все больше приближалась к решению оставить ребенка. Укреплялась в этой мысли и уже любила маленького.

— И не думай, — жестко отбрила мать. — Зачем плодить безотцовщину? Мало тебе двоих?

— Я его люблю, — тихо сказала Ирина.

— И что с того? Азербайджанцы женятся только на своих. У них вера. А с русскими они просто гуляют. С азербайджанками не погуляешь. Там надо сразу жениться. А русские для них — «джуляб»...

Что такое «джуляб», Ирина хорошо знала.

Мать была груба, как всегда. Наверное, она страдала за свою дочь, и это страдание вылезало наружу такой вот бурой пеной.

— Я пойду, — сказала Ирина, поднимаясь. — У тебя капустой воняет. Меня тошнит.

Ее действительно тошнило, от всего. И от родной матери в том числе.

Ирина возвращалась домой и думала о том, что ее мать, к сожалению, не познала женского счастья и не имеет о нем представления. Для нее любовь — это штамп в паспорте и совместное проживание. А что там за проживание? Бездуховный труд, взаимное раздражение и водка — как выход из постоянного негатива. Расслабление. Или, как сейчас говорят, — релаксация. Народ самоизлечивается водкой и от нее же вырождается.

Женщины крепче и выносливее мужчин. Мать не пьет, терпит эту жизнь. Но она даже не знает, бедная, как пахнет любимый мужчина.

У Кямала несколько запахов: его дыхание — земляника, подмышки — смородиновый лист, живот — сухое сено. Кямал пахнет всеми ароматами земли, чисто и трогательно, как грудной ребенок. И она готова его вдыхать, облизывать горячим языком, как волчица, и так же защищать.

Володька был эгоистичен в любви. Думал только о себе, как солист. Один, и главный, и все должны под него подстраиваться. Кямал — совсем другое дело. Он приглашал в дуэт. Он и Она. Оба старались не взять, а дать счастье. И были счастливы счастьем другого.

О! Как она любила этого человека. Ей нравилось, как он ест — жует и глотает. Как он спит — мирно дышит... Ей нравилось слушать его речь, хотя это была речь непродвинутого человека. Книжек он не читал. А зачем? Зачем нужны чужие мысли. И зачем разбираться в музыке, когда можно просто петь. А картины существуют только для того, чтобы вешать их на стену. Смотреть — не обязательно.

Его главная реализация — любовь. Вот тут он был великим человеком. Исторгать большое чувство и принять большое чувство — это тоже талант.

Для Ирины существовали три ценности: дети, хозяйство и Кямал. Она хорошо готовила, умела и любила колдовать над кастрюлями. Женщина. Ее мать готовила плохо. Детей полулюбила. То есть любила, но ничего для них не делала. Любовь к мужчине для нее — грязь. Спрашивается: зачем живет человек?

И все же после разговора с матерью Ирина пошла и сделала аборт. Одним больше, одним меньше.

Кямал тряс головой, вопрошал:

— Как ты можешь убивать в себе человека?

Ирина не отвечала. Она могла бы сказать: «Женись, тогда и требуй». Но это — грубо. Если бы Кямал хотел на ней жениться, так она бы знала. А если не делает предложения — значит, не хочет. И разговаривать на эту тему опасно. Можно договориться до разрыва. Остаться с правдой, но без Кямала. Лучше жить в неведенье счастливом.

Единственное, что позволяла себе Ирина, — это вопрос:

— Ты меня не бросишь?

Он прижимал к сердцу обе руки и тарачил глаза:

— Я тебя никогда не брошу... Мы всегда будем вместе. До смерти.

И она успокаивалась. До смерти далеко. И в каждом дне — Кямал.

Дни действительно бежали один за другим.

Саше исполнилось восемнадцать лет. Его забрали в армию, увезли куда-то. Поселили в казарме.

Через полгода Саша сбежал. Сел на поезд и добрался до Баку. Появился на пороге. Ирина все поняла и обомлела. Ноги стали ватные. Побег из армии — это статья. Это тюрьма. А что делает тюрьма с восемнадцатилетним мальчиком — можно догадаться.

Ирина кинулась к Кямалу. Кямал — к отцу-генералу. Генерал позвонил куда надо. Саша вернулся обратно. В части сделали вид, что не заметили его отсутствия. Вроде болел, а теперь выздоровел.

Через три месяца потребовался еще один звонок, и Сашу перевели служить под Баку. Он околачивался в военном санатории, подметал дорожки, таскал трубы и кирпичи. Батрачил. На выходные уходил домой. А потом постепенно стал ночевать дома. Все были спокойны. Благодаря кому? Кямалу.

Денег в семейный бюджет Кямал не вносил. Его зарплаты едва хватало на карманные расходы. Но у него в районе жили близкие родственники, и раз в месяц Кямал привозил полную машину небывалых по качеству и количеству продуктов: домашнее вино, битые индюки и поросята, фрукты, зевающие, еще живые осетры.

Кямал сваливал это все на стол, получался натюрморт такой красоты, что даже жалко есть. Кямал в такие минуты чувствовал себя не нахлебником, а настоящим мужчиной — добытчиком и кормильцем.

Снежана задумчиво смотрела на усопшие мордочки свинячьих детей, на бледную шею индюка — поверженной жар-птицы, и в ее неокрепшей

голове всплывали мысли о жестокости. Видимо, жестокость заложена в схему жизни как ее составляющая.

На выходные уезжали к морю: Ирина, Кямал и Снежана.

Каспийское море в те времена было чистым, целебным. Кямал заплывал далеко, даже страшно. Снежана в купальничке строила крепость из мокрого песка. Ирина и тут хлопотала: чистила овощи, раскладывала на салфеточках. Горячее в термосе, у нее специальный термос с широким горлом, для первого и второго.

Кямал возвращался — холодный, голодный и соскучившийся. Прижимался волосатой грудью к ее горячему телу, нагретому солнцем. Целовал лицо в крупинках песка. Счастье, вот оно! Вот как выглядит счастье: он и она на пустынном берегу...

А мама Кямала все искала хорошую девочку из хорошей азербайджанской семьи. И нашла. Девочке было двадцать лет. Ее звали Ирада.

Кямалу имя понравилось, потому что было похоже на любимое имя: Ирина. И девочка тоже понравилась: скромная, даже немножко запуганная. Ему было ее жалко. Кямал вообще был добрым человеком. Формы Ирады созрели и налились, у нее была большая грудь и роскошные округлые бедра, но женственность еще не проснулась в ней. Она смотрела на Кямала, как на диковинную рыбу в аквариуме, — с интересом, но отчужденно.

Ираде — двадцать, Кямалу тридцать шесть, Ирине — сорок два. В сорок два уже не рожают. А в двадцать рожают — и не один раз, а сколько угодно. Это обстоятельство решило дело. Кямал хотел детей. Он уже созрел для отцовства, а Ирина упустила все сроки. Ирина не захотела рисковать. А кто не рискует, тот не выигрывает.

Мать Кямала страстно хотела внуков, и Кямал должен был учитывать ее желание. Желание матери в мусульманском мире — закон.

Все кончилось загсом. И скромной свадьбой. И после свадьбы — постелью. Близость с Ирадой конечно же получилась. Но не дуэт. Не Моцарт. Так... собачий вальс.

Кямал заснул и плакал во сне. Утром мать спросила:

— Ты ей сказал? — Она сделала ударение на слове «ей». Она никогда не называла Ирину по имени.

— Нет, — хмуро ответил Кямал.

— Поди и скажи, — твердо приказала мать. — Она все равно узнает. Пусть она узнает от тебя.

Кямал сел на троллейбус и поехал к школе. Он хотел приготовить слова, но слова не подбирались. Кямал решил, что сориентируется на месте. Какие-то слова придут сами. Она может сказать: «С русскими вы гуляете, а женитесь на своих». И это будет правда, но не вся правда. А значит, ложь. Он скажет Ирине, что это ложь. А она ответит: «Ты женился на девушке, которую знал десять дней. А меня ты знал десять лет. И ты обещал, что не бросишь до смерти...»

Кямал подошел к школе, но не решился войти в помещение. Это была территория Ирины, и он не рисковал. Ему казалось, что здесь ему поддадут ногой под зад и он вылетит головой вперед.

Вышел учитель физкультуры Гейдар. Они были знакомы.

— Привет! — поздоровался Кямал.

— Салям, — отозвался Гейдар. — Тебе Ирину? У нее дополнительные занятия.

— Позови, а? — попросил Кямал.

Гейдар скрылся за дверью и скоро появился.

— Идет, — сказал он и побежал на спортивную площадку. Там уже носились старшеклассники, как молодые звери.

Если бы Кямал читал стихи, ему бы вспомнились строчки одной замечательной поэтессы: «О, сколько молодятины кругом...» Но Кямал не думал о стихах. Он принес Ирине плохую весть. В старину такие люди назывались горевестники, и им рубили головы, хотя горевестники ни в чем не виноваты. Они — только переносчики информации. А Кямал — виноват, значит, ему надо два раза рубить голову: и как виновнику, и как горевестнику.

Ирина появилась на широком школьном крыльце, кутаясь в серый оренбургский платок. Было начало марта, ветер задувал сердито. Кямал увидел ее женственность и беззащитность. Она куталась в платок, как девочка и как старуха одновременно.

Он вдруг понял, увидел воочию, что бросил ее на произвол судьбы. И зарыдал.

— Что с тобой? — Ирина подняла и без того высокие брови.

Кямал рыдал и не мог вымолвить ни одного слова.

Ирина знала эту его готовность к слезам. Он часто плакал после любви, не мог вынести груза счастья, плакал по телефону, когда скучал. Кямал был сентиментальный и слезливый, любил давить на чувства. И сейчас, после десятидневной командировки, он стоял и давил на чувства. Дурачок.

Ирина снисходительно улыбалась. Обнять на пороге школы на виду у старшеклассников она не могла. Поэтому спросила:

— Вечером придешь?

— Приду, — отозвался Кямал.

— Я побегу, — сказала Ирина. — У меня там внеклассные занятия.

Она повернулась и пошла. Не догадалась. Ничего не почувствовала. И это странно. Ирина была очень интуитивна. Она слышала все, что происходит в любимом человеке. А здесь — тишина. Видимо, в самом Кямале ничего не изменилось. В его паспорте появился штамп. Но это в паспорте, а не в душе.

Ирина ушла. Кямал остался стоять. Слезы высохали на ветру. А в самом деле, думал он, почему бы не прийти вечером. Что случится? Ничего не случится. Он ведь не может так резко порвать все корни своей прошлой жизни. Тридцать шесть лет — зрелый возраст: свои ценности, свои привязанности. Вот именно...

Вечером Кямал появился у Ирины — с натюрмортом из сезонных овощей и фруктов, с куклой для Снежаны и с любовью для Ирины, которая буквально хлестала из глаз и стекала с кончиков пальцев.

Но в двенадцать часов ночи он засобирался домой, что странно. Кямал всегда ночевал у Ирины. За ночь тела напивались друг другом, возникала особая близость на новом, на божественном уровне. Для Ирины эта близость была важнее оргазма.

— Не могу остаться, — сказал Кямал. — Мама заболела.

Мама — это святое. Ирина поверила.

Мама болела долго. Год. Потом другой. Что же делать? Возраст...

Ирина постепенно привыкла к тому, что он уходит. Ничего страшно-го. Ведь он возвращается...

Кямал приходил два раза в неделю: понедельник и четверг. Два присутственных дня. Остальное — с мамой. Этот режим устоялся. В нем даже были свои преимущества. Оставалось больше времени для детей.

Саша постоянно пропадал где-то, как мартовский кот. Приходил домой только поесть. Ирина вначале волновалась, потом смирилась. Мальчики вырастают и вылетают, как птицы из гнезда.

Снежане — тринадцать лет, переходный возраст. Школа. Володька, законный отец, не интересовался детьми. Жил где-то в Иркутске со своей армянкой. Там тоже было двое детей.

Ирина не понимала, как можно быть равнодушной к своей крови, к родной дочери, тем более она такая красивая и качественная. Чужие восхищаются, а своему все равно. Мусульмане так не поступают. Южные народы чадолюбивы. Лучше бы Кямалу родила. Но это если бы да кабы...

Снежана сидела в углу и учила к школьному празднику стихотворение Есенина «Гой ты, Русь моя святая...».

— Что такое «гой»? — спросила Снежана.

— Значит «эй», — объяснила Ирина.

— Тогда почему «гой»?

Ирина задумалась. Если бы они жили в России, такого вопроса бы не возникло. Она вздохнула, но не горько. Ирина родилась в Баку, впитала в себя тюркские обороты, культуру, еду. Она любила этот доверчивый, красивый народ. Она пропиталась азербайджанскими токами и сама говорила с легким акцентом. И не избавлялась от акцента, а культивировала его. И русское тоже любила — блины, песни, лица...

Ирина была настоящей интернационалисткой. Для нее существовали хорошие люди и плохие. А национальность — какая разница...

Однажды Кямал уехал в Москву, в командировку. Сказал: на повышение квалификации. Он рос по службе и уже ходил в чине полковника.

Позвонил из Москвы и сообщил, что вернется через три дня, во вторник.

— Что приготовить: голубцы или шурпу? — радостно прокричала Ирина.

— То и другое, — не задумавшись, ответил Кямал.

Ирина поняла, что он голодный и хочет есть. Где-то шатается, бедный, среди чужих и равнодушных людей. А он привык к любви и обожанию. Его обожает мать, Ирина, ее дети, брат Джамал. Он просто купается в любви, а без нее мерзнет и коченеет. Кровь останавливается без любви.

— Как ты там? — крикнула Ирина.

— Повышение квалификации! — крикнул Кямал.

Телефон щелкнул и разъединился.

Вечером позвонил встревоженный Джамал. Они были с Ириной знакомы и почти дружны. С женой Джамала Ирина не общалась. Она видела, что та воспринимает ее вторым сортом. Не то чтобы «джуляб», но недалеко.

— Кямал звонил? — спросил Джамал.

— Да. Он приедет во вторник, — услужливо сообщила Ирина.

— А ребенок?

— Какой ребенок? — не поняла Ирина.

— Его оставляют на операцию или нет? Что сказал профессор? — допытывался Джамал.

— Какой профессор? — Ирина ничего не понимала.

Джамал замолчал. Трубку взяла его жена.

— Ребенка оставляют на операцию или отказались? — четко спросила жена.

— Какого ребенка? — повторила Ирина.

— А ты ничего не знаешь?

— Что я должна знать?

Жена брата помолчала, потом сказала:

— Ладно. Разбирайтесь сами, — бросила трубку.

Ирина осела возле телефона... Во рту стало сухо. Она постаралась сосредоточиться. И так: Кямал с каким-то ребенком поехал в Москву. Не на повышение квалификации, а показать профессору. Нужна операция. Значит, ребенок болен. Чей ребенок? Джамала? Но тогда Джамал сам бы и поехал. Значит, это ребенок Кямала. Он женился, и у него родился большой ребенок.

Ирина вспомнила, как он рыдал на школьном крыльце. Вот тогда и женился. И с тех пор стал уходить домой ночевать.

Все выстроилось в стройную цепь. Обман вылез, как шило из мешка.

Кямал вернулся. Появился во вторник, как обещал. Его ждали голубцы и шурпа.

Он ел, и губы его лоснились от жира, капли стекали по подбородку.

Ирина не хотела портить ему аппетит, но, когда он отодвинул тарелку и отвалился, спросила:

— Что сказал профессор? Он берется делать операцию или нет?

Кямал навел на Ирину свои голубые глаза и смотрел незамутненным взором.

— Ты женат, и у тебя ребенок, — сказала Ирина в его голубые честные глаза.

— Кто сказал?

— Джамал.

— А ты слушаешь?

— Еще как...

— Врет он все. Он мне завидует. Он не любит жену, просто боится. Не слушай никого.

У Кямала было спокойное, чистое лицо, какого не бывает у лгунов. Ложь видна, она прячется искоркой в глубине глаз, растекается по губам. Ирина усомнилась: кто же врет — Кямал или Джамал? Можно спросить, устроить очную ставку. Можно, в конце концов, позвонить к нему домой или приехать к нему домой. Предположим, она увидит жену и сына. И что? Она скажет: ты меня обманул. Но разве он обманывал? Разве он обещал жениться? Он только любил. И сейчас любит. Оставил больного ребенка — и к ней. Любовь к женщине сильнее, чем сострадание. Кямал был любовником и остался им. И все же мать Ирины оказалась права: они женятся на своих.

— Слушай только меня и больше никого! — приказал Кямал и вылез из-за стола. — Все завидуют. Ни у кого нет такой любви...

Он икнул и пошел в душ.

Ирина стелила кровать, но движения ее рук были приторможены. Руки уже не верили. И это плохой знак.

Потом они легли. От Кямала пахло не земляникой, как прежде, а тем, что он съел. Мясом и луком. Он дышал ей в лицо. Ирина не выдержала и сказала:

— Поди сполосни рот.

Кямал тяжело слез и пошел голый, как неандерталец. Было стыдно на него смотреть. И это тоже плохой знак.

Саша уехал первым. Он отправился в Москву с азербайджанскими перекупщиками овощей. В Москве торговал на базаре. Азербайджанцы держали его за своего. Акцент вьелся как родной.

Там же, на базаре, познакомился с блондинкой. И Ирина скоро получила свадебные фотографии. На фотографии Саша надевал обручальное кольцо на палец молодой невесте.

Невеста — никакая, мелкие глазки, носик как у воробья. Не такую жену хотела она своему Саше. Ну да ему жить...

Ирина поплакала и устремила все свои чаянья на Снежану. Дочь ближе к матери.

Снежана заканчивала школу. В нее был влюблен одноклассник Максуд Гусейнов. Отец Максуда — министр.

Ирина замерла в сладостном предчувствии. Ее дочь войдет в богатый престижный дом. И тогда статус Ирины резко поднимется. Она уже не учительница младших классов, разведенка, русский «джуляб». Она — сватья самого Гусейнова, у них общие внуки. Денег у Гусейновых хватит на детей, внуков и еще на четыре поколения в глубину. Можно будет бросить дополнительные занятия, и даже школу можно бросить. Она будет появ-

ляться в тех же кругах, что и родители Кямала, актриса и генерал, и сдержанно здороваться.

Но произошло ужасное. Снежана влюбилась в мальчика с соседнего двора, татарина по имени Олег. Олег — старший в семье, у него десять братьев и сестер. Десять голодных голозадых татарчат ползают по всему двору и жрут гусениц.

Как это случилось? Как Ирина просмотрела? Узнала от соседней. Оказывается, этот Олег каждый день провожает Снежану, и они каждый день отираются в парадном. Мать — «джуляб», и дочь в нее...

Ирина поняла, что времени на отчаянье у нее нет. Надо немедленно вырвать Снежану из среды обитания и отправить подальше от Олега. В Москву. В Сашину семью. Пусть там поступает и учится.

Ирина созвонилась с Сашей. Саша нашел медицинский техникум. Не врач, но медсестра. Тоже хорошо.

Отправили документы. Снежана получила допуск.

Надо было лететь в Москву.

Ирина поехала проводить дочь. Самолет задерживался. Зашли в буфет. Ирина купила Снежане пирожное — побаловать девочку. Как она там будет на чужих руках? Сердце стыло от боли.

Снежана жевала сомкнутым ртом. Ротик у нее был маленький и трогательный, как у кошки. Глаза большие, круглые, тревожные. Как любила Ирина это личико, эти детские руки. Но любовь к дочери была спрятана глубоко в сердце, а наружу вырвалась грубость, как ядовитый дым. Точно как у матери. С возрастом Ирина все больше походила на мать — и лицом, и характером. Умела напролом идти к цели, как бизон.

— Максуд знает, что ты едешь в Москву? — спросила Ирина.

— Да ну его... — ответила Снежана.

Так. Все ясно. Статус останется прежним и даже упадет. Деньги Гусейновых будут служить другим.

— А этот? — Ирина даже не захотела выговорить имя «Олег». — Этот знает?

— Я буду ему писать, — отозвалась Снежана. Не хотела распространяться.

— Скажи, пожалуйста, — вежливо начала Ирина, — почему тебя тянет в самую помойку?

— Я его люблю. А твоего Максуда терпеть не могу. У него пальцы как свиные сардельки.

— При чем тут пальцы?

— А что при чем?

— Перспективы, — отдельно произнесла Ирина. — Какая перспектива у твоего аульного татарина? Метла? И что у вас будут за дети?

Снежана сморгнула, и две слезы упали в чашку с чаем.

— Не могу... — Ирина растегнула кофту. Ей не хватало воздуха.

Подошла официантка Джамия, бывшая ученица Ирины. В городе было полно ее учеников. Девочки, как правило, не тяготели к высшему образованию.

— Здравьете, Ирина Ивановна, — поздоровалась Джамия. — Передали, рейс опять задерживается. Вы слышали?

— Ты иди, — участливо предложила Снежана. — Я сама улечу.

Ирина растерянно посмотрела на Джамию.

— Идите, идите... Я за ней присмотрю.

— Что за мной смотреть? — пожалла плечом Снежана. — Что я, ребенок?

Ирина поняла, что серьезного разговора с дочерью не получится. Слишком тесно стоят их души. Снежане эта теснота невыносима. Ей будет спокойнее, если Ирина уйдет и перестанет мучить.

Ирина ушла. Она ехала на автобусе и тихо плакала. Снимала слезы со щеки. Как медленно тянулся каждый день! И как мгновенно промчались семнадцать лет. И теперь вот Снежана уезжает. И хорошо, что уезжает. Первая любовь — нестойкая. С глаз долой — из сердца вон.

Ирина вошла в свою квартиру через полтора часа, и тут же зазвенел звонок. Звонила Джамиля. Она сообщила, что Снежана не дождалась самолета. За ней приехал высокий черный парень, и они вместе куда-то испарились. И на посадке Снежаны не было.

— А билет? — растерянно спросила Ирина.

— Ну вот... — ответила Джамиля. Что она могла добавить.

Билет пропал. Снежана сбежала с Олегом.

У Ирины горело лицо, как будто наотмашь ударили дверь. «Ну вот...» — повторяла она.

Мать не знала любви и не понимала Ирину. Но ведь Ирина знает, что такое любовь, — страсть, а тоже не понимает дочь. Что это? Конфликт поколений? Нет. Если бы Снежана выбрала Максуда, воспитанного и начитанного мальчика, золотого медалиста, никакого конфликта поколений не было бы.

И дело не в деньгах. Дело в общении. В атмосфере семьи. Но, с другой стороны, Кямал — тоже не философ. А она была с ним счастлива. И даже сейчас, после вранья, — тоже счастлива.

Ирина металась по квартире, хотела бежать, но не знала куда. Она не знала, где живет этот Олег, будь он трижды проклят. Ирина металась и билась о собственные стены, как случайно залетевшая птица.

Пришел Кямал — ясный и простодушный, как всегда. Ирина ударилась об Кямала. Он ее поймал, прижал, пригрел. Она утихла в его руках.

— Как будет, так и будет, — философски изрек Кямал. — Что такое семнадцать лет? Это только начало. Рассвет. Даже раньше чем рассвет. Первый солнечный луч. Пусть будет Олег. Потом другой. Зачем отдираать поживому? Само отвалится. Только бы не было последствий в виде ребенка.

Последствия не заставили себя ждать. Снежана ходила беременная. Ирина узнала об этом через чужих людей. Снежана не звонила и не появлялась. Видимо, боялась.

Ирина закрывала глаза и молилась, чтобы ребенок не появился на свет. Умер во чреве. Грех, грех просить такое у Бога. Но ребенок — крепкая нить, которая привяжет Снежану к Олегу. А Ирина хотела получить дочь обратно, отмыть, нарядить и пустить в другую жизнь, где чисто и светло. Как у Хемингуэя.

Снежана появилась через полтора года с восьмимесячной девочкой на руках. Значит, тогда в аэропорту она была уже беременна.

Снежана размотала нищенские тряпки, и оттуда, узенькая, как червячок, возникла девочка. У нее было русское имя — Александра, Аля. Она посмотрела на Ирину и улыбнулась ей, как будто узнала. И улыбка эта беззубая резанула по сердцу. Ирина тоже ее узнала. Родная душа прилетела из космоса.

Ирина взяла девочку на руки и больше не отдала. А Снежана и не требовала обратно. Она собралась в Москву учиться в медицинском техникуме.

Мать оказалась права. Теперь Снежана соглашалась с доводами Ирины. Олег — это дно. Там жить невозможно. Даже собаки живут лучше.

«В Москву, в Москву...» — как чеховские три сестры.

Снежана — в Москву. А Ирина — с маленьким ребенком на руках и с Кямалом два раза в неделю.

Сказать, что Ирина любила Алю, — значит не сказать ничего. Она ее обожествляла. Девочка — вылитый отец, смуглая, с большими черными глазами, вырезанными прямо. Уголки глаз — не вниз и не вверх, а имен-

но прямо, как на иконах. Носик ровный, а рот — как у котенка. Снежинин рот. Должно быть, Олег был красивым. Ирина, ослепленная ненавистью, даже не рассмотрела его. А он был красивый и, наверное, нежный.

Теперь, когда Снежана его бросила, Ирина была мягче к Олегу, но видеть не хотела. А зачем? И ребенка не хотела показывать. Она не хотела Алечку с кем-то делить. Даже с родным отцом. Надо сказать, что Олег и не настаивал. Он боялся Ирины, как мелкий травоядный зверь боится крупного. Бизона, например. Не сожрет, так затопчет.

Когда Ирина вспоминала свои непотребные молитвы, касающиеся беременной Снежаны, ее охватывал жгучий стыд, смешанный с ужасом. А если бы Бог послушал? Но, к счастью, он не прислушивается к глупостям. Он их игнорирует. Простил глупую бабу.

Алечка росла, развивалась и все удивляла чем-то новым: то «баба» скажет, то — «дай», то хлопает в ладошки.

Настала осень, школьная пора. Алечку пришлось отдать в ясли. Потом в детский сад. Все сначала, как тридцать лет назад. И та же бедность, как в начале жизни.

Кямал не помогал. Откуда? Натюрморты от родственников перековали в семью. Он не мог разрываться на два дома. На Восьмое марта подарил вегоневый шарф в клетку: зеленую, черную и красную. Мрачный такой, красивый шарф. Вот и весь навар от Кямала. Но Ирина не думала ни о каком наваре. Кямал пришел, чтобы украсить и осмыслить ее жизнь. Вот его роль и функция. Единственный человек, с которым Ирина не была бизоном, — это Кямал. С ним она была — голубка. И его два присутственных дня уравнивали и освещали всю неделю.

Правда, бывают мужчины, которые и осмысливают, и зарабатывают, и женятся. Но это у других.

От Саши пришло письмо. У него родился сын. Назвали Максим. Сейчас все мальчики — Денисы и Максимы.

Снежана вышла замуж за хорошего парня, зовут Олег. Опять Олег. Русский, золотые руки, работает автомехаником.

Ирина подняла глаза от письма. Автомеханик — тоже не профессор. Рабочий класс. Саша продает на базаре овощи. Ее дети не подняли жизненную планку.

Но самое интересное, Снежана не спрашивала: как Аля, как ее здоровье, на что они живут? Снежана отрезала от себя прошлую жизнь вместе с Алей, поскольку Аля — тоже часть ее прошлой жизни.

Ирине стало жгуче жаль свою маленькую внучку, которая никому не нужна, кроме своей бабки. Но ничего... Бабка еще в силе. Ее надолго хватит...

Вставали рано. Ирине — в школу, Алечке — в сад.

Ирина поднималась первая. Внучка сладко спала, подложив руки под щечку. Жалко было будить. Ирина зажигала свет. Алечкины веки вздрагивали. Световой сигнал выдергивал ее из глубокого сна.

Потом Ирина начинала ходить по комнате, пол скрипел, посуда в серванте отзывалась легким звоном. Эти слуховые сигналы тащили Алечку из глубокого сна на поверхность. И наконец она открывала глазки. Хныкала. Хотелось спать. Как хочется спать растущему организму. Но надо вставать. Это проклятое слово — надо. Не хочешь, а надо. Кому надо, спрашивается...

Кямал тоже любил Алечку, качал на ноге, пел песни по-турецки. Ирина обмирала: вдруг уронит. Стояла рядом и следила.

Кямал смешно пел непонятные слова. Аля радостно дрожала личиком. Ирина расслабленно улыбалась. Святое семейство.

Казалось, что так будет всегда. Но ничего не бывает всегда. Как говорила старуха-соседка: «Чисто не находисси, сладко не напьесси»...

Настала перестройка. И грянул Сумгаит.

Чушки — так называли азербайджанцев из района — потекли, как мутные реки, в город. Резали армян. Чушки шли в домоуправление, брали списки жильцов, вычленили армян и шли по адресам. Смерть приходила на дом.

Такого не было с 1915 года, когда турки резали армян с нечеловеческой жестокостью. Все повторилось через семьдесят лет. Чушки гонялись за армянами, которые были повинны только в том, что они армяне. Армяне защищались, как могли. Карабах, Карабах — вся страна была взбудоражена этим круглым словом, катящимся, как камень с горы.

Азербайджанцы считали Карабах своей землей, поскольку она географически находилась на территории Азербайджана. Армяне считали Карабах своим, поскольку испокон века заселяли и возделывали эту землю.

Можно было бы все так и оставить, пусть каждый считает своей. Какая разница. Живут в дружбе, и все... Но дружбу сменила ненависть.

Ненависть — фатальное чувство, такое же, как любовь, но со знаком минус. Ненависть — как эпидемия. Охватывает все пространство и не знает границ. С армян перекинулась на русских. Неверные должны освободить мусульманскую землю. Азербайджан — для азербайджанцев. Все, кто другие, — езжайте к себе. И даже в школу занесло эту националистическую заразу. Директор-азербайджанец многозначительно молчал, сжав рот курьей гузкой. Дети дрались без причин.

Ирина чувствовала себя виноватой непонятно в чем. Она боялась ездить в автобусе, боялась заходить в магазин. На нее смотрели с брезгливым пренебрежением. Хамили. Русский «джуляб» — это самое мягкое, на что можно было рассчитывать. Однажды двое молодых и вонючих затащили в подворотню и дали обломком кирпича по голове. Удар был не прямой, а скользящий. Содрало кожу. Кровь полилась, как из подрезанной овцы. Ирина заорала во всю силу легких. Чушки вырвали у нее сумку и убежали.

В сумке было всего пять рублей и губная помада. И удар — она это чувствовала — неопасный для жизни. Так что можно сказать — легко отделалась. Но Ирина не замолкала. Стояла и кричала — плакала, и было в этом крике все: и предательство города, и предательство Кямала. И четкое понимание, что ничего уже нельзя изменить.

Ирина решила уехать.

В Москву. К детям. Ее место — возле детей. Что ей сидеть возле жена-того Кямала...

В Россию. В Москву, в Москву...

Настала минута прощания.

Кямал помогал собрать вещи, принес пустые коробки из-под марокканских апельсинов и моток бельевой веревки. Все-таки какая-то польза от него была.

Молча паковали книги, посуду. Кямал был деловит, но подавлен. Потом поднял голову и спросил:

— А как же я?

— Ты будешь жить с женой и воспитывать сына, — ответила Ирина.

Он понял, что она все знает. Наивный человек, он до сих пор полагал, что Ирина ему верит безоглядно.

Кямал опустил голову. Врать дальше он не хотел. Вернее, хотел, но в этом вранье уже не было никакого смысла.

— Что с твоим сыном? — спросила Ирина.

- Врожденный порок сердца.
- Это опасно?
- До пятнадцати лет живут, — ответил Кямал.
- А сейчас ему сколько?
- Пять.

Значит, осталось еще десять. Одно дело растить свое продолжение, а другое дело... Ирине страшно было даже думать об этом. Она не хотела ставить себя на место Кямала даже в воображении. Бедный Кямал...

— Когда ты женился? — спросила Ирина. — Когда к школе пришел? Когда плакал?

- Да...
- А почему не сказал?
- Я не мог. Ты прости...

Кямал заплакал, но иначе, чем всегда. Обычно он плакал как ребенок, чтобы видели, и сочувствовали, и утешали. Это был плач-давление. А сейчас он плакал как мужчина. Прятал лицо.

— Я тебя прощаю, — сказала Ирина. Он заплатил судьбе сполна. Что уж теперь считается...

Она обняла его за голову. От его волос пахло чем-то родным и благодатным. От них ушло общее будущее, но прошлое осталось и въелось в каждую клетку. Все-таки любовь, если она настоящая, остается в человеке навсегда. Как хроническая болезнь.

Ирина собралась в Москву не с пустыми руками. Она сосредоточилась и выгодно продала квартиру соседям — за шесть тысяч долларов. Деньги по тем временам — немереные. Если перевести на рубли — миллионы. Считай, миллионерша.

Ирина все узнала: можно прописаться в квартире сына или дочери. Не временно, а постоянно. Имея постоянную прописку, можно устроиться работать по специальности. Учителей не хватает, поскольку никто не хочет работать за маленькие деньги. Но маленькие — тоже деньги. Ирина умела виртуозно экономить. Она могла бы даже написать диссертацию на тему «Выживание индивида в современных условиях».

Предстоящая жизнь рисовалась так: Саша с женой, двое детей — Максим и Аля. И она — глава рода, на хозяйстве и воспитании детей. Молодые работают. Ирина — держит дом. Все логично. Впереди — счастливая старость, ибо нет большего счастья, чем служить своим детям.

Поезд отходил через сорок минут. Пришлось взять целое купе, иначе не уместились бы узлы и коробки. Провожал Кямал. А кто же еще...

Ирина позвонила в Москву с вокзала. Набрала код Москвы и номер Сашиного телефона.

— Але, — раздался молодой плоский голос. Ирина догадалась, что это жена Людка.

— Сашу можно? — закричала Ирина.

Она не доверяла технике, а ей необходимо быть услышанной.

— Его нет. А кто это?

— Ирина Ивановна. Его мама.

— Ну... — скучно отреагировала Людка. — И чего?

— Передайте Саше, что я еду. Пусть он меня встретит завтра в семь утра, поезд Баку — Москва, вагон четыре, место шестнадцать...

Ирина ждала, что Людка возьмет карандаш и все запишет: время прибытия, номер вагона. Но Людка недовольно спросила:

— В гости, что ли?

— Почему в гости? Жить.

— К нам?

— А куда же еще? — удивилась Ирина.

Людка оказалась тупая. Мать едет к сыну. Что тут долго разговаривать? Но Людка, видимо, считала по-другому: сначала надо спросить разрешения, а не ставить перед фактом.

Ирина бросила трубку. Вернулась к вагону. Кямал держал Алечку за руку, поглядывал на часы.

— Иди, — сказала ему Ирина. Забрала Алечкину руку в свою.

Ирина не хотела дожидаться той минуты, когда поезд тронется и Кямал побежит рядом, задыхаясь, чтобы хоть на секунды отодвинуть расставание. Ей было его жаль.

Жалеть надо было себя: сорвалась с места, как осенний лист, ни кола ни двора, и как там ее встретят, да и встретят ли... Жалеть надо себя, но она жалела Кямала — своего третьего ребенка. Как он будет справляться с жизнью, бедный мальчик, у которого еще один бедный мальчик...

Слезы жгли глаза, но Ирина стиснула зубы.

— Иди, Кямал... — приказала она. — Иди и не оборачивайся.

Кямал послушался, он привык ей подчиняться и пошел не оборачиваясь. Он уходил в свою жизнь, где больше не было счастья, а только долг и страдания.

Ирина не спала всю ночь. Жалость и упреки скребли душу, как наждачная бумага. И непонятно, встретит ее Саша или нет.

Саша подошел к вагону и привел друзей. И они ловко погрузили в «рафик» все ее узлы и коробки.

Алечка стояла возле машины, тепло закутанная. Ирина боялась перемены климата.

— Мне снились лошадки, — сказала Алечка.

— Да? — отреагировал Саша. Ему не хотелось вникать. Ирина поняла: поезд ночью вздрагивал, покачивался, и Алечке казалось, что она едет на лошадках.

Ирина наклонилась и поцеловала свою дочку-внучку. Ей было жалко ее, стоящую в толпе среди чужих равнодушных людей.

Начиналась московская жизнь.

МОСКВА

Саша подавил яростное сопротивление жены, и Ирина с Алей поселились в их двухкомнатной квартире, в районе Братеева. Братеево — название бывшей деревни. Ирине казалось, что она попала не в Москву, а в город Шевченко с тоскливо одинаковыми блочными строениями.

Какой смысл жить в Москве, если обитаешь в Братееве? С таким же успехом можно жить в Тамбове и в Туле...

Снежана с мужем снимали комнату в Химках. Но даже туда Ирина не пошла, потому что ее не звали. Снежана с мужем сами приехали в гости, привезли торт и бутылку шампанского. Алечке — ничего.

Ирина даже онемела от возмущения. Не видеть дочь четыре года и приехать с пустыми руками! Это что-то уж совсем непостижимое.

Отправляясь в Москву, Ирина побаивалась, что Снежана заберет Алю. Но Снежане это и в голову не приходило. Она вся была в своем новом Олеге.

Новый Олег — с бородой и глазами, как Че Гевара. Но без беретки. Держался скромно.

Ирина с места в карьер поинтересовалась квартирным вопросом и выяснила, что Олег со Снежаной снимают комнату в коммуналке.

— А где вы раньше жили? — спросила Ирина у Олега.

— С родителями, — ответил Олег.

— Тоже в коммуналке?

— Нет. У нас трехкомнатная квартира.

— Вы там прописаны? — допрашивала Ирина.

— Ну да...

— А почему вы не можете жить в одной из трех комнат? Разве лучше снимать? Выбрасывать деньги на ветер?

Снежана сжалась. Она видела, что мать ступила на тропу бизона и теперь будет переть, затаптывая всех и вся на своем пути.

— Я предпочитаю жить отдельно, — сдержанно ответил Олег. Он видел, что не нравится теще, и это его сковывало.

Ирина догадалась, что родители Олега недовольны его женитьбой на женщине с ребенком. Если прописать Снежану, то автоматом надо прописать и Алю. Они не хотели чужого ребенка. Кому нужны чужие дети...

— Вы можете разменять жилплощадь, — подсказала Ирина.

— Родители меняться не хотят. Они там привыкли. А судиться с ними я не буду.

— Почему? — Ирина не видела другого выхода, кроме суда.

— Потому, что это противоречит моим принципам. — Олег твердо посмотрел на тещу. — Родители уже старые, а я молодой. У меня профессия, я все себе заработаю.

— Правильно, — одобрила Людка. — Поведение настоящего мужчины...

Для Людки было главным закончить дебаты и поднять тост. И залить глаза, тем более что на столе стояла классная закуска, приготовленная Ириной: паштет из печенки, три вида салатов, селедочка под шубой, а на горячее — утка в духовке, обмазанная медом. Запах по всему дому.

— За воссоединение семьи! — произнес Саша и метнул рюмку в рот.

Ирина заметила, что он не пьет, а именно мечет — одну за другой. Научился. Еще Ирина видела, что он заматерел, расширился в плечах, стал похож фигурой на Володьку, но выше ростом.

Семья накинулась на закуски. Максим ел не вилок, как положено, а столовой ложкой, чтобы больше влезало. Ирина подвинула ему вилку и шлепнула по руке. Она не любила Максима за то, что он был похож на Людку. Копия. Те же мелкие глазки и воробьиный носик. Ей было стыдно сознаться даже себе самой, что она недолюбливает своего внука. Алю любила до самозабвения, а к Максиму — никакого чувства. Как к чужому. Людка это видела и обижалась: мало того, что приперлась с ребенком и теперь в двух комнатах живут пять человек. Общежитие. И плюс к общежитию она не любит Максима и позволяет себе это не скрывать. Устанавливает свои порядки на чужой территории. И Людка, хозяйка дома, должна все это терпеть...

Но сейчас ей было весело, впереди предстояла реальная выпивка, закуска и десерт — торт с розами.

Ирина не любила шампанское, у нее начиналась отрывка. И тяжелые масляные торты, бьющие по печени, она тоже не ела.

Ирина поднялась из-за стола и пошла на кухню. На кухне всегда есть дела: шкварчала в духовке утка. Ирина отворила дверцу духовки. Жар пахнул в лицо.

«Заработает... — думала Ирина. — Когда это он заработает? Десять лет уйдет. Вся молодость будет пущена на заработки. Копить... Во всем себе отказывать... А жить когда?»

В кухню вошла Снежана. Остановилась молча.

— Он тебе не нравится? — тихо спросила Снежана.

— При чем тут я, — удивилась притворно Ирина. — Тебе жить.

— Вот именно, — твердо сказала Снежана. — Я тебя очень прошу, не вмешивайся. Хорошо? Если он тебе не нравится, мы не будем сюда приходить.

Значит, Снежана готова была обменять мать и дочь на чужого нищего мужика. Она пришла договариваться, чтобы бизон не вытаптывал ее пшеницу.

Ирина выпрямилась, смотрела на Снежану. Тот же черный костюмчик, в котором она пять лет назад сидела в аэропорту. Другого так и не купили. Тот же кошачий ротик, встревоженные полудетские глаза. Все это уже было... Этот урок уже проходили.

Ирина обняла дочь, ощутила ее цыплячьи плечики.

— От тебя уткой пахнет, — сказала Снежана, отстраняясь. И это тоже было — у Ирины с ее матерью. Только тогда пахло капустой...

Ну почему самые близкие, самые необходимые друг другу люди не могут договориться? Потому что Россия — не Азербайджан. Там уважают старших. Старший — муаллим, учитель. А здесь — старая дура...

У Людки было два настроения: хорошее и плохое. Людка работала в парфюмерном отделе большого универмага. За день уставала от людей. Приходила домой в плохом настроении: хотела есть и ревновала Сашу. Ей казалось, он всем нужен. Стоит на базаре, как на витрине, и любая баба, а их там тысячи, может подойти и пощупать ее мужа, как овощ. Саша казался Людке шикарным, ни у кого из ее подруг и близко не было такого мужа. И когда кто-то говорил о Саше плохо, она радовалась. Значит, кому-то он может не нравиться. Меньше шансов, что уведут.

Людка возвращалась домой никакая, садилась за стол. Обед уже стоял, накрытый чистой салфеточкой. Так Ирина ждала когда-то Кямала. А под салфеточкой — фасоль, зелень, паштет. На сковороде — люля-кебаб из баранины. У Ирины была азербайджанская школа — много зелени и специй. Бедная Людка никогда так не питалась. Ее повседневная еда была — яичница с колбасой и магазинные пельмени.

Людка молча поглощала еду в плохом настроении, потом шла в туалет и возвращалась в хорошем — легкая, лукавая, оживленная.

— Мам... — обращалась она к Ирине.

Ирину корбила простонародная манера называть свекровь мамой. Ну да ладно.

— У нас на первом этаже есть сосед — алкаш Димка Прозоров.

Ирина отметила, что Прозоров — аристократическая фамилия. Может быть, Димка — опустившийся аристократ.

— Так вот, у него трехкомнатная квартира, он ее может обменять на двушку с доплатой.

— Какую двушку? — не поняла Ирина.

— Ну на нашу. У нас же две комнаты. А будет три. У каждого по комнате. Вам с Алей — одна. Нам с Сашей — спальня. Максиму — третья.

— А телевизор где? — спросила Ирина.

— У вас. Не в спальне же.

— Значит, мы будем ждать, когда вы отсмотрите свои сериалы? У ребенка режим.

— Да ладно, мам, — миролюбиво сказала Людка. — Разберемся, ей-богу. В трех же лучше, чем в двух...

Людка поднялась и опять пошла в туалет. Оттуда вышла раздумывающаяся, раскованная, как будто сняла себя с тормоза.

Ирина представила себе квартиру алкоголика. Туда просто не войдешь.

— А какая доплата? — спросила Ирина.

— Пять тысяч. — Людка вытащила из сумочки дорогие сигареты.

— Чего?

— Чего-чего... Ну не рублей же.

— Долларов? — уточнила Ирина.

— Ну... — Людка закурила. Это был беспорядок, в доме дети, но Ирина смолчала.

— А он что, один в трех комнатах? — удивилась Ирина.

— У него семья, но они сбежали. — Людка красиво курила, заложив ногу на ногу. Ноги в капроне поблескивали.

— Сбежали, но ведь прописаны, — резонно заметила Ирина.

— Пропишутся в нашей. Мы же их не на улицу выселяем. Мы им двухкомнатную квартиру даем. В том же подъезде. Привычка тоже много значит...

Пять тысяч доплата — размышляла Ирина. Тысяча — на ремонт. Итого шесть. Значит, она с ребенком остается без единой копейки. Заболеть — и то нельзя. А впереди — одинокая большая старость. Старость — всегда одинокая и больная, даже в окружении детей.

— Нет у меня денег, — отрезала Ирина.

— Да ладно, мам... Вы квартиру продали. У вас больше есть.

Откуда она знает? Наверное, Алечка проговорила. Алечка, как старушка, везде сует свой нос. А что знают двое, знает свинья. То есть Людка.

— Не дам, — отрезала Ирина. — Мне пятьдесят лет. И оставаться с голым задом я не хочу.

— Мам... Ну вы ж приехали... Вы ж живете. Я ведь вас не гоню. Почему не вложиться? Внести свою долю в семью.

Ирина вырастила сына, Людкиного мужа. Это и есть ее доля.

— Слово «нет» знаешь? — спросила Ирина.

— Ну ладно... На нет и суда нет, — философски заметила Людка и удалилась в туалет.

Оттуда она не вышла, а выпала. Головой вперед.

Ирина стояла над ней, не понимая, что же делать. Людка была громоздкая, как лошадь. Ирина затащила ее на половик и на половике, как на санях, отвезла в спальню. Дети бежали рядом, им было весело. Думали, что это игра.

Потом они втроем громоздили Людку на кровать. Максим снимал с нее обувь. Алечка накрывала одеялом.

Дети по-своему любили Людку и не боялись ее.

Ирина решила проверить туалет и нашла в сливном бачке бутылку водки. Ей стало все ясно: вот откуда Людка черпает хорошее настроение.

Вечером, дождавшись Сашу, Ирина спросила:

— Ты знаешь, что Людка пьет?

— А как ты думаешь? — отозвался Саша. — Ты знаешь, а я нет?

Он устал и был голоден. Ирина с любовью смотрела, как он ест. Нет большего наслаждения, чем кормить голодного ребенка. Ирина старалась не отвлекать его вопросами, но не выдержала.

— А что, не было нормальных порядочных девушек? Обязательно пьянь и рвань?

— Поздно было, — спокойно ответил Саша. — Максим родился.

— А почему ты мне не писал?

— О чем? — не понял Саша. — Я написал, когда Максим родился.

— О том, что твоя жена алкоголичка.

— Я не хотел, чтобы ты знала. Теперь знаешь.

— А что же делать? — спросила Ирина.

— Понятия не имею. Я не могу бросить ребенка на пьющую мать. И Людку я тоже бросить не могу.

— Почему?

— Мне ее жалко. Что с ней будет, посуди сама...

— Надо жалеть себя. Во что превратится твоя жизнь...

— Значит, такая судьба...

У Саши было спокойное, бесстрастное лицо. Как у Володьки. Но эту черту — жалеть другого вместо себя — он перенял у матери. Однако Ирина совмещала в себе бизоний напор и сострадание. А у Саши — никакого напора и честолюбия. Одно только сострадание и покорность судьбе.

Ирина стала вить гнездо. Она всегда гнездилась, даже если оказывалась в купе поезда, — раскладывала чашечки, салфеточки, наводила уют.

Прирожденная женщина. Недаром Кямал околачивался возле нее столько лет...

Первым делом Ирина выбросила старый холодильник «Минск». Ему было лет сорок. Резина уже не держала дверцу, пропускала теплый воздух. Еда портилась. Ирина отдала «Минск» Диме Прозорову, а в дом купила холодильник немецкой фирмы «Бош». Ирина вошла в святая святых — в свои доллары, вытащила громадную сумму, шестьсот долларов, и завезла в дом холодильник — белый, сверкающий, с тремя морозильными камерами, саморазмораживающийся. Лучше не бывает.

Людка увидела и аж села. Не устояла на ногах.

— У... я... — протянула она. — Сколько же стоит этот лебедь-птица?

— Не важно, — сдержанно и великодушно ответила Ирина. Это было ее вложение. Ее доля.

Людка отправилась в туалет. Ирина решила, что сейчас — подходящее время для генерального разговора.

— Я пропишусь, — объявила Ирина, когда Людка вернулась и села закурить. Закрепить состояние. — Я пропишусь, — повторила Ирина. Это была ее манера: не спрашивать разрешения, а ставить перед фактом.

— Где? — насторожилась Людка и даже протрезвела. Взгляд ее стал осмысленным.

— Где-где... — передразнила Ирина. — У своего сына, где же еще...

— Значит, так, — трезво отрубил Людка. — Ваш сын к этой квартире не имеет никакого отношения. Эту квартиру купил мне мой папа. Они с матерью копили себе на старость, а отдали мне на кооператив. Потому что я вышла замуж за иногороднего. Это раз.

— Но ведь Саша здесь прописан... — встала Ирина.

— Второе, — продолжала Людка. — Если вы пропишетесь, то будете иметь право на площадь, и при размене мне достанется одна третья часть. Разменяетесь и засунете меня в коммуналку.

Стало ясно: Людка не доверяла Ирине и ждала от нее любого подвоха.

— Если бы вы хотели, чтобы мы с Сашей нормально жили, вы бы вложили свои деньги. А вы не хотите...

Ирина отметила, что Людка не такая уж дура, как может показаться.

— Люда... — мягко вклинилась Ирина.

Она хотела сказать, что человек без прописки — вне общества. Бомж. Она не сможет устроиться на работу и даже встать на учет в районную поликлинику... Но Людка ничего не хотела слушать.

— Нет! — крикнула Людка. — Слово «нет» знаете?

Вся конструкция жизни, выстроенная Ириной, рушилась на глазах, как взорванный дом.

Она могла бы сказать: «На нет и суда нет», но суд есть. И этот суд — Саша.

Саша торговал на базаре, но не выдерживал конкуренции. Азеры — так называли азербайджанцев — имеют особый талант в овощном деле, в выращивании и в продаже. Они ловко зазывали покупателей, умели всучить товар, как фокусники. Молодым блондинкам делали скидку. Пожилых теток вытягивали на дополнительные деньги, манипулируя с весами. Килограмм произносили «чилограмм». И сколько бы их ни поправляли, не хотели переучиваться, и несчастный килограмм оставался с буквой «ч».

А Саша стоял себе и стоял. Покупатели обходили его стороной, от Саши не исходила энергия заинтересованности.

Покупатели спрашивали: «Виноград импортный?» Конкуренты рядом тарасили глаза и били себя в грудь: виноград краснодарский... Хотя откуда в апреле виноград?

А Саша соглашался: да, импортный. А значит, выращенный на гидропонике и витамины там не ночевали. Так... декорация. Вода и есть вода. И пахнет водой.

Дорогой товар портился. Хозяин штрафовал. Саша постоянно оказывался в минусе. Он не любил зависеть, а приходилось зависеть дважды: от покупателя и от хозяина.

Саша возвращался домой усталый, опустошенный.

Ирина кормила его, вникала душой, ласкала глазами. Спрашивала:

— А раньше ты приходишь не можешь?

— Если бы у меня была своя палатка, я поставил бы туда Ахмеда, а сам сидел дома, с тобой и с ребенком.

— Ахмед — это кто? — не поняла Ирина.

— Наемный работник. Таджики.

— Ты его знаешь?

— Да нет. Они все Ахмеды. Таджики скромнее, чем азеры. Меньше воюют.

— Так поставь.

— Нужен начальный капитал. Знаешь, сколько стоит палатка? Три тысячи долларов.

Ирина сидела, придавленная суммой. Три тысячи — половина ее квартиры.

— Я бы поставил палатку возле метро, зарегистрировался. Заплатил за место — и вперед. Десять процентов Ахмеду, остальное — мое. Чистая прибыль. Маленький капитализм.

— А палатки подешевле есть? — поинтересовалась Ирина.

— Стоит не палатка, а место. Надо платить тем, кто ставит подписи.

— А можно не платить?

— Можно. Но тогда тебе не дадут торговать.

— Мафия? — догадалась Ирина.

— У каждого свое корыто. Если хочешь зарабатывать, надо тратить.

Саша ел, широко кусая хлеб, как в детстве, и его было жалко.

Ирина поднялась и вышла из кухни. Через несколько минут вернулась и положила перед Сашей тридцать стодолларовых купюр.

Саша взял их двумя руками, поднес к лицу и поцеловал. Наверное, ему казалось, что это сон. И он проверял: явь или реальность.

— Ты что? — удивилась Ирина. — Грязные же...

— Твои деньги не грязные. Они святые. Через полгода я тебе все верну...

— Да ладно, — снисходительно заметила Ирина. — Когда вернешь, тогда и вернешь.

Она гордилась своей ролью дающего. В ней все пело и светилось.

— Не жалко? — проверил Саша.

— Нет... — Ирина покачала головой. И это была чистая правда.

Людка за стеной говорила с кем-то по телефону. Бубнила басом. И не знала, какие эпохальные события свершаются без ее ведома и за ее спиной.

Так же, за спиной и без ведома Людки, Ирина отнесла остальные деньги в банк «МММ». Об этом банке она узнала из телевизора. Все программы были забиты Леной Голубковым. Леня стал народным героем, как Чапаев. Он осуществлял народную мечту — разбогатеть на халяву.

Люди наивно верили, что деньги можно вложить в банк и они вырастут сами, как дерево. Эту народную наивность и доверчивость плюс экономическую безграмотность использовали ловкие Мавроди. Создали пирамиду, которая должна была неизбежно рухнуть. И рухнула. И что интересно, целая толпа обманутых вкладчиков отказывалась верить в коварство Мавроди и защищала его, собираясь на митинги.

Ирина на митинг не пошла. Она поняла все сразу. В Ирине сочетались доверчивость и тертость. Поэтому она понимала и народ, и Мавроди. И еще она поняла, что деньги сказали «до свидания», и это с концами. Концов не найдешь.

У Ирины высох рот — произошел выброс адреналина в кровь. Так организм реагирует на стресс. Она стала мелко-мелко креститься и прочитала «Отче наш» от начала до конца. А что еще? Не в милицию же бежать.

Прошло полгода. Саша деньги не вернул по очень простой причине. Ее можно было предвидеть. Явились конкуренты и подожгли палатку. Утром Саша вышел из метро и сразу увидел пережженный огнем остов палатки. Три тысячи унеслись в небо, превратившись в дым.

Саша пришел домой, внутренне обугленный и обожженный, как его палатка. Ирина вдруг поняла, что Сашу могли сжечь вместе с палаткой или отстрелить в подъезде. Но ограничились поджогом. И слава богу... Ирина стала мелко-мелко креститься, приговаривать: Господи, спаси и сохрани...

Кроме Господа ей не к кому было обратиться...

Неудовлетворенности накапливались, собирались в критическую массу. И однажды случился взрыв.

Причина — пустяковая, как всегда в таких случаях.

Дети разодрались из-за игрушки. Ирина взяла сторону Али, а Людка, естественно, — сторону Максима. С детей перешли на личности, в прямом смысле этого слова: начали бить друг другу морды.

Саша вбежал в комнату, стал отдирать Людку от матери. Но Людка дралась истово, как бультерьер. Саша облил ее водой из графина. Людка отделилась на мгновение. Саша обхватил ее руками и, не зная, куда деть, поволок на балкон.

Людка заорала: «Он меня выкинет!» Дети взвыли. У Саши было звериное лицо. Ирина вдруг испугалась, что он ее действительно выкинет с седьмого этажа. И сядет в тюрьму.

Ирина кинулась между ними и стала отдирать Сашу от Людки. И в конце концов ей это удалось.

Людка рыдала. Саша трясся, его бил нервный колотун. У Ирины высох рот, язык стал шерстяной. Однако все обошлось без уголовки.

Разошлись спать. Было одиннадцать часов вечера.

Ночью Ирина не спала. Она понимала: неудовлетворенности никуда не денутся, а, наоборот, накопятся. Противоречия со временем не исчезают, а обостряются. Ирина никогда не согласится с пьянством Людки. А Людка не смирится со злобной бабой, которая ходит по квартире, как шаровая молния. Того и гляди, шарахнет и все сожжет.

У Людки была своя правда: тяга к спиртному ей передалась от отца. Наследственное заболевание. Такое же, как любое другое. Например, как диабет. Почему диабетиком быть не стыдно, а алкоголиком стыдно? Ее любимый поэт Высоцкий тоже был алкоголик. И ничего. Правда, рано умер, но много успел.

Можно, конечно, подлечиться, но говорят — женский алкоголизм злой, лечению не поддается. Можно себя закодировать, но тогда ты — это уже не ты, а кто-то другой. Можно зашить, но если не выдержишь и выпьешь, умрешь в одночасье. Зачем такой риск? Пусть все идет как идет.

Ирина ей мешала, как шкаф, который поставили посреди комнаты. Свекровь явилась как снег на голову и вместо того, чтобы сидеть тихо, как мышь, — командует, устанавливает свои порядки на чужой территории. Ни один зверь это не выдержит: перегрызет горло, забьет рогами...

Ирина не спала в эту ночь. Она боялась за Сашу. Поставленный в безвыходное положение, он действительно выкинет Людку с балкона или утопит в унитазе. И сядет на большой срок.

Лучше она уйдет сама. Самоустранится. Но куда? К Снежане — невозможно, да и не хочется. Остается государство. Существуют миграционные службы, которые занимаются беженцами из горячих точек.

Беженцев где-то сортируют и селят. Надо узнать — где. В каком-нибудь отстойнике.

К утру Ирина приняла решение: Алю — к матери. Сама — в отстойник. Хуже не будет. Да она и не волновалась за себя. Ирина могла бы жить в пещере, есть корку хлеба в день, только бы знать, что у детей — все в порядке.

Ирина встала в шесть часов утра. Написала записку. И ушла. В сумке у нее лежали пятьдесят рублей.

Русские бежали из Узбекистана, из Баку, из Чечни...

Чиновники, которые занимались переселенцами из горячих точек, буквально сходили с ума. На них наваливалась лавина людей, враз потерявших все. Когда одни люди теряют все, а вокруг ходят другие, кто ничего не потерял, живут в своих домах, едят из своих тарелок, — создается перепад справедливости. И обиженные, точнее, несправедливо обиженные становятся полужверями, как собаки: они и ненавидят, и гавкают, и стелются. И готовы укусить за лучший кусок и высоко подскочить, чтобы выхватить кусок первому.

Ирине не пришлось ни стелиться, ни подкакивать. Она спокойно доехала до Белого дома, там находился регистрационный пункт. Ее зарегистрировали вместе с остальными, такими же, как она. Среди беженцев многие были из Баку, и это радовало. Все равно что встретить на войне земляков.

После регистрации подогнали автобус и отвезли в пустующий санаторий на станцию Болшево.

Некоторых разместили в санатории, а Ирине повезло: ее поселили в новом доме из красного кирпича, который недавно выстроили для obsługi санатория. Обслуга подождет, у них есть площадь. А у беженцев нет ничего.

Ирине досталась отдельная комната в двухкомнатной квартире.

В соседнюю комнату подселили русскую беженку из Чечни, Верку, с десятилетней дочерью Аллой. Верка была подстарковатая для такого маленького ребенка. Выглядела на пятьдесят. Может, поздно родила.

Девочка была похожа на кореянку, ничего с Веркой общего. Может, украла. А может, муж был кореец.

Верка рассказывала ужасы: пришли боевики, пытали, вырывали зубы. Ирина слушала и холодела. Ей еще повезло: один раз дали по башке, и то не сильно.

— А за что? — спросила Ирина.

— Как — за что? За то, что русская.

Мир сошел с ума. Армян убивали за то, что они армяне. Евреев — за то, что евреи. А русских — за то, что русские.

— А чем они драли зубы? — спросила Ирина.

— Плоскогубцами... — Верка раскрыла рот и показала младенчески голые десны в глубине рта...

Ирина удивилась. Передние зубы у Верки целы, не хватает коренных. Если бы боевики орудовали плоскогубцами, то выдирали те зубы, к которым легче доступ, то есть передние.

Ирина подозревала, что Верка аферистка и фармазонка. Всякий люд встречался среди беженцев. Одни приbedнялись, ходили в лохмотьях, чтобы вызвать жалость. Другие, наоборот, наряжались в золото и приписывали себе научные звания.

Был и настоящий профессор марксистско-ленинской философии. Он хорошо готовил и переквалифицировался в повара. Работал на кухне санатория.

Беженцев кормили три раза в день. Кормили неплохо, так что ни о какой пещере и корке хлеба вопрос не стоял.

Верка раз в месяц ездила в Москву, в Армянский переулок. Там Красный Крест выдавал пособие на детей. Деньги копеечные.

Ирина быстро сориентировалась и стала подрабатывать на соседних дачах.

Вокруг санатория стояли кирпичные коттеджи «новых русских». Ирина мыла окна, убиралась, готовила. Ей платили два доллара в час. Это тебе не Армянский переулочок.

Верка говорила, что у нее высшее образование и самолюбие не позволяет ей убираться за богатыми. Как она выражалась — жопы подтирать... Ирина так не считала. Можно и жопы подтирать. Работать не стыдно. Стыдно воровать.

«Новые русские» и их жены с Ириной не общались. Они говорили, что надо сделать, принимали работу и платили. Ирина как личность была им совершенно не нужна и неинтересна.

Вторая категория хозяев — богатые пенсионерки. Из бывших. Бывшие жены, бывшие красавицы. Они знакомились с Ириной, вникали, выслушивали, сочувствовали. Ирина охотно шла на контакт и быстро соображала, что можно срубить с этой дружбы. Но срубить ничего не удавалось. Самое большее — старые шмотки. Дружба дружбой, а деньги врозь.

Ирина была счастлива, что освободилась от ненавистной Людки. В разлуке ненависть обострилась. При воспоминаниях о невестке Ирину буквально трясло. По Алечке — скучала и терзалась мыслью, что пятилетняя девочка спит в одной комнате со взрослыми.

Жизнь без Али немножко потеряла смысл. Одно только выживание не может стать смыслом жизни. Вокруг Ирины были такие же пораженцы, как она. Это уравнивало и успокаивало. Ирина никому не завидовала, кроме семьи профессора-повара. Он уехал из Баку вместе с женой, и они ходили рядышком, как Гога с Магогой, руки калачиком.

Ирина тоже хотела бы вот так же, руки калачиком, а не путаться под ногами у своих детей.

Отсутствие счастья вредно для здоровья. Мозг вырабатывает гормон неудовольствия, и человек расстраивается, как отсыревший рояль. И фальшивит. Должна быть пара. Комплект. Ирина скрывала свою неукомплектованность, но затравленность стояла в глубине глаз.

Где ты, Кямал? Хотя понятно где. Со своей женой Ирадой. Нужен другой. Хоть кто-нибудь...

Сорокалетняя бухгалтерша Галина с нижнего этажа нашла себе жениха. Но никому не показывала. Наверное, стеснялась. Завидующая Верка предположила, что Галина женится по расчету. Но ведь настоящая любовь — тоже расчет. Человек берет сильное чувство и дает сильное чувство. Равноценный обмен.

Однажды Галина явилась с таинственным видом. У жениха есть родственник. Не старый, пятьдесят пять лет. Желает познакомиться для создания семьи. Есть площадь в Москве и загородный дом с дровяным отоплением и без удобств. По объявлениям он знакомиться боится, мало ли, на кого нарвешься. Лучше по рекомендации. Галина рекомендовала Ирину.

— Так я же старая, — напомнила Ирина.

— А он что, молодой?

— Эти пергюнты в шестьдесят ищут тридцатилетних, — заметила Верка.

— Ему нельзя тридцатилетнюю. У него сердце, — объяснила Галина.

— Так он помрет... — заподозрила Ирина.

— Помрет, квартира тебе достанется...

Галина оставила телефон и ушла. Ирина выждала два дня для приличия и позвонила.

Голос был неподвижный, офицерский. Ну и что? Кямал тоже был военный. А кого ей предоставят? Нобелевского лауреата?

Ирина стала договариваться о встрече.

— Меня зовут Владимир Константинович, — представился претендент. — Я буду ждать вас возле метро «Сокол».

— Лучше на «Белорусской», — предложила Ирина.

— Почему?

— Мне ближе.

Ирина не знала Москвы и боялась запутаться.

— А как я вас узнаю? — спросила она.

— У меня будет в руках газета. Моя фамилия Миколайчук.

— Зачем мне ваша фамилия? Я же не милиционер...

Установили день, время и место.

Ирина отправилась на место встречи, как когда-то к Кямалу. Но без шарфика в горло, а в беретке на голове, поскольку волосы наполовину седые и непрокрашенные.

Ирина вышла с вокзала, дошагала до метро и тут же увидела Владимира Константиновича. Он стоял в сером плаще, высокий и прямоугольный, как пенал. Серые волосы зализаны назад, серое лицо с высоким носом. Как у покойника. В руках газета, как и договаривались.

Ирина не остановилась. Прошла мимо, не сбавляя ходу. Таким же целеустремленным шагом дошагала до платформы и вошла в электричку. Поезд тронулся в ту же секунду. Ирина обрадовалась, как будто убегала от преследования.

Всю дорогу смотрела в окно. Ее история повторилась с точностью до наоборот. Знакомство по телефону, газета в руке, надежда на перемену участи. Но тогда это было легко, бегом, взявшись за руки. А сейчас Владимир Константинович стоял, как гроб, поставленный вертикально. И лицо — гробовое. Где ты, Омар Шериф? Где ты, моя молодость, мой город?

Ирина тихо плакала, снимая слезы мизинцем. А когда вошла в свою комнату — упала, не раздеваясь, на кровать и зарыдала во всю силу, как тогда в подворотне. И чувство было то же самое: полная обреченность и невозможность изменить что-либо. Так, наверное, чувствует себя шахтер под завалом.

Ирина выла, будто прощалась с жизнью. А девочка стояла и испуганно смотрела черными корейскими глазами.

Верка нашла работу в фирме: распространять пищевые добавки. За каждую проданную партию она получала процент. Ее заработок зависел от ее настойчивости. Верка впивалась в людей, как энцефалитный клещ. Было легче купить, чем спорить.

Ирина проявила железную твердость. Она не верила ни в какие добавки и подозревала, что очередной Мавроди делает бизнес на здоровье людей. Верка клялась, стучала кулаком в грудь, как цыганка. Но Ирина устояла. У нее была цель: накопить денег и вывезти Алечку на лето. Алечка будет три месяца жить на природе, не хуже «новых русских». Хуже, конечно. Но в конце концов, небо у всех одно и воздух тоже один для всех.

В отстойнике начались волнения. Руководство санатория требовало освободить дом для законных владельцев.

У каждой стороны была своя правда. Беженцы заявляли, что они жертвы государства. И они — люди, а не стая бездомных собак.

Правда очередников состояла в том, что они пахали на санаторий десять лет почти бесплатно. За жилье. Они ждали эти квартиры как манну небесную и даже больше. Манной можно только утолить голод, а в доме — жить до конца дней. И законные очередники не намерены расплачиваться за ошибки государства. Пусть беженцы отправляются в нечерноземье, на пустующие земли, которые никому не принадлежат. Пусть строят себе дома, создают фермерские хозяйства, а не занимают чужую площадь.

У профессора был знакомый в Государственной Думе. Он сказал: не отдавайте жилье, закон на вашей стороне.

И началось противостояние, как в Палестине, в секторе Газа.

Беженцы забаррикадировались в своих квартирах, а очередники собирались внизу в бурлящие толпы, выкрикивали угрозы и даже кидали камни.

В квартиру к Ирине поднялись законные владельцы — молодая пара, муж и жена. Спокойно объяснили, что, если Ирина не выкатится в течение трех дней, они наедут на ее семью.

Ирина не знала, что такое «наедут», и поняла буквально: задавят машиной. Хорошо, если Людку... А если Алечку...

Ирина побежала по поселку. Сняла возле станции комнату с верандой, без удобств, как у Владимира Константиновича. Зато недорого. Она сложила узлы и в течение дня переволокла один за другим в новое жилище.

— Ты молодец против овец, — откомментировала Верка. — А против молодца — сама овца.

— А ты кто? — спросила Ирина.

— Я никого не боюсь, — заявила Верка. — Я через все прошла...

Верка осталась. У нее действительно был большой опыт борьбы и противостояния. Она была бесстрашная и бессовестная — два качества, необходимые для выживания.

Профессора с женой оставили при санатории. Он был повар по призванию. В этой профессии любители превосходят профессионалов.

Оставили бухгалтера Галину. Она умела правильно составлять все документы, с ней не страшна никакая налоговая инспекция.

Хорошие специалисты оказались востребованы. Бесстрашные и рисковые остались сами. Остальные уехали в Кимры, создавать фермерское хозяйство. Где эти Кимры — никто толком не знал, но само слово «Кимры» не внушало доверия. Что-то среднее между кикиморой и мымрой.

Ирина получила на лето Алечку. Каждое утро они просыпались в доме, пахнущем деревом, и видели в раскрытое окно цветущие яблони. Ирине казалось, что ребенок наголодался за зиму. Она поила ее козьем молоком, откармливала витаминами. Алечка действительно расцвела, стала смугло-розовая, как абрикос. На нее оглядывались и заглядывались.

В середине лета приехали Снежана с Олегом. Ирина отдала им комнату, а сама с Алечкой переселилась на веранду. Ирина была рада, что семья в сборе. Все как у людей. И готова была обслуживать и обихаживать эту семью и даже Олега.

Олег не ходил на работу. Снежана говорила, что он в отпуске. Но однажды после обеда к их даче подъехала машина, оттуда вышли двое бритых и черных, как чушки, и перемахнули через забор.

— Куда? — грубо остановила их Ирина. — Ребенок спит.

Алечка действительно спала после обеда.

Чушки остановились. Появился Олег — он увидел их в окно. Втроем вышли за забор. Синхронно сели в машину и укатили. Все — молча. Как в кино.

Снежана стояла посреди участка. Смотрела вслед.

— Куда они его? — спросила Ирина.

— Работать, — хмуро ответила Снежана.

Ирина заподозрила неладное и стала вытягивать из дочери правду. И оказалось: год назад Олег взял деньги в долг — большую сумму — и не смог отдать вовремя. Его поставили на счетчик. Ирина догадалась, что деньги он взял у бандитов. Порядочные люди на счетчик не ставят.

— А где он взял бандитов? — удивилась Ирина. — Где он их нашел?

— Сейчас полстраны бандитов, — объяснила Снежана. — Сейчас проблема: где найти порядочных людей...

Олег — механик милостью Божией. Он слышал машину, как хороший врач. Мгновенно ставил диагноз. Такие специалисты быстро раскручиваются, открывают свои мастерские — и деньги текут рекой. Но бандиты

взяли Олега под колпак и заставили работать на себя: перебивать номера на ворованных машинах. Они сделали его соучастником, и, если их шайку раскроют, Олег автоматом пойдет в тюрьму. При этом они ничего ему не платили. Денежный ручей полностью стекал в бандитский карман.

Олег решил скрыться. Сбежать. И сбежал в Болшево. К теще под крыло. Наивно полагал, что его не найдут. Но бандиты быстро вычислили. Как? Непонятно.

— А на что он брал деньги? — спросила Ирина.

— На гараж.

— А сколько стоит гараж?

— Шесть тысяч, — ответила Снежана.

Те самые шесть тысяч, которые сгорели. Лучше бы им отдала.

Олег мог лежать весь день под машиной, а потом вернуться домой и, минуя душ, сразу к Снежане под бочок. Ему не мешал запах машинного масла, и Снежана, похоже, не мешал. Может быть, этот запах казался ей преувеличенно мужским и возбуждающим.

Брезгливая Ирина не могла этого вынести.

— Скажи, чтобы он мылся! — приказывала она. — Иначе я скажу.

— Куда он полезет под холодную воду в потемках? — заступалась Снежана.

Дело в том, что душ стоял во дворе. Это была просто бочка, поднятая на трехметровую высоту.

— Можно нагреть в ведре, — находила выход Ирина.

— Он устал, — не соглашалась Снежана. — И вообще... какое твое дело? Он же не к тебе ложится, а ко мне.

Ирина решила действовать самостоятельно. Она дождалась Олега и просто не пускала его в дом. Перекрывала вход своим широким телом.

— Сначала под душ, потом пуцу, — ставила она свои условия.

Олег усмехался снисходительно — не драться же ему с тещей... Он шел под душ. Ирина выносила ему старую простыню и стиральный порошок. Ей казалось, что мыла — недостаточно.

Через полчаса продрогший Олег пробирался к Снежане.

Луна светила в окно. Олег дрожал, как цуцик. У него зуб на зуб не попадал. Снежана обнимала его руками, ногами, губами, каждым сантиметром своей кожи. Она его жалела. Она ему верила. Она знала, что когда-нибудь бандитская паутина разорвется — и все кончится и забудется, как дурной сон.

Как разорвется паутина? Что может случиться? Но в жизни бандитов случается ВСЕ. Они так и живут. Или — все, или — ничего. Однажды настанет ничего. На это Снежана и рассчитывала. И ее уверенность передавалась Олегу. Он засыпал с надеждой. И жил — с надеждой.

Они были счастливы. Несмотря ни на что.

У Ирины были свои резоны.

— Ты должна его бросить, — втолковывала она. — Пусть он уезжает, а ты и Аля оставайтесь здесь. Я буду вас содержать.

— Я не хочу его бросать и не хочу оставаться здесь. Я хочу быть с Олегом, — спокойно реагировала Снежана.

— И носить передачу в тюрьму...

— Если понадобится, буду носить.

— Декабристка... — комментировала Ирина.

— А что лучше? Всю жизнь — в любовницах?

Снежана ударила по самому больному: поддых.

— Я любила, — отозвалась Ирина.

— И я люблю. И не лезь в мою жизнь. Чего ты добиваешься? Чтобы я разошлась и сидела у тебя под юбкой?

Ирина заплакала. Алечка решила оказать моральную поддержку. Она взяла синий фломастер и написала на березе печатными буквами:

«Я люблю бабушку». Буква «Я» стояла наоборот.

Ирина ворочалась всю ночь без сна.

Накануне она позвонила Людкиной соседке. Соседка доложила: Людка с Сашей помирились, живут душа в душу. Саша работает, ребенок растет, Людка пьет. Все хорошо.

Снежана и слушать не хочет о перемене участи. Значит, все так и будет продолжаться. Невестка — пьянь. Зять — соучастник. Родственнички.

Почему все живут как люди, а у нее — все не как у людей?

Что она сделала не так? В чем ее вина? Классические вопросы русской интеллигенции: «кто виноват?» и «что делать?». Ей не приходило в голову, что никто не виноват и ничего не надо делать. Каждый живет свою жизнь. И чужой опыт никогда и никем не учитывается.

К утру вдруг пришло озарение. Ирина с трудом дождалась, когда все встанут. За завтраком она торжественно объявила:

— Олег! Я знаю, что ты должен сделать. Ты должен пойти в милицию и заявить на твоих бандитов. Их арестуют, и ты станешь свободным как птица.

— Какая птица, мамаша... — весело отозвался Олег. У него было хорошее настроение. — Фильтруйте базар.

— Что? — не поняла Ирина.

— Думай, что говоришь, — перевела Снежана на русский язык.

— А почему базар?

— Базар — это противоречия.

— А на каком языке?

— На блатном, — объяснила Аля.

— Боже... — испугалась Ирина. Шестилетняя Аля разбирается в блатном жаргоне. Что из нее вырастет?

— Если я их сдам, — объяснил Олег, — то они придут и завалят всю мою семью.

— Завалят? — переспросила Ирина. — Это что, изнасилуют?

— Убьют, — уточнила Снежана.

— Кого? — похолодела Ирина.

— Всех, — весело заключил Олег. — Придут и замочат.

Что такое «замочат», Ирина поняла без объяснений. Ясно, что замочат в крови.

Ирина перестала есть. Она просто не могла проглотить то, что было у нее во рту. И выплюнуть не могла. Она сидела с набитым захлопнутым ртом и в этот момент была похожа на лягушку, пойманную комара.

Олег посмотрел на тещу и сказал серьезно:

— Ирина Ивановна, вы законопослушный человек. Вы думаете: моя милиция меня бережет. Да? А сейчас другое время. И милиция другая. Сейчас менты. Я сдам бандитов, а менты сдадут меня. Понятно?

Ирина сглотнула наконец. Повернулась к дочери. Раздельно произнесла:

— Или я. Или он.

— Он, — ответила Снежана.

— Ты меняешь родную мать на чужого мужика? — задохнулась Ирина.

— Мы же говорили... — спокойно напомнила Снежана.

Вот и весь разговор. Коротко и ясно.

Последние полгода Ирина работала в коттедже у банкира. У банкира — целый штат челяди: шофер, няня к ребенку и домашняя работница. Сокращенно: домраба. Именно этой рабой была Ирина. Ей платили двести долларов в месяц, в то время как учителя в школе получали в десять раз меньше. Ирина могла на свою зарплату снимать жилье, питаться и еще откладывать на черный день.

Ирина совмещала в себе горничную и кухарку. Продукты питания были в ее распоряжении.

От многого немножко — не кража, а дележка. Ирина откладывала кое-что для Алечки, так, по мелочи. Она называла это «сухой паек» и прятала паек в хозяйственную сумку. Сумку ставила в уголок прихожей, чтобы не бросалась в глаза. Потом принималась за уборку.

Дом — большой, пятьсот метров. Ирина вначале уставала, потом привыкла. Моющих пылесос, современные моющие средства и даже тряпки для мытья пола — все было заграничное, удобное. Дом сверкал чистотой.

В ванной комнате стояли тренажеры. В подвальном помещении — бассейн с подогревом. Все здесь было приспособлено для здоровья и долголетия. Обслуга в бассейн не допускалась. Для обслуги полагался душ.

Самого банкира Ирина не видела. Он постоянно отсутствовал, зарабатывал деньги. Как Олег. Но банкир работал на себя, а Олег — на бандитов.

В спальне стояла фотография банкира: молодой и квадратный, как шкаф. Но ничего. С такими мозгами и с такими деньгами можно быть и шкафом.

Домом распорядилась жена банкира Света. Света, с точки зрения Ирины, походила на куклу Барби, сделанную в обществе слепых. Лицо — длиннее, чем надо, а тело — короче. При этом — белые прямые волосы и глубокое декольте — зимой и летом.

Ирина догадывалась, что этот банкир слаще морковки ничего не ел. Барби обнаруживала его комплексы. Вот такую он хотел: блондинку с сиськами, но купил не в том магазине.

Ирина тяжело вздыхала: разве Снежана хуже Светы? Лучше. Нежная, хрупкая, большеглазая девочка. Вот бы Снежана вышла за банкира, тогда Ирина жила бы в этом доме хозяйкой, делала зарядку на тренажерах, плавала в бассейне, растила бы Алечку. А теперь вместо Алечки — Ниночка.

Ниночка — дочь Светы от первого брака, мордастая, со вздутыми щеками, росла, как принцесса, — вся в любви и витаминах. Ей полагалась нянька в отдельное пользование и индивидуальный уход. Она спала сколько хотела, потом ее кормили и водили гулять в песочницу, где Ниночка общалась с себе подобными.

Ирина вспоминала, как она будила Алечку в детский сад, как Алечка не могла проснуться, и несправедливость стучала в груди, как пепел Клааса в сердце Тиля Уленшпигеля. Ирина поджимала губы, чтобы справиться с разъедающим чувством. Она понимала, почему в семнадцатом году большевики подбили народ на революцию. «Грабь награбленное». Если бы сейчас появился новый Ленин и кликнул клич, Ирина оказалась бы в первых рядах.

Приезжала мать Светы — ровесница Ирины. За рулем, с мобильным телефоном. Она звонила, ей звонили. Чувствовалось, что ей все нужны и она, в свою очередь, нужна всем.

Ирина смотрела на тещу и грезилась наяву. Если бы она была банкирской тещей, тоже завела бы свое дело. У нее столько нераскрытых способностей. Ирина бы выучилась водить машину, ездила в Москву, посещала модные тусовки, и ее показывали бы по телевизору. А может быть, завела бы себе поклонников и вертела бы ими. Вела молодую жизнь с маникюрами и мелированными волосами. А что? Пятьдесят лет — разве это старость? Старят не года, а бедность и неблагодарность.

Неблагодарность относилась не только к детям, но и к обществу. Где ты, Советский Союз, так любимый ею? Кто ты, сегодняшняя страна, которая превратила ее в бомжиху и обслугу?

Ирина вздыхала, поджимала губы, смотрела по сторонам на чужое великолепие. Хорошо бы проснуться — и все как раньше. Все равны. Политбюро — как апостолы при генсеке. Никто про них ничего не знает.

А сейчас — гласность. Все знают всё. Как тонет подводная лодка с молодыми мужчинами. Как голодают шахтеры. Как воруют власть предрержащие, и это называется «нецелевое использование». Как каждый день в

Чечне убивают друг друга. И при этом кто-то плавает в бассейне и пользуется чужим трудом...

У одних — все. У других — ничего. Кто ТАМ, наверху, этим занимается? Наверное, в небесной канцелярии сломался компьютер и сигналы не поступают.

Бывают дни, когда воедино стекается все хорошее. А бывает — наоборот: удары судьбы подкрадываются, как волки с разных сторон, и нападают одновременно.

Ирина уходила, как обычно, отработав свои пять часов, на террасе ее остановила Света и сказала:

— Дайте, пожалуйста, вашу сумку.

— Зачем? — спокойно спросила Ирина, хотя это спокойствие далось с трудом.

— На досмотр, — объяснила Света и потянула к себе сумку.

Ирина уступила. Не будет же она драться.

Света перевернула сумку вверх дном. На веранду посыпалась мелитопольская черешня — сухая и крупная, три лимона и три яблока. Плюс рыбка в фольге. Собака сеттер подбежала и тут же съела то, что ей понравилось. Фрукты она только обнюхала.

— Вы уволены, — сказала Светлана.

Ирину обдало жаром. Лицо горело. Она поняла, что ее заложила нянька. Сволочь.

— Вам что, жалко? — спросила Ирина. — Это же мелочь...

— Мелочь, — согласилась Света. — Но я не знаю, что вы захотите украсть в следующий раз.

— Я не воровка, — обиделась Ирина. — Я интеллигентный человек. У меня высшее образование.

— Интеллигентные люди не берут без спроса. А высшее образование может получить любой жлоб. Сколько угодно жлобов с высшим образованием.

Света протянула Ирине расчет. В конверте. Ирина поняла, что спорить бесполезно.

— Я больше не буду, — пообещала Ирина.

— Я не хочу об этом думать, будете вы или нет...

Рынок рабочей силы был огромный. Спрос превышал предложения. Таких, как Ирина, было гораздо больше, чем таких, как Света. Свете гораздо проще было взять незатейливую хохлушку лет сорока, которая не вздыхает, губы не поджимает и по сторонам не глядит.

— До свидания, — проговорила Света и протянула Ирине пустую сумку.

Ирина молча взяла сумку и пошла, глядя под ноги, стараясь не наступить на черешню.

Сеттер бежал следом, провожая до калитки. Он любил Ирину и всегда норовил поцеловать ее, допрыгнуть до лица.

Ирина подошла к даче и не увидела машины Олега. Ступила на порог — шкафы пусты, все раскидано — как будто обокрали. Было заметно, что собирались второпях.

Ирина заглянула на половину хозяев.

— Ты моих не видела?

— Они уехали, — ответила хозяйка.

— А что-нибудь сказали?

— Сказали: до свидания.

Ирина вернулась на свою половину и легла на кровать.

Судьба подвела черту. У нее ничего не осталось: ни семьи, ни работы, ни жилья. Видимо, кому-то ТАМ она очень не нравилась.

Ирина лежала и ни о чем не думала. Просто лежала, и все. Ничего не хотелось: ни есть, ни думать.

Начиналась глубокая депрессия.

Ирина пролежала три дня. А потом решила покончить с этим проговорившим мероприятием, именуемым ЖИЗНЬ. Как говорил классик: вернуть создателю его билет. Попутешествовала на этом свете, и хватит. Она никого не обвиняла. Просто сама себе была не нужна, не говоря о других.

Ирина вышла из дома и пошла в лес. Как она поставит точку, еще не решила. Можно повеситься на шарфе, который подарил ей Кямал. Однако висеть на виду у всех — не очень приятно. Можно прыгнуть с обрыва в реку, но река мелкая. Переломаться и останешься жить в инвалидном кресле. Ни туда, ни сюда. Не живешь и не умираешь.

Ирина увидела сваленное дерево и присела отдохнуть.

Пели птицы. Солнышко мягко сеяло свет сквозь листву. В муравейнике шуровали муравьи. У каждого куча дел. Ирина задумалась, глядя на живой дышащий холм. И в этот момент из-за деревьев появилась женщина — не первой молодости, но ухоженная. С хорошей стрижкой.

Женщина подошла к дереву и спросила:

— Можно?

— Пожалуйста, — отозвалась Ирина и подвинулась.

Ирина не подозревала, что ТАМ послали ей ангела-хранителя. Ангел был не первой молодости и с хорошей стрижкой.

АННА

Ее звали Анна. А его — Ферапонт.

Ферапонт — это Андрей Ферапонтов, ее муж, с которым прожила двадцать четыре года. На следующий год — серебряная свадьба.

Жили по-разному: и хорошо, и плохо, и совсем никуда. С возрастом противоречия не сглаживаются, а, наоборот, усугубляются. Они усугубились до того, что Ферапонт перестал спокойно разговаривать. Все время визжал, как подрезанная свинья, точнее, кабан. Видимо, Анна его раздражала.

Анна послушала этот визг и смылась на дачу. Сначала на день, потом на неделю, а потом осела и просто стала жить в доме на земле. Тишина, покой, время движется по-другому, чем в городе. До работы — на полчаса ближе, чем из городской квартиры. Машина — в теплом гараже. Собака Найда любит до самоотречения, смотрит с космической преданностью. Чего еще желать?

Дом остался от деда-врача. Сталин собрался расстрелять его в пятьдесят третьем году как отравителя, но умер сам. А дед остался. И жил еще двадцать лет.

Отец деда тоже был земский врач, знал Чехова. А прабабка, сестра милосердия, знала великих княжон. Осталась фотография: прабабушка в госпитале вместе с великими княжнами Ольгой и Татьяной. Нежные лица, белые крахмальные косынки с красным крестом, доверчивые глаза.

Знакомый художник написал картину с этой фотографией. Серо-бежевый блеклый фон. Глаза сияют сквозь времена.

Анна повесила эту картину у себя в спальне. И когда просыпалась, смотрела на девочек начала века, а они — на нее.

После деда кроме дачи осталась восьмикомнатная квартира в доме на набережной. Квартиру сдавали иностранцам, на это и жили. Хватало на все и еще оставалось на отдых и путешествия.

Путешествовать Анна не любила. Ездить с Ферапонтом, постоянно преодолевать его плохое настроение — себе дороже. А отправиться одной — тоска.

В привычной трудовой жизни для тоски не оставалось времени. Она вела четыре палаты. Научилась быстро ходить и быстро разговаривать. Как

диктор на телевидении. Если пациент попался бестолковый и не понимал с первого раза, у нее закипали мозги. Но Анна терпела, поскольку принадлежала к потомственным земским врачам. «Надо быть милосердным, дядя...»

Дача — деревянная, но крепкая. В доме имелся свой домовый, он шуршал по ночам. Иногда раздавался звук, как выстрел. Может быть, это приходил дед.

Анна просыпалась и замирала, как труп в морге. По одеялу пробегал любопытный мышонок, думал, что никого нет.

Анна ждала рассвета. Зрело решение: завести кошку. Еще одно живое существо — смотрит, мурлыкает.

День выдался теплый и нежный, как в раю.

Анна побрела в лес. Вышла на поляну.

На сваленном дереве сидела женщина средних лет. О таких говорят: простая, русская. А кто не простой? Королева Елизавета? Не простая, английская...

Анна подошла и спросила:

— Можно посидеть?

Женщина молча подвинулась, хотя место было — целое бревно.

Анна села. Стала смотреть перед собой.

Если разобраться, то в ее жизни все не так плохо. Муж хоть и орет, но существует на отдельно взятой территории.

Сын — способный компьютерщик, живет в Америке, под Сан-Франциско. Имеет свой дом в Селиконовой долине. Женат на ирландке.

Дочь — студентка медицинского института. Живет у мальчика. Но сейчас все так живут. Раньше такое считалось позором, сейчас — норма.

Получается, что у Анны есть все: муж, двое детей, работа, деньги. Чего еще желать? Но по существу, у нее только больные, которые смотрят, как собака Найда. Анна спит в холодной пустой постели, и по ней бегают мышь. Вот итог ее двадцатичетырехлетней жизни: пустой дом и домовый в подвале. А что дальше? То же самое.

Женщина на бревне сидела тихо, не лезла с разговорами. И это было очень хорошо. Анна застыла без мыслей, как в анабиозе. Потом встала и пошла. Не сидеть же весь день.

Прошла несколько шагов и обернулась. Женщина поднялась с бревна и смотрела ей вслед.

Возле своего дома Анна опять обернулась. Женщина шла следом, как собака.

— Вы ко мне? — спросила Анна.

Женщина молчала. Собаки ведь не разговаривают.

— Проходите, — пригласила Анна.

Анна и Ирина стали жить вместе.

Анне казалось, что она провалилась в детство: то же состояние заботы и защиты.

Домовой притих, вел себя прилично. Мыши не показывались, возможно, убежали в поле.

Анна просыпалась оттого, что в окно светило солнце. Ее комната выходила на солнечную сторону. Девушки с фотографии смотрели ясно и дружелюбно, как будто спрашивали: «Хорошо, правда?»

Внизу, на первом этаже, слышались мягкие шаги и мурлыканье. Это Ирина напевала себе под нос.

Анна спускалась вниз.

На столе, под салфеткой, стоял завтрак, да не просто завтрак, а как в мексиканском сериале: свежавыжатый апельсиновый сок в хрустальном стакане. Пареная тыква. Это вместо папайи. В нашем климате папайя не

растет. Свежайший, только что откинутый творог. Никаких яиц каждый день. Никаких бутербродов.

Анна принимала душ. Завтракала. И уезжала на работу.

Ирина оставалась одна. Врубала телевизор. Включала пылесос и под совместный рев техники подсчитывала свои доходы.

Анна платила ей двести пятьдесят долларов в месяц плюс питание и проживание. Хорошо, что банкирша Света ее выгнала. Там полный дом народа, постоянные гости, некогда присесть. А здесь — большой пустой дом, его ничего не стоит убрать. Народу — никого. Сама себе хозяйка.

Ирина чувствовала себя, как в партийном санатории. Казалось, что она открыла новую дверь и вошла в новый мир. Когда Бог хочет открыть перед тобой новую дверь, он закрывает предыдущую.

Предыдущие двери захлопнулись, и слава богу. Единственный гвоздь стоял в сердце: Аля. Когда Ирина ела на обед малосольную норвежскую семгу, невольно думала о том, что ест сейчас Аля... Когда ложилась спать на широкую удобную кровать в комнате с раскрытым окном, невольно думалось: на чем спит Аля? И главное — где? Должно быть, на раскладушке в коридоре. Не положат же они шестилетнюю девочку в одну комнату с собой... А вдруг положат? Что тогда Аля видит и слышит? И какие последствия ведет за собой такой нездоровый опыт...

Ирина тяжело вздыхала, смотрела по сторонам. Мысленно прикидывала: где Алечка будет спать? Можно с собой, можно в отдельную комнату. Места — навалом.

Ирина собиралась переговорить на эту тему с Анной, ждала удобной минуты. Но найти такую минуту оказалось непросто. По будням Анна рано уезжала на работу и возвращалась усталая, отрешенная. Сидела как ватная кукла с глазами в никуда. Не до разговоров. Ирина чувствовала Анну и с беседами не лезла. Анна ценила это превыше всего. Самое главное в общении — когда удобно вместе молчать.

По выходным телефон звонил без перерыва. Звонили пациенты, задавали короткий вопрос типа: какое лучше лекарство — то или другое? И когда его лучше принимать — до или после еды. Казалось бы: какая мелочь. Разговор занимает две минуты. Но таких минут набиралось на целый рабочий день. Анна стояла возле телефона, терпеливо объясняла. А когда опускала трубку, из-под руки тут же брызгал новый звонок.

Ирина хотела их всех отшить, но Анна не позволяла. Земские врачи прошлого, а теперь уже позапрошлого века тоже вставали среди ночи и ехали на лошадях по бездорожью. Сейчас хоть есть телефон.

И все-таки Ирина нашла момент и произнесла легко, между прочим:

— Я привезу на месяц мою внучку...

Анна отметила: Ирина не спрашивала разрешения, можно или нельзя. Она ставила перед фактом. Но Анна не любила, когда решали за нее. Она промолчала.

Анна уставала как собака, и присутствие в доме активного детского начала было ей не по силам и не по нервам.

Главный врач Карнаухов грузил на нее столько, сколько она могла везти. И сверх того. А сам принимал блатных больных. Можно понять. Зарплата врача не соответствовала труду и ответственности. Анна взятки не брала. Как можно нажиться на несчастье? А больное сердце — это самое настоящее несчастье. Во-вторых: деньги у нее были. Карнаухов страстно любил деньги, а они его — нет. Деньги никогда не задерживались у Карнаухова, быстро исчезали, пропадали. У Анны — наоборот. Она была равнодушна к деньгам, а они к ней липли в виде ежемесячной аренды за квартиру.

Подарки Анна принимала исключительно в виде конфет и цветов — легкое жертвоприношение, движение души. Анна складывала красивые коробки в бар. Это называлось «подарочный фонд».

Каждый день к вечеру Ирина выходила встречать Анну на дорогу. Анна сворачивала на свою улицу и видела в конце дороги уютную фигуру Ирины, и сердце вздрагивало от тихой благодарности. Спрашивается, зачем в ее возрасте нужен муж? Только затем, чтобы на него дополнительно пахать? Лучше иметь такую вот помощницу, которая облегчит и украсит жизнь... Ирина и Анна, как две баржи, потерпевшие крушение в жизненных волнах, притиснулись друг к другу и потому не тонут. Поддерживают друг друга на плаву...

Вечером смотрели телевизор.

Анна включала НТВ, а Ирина ненавидела эту программу за критику правительства. Ирина была законопослушным человеком, и ее корбило, когда поднимали руку на власть. Нельзя жить в стране, где власть не имеет авторитета.

— При Сталине было лучше, — делала вывод Ирина.

— При Сталине был концлагерь, — напоминала Анна.

— Не знаю. У меня никто не сидел.

Человек познает мир через себя. У Ирины никто не сидел, а что у других, так это у других.

Иногда по выходным приезжали родственники, Ферапонт на машине и дочка с женихом — тоже на машине.

Анна носилась, как запыленная курица, готовила угощение — руками Ирины, разумеется.

Усаживались за стол. Какое-то время было тихо, все жевали, наслаждаясь вкусом. Дочь ела мало, буквально ковырялась и отодвигала. Она постоянно худела, организм претерпевал стресс. От внутреннего стресса она была неразговорчива и высокомерна.

Анна лезла с вопросами, нервничала, говорила неоправданно много, заискивала всем своим видом и голосом. Хотела им нравиться, хотела подольше задержать. Журчала, как весенний ручей.

— Помолчи, а? — просил Ферапонт и мучительно морщился. — Метешь пургу.

— А что я говорю? Я ничего не говорю... — оправдывалась Анна.

Слово брал жених. Ирина не вникала.

Потом спрашивала:

— Горячее подавать?

На нее смотрели с возмущением, как будто Ирина перебила речь нобелевского лауреата.

Ирина не могла свести концы с концами. Анна — глава семьи. Все они живут за ее счет, точнее, за счет ее бабушки. Вся недвижимость: квартира, дача, мебель, картины, — все богатство — это наследство Анны. Почему они все относятся к ней, как к бедной родственнице? И почему Анна не может поставить их на место? Вместо того чтобы выгнать Ферапонта в шею, отдала ему квартиру, купила машину...

Ирине было обидно за свою хозяйку. Так и хотелось что-нибудь сказать этой дочке типа: «А кто тебя такой сделал? Ты должна матери ноги мыть и воду пить...» Но Ирина сдерживалась, соблюдала табель о рангах.

Потом родственники уходили, довольно быстро.

Дочь тихо говорила в дверях, кивая на Ирину:

— Какая-то она у тебя косорылая. Найди другую.

— А эту куда? — пугалась Анна.

— А где ты ее взяла?

— Бог послал.

— С доставкой на дом, — добавлял Ферапонт.

Анна видела: с одной стороны, они ее ревновали, с другой стороны, им было плевать на ее жизнь. Жива, и ладно. У них — своя бурная город-

ская жизнь. Дочь была влюблена в жениха. Феррапонт — в свободу и одиночество, что тоже является крайней формой свободы.

Ирина отмечала: родственники вели себя как посторонние люди. Даже хуже, чем посторонние. С чужими можно найти больше точек соприкосновения. Так что — богатые тоже плачут. Этими же слезами.

Анна выходила провожать. Отодвигала миг разлуки.

Родственники садились в машины и были уже не здесь. Взгляд Анны их цеплял, и царапал, и тормозил.

Стук машинной дверцы, выхлоп заведенного мотора — и аля-улю... Нету. Только резкий запах бензина долго держится на свежем воздухе. Навоняли и уехали.

Ирина испытывала облегчение. Она уставала вдвойне: собственной усталостью и напряжением Анны.

Анна тоже была рада освобождению. Доставала чистые рюмки.

— Все-таки все они сволочи, — разрешала себе Ирина. — И мои, и твои.

— Знаешь, в чем состоит родительская любовь? Не лезть в чужую жизнь, если тебя не просят... Ты лезешь и получаешь по морде. А я не лезу...

— И тоже получаешь по морде.

— Вот за это и выпьем...

Они выпивали и закусывали. Иногда уговаривали целую бутылку. Принимались за песню. Пели хорошо и слаженно, как простые русские бабы. Они и были таковыми.

За это можно все отдать.
И до того я в это верю,
Что трудно мне тебя не ждать,
Весь день
Не отходя от двери... —

выводили Ирина и Анна.

— И что, дождалась? — спрашивала Ирина, прерывая песню.

— Кто? — не поняла Анна.

— Ну эта... которая стояла в прихожей.

— Не дождалась, — вздохнула Анна. — Это поэтесса... Она умерла молодой. И он тоже скоро умер.

— Кто?

— Тот, которого она ждала весь день, не отходя от двери.

— Они вместе умерли?

— Нет. В разных местах. Он был женат.

— И нечего было ей стоять под дверью. Стояла как дура...

— Ну почему же... Песня осталась, — возразила Анна.

— Другим, — жестко не согласилась Ирина. — Все вранье.

Она вспомнила Кямала, который врал ей из года в год.

— Все врут и мрут, — жестко сказала Ирина. Она ненавидела Кямала за то, что врал. И себя за то, что верила. Идиотка.

— Но ведь песня осталась, — упиралась Анна.

И это правда. Ничто не пропадает без следа.

Дети не звонили Ирине. Может быть, не знали — куда. Ирина исчезла из их жизни, хоть в розыск подавай. Но и розыск не поможет. Как найти человека, который вынут из обращения: ни паспорта, ни прописки...

Ирина тоже им не звонила. Она поставила себе задачу: позвонит, когда купит квартиру. Она знала, что существует фонд вторичного жилья. Люди улучшают условия, старое жилье бросают, а сами переходят в новое. Эти брошенные квартиры легче сжечь, чем отремонтировать. Но существует категория неимущих, для которых и это жилье — спасение. Администрация города продавала вторичное жилье по сниженным ценам. В пять раз дешевле, чем новостройка.

Ирина посчитала: если она будет откладывать все деньги до копейки, то за два года сможет купить себе квартиру.

Анна весь день проводила на работе, и Ирина по секрету подрабатывала на соседних дачах. И эти дополнительные деньги тоже складывала в кубышку. Кубышкой служила старая вязаная шапка.

Иногда, оставшись одна, Ирина перебирала деньги в пальцах, как скупой рыцарь. Она просила Анну расплачиваться купюрами с большими рожами. Она боялась, что деньги с маленькими рожами устарели и их могут не принять.

Ирина подолгу всматривалась в щекастого мужика с длинными волосами и поджатыми губами. Франклин. Вот единственный мужчина, которому она доверяла полностью. Только Франклин вел ее к жилью, прописке и независимости. Сейчас Ирина жила как нелегальный эмигрант. Она даже боялась поехать в Москву. Вдруг ее остановят, проверят документы, препроводят в ментовку и запрут вместе с проститутками.

Володька и Кямал бросили ее в жизненные волны — карабкайся как хочешь или тони. А Франклин протянет ей руку и вытащит на берег.

Однажды днем зашла соседка, старуха Кузнецова, и попросила в долг сто рублей, заплатить молочнице.

Попросить у Ирины деньги, даже в долг, — значило грубо вторгнуться в сам смысл ее жизни.

— Нет! — крикнула Ирина. — Нету у меня! — И заплакала.

«Сумасшедшая», — испугалась Кузнецова и отступила назад.

Собака Найда, чувствуя настроение хозяйки, залаяла, будто заругалась. Остальные собаки в соседних дворах подхватили, выкрикивая друг другу что-то оскорбительное на собачьем языке.

В середине лета Анна засобиравалась в Баку.

В Баку проводилась Всемирная конференция кардиологов под названием «Евразия». Съезжались светила со всего мира.

Карнаухов предложил Анне поехать проветриться. Это была его благодарность за качественную и верную службу.

Узнав о поездке, Ирина занервничала, заметалась по квартире.

Открыла бар, цапнула из подарочного фонда самую большую и дорогую коробку конфет «Моцарт». Положила перед Анной.

— Передашь Кямалу, — велела она.

— А ты не хочешь спросить разрешения? — легко поинтересовалась Анна.

— А тебе что, жалко? — искренне удивилась Ирина. — У тебя этих коробок хоть жопой ешь.

Сие было правдой, коробок много. Но спрашивать полагается. В доме должна быть одна хозяйка, а не две.

Анна посмотрела на Ирину. Та стояла восторженная, раскрасневшаяся, как девчонка. Видимо, Ирине было очень важно предоставить живого Кямала как свидетеля и участника ее прошлой жизни. Не всегда Ирина жила в услужении без возраста и прописки, нелегальная эмигрантка. Она была любимой и любящей. Первой дамой королевства, ну, второй... А еще она хотела показать Кямалу свою принадлежность к медицинской элите.

— Только вы не говорите, что я у вас на хозяйстве, — попросила Ирина. — Скажите, что вы — моя родственница. Жена двоюродного племянника.

— Если спросит, скажу... — согласилась Анна.

В конце концов, она вполне могла быть женой чьего-то двоюродного племянника. Все люди братья...

Баку — красивый, вальяжный город на берегу моря. Жара стояла такая, что трудно соображать. А соображать приходилось. Доклады были

очень интересные. Все собирались в конференц-зале, никто не манкировал, слушали сосредоточенно. Сидели полуголые, обмахивались.

Анна не пользовалась косметикой. Какая косметика в такую жару. В конференции участвовали в основном мужчины, девяносто процентов собравшихся — качественные мужчины, интеллектуальные и обеспеченные. Было даже несколько красивых, хотя умный мужчина — красив всегда. Но Анна не смотрела по сторонам. Эта сторона жизни, «он — она», не интересовала ее совершенно. Была интересна только тема доклада: борьба с атеросклерозом.

Атеросклероз — это ржавчина, которая возникает от времени, от износа. Сосуды ржавеют, как водопроводные трубы. Их научились заменять, но чистить их не умеют. Для этого надо повернуть время вспять. Человек должен начать жить в обратную сторону, как в сказке. Однако Моисей, который водил свой народ по пустыне, имел точный возраст: четыреста лет. И это может быть. Если атеросклероз будет побежден, человеческий век удвоится и утроится. По Библии Сарра родила Иакова в девяносто лет. Вряд ли они что-то напутали в Библии.

Атеросклероз — это и есть старость. Потому что душа у человека не стареет. Вечная девушка или юноша. А у некоторых вечный мальчик или девочка. Борис Пастернак определял свой возраст: четырнадцать лет. Он даже в шестьдесят был четырнадцатилетним.

А сколько лет ей, Анне? От шестнадцати до девяноста. Иногда она была мудра, как черепаха, а иногда не понимала простых вещей. Ее было так легко обмануть... Потому что она сама этого хотела. «Я сам обманываться рад...»

Скучно жить скептиком, всему знать свою цену. Никаких неожиданностей, никакого театра с переодеваниями. Все — плоско и одномерно: счастье — временно, смерть — неизбежна. Все врут и мрут.

А вдруг не мрут? Просто переходят в другое время.

А вдруг не врут? Ложь — это не отсутствие правды. Ложь — это другая правда.

С Кямалом удалось встретиться в восемь часов утра. Другого времени у Анны просто не было. Конференция — это особое состояние. День забит, мозги — на определенной программе. И договариваться о встрече с незнакомым Кямалом — дополнительное усилие. Анна могла выделить на него пятнадцать минут: с восьми до восьми пятнадцати.

Кямал вошел в номер. «Уцененный Омар Шериф», — подумала Анна. Что-то в нем было и чего-то явно не хватало.

Анна не стала анализировать, что в нем было, а чего не хватало. У нее в распоряжении только пятнадцать минут.

Анна передала конфеты. На этом ее миссия заканчивалась. Кямал мог уходить, но ему было неудобно уйти вот так, сразу.

— Может, нужна машина, поехать туда-сюда? Может, покушать шашлык, зелень-мелень? — спросил он.

— Спасибо. Конференция имеет свой транспорт.

— Как? — Кямал напряг лоб.

— У нас проходит конференция кардиологов, — объяснила Анна.

При слове «кардиологов» Кямал напрягся. Этот термин он, к сожалению, знал очень хорошо.

— А можно моего сына показать? — спросил Кямал, и его лицо мгновенно осунулось. Глаза стали голодными. Сын — вот его непреходящий душевный голод. Перед Анной стоял совершенно другой человек.

— У вас есть на руках история болезни? — спросила Анна.

— Все есть, — ответил Кямал.

— Приводите его сегодня к двенадцати, — велела Анна. — До обеда можно будет организовать консилиум. Это будет частью конференции.

Кямал достал из кармана ручку и записал адрес на коробке конфет «Моцарт». Ему было не до конфет, не до Ирины. Прошлое не имело никакого значения. Он стоял на стыке судьбы. Из этой точки судьба могла пойти вправо и влево.

Анна все понимала и не задавала лишних вопросов.

Кямал явился вовремя, как аристократ. Рядом с ним стоял его сын, серьезный, красивый мальчик. Его красота была не южной, рвущейся в глаза, а более спокойной. Глаза — серые, волосы — темно-русые, синюшные губы выдавали тяжелую сердечную недостаточность.

Его осмотрели детские кардиологи, профессор из Манилы и Карнаухов из Москвы. Состоялся консилиум. Каждый высказал свою точку зрения.

Мнения совпали: необходима операция. Время работает против ребенка. От постоянной кислородной недостаточности начинают страдать другие органы.

Еще пять лет назад такие дети считались обреченными. Но сейчас этот порок умеют устранять.

— Мы поставим вас на очередь, — сказал Карнаухов. — И вы приедете в Москву.

— А длинная очередь? — спросил Кямал.

— Примерно полгода.

— А почему так долго?

— Потому, что больных много, а больница одна, — объяснила Анна.

— А где лучше, в Америке или у нас? — поинтересовался Кямал.

— В Америке дороже.

— Сколько? — уточнил Кямал.

Анна перевела вопрос на английский. Участники консилиума понимающе закивали. Назвали цену.

Анна перевела.

Брови Кямала приподнялись. Выражение лица стало дураковатое. Было очевидно, что для него названная сумма — понятие астрономическое.

— А что ты удивляешься, — вмешался мальчик. — Операция — высококвалифицированный, эксклюзивный труд, повышенная ответственность.

Анна перевела на английский. Участники консилиума заулыбались, закачали головами. Им нравился этот странный мальчик и хотелось сделать для него все, что возможно.

— Ты любишь читать? — спросил Карнаухов.

— Естественнo, — удивленно ответил мальчик.

— А что ты сейчас читаешь?

— Ленина и Сталина.

— У нас в доме собрания сочинений. От отца осталось, — объяснил Кямал. Видимо, отец был партийный.

Анна догадалась: мальчик не мог играть в детские игры, вести жизнь полноценного подвижного подростка. Много времени проводил дома, поэтому много читал.

— Интересно? — спросил Карнаухов.

— Сталин — неинтересно. А Ленин — много лишнего текста.

— А у кого нет лишнего текста?

— У Пушкина. Только те слова, которые выражают мысль.

Анна вспомнила слова Высоцкого: «Растет большое все быстрее...» Природа чувствует короткую программу жизни и торопится выявить как можно быстрее все, что заложено в личность. Поэтому часто тяжелобольные дети умственно продвинуты, почти гениальны.

Прием был окончен.

Анна вышла проводить и попрощаться.

— Что передать Ирине Ивановне? — спросила Анна.

— Спасибо... За вас...

Кямал заплакал с открытым лицом. Его брови тряслись. Губы дрожали.

В жизни Кямала обозначилась надежда, как огонек в ночи. И эту надежду организовала Анна, которую он еще вчера не знал.

Кямал стоял и плакал. Анна не выдержала. Ее глаза увлажнились.

Мальчик смотрел в сторону. Не желал участвовать в мелодраме. Ему нравилось чувствовать себя сверхчеловеком — презрительным и сильным. Вне и над. Над схваткой.

Должно быть, начитался Ницше.

Анна вернулась в Москву.

Ирина, как всегда, ждала ее на дороге.

Анна вышла из такси. Вытащила чемодан, коробки с подарками. Азербайджанцы надарили национальные сувениры.

— Ну как? — спросила Ирина вместо «здравствуй».

Этот вопрос вмещал в себя многое: видела ли Кямала? Передала ли конфеты? Как он тебе показался? Что он сказал?

— Симпатичный, — одним словом ответила Анна. Это значило — видела, передала, посмотрела и скромно оценила: «симпатичный».

— И ребенок замечательный, — добавила Анна.

— Какой ребенок? — не поняла Ирина.

Этот вопрос она уже задавала однажды Джамалу. И у нее было то же выражение лица.

— Сын Кямала. У него врожденный порок сердца. Они приедут в Москву на операцию.

— С женой? — сумрачно спросила Ирина.

— Не знаю. Наверное...

Вошли в дом. На столе стояли пироги: с мясом, с капустой и с черникой. На плите изнемогал сложный суп с самодельной лапшой.

Когда хочешь есть и тебе дают — это счастье.

Уселась за стол.

— А кто их позвал? — спросила Ирина.

— Что значит «позвал»? Их же не в гости позвали. По медицинским показаниям.

— А ты при чем?

— Я — врач. Кямал попросил, я помогла. А что? Не надо было?

Ирина поджала губы. Анна — это ЕЕ человек. Ее территория. И Кямал позволил себе тащить ТУ, предательскую, жизнь на территорию Ирины.

Анна отправила в рот ложку супа. Закрыла глаза от наслаждения. В этом изысканном ужине пряталась вся любовь и забота Ирины. И легкое тщеславие: «Вот как я могу».

— Это не суп, — подтвердила Анна. — Это песня.

— А что он сказал? — спросила Ирина.

— Кто?

Ничего себе вопрос.

— Кямал, — напомнила Ирина.

— Ничего. Спросил: сколько стоит операция в Америке.

— А мне что-нибудь передал?

— Передал: спасибо... — «За вас» Анна опустила. Это могло быть обидно. Хотя и просто «спасибо» — тоже обидно после всего, что было.

Ирина опустила глаза.

— Если вы любили друг друга, то почему не поженились? — просто-душно спросила Анна.

— У него другая вера, — кратко ответила Ирина.

Не скажет же она, что он ее бросил. Стряхнул, как рукавицу.

— Ну и что? У нас почти все врачи другой веры. И у всех русские жены

— Евреи, что ли?.. — уточнила Ирина. — Так евреи вечные беженцы. Они выживают.

— Интересная мысль... — Анна улыбнулась.

Ее друзья и коллеги меньше всего похожи на беженцев. Скорее на хозяев жизни. А татарин Акчурин — вообще Первый кардиолог.

— А какой у него сын? — осторожно спросила Ирина.

— Потрясающий. Я бы его украла.

«Мог бы быть моим, — подумала Ирина. — Только здоровым. От смешения разных кровей дети получаются лучше. Как котлеты из разных сортов мяса».

— Мальчик похож на Кямала? — спросила Ирина.

— Гораздо умнее...

Так. Значит, Кямал оказался ей недалеким.

Анна почувствовала себя виноватой, хотя не знала, в чем ее вина.

Они сидели на кухне, пили чай с черникой, и над их головами металась многие чувства.

Хлопнула входная дверь. В доме раздались легкие шаги.

— Кто это? — испугалась Анна.

— Алечка, — хмуро ответила Ирина.

— Кто? — не поняла Анна.

— Моя внучка, кто же еще...

Ирина по привычке устанавливала свои порядки на чужой территории. А почему ей в ее возрасте надо менять свои привычки? И что особенного, если ребенок подышит воздухом и поест хорошую еду. Здесь всего навалом. Половина выкидывается собаке. И взрослым полезно: не замыкаться друг на друге, а отдавать тепло — третьему, маленькому и растущему. Поливать цветок.

Анна замерла с куском пирога. Стало ясно: она — за порог, Аля — тут же появилась в доме. Ирина — самостоятельна и независима. А независимость часто граничит со жлобством. Грань тонка.

Алечка тем временем привычно метнулась к холодильнику, взяла йогурт. Села в кресло с ногами. Включила телевизор.

Передавали какую-то тупую игру. Тупой текст наполнял комнату. Алечка смеялась.

— Выключи телевизор, — потребовала Анна.

— А вы пойдите на второй этаж. Там не слышно, — посоветовала Аля.

— Иди сама на второй этаж, — крикнула Ирина. — Там тоже есть телевизор.

— Там маленький... — заупрямилась Аля. Но все-таки встала и ушла.

Анна сидела парализованная открытием. Ее (Анну) не любят. Ее просто качают, как нефтяную скважину. Качают все: и Феррапонт, и Карнаузов, и целая армия больных. Думала, Ирина — простая русская душа — жалеет и заботится. Но... Мечтанья с глаз долой, и спала пелена. Как у Чацкого.

Анна отодвинула тарелку и поднялась на второй этаж, в свою спальню. Телевизор грохотал на втором этаже.

— Иди вниз, — приказала она Але.

— Ну вот... — пробурчала девочка. — То вниз, то вверх...

Однако телевизор выключила.

Алечкой можно было управлять, хоть и через сопротивление.

Ирина осталась сидеть внизу с невозмутимым видом. Когда она нервничала, то надевала на лицо невозмутимость. Защитный рефлекс. Ирина рисковала и понимала это. Если Анна взорвется и попросит их обеих убраться восвояси, ей просто некуда будет пойти. Алечку она отвезет к матери, а сама — хоть на вокзал. Сиди и встречай поезда.

Алечка спокойно спустилась. Кажется, пронесло. А может, и не пронесло. Завтра выгонят. Но завтра будет завтра. А сейчас надо покормить ребенка.

Ирина усадила внучку за стол и стала подкладывать лучшие кусочки. Алечка вдохновенно ела, а Ирина сидела напротив и благословляла каждый ее глоток.

Ночью Анна долго не могла заснуть.

Вспомнился рассказ деда, как во время войны он привел в дом безпризорника. Они с бабушкой его накормили, отмыли и одели. А он на другой день вернулся с друзьями и обокрал дом. Доброту он воспринял как слабость.

Так и Ирина. Выживает любой ценой. Карабкается из ямы вверх и тянет за собой внучку. Тут уж не до политеса. У таких людей, которые карабкаются из ямы вверх, не бывает ни совести, ни чести. Только желание вылезти.

Анна понимала всех. Только вот ее никто не хотел понять. Все только пользуются, как нефтяной скважиной. Но с другой стороны, если скважина существует, то почему бы ею не пользоваться... Нет зрелища печальнее, чем пустая заброшенная скважина.

Это был вторник. Анна запомнила, потому что вторник — операционный день. Анна вернулась уставшая.

Аля сидела перед телевизором и смотрела мультик.

Анна поужинала и поднялась в спальню. Хотелось пораньше лечь, побыть одной, почитать.

В спальне все было как всегда. Кроме одного: на картине «Сестры» к лицам великих княжон пририсованы усы. Это значило одно: Аля пробралась в спальню и хозяйничала здесь как хотела.

Анна спустилась вниз и попросила Ирину подняться.

Ирина поднялась, увидела, но не нашла в этом ничего особенного. Дети любопытны и любознательны. Так они познают мир.

У Анны горела голова. Поднялось давление. Затошнило. Она села на кровать и попросила лекарство.

— Ты чего? — удивилась Ирина. — Из-за этого? Я сотру.

— Ира... — слабым голосом произнесла Анна. — Собери, пожалуйста, свою внучку и отвези ее домой. Чтобы ее здесь не было. Поняла?

Ирина вышла из комнаты.

Алечка сидела перед включенным телевизором, как нашкодивший котенок.

— Говна такая... — напустилась Ирина. — Чего ты лазишь? Чего ты все лазишь?

Алечка задергала губами, готовясь к плачу. Ее личико стало страдальческим. Ирина не могла долго сердиться на внучку. А на Анну могла.

«Подумаешь, барыня сраная...» — думала Ирина, собирая Алечкины вещи.

Если бы Ирина могла, если бы было куда — она ушла бы сейчас вместе с Алечкой навсегда.

Ирина собрала спортивную сумку и вышла из дома, держа Алечку за руку.

Путь был долог. Сначала пешком до шоссе. Потом на автобусе, всегда переполненном. Далее — на метро.

В метро Алечка заснула, прикорнув теплой головкой к бабушкиному плечу. Ирина смотрела сверху на макушку. Волосы были настолько черными, что макушка казалась голубой. К горлу Ирины подступала любовь. Она не понимала, как может Алечка кому-то не нравиться.

Сейчас приедет к Снежане и уложит ребенка спать. А утром поищет работу возле дома — все равно кем, хоть сторожихой. Хоть за копейки, но рядом с семьей.

Снежана открыла дверь.

В Ирину вцепился едкий запах кошачьей мочи.

— Какая вонь, — хмуро сказала Ирина вместо «здравствуй».

Кошка по имени Сара проследовала из комнаты в кухню.

У кошки от лба к подбородку шла белая полоса, деля мордочку на две неравные части, от этого кошачье лицо казалось асимметричным.

— Какая уродина, — отреагировала Ирина.

— Почему уродина? — возразила Алечка. — Очень красивая... — Она кинулась к кошке и подняла ее за лапы, поцеловала в морду.

Было видно, что Алечка соскучилась по дому и с удовольствием вернулась. Маленьким людям везде хорошо. Они не видят большой разницы между бедностью и богатством. Они видят разницу между «весело» и «скучно».

На кухне ужинал Олег. Видимо, только что вернулся с работы. «Много работает», — отметила про себя Ирина.

Олег не вышел поздороваться. Он задумчиво ел, делал вид, что все, происходящее за дверью кухни, не имеет к нему никакого отношения.

— Ты разденешься? — спросила Снежана.

Она не спросила: ты останешься? Об этом не могло быть и речи. Вопрос стоял так: ты разденешься или сразу уйдешь?

— Я пойду домой, — ответила Ирина. — Уже поздно.

Ирина сначала произнесла, а потом уже поразилась слову «домой». Она привыкла к дому Анны и ощущала его своим. Она его прибирала, знала каждый уголок и закуток. Это был чистый, экологичный, благодородный дом, запах старого дерева и живые цветы на широких подоконниках.

Анна лежала и смотрела в потолок. Она рассчитывала на Ирину, хотела прислониться к чужой, приبلудшей душе. Но чужие — это чужие. Только свои могут подставить руки, потому что свои — это свои.

Может быть, вернуться в Москву? Жить с Ферапонтом? Заботиться о нем. Плохая семья лучше, чем никакой. Это установлено психологами.

Анна встала и набрала московскую квартиру. Услышала спокойный, интеллигентный голос Ферапонта.

— Да... Я слушаю.

— Это я, — произнесла Анна. — Как ты там?

— Ничего... — немножко удивленно проговорил Ферапонт.

— Что ты ешь?

— Сардельки.

— А первое?

— Кубики.

— Хочешь, я приеду сготовлю что-нибудь? — предложила Анна.

— Да ну... Зачем? — грустно спросил Ферапонт.

Анна почувствовала в груди взрыв любви.

— Может, мне переехать в Москву? — проговорила Анна.

— Ну, не знаю... Как хочешь...

В глубине квартиры затрещал энергичный женский голос.

— Ну ладно, я сплю, — сказал Ферапонт и положил трубку.

Анна смотрела перед собой бессмысленным взором. Что за голос? У него в доме баба? Или работает телевизор?

Анна прошла в кабинет, включила телевизор. Фигуристая молодуха с большим ртом энергично рассказывала о погоде, о циклоне и антициклоне.

Анна стояла с опущенными руками. А вдруг все-таки баба? Тогда возвращаться некуда. Остается вот этот пустой дом, затерянный в снегах.

«Хоть бы Ирина скорее вернулась», — мысленно взмолилась Анна.

Она легла, попыталась заснуть. Но в мозгах испортилась электропроводка. Мысли коротили, рвались, прокручивались. И казалось, что этому замыканию не будет конца.

Где-то около двух часов ночи грюкнула дверь.

«Ирина», — поняла Анна, и в ней толкнулась радость. Стало спокойно. Анна закрыла глаза, и ее потянуло в сон, как в омут. Какое это счастье — после тревожной, рваной бессонницы погрузиться в благодатный сон.

Наступила весна. Солнце подсушило землю.

Ирина сгребала серые прошлогодние листья и жгла их. Плотный дым шел вертикально, как из трубы.

В доме раздался телефонный звонок. Ирина решила не подходить. Все равно звонят не ей. А сказать «Нет дома» — это то же самое, что не подойти. Там потрезвонят и поймут: нет дома. И положат трубку. Ирина продолжала сгребать листья. Звонок звучал настырно и как-то радостно. Настаивал.

Ирина прислонила грабли к дереву и пошла в дом.

— Слушаю! — недовольно отозвалась Ирина.

— Позовите, пожалуйста, Джамала! — прокричал голос. Этот голос она узнала бы из тысячи.

— Какого еще Джамала? — задохнулась Ирина. — Ты где?

— Я в Москве! Мне вызов пришел. Слушай, мне не хватает на операцию. Мне больше не к кому позвонить.

— Сколько? — крикнула Ирина.

— Две штуки.

— Рублей?

— Каких рублей? Долларов.

— А ты что, без денег приехал? — удивилась Ирина.

— Они сказали, в Америке дорого, а у нас бесплатно. Я привык, что у нас медицина бесплатная...

— А когда надо?

— Сегодня... До пяти часов надо внести в кассу.

— Ну приезжай...

Ирина не раздумывала. Слова шли впереди ее сознания. Как будто эти слова и действия спускались ей свыше.

— Приезжай! — повторила Ирина.

— Куда поеду, слушай... Я тут ничего не знаю. Привези к метро. Я буду ждать.

— Ладно! — крикнула Ирина. — Стой возле метро «Белорусская». Я буду с часу до двух.

— А как я тебя узнаю? — крикнул Кямал.

— На мне будет шарфик в горошек. Если я тебе не понравлюсь, пройди мимо.

Кямал странно замолчал. Ирина догадалась, что он плачет. Плачет от стыда за то, что просит. От благодарности — за то, что не отказала. Сохранила верность прошлому. Ему действительно больше не к кому было обратиться.

Ирина бежала до автобуса, потом ехала в автобусе. Ее жали, мяли, стискивали. Какие-то цыгане толкали локтем в бок.

Наконец Ирина вывалилась из автобуса. Направилась к метро. И вдруг увидела, что ее сумка разрезана. Ирина дрожащими пальцами растегнула молнию. Распялила сумку. Кошелек нет. Две тысячи долларов — все, что она заработала за восемь месяцев, — перешли в чей-то чужой карман. Сказали: «До свидания, Ирина Ивановна». Двадцать щекастых Франклинов помахали ей ручкой: «Гуд бай, май лаф, гуд бай»... В глазах помутилось в прямом смысле слова. Пошли зеленые пятна. Чувство, которое она испытала, было похоже на коктейль из многих чувств: обида, злоба, ненависть, отчаянье и поверх всего — растерянность. Что же делать? Ехать на «Белорусскую» и сообщить, что денег нет. Деньги украли. Тогда зачем ехать? Кямал ждет деньги, от которых зависит ВСЕ. В данном случае деньги — больше чем деньги.

Ирина остановила машину.

— Куда? — спросил шофер, мужик в возрасте.

— Туда и обратно, — сообщила Ирина.

Мужик хотел уточнить, но посмотрел в ее лицо и сказал:

— Садитесь.

Ирина вбежала в дом. Кинулась к письменному столу. В верхнем ящичке лежала груда янтарных бус, под бусами конверт, а в конверте — пачка долларов. Наивная Анна таким образом прятала от воров деньги. Думала, что не найдут. Если воры заявятся и сунутся в ящик — увидят бусы, а конверт не заметят.

Ирина давно уже нашла этот конверт и даже пересчитала. Там лежали шесть тысяч долларов. Или, как сейчас говорят, — шесть штук.

Она отсчитала две штуки, остальные сложила, как раньше. Сверху — тяжелые бусы.

Ирина не отдавала себе отчета в том, что делает. Главное, чтобы сегодня деньги попали к Кямалу. А там хоть трава не расти.

Ирина себя не узнавала. А может быть, она себя не знала. Ей казалось, что она не простила Кямала. Она мысленно проговаривала ему жесткие, беспощадные слова. Она избивала его словами, как розгами. А оказывается, что все эти упреки, восходящие к ненависти, — не что иное, как любовь. Любовь с перекошенной рожей. Вот и поди разбери...

Машина ждала Ирину за воротами. Шофер подвез к самому метро «Белорусская». Запросил пятьсот рублей. Еще вчера эта трата показалась бы Ирине космической. А сегодня — все равно.

Кямал растолстел. Живот нависал над ремнем. Кожаная курточка была ему мала.

Ирина помнила эту курточку. По самым грубым подсчетам, курточке лет пятнадцать. Значит, не на что купить новую.

Она знала, что милиция разошлась по частным охранным структурам. Кямал стар для охранника. Значит, сидит на старом месте. За гроши.

Кямал смотрел на Ирину. Из нее что-то ушло. Ушло сверканье молодости. Но что-то осталось: мягкие славянские формы, синева глаз.

Кямал стоял и привыкал к ней. Жизнь помяла их, потискала, обокрала, как цыганка в автобусе. Но все-таки они оба — живые и целые, и внутри каждого, как в матрешке, был спрятан прежний.

— Знаешь, я стал забывать имена, — сознался Кямал. — Не помню, как кого зовут. А то, что ты сказала мне в пятницу, десять лет назад, — помню до последнего слова. Ты моя главная и единственная любовь.

Ирина помолчала. Потом сказала:

— И что с того?

— Ничего. Вернее, все.

Ничего. И все. Это прошлое нельзя взять в настоящее. Ирина не может позвать его в свою жизнь, потому что у нее нет своей жизни. И он тоже не может позвать ее с собой — таковы обстоятельства.

У них нет настоящего и будущего. Но прошлое, где звенела страсть и падали жуки, принадлежит им без остатка. А прошлое — это тоже ты.

Ирина протянула деньги.

Кямал взял пачку, сложил пополам, как обыкновенные рубли, и спрятал во внутренний карман своей многострадальной курточки.

— Я не знаю, когда отдам, — сознался он.

Вторичное жилье сделало шаг назад и в сторону. Это па называется «пустить повезет другому». Но было что-то гораздо важнее, чем жилье, прописка и пенсия.

— Ты ничего не меняй, ладно? — вдруг попросил Кямал. — Я к тебе вернусь.

- Когда?
- Не знаю. Не хочу врать.
- И то дело... — усмехнулась Ирина. Раньше он врал всегда.

Ирина возвращалась на метро. На автобусе. Потом шла пешком. Свернула в лес к знакомому муравейнику. Села на сваленное бревно.

Какая-то сволочь воткнула в муравейник палку, и муравьи суетились с утроенной силой. Восстанавливали разрушенное жилище.

Ирина вгляделась: каждый муравей тащил в меру сил и сверх меры. Цепочку замыкал муравей с огромным яйцом. Муравей проседал под тяжестью, но волок, тащил, спотыкаясь и останавливаясь. И должно быть, вытирал пот.

Ирина вдруг подумала, что земля с людьми — тоже муравейник. И она среди всех тащит непосильную ношу. А кто-то сверху сидит на бревне и смотрит...



ЕФИМ БЕРШИН

*

ОБЫКНОВЕННЫЙ СНЕГ

* *
*

Когда телефон замолчал и умер,
а часы показывали все, что хотели,
и только сверчок верещал, как зуммер,
наискосок от моей постели,

я понял, что наконец-то вышел
из времени, из его объятий сучьих,
как язык — из азбуки,
сок — из вишен,
оставив деревьям гнилые сучья.

А за окнами так же теснились ели,
пахло псиной,
и печка давилась поленьями,
и ворота долго еще скрипели
там, по другую сторону времени.

* *
*

Снег идет неслышно, по-кошачьи,
хлопьями, как лапами, шурша,
там, где зачарованный, дрожащий
синий ельник стынет, не дыша,

там, где между небом и землею
нет границ и обнажилось дно,
снегом, словно белой золою,
прошлое уже занесено.

Я ушел и больше не нарушу
ваш покой бесценный, ваш ночлег.
Словно небо вывернув наружу,
снег идет, обыкновенный снег,

тайный, словно тайные любви
или тени на исходе дня —
где-то рядом, за пределом боли,
где-то там, где больше нет меня,

снег идет, крадется и занозит
душу, словно нищенка с сумой.
Бог ты мой, ну как же он заносит!
Как же он уносит, Бог ты мой!

И уже не различить причала,
и уже не различить лица.
Если можешь, начинай с начала
эту жизнь.
А я начну — с конца.

* *
*

Когда вечер опустится вещей,
непонятный в своей ворожке,
можно выбросить старые вещи
и очистить дорогу судьбе.

Можно кованые ворота
посадить на железный засов,
запереться на два оборота
и спустить обезумевших псов.

И остаться, как добрая лошадь,
на конюшне ненужных вещей
в новом ватнике, в крепких калошах,
наблюдая в заборную щель,

как проходит судьба, не мигая,
на последнем твоём вираже —
ослепительная, нагая
и навечно чужая уже.

* *
*

Мне холодно в этом вертепе
среди недоверчивых лиц,
где женщины ваши и дети
с губами телят и ослиц

уже улыбаются жутко,
уже никого не спасут
и выведут без промежутка
на площадь, на чернь и на суд.

И медленно капают с елки
шары, словно с крыши — вода.
И звезды — всего лишь осколки
большого вселенского льда.

И где-то, отбившись от стада,
замерзли мои пастухи.
Тропой Гефсиманского сада,
слепой собиратель стихий,

бегу воскресенья и славы,
и небу, и людям чужой, —
такой одинокий и слабый,
с такой непосильной душой.

Крещение

Нам далеко до Иордана,
где струи, вязкие, как сок,
сочатся столь же перевозданно,
как солнце, воздух и песок,

где к северу от Бет-Шеана,
что солнцем выкрашен, как хной,
толпа смиренно не дышала
в невысказанный крещенский зной.

Слепцы, погонщики верблюдов,
менялы и поводыри
и множество другого люда
стояли молча до зари.

Они искали место Богу,
и суть, и формулу. И вот
спокойно обрели свободу
в купели иорданских вод.

Нам — далеко.
В снегу — осины.
Из сруба выперла скоба.
И весть о Человечьем Сыне
доносит хриплый лай собак.

Зато соседка на Крещение
всех разом соберет к столу
и, наспех вымолив прощенье
у складня в вышитом углу,

достанет из печи просфоры —
вся распаленная, в золе.
И тем решит проблему формы
и места Бога на земле.

* *
*

И крещенская сырость
сожрет недокрашенный крест.
И в белесом тумане
чужие заблудятся гости.
И сожмется ручей.
И куда ни помотришь окрест —
все леса да погосты в округе.
Леса да погосты.

И томится меж ними
сырой остывающий наст,
как наколка на теле,
как злая острожная участь.
Что ж вы думали там —
недостанет острогов у нас,
чтобы жизнь пережить,
переменчивым счастьем не мучась?

Что ж вы думали там —
недостанет у нас дураков,
чтобы мордой — в трясины,
а всем животом — на кинжалы?
Что ж вы думали там —
у России не хватит врагов,
чтобы всех дураков
навсегда занести на скрижали?

Это — высшая русская мера во все времена,
это — высшая русская доблесть,
с которой нет сладу,
это — высшая русская доля —
тюрьма да война,
да крутые овраги,
да поздняя горькая слава.

Вам бы распри одни.
Вам бы белую скатерть залить
недопитым вином
да уйти под чужие знамена.
Что ж вы думали там —
у России не хватит земли?
Чтобы всех примирить.
Чтобы всех позабыть.
Поименно.



НИНА ГОРЛАНОВА

*

РАССКАЗЫ

ЗАКАЖИТЕ МОЛЕБЕН ПРОСИТЕЛЬНЫЙ

— **З**акажите молебен просительный.
— Это стихи? — спросила Вера Михайловна.

— Это совет, как выйти замуж, — ответила Елена. — Нужно заказать молебен просительный о создании семьи. Вы ведь крещеная? Я сама четыре года назад заказывала...

— И что? А, да, у вас уже дети.

— Которые шляпу не дают носить.

— Почему?

— А как вы думаете? Они же маленькие, все время нужно наклоняться... Шляпа падает в грязь.

Белая зависть мелькнула в глазах Веры Михайловны. О, как бы она отказалась от шляпы — с радостью! И наклонялась бы, наклонялась: то нос вытереть ребенку, то просто чмокнуть...

— Пожалуйста, расскажите, как это все вы сделали, Леночка!

Рассказ Елены занял вторую половину обеденного перерыва. Первая половина ушла на монолог Веры Михайловны (дело было в большом универмаге, где Елена торговала в церковном киоске).

Берем пригоршню жалости, четыре-шесть слезинок, быстро испарившихся, а любви как можно больше! И кратко даем историю старой девы Веры Михайловны, заведующей отделом нот.

Отпраздновать свое тридцатилетие она пригласила коллег на пикник.

— Там все парами: кто был с мужем, кто — с женихом, а я — с Гарри.

— Это иностранец? Вы здесь, в универмаге, с ним познакомились? — уточнила Елена.

— Гарри — пес моей тети, я у нее живу. Все парами, а я танцевала с Гарри, он положил мне лапы на плечи... Там была семиствольная черемуха еще! Даже дереву словно скучно одному, семь стволов из одного корня! Я думаю: может, пора в монастырь уйти? Стыдно быть одной. Не касаться, а жить по-настоящему, вот чего я хочу... Или быть камнем! Нет, лучше в монастырь.

— Успокойтесь! В монастырь никогда не поздно. Вы хотите иметь семью?

— Да, но... у меня никого нет, Леночка. В девятом классе нравился один — он и не замечал нас, весь в волейболе своем.

— Сначала закажите молебен, Вера Михайловна. Если не поможет... Но надо верить! У меня тоже никого не было. Заказала молебен просительный о создании семьи. Как раз тогда я начала у вас здесь работать в церковном киоске. Ну и мечтала, что муж мой будет — священник, что меня все будут звать матушкой... А ко мне стал часто приходиться и об ико-

нах разговаривать мой Леша, но я еще долго не понимала, что его мне и послали по молебну. А когда он сделал предложение... Это так быстро произошло! В роддоме нянечка всех младенцев звала «хорек» или «жених». Про моего сына даже сказала: «У него будет сорок шестой размер обуви». И похоже, что будет, как у Леши. Но это не беда, а вот я боюсь, что у Катеньки моей тоже ножки вырастут ого-го, я ей говорю: «Дочик, где же мы будем брать тебе обувь!»

Тут еще раз мечтательная зависть мелькнула в глазах Веры Михайловны: нашла бы она обувь, пусть только будет семья, будет дочь!

— Вы, Леночка, подскажите мне, как это делают — заказывают молебен?

— В церкви закажите молебен просительный о создании семьи Иисусу Христу, Божией Матери, святому Николаю Чудотворцу, святым Кириллу и Марии — это родители Сергия Радонежского Чудотворца... Затем — святым Петру и Февронии. Ну, вашей святой и Ангелу Хранителю.

— Записала. И это все?

— Нет. Мама крещеная у вас? Она будет с вами просить помощи?

— Мама в деревне, я не знаю.

— Хорошо. Сделайте так: позвоните и спросите! Если да, то имя ее святой впишите тоже. Или не беспокойте маму. Как хотите.

Вера Михайловна заказала молебен. А в это самое время вечерами свекровь Елены стала спрашивать:

— Нет ли у тебя хорошей девушки знакомой? Такой у нас в отделе славный Вася! Ему тридцать лет, до сих пор не женат. Он рано полысел и стесняется, что ли... Правда, у него немного деревенская речь.

— Например?

— Например, он говорит: «Ды ладно». Или спросишь, как дела, Вася отвечает: «Всяконько». Девушек в отделе зовут «кумушками», им это не нравится. А что тут такого! Умница, весь в конверсии! У него папки с бегемотиками, с черепашками, которые гребут, — детские игрушки разрабатывает, хотя и авиаконструктор неплохой.

Наконец до Елены стало доходить, что в этой ситуации есть промысел! И пора уже включаться. Когда в очередной раз свекровь стала спрашивать про знакомых девушек, Елена рассказала о Vere Михайловне:

— Милая, скромная. Я ее завтра с утра предупрежу. А вы отпустите Васю с работы на час-два.

— Леночка, настрой ее быть разговорчивее, а то наш Вася такой стеснительный, но он славный, она увидит! Ну подумаешь, говорит «ды ладно»...

— Значит, так: пусть он вызовет заведующую отделом нот — Веру! Отчества пока, я думаю, не нужно.

На следующий день Вася пришел в универмаг, но от волнения спутал отдел нот с отделом музыкальных инструментов. К несчастью, заведующую там тоже звали Верой! И она была не замужем.

— А я к вам! — сказал Вася. — Начнем, Верочка, знакомиться! Меня Васей зовут.

— Вася, откуда вы вдруг взялись?

— Откуда... Вы о работе моей, кумушка? Мы сейчас конверсией занимаемся. Давайте с вами встретимся завтра вечером в кафе где-нибудь, хорошо?! Подробно все расскажу и о себе, и о работе.

— Но, кажется, я вам не очень подхожу. Мне тридцать шесть уже. У меня вот тут — сбоку — седина...

— Это чудесно! Как изморозь — к ней хочется припасть в жаркий день.

— А вам сколько лет, Вася?

— Тридцать, но разве в этом дело! Знаете, кому Пушкин посвятил «Я помню чудное мгновенье»? Мне сейчас тоже не вспомнить... Ну так вот: она была старше мужа на двадцать лет. И счастливо прожили до смерти.

- Но у меня дочке пять лет! Я — мать-одиночка.
- Ды ладно! Дочку как зовут?
- Соня.
- Я удочерю Сонечку!
- Какой-то вы удивительный, Вася...
- Нет, это вы — удивительная, Верочка! Давайте завтра встретимся?
- Ну хорошо...

А что такое женский коллектив?! В обеденный перерыв об этом разговоре стало известно многим, в том числе — Вере Михайловне. Она подбежала к Елене и зашептала:

— Все пропало — он перепутал отделы! Ее тоже зовут Вера. Ну, ложноножка!

— Вечные Добчинский и Бобчинский! Помоги, Господи! — Елена перекрестилась. — Отдел нот и отдел музыкальных инструментов... Но простим Васю — он от волнения все перепутал.

— Я сама виновата: сегодня села в автобус с номером... сумма цифр там была тринадцать! Так и знала, что не повезет. Ведь хотела пропустить этот номер, но побоялась опоздать.

— Верочка Михайловна, зачем вы грешите — считаете цифры! Я вас прошу: никогда не считайте. Сейчас же позвоно свекрови — не та Вера, — спокойно отвечала Елена, перевязывая платочек (на время обеда она делала узел за ушами).

— Так вы же говорили: он стеснительный... не пойдет во второй раз, наверное? — От стресса Вера Михайловна крутила свой нос, словно хотела его свернуть набок.

— Поймите же: мир сей грешен. Ничего не бывает совершенно идеального, тем более в таких делах... Я тоже о священнике мечтала, а мне прислали Лешу! И я сейчас очень рада, что так вышло. Завтра оденьтесь, как белый человек! Мне помнится, у вас есть получше блузки, чем эта черная.

— Она делает меня стройнее... я думала.

— Но и старше!

— Хорошо, я оденусь, как синий человек, — есть синяя блузка.

— Будьте готовы ко всему! У вас другой, может, появится жених, если Вася не пойдет во второй раз знакомиться.

Но Вася пришел! Елена видела, как он вызвал сначала Веру из отдела музыкальных инструментов и извинился за ошибку. В это время к церковному киоску подошли два алкоголика. Один другому говорил: «У меня по математике одни пятерки были!» Вполне может быть, подумала Елена, такие часто спиваются — хвастунчики, только о своих успехах думающие... Вино ведь каждую минуту говорит хозяину: ты самый лучший, самый умный!.. Прости, Господи, нельзя осуждать, я знаю, еще могут бросить пить эти мужчины! Елене не хотелось слушать про чужие успехи, а хотелось поскорее узнать, как прошло знакомство. И вот наконец Вера Михайловна подошла к ней. По ее глазам Елена поняла, что все не так, как хотелось бы.

— Что-то не понравилось? — спросила Елена.

— Вы говорили: стеснительный, а он как раз слишком разговорчивый!

— Господи, да что же такого он наговорил вам?

— Ну, ничего особенного, про свой аквариум: чем больше аквариум, тем меньше с ним возни — мы же в реке уборку не делаем, а лужа — она быстро зацветает и так далее. Слишком разговорчивый!

Елена подумала: может, внешность Васи не понравилась, а придирается Вера Михайловна к другому (человек воспитанный).

— А как вам его лицо, рост?

— Очень понравилось все! Но так много говорит...

Елена поняла, что у Васи нашли недостаток, которого нет. Она стала объяснять про волнение, про молебн — Ангел Хранитель помог ему стать

разговорчивым, чтобы уговорить на свидание, да и намолчался человек за тридцать лет! В общем, Вера Михайловна успокоилась: Вася не неврастеник, не болтун.

Через месяц Веру Михайловну было не узнать! Сначала казалось — какая-то особая косметика, но потом все поняли, что это — косметическая работа любви... или, точнее, так: лучшая косметика — влюбиться.

Елена узнала, что Вася и Вера копят деньги на квартиру. У них были сбережения, но немного не хватало. Когда они почти накопили нужную сумму, грянул экономический кризис 1998 года. Тогда-то и решили, что оттягивать свадьбу больше не будут. Квартиру и снимать можно.

Елена навестила молодоженов, когда их ребенку было около года. Она переезжала с мужем в другой город и зашла проститься.

— Как дела? — спросила она, будучи уверена, что Вася ответит: «Всяк конько». Но он сказал:

— Мы надеемся.

— На что?

— Что родится второй.

— А может, вы все-таки надеетесь, что просто задержка и пронесет?

Вы же на квартиру хотите накопить!

— Мне обещают на работе малосемейку.

— Она для троих...

— Чего еще нужно? И так живем как цари, лучше царей, как говорил один мой друг-геолог. Горячая вода из крана течет, электричество... Цари так не жили!

Тут вышла из ванной Вера Михайловна (она уже выкупала сына).

— Лена, посудите сами, — сказала она, — мне уже тридцать три! Ну сколько я смогу успеть родить — от силы еще двух-трех детей!

Я ЕХАЛА ДОМОЙ

В плацкартном вагоне гуляли дембеля.

Моими соседями оказались фехтовальщики в одинаковых синих свитерах. Именно их тренер — похожий на Есенина экземпляр, находящийся в великолепной физической форме, — громко учил солдат, как устроиться на гражданке. Поэтому дискуссионный клуб шумел прямо возле моего уха.

— Поезжайте в район! — Тренер взмахивал рукой, демонстрируя перстень (такой я видела у Макаревича на экране телевизора). — Сейчас в глубинке бухают, а вы не пейте! Поступайте на заочное в техникум. Года через два все заметят: никогда вас не выдали под забором. И выдвинут! Конечно, жополизы быстро продвигаются, но честные люди еще дальше могут пойти. Это я вам точно говорю. Только поступить на заочное и не пить!

При этом он набирался все больше и больше, но упорно повторял: «Не пить!» Порой уже мог выговорить только «ить», однако снова собиравшись с силами и произносил ясно: на заочное, не пить.

— Был такой случай. Командир подходит: «Найдите дневального!» А где его найдешь? Он пять раз подходит: мол, не найдете, я вас сгною. Жара в Таджикистане такая, что мы уже едва стоим на посту, а он еще ходит и пугает, — вываливали в ответ дембеля, перебивая друг друга.

— Тогда предлагаю тост... как говорится: «Выпьем за нас с вами и за хрен с ними!» — Тренер уже поднес стакан к губам, но вдруг провозгласил следующее: — Хочу, чтоб все были хорошими людьми, весь народ наш!

— Да чтоб тебя бабай завалил, думаем мы, — продолжали дембеля. — Чтоб таких офицеров побольше в мирное время, как наши командиры! Но не дай Бог с такими воевать! Был такой случай...

Хорошее название для небольшой газетки: «Был такой случай», думала я.

— В район! Там все бухают, а ты не пей. Танечка, угощайтесь орешками! — Это он проводнице, идущей мимо (и она угостилась: не в руку взяла орешки, а сразу губами).

Я ехала домой. Из Москвы. Не заключив ни одного договора! Разве только у этого тренера слова расходились с делами! Призывал не пить, а сам набрался! Мне тоже звонили из двух издательств и просили привезти рукописи. Как можно больше! Но льготы книгоиздателям вдруг отменили, и вот еду без копейки.

А цены так подскочили! Ценники в магазинах невидимыми нитями связаны с моими нервами и дергают, как током. Лежу на полке — дерг! Это цены опять подскочили.

Мне пятьдесят пять скоро, и сколько живу в родной стране, только в школе пару месяцев верила в коммунизм, а так — всегда ждешь худшего, изо дня в день. Но раньше мы были моложе, и муж мог работать грузчиком. Однажды однокурсница Славы увидела его в магазине с ящиком. «Ты что тут делаешь?» — «Так, прогуливаюсь с тяжелым ящиком, чтобы здоровье укреплять...»

Уже год живу без переднего зуба. Нет денег, чтоб вставить. Может, поэтому со мной не заключают договоры? Второй раз съездила в Москву без зуба — и второй раз возвращаюсь без копейки. Без гонорара не вставить зуб, а без зуба нет гонораров. Круг замкнулся.

— В рай... в рай-он! Поезжайте!

— Говорю: товарищ лейтенант, Сиротенко опять наблевал прямо на гаубицу! А он: ну и хрен с ним... Но не дай Бог с ними воевать, дай Бог им в военное время успеть быстро погоны снять!

Мимо прошла проводница, смеясь каким-то русалочьим смехом.

— Заметили? Она вертит задом, как лисица хвостом! — Тренер то совсем терял дикцию, то вдруг начинал говорить почти внятно. — У меня двести тридцать фотографий — коллекционирую женские попочки.

— Хорошо, что не мужские, — ответил один солдатик, засыпая на полужеве, с куском курицы во рту.

— Он зверски прав, — тихо прокомментировали ребята-фехтовальщики, лежащие на верхних полках.

Тренер продолжал: попы так же прекрасны, как бабочки. Даже можно гадать — по отпечатку сырой попы на песке.

— У меня все нормально, есть жена, у нее пятки как яблоки! Но есть любовь-линия и любовь-точка. В семье линия, а стало нужно, чтоб были и точки... А вас в район, не пить и на заочное! — Вспомнил, что нужно нести идеи в массы, но своими поступками опровергал их тут же (видимо, эти идеи он сочинил для других, а себя считал исключением).

В это время проводница прошла обратно, и тренер сделал ей комплимент. В ответ она задумчиво сказала:

— Еще бы кто-то мне стиральную машину отремонтировал.

— И тут, как назло, билетов нет! Мы к проводнице: возьмите дембелей!

— Надо было не к молодой, а к пожилой проводнице, она скорее пожалует. У нее самой сыновья, — советовал им тренер.

— Кое-как купили билеты на этот поезд...

— И хорошо, со мной встретились, вас надо понужать! Я научу, как дальше быть: в район, не пить и на заочное! — Он хотел, чтоб все прогрессивное человечество усвоило его советы.

Ребята-фехтовальщики (на вид им было по двадцать лет, а потом из разговора стало понятно, что одному шестнадцать, а двум — по семнадцать) пытались отвлечь тренера от стакана, на каждой большой остановке предлагая: «Стоим двадцать минут — выйдем пофехтуем!» (Может, это такая шутка, а может, нет. Длинные сумки с инструментами у них были с собой.)

Дембеля к вечеру заснули почти все. Тренер пошел к проводнице, сообщив последнему солдатику, остававшемуся рядом:

— Жена — фотографиня, талантливая, но... такой пылесос! Пока с ней живу, денег никогда не будет! Есть любовь-линия, но совсем другое — любовь-точка...

— Он зверски не прав, — сказал лежащий на верхней полке фехтовальщик.

— Молчи, шукин сын! — ответил другой.

Тот послушно умолк. Возможно, такая у него фамилия: Шукин.

В самом деле, думала я, зачем тренер пошел к проводнице?! Это тоже — расхождение слов с делами. В загсе ведь клялся, что будет с женой и в горе, и в радости. К тому же молодым какой пример подает...

Ребята перебрасывались редкими репликами.

— Я у него вел-вел, а потом проиграл двенадцать — десять! Он все жертва-жертва, и вдруг...

— А я не держу дистанцию, раз — и в атаку! Четыре — два я вел, а он бросился, я подсел и снова...

— Этот, из Москвы, проиграл пятнадцать — два и заревел! Снимает маску: глаза такие...

— Артемьев выигрывал кубок России, ну и что — сейчас пивом торгует.

— Из Казахстана, беспонтово, в первый тур не прошел. Юниоры проиграли.

— Они тормоза такие, не двигаются, не маневрируют.

Один фехтовальщик был побрит налысо, рана на голове его заклеена пластырем.

— Что матери скажешь про пластырь?

— Что-нибудь...

— Пойду я попью, — сказал тот, кто все время предлагал выйти и пофехтовать.

В этот миг свет выключился. Наступила тишина. Только днище вагона стучало, как сердце ночи. Хорошо бы поспать, размечталась я. Но тут вернулся юноша с последними новостями о тренере:

— А мы там целуемся!

— С проводницей?

— С Танечкой.

— Он — говно, — рявкнул раненый.

— Кто?

— Градус.

— Молчи!

— Не буду я молчать!

— А ты сам-то! Пришел на дискотеку со своей девушкой и каждые тридцать секунд с ней целуешься! Кто так делает?

— А что тут такого? Это моя девушка.

— Молчи!

Было ясно, что им не хотелось плохо говорить о тренере. Но его поступки натекают на их поведение, вот и бросились на раненого товарища. Реки желчи потекли. Конца этому не предвиделось.

— Каждые тридцать секунд ты с ней целовался!

— А что тебе-то!

— Все должно быть в меру...

— В меру, да? А у тебя три итальянских наконечника, ты с нами не поделился! Если в меру, зачем три наконечника...

Крики понеслись по всему вагону: кто есть кто... В их голосах уже мелькали невидимые шпаги. У меня подскочило давление, пришлось выпить две таблетки андипала. В окне елки, как лещи, мелькали.

— Ребята, — сказала я. — Давайте спать! Ночь ведь.

— Кому-то хочется спать, а нам не хочется! — бросились они в скандал со мной, обрадовались, что нашли жертву: все-таки хорошо, что можно сорвать зло на постороннем.

— Мама никогда вам не говорила, что вы не одни на белом свете? Что надо уважать и других людей!

— Не трогайте мою маму, мы ведь вашу не трогаем!

— Так я вам не мешаю спать.

— А мы не хотим спать.

— Хорошо. Не спите. Но молча. Можно лежать и думать, для чего голова-то дана.

— Не указывайте.

— Послушайте: Бог не для одних вас создал этот мир, этот вагон.

— Он вообще не создавал ничего!

— Зачем вы говорите такие слова? Молчите лучше, а то отвечать потом придется.

— Не придется. Вы знаете, что Гитлер — в раю?

— Боже мой, да что же это за языки у вас, остановитесь же!

— А вы что — философ? Можете с нами поспорить на эту тему?

— Нет, я — писательница, спорить не хочу, я спать буду.

— Вот и напишите рассказ, как мы не давали вам спать.

— Кому это интересно? Рассказ должен ситуацию просветлять, а не затемнять. Тем более, что вы — люди неплохие, а вырастете — будете вообще хорошими, просто разнервничались... это бывает. Сейчас давайте все замолчим.

Ребята пошептались, куда-то вышли (может, покурить, но точно не знаю), потом вернулись и тихо улеглись. Больше я не слышала от них ни слова. Почему? Сие тайна великая есть. Честно, не знаю, в чем дело. В Перми я вышла, а поезд пошел дальше, в Сибирь.

Меня встречали дочери и муж. В глазах у них стояли вопросительные знаки: везу ли я договоры, авансы. Сразу сказала, что нет. Повисло молчание. На привокзальке младшая дочь заметила:

— Зато мама вышла с выражением рассказа на лице!

Слишком хорошо они меня знают. Да, если б заключила договор, ехала б в купе, этой встречи с фехтовальщиками не было б... А так я поняла причину многих российских невзгод: слово расходится с делом. Всегда в чем-то проигрываешь, а в чем-то выигрываешь. Только так и бывает. О жизнь, ты прекрасна, прекрасна!



АЛЕКСЕЙ ПУРИН

*

ЛЕДЯНОЙ УЛОВ

* *
*

В Париже было жарче, чем в Алжире.
Я в жизни лжи
не видел большей: каменные шири
и бронзовые миражи.

За пот побед был кальвадос мной выпит
на рю де Наварин.
А в Тюильри — Египет!
И Люксембург пылил мукой, как постный блин.

Про мессу не скажу, но он не стоит танца —
мелка река.
От солнца королей и зноя корсиканца
он не очухался пока.

С Монмартра на Пигаль передвигая брюки,
вам, как никто,
о скуке
поведать мог бы я вослед Кокто.

Прославленных холстов живая плоть бесплотно
переливалась. Но
я понял, отчего так трепетны полотна:
виной перно —

светящаяся взвесь пьянящего аниса
и конопляный дым...
На суд Париса,
пожалуй, следует являться молодым.

2001.

Умиравший раб. Лувр

Из мрамора бесформенного было
так хорошо и трудно эту грудь
освобождать, что дрема охватила
его — и пять столетий не стряхнуть.

Он все проспал, разметанный устало,
не в силах майку сбившуюся с плеч
снять, — словно вар, Европа клокотала,
тертя кровь и смешивая речь.

И, монумент мильноликой плоти,
тысячелетий длящаяся нить,
он спит, как завещал Буонарроти.
Silentium! Не смей его будить!

2001.

Ангелы

Миодрагу Павловичу.

1

Посылающий весть
безответных ударов,
Громовержец, ты есть
хоть ничто — для радаров.

Твоей сути копье
не достанет земное:
разве — скинешь свое
оперенье стальное,

сам же — канешь во тьму
(невозможно сужденье
о тебе по нему).

Не летучая мышь —
ты, не ястреб, а лишь —
пустота отчужденья.

2

Как и в птичьем зрачке,
для небесных уродов
сто веков, сто народов —
на смешном пяточке.

И что знают они
о Дунае, о Доне —
вроде линий ладони:
если хочешь — сомкни.

И зови — не зови,
не вмещает их воля
ни тоски, ни любви.

Лишь зачем-то течет
в них магнитное поле —
и куда-то влечет.

1999, 2001.

Дама с единорогом. Музей Ключи

Александрю Леонтьеву.

Так эти гобелены хороши,
что и душа, как вышитая дама,
пять чувств земных — радетелей души,
пять оснований радужного храма,
где ткёт ее из сора бодрый Дух
и оперяет царственное Слово, —
вкус, осязанье, обонянье, слух
и зренье — все, созрев, вернуть готова.

К чему ей, знавшей щедрую тщету
любви и спесь слепящего искусства,
они — пускай сольются в чистоту
шестого, всеобъемлющего, чувства —
того, что ей подносит истый конь,
лазурь взрезая белоснежным рогом:
она уже пережила огонь,
который люди называют Богом.

2001.

К Гермесу

Тоже в каске, как призрак в студеном и ртутном романе,
ты, Меркурий, — солдат незаметно ведомой войны —
в умозрительных крагах, с махоркой в незримом кармане,
и измараны глиной твои неземные штаны.

Среди груды кремней, с безутешно-немым автоматом,
ты блюдешь перевал в неизвестное — так же, как встарь;
и мечтательный век, расщепивший державы и атом,
вновь листает в землянке свой сербско-хорватский словарь.

Или он в самом деле взошел на волшебные склоны,
где гуляют лихие стрелки и веселые клоны,
где закончен угрюмой истории славный поход?

Или просто в горах, где гнездятся поющие скалы,
где ваяют орлицы из лиц костяные оскалы
и находится издавна в царство подземное вход?

* *
*

«Чистилищем», «адам», «раем» —
не все ли равно, как звать
тот край за чертой, за краем,
где плеч твоих не обнять
руке, привычной к теплу их,
к ребячьей игре «тепло —
теплее»... О поцелуях
забудь, волоча крыло.

В бездонном тысячелетье,
исчезнувшем за спиной, —
ладонь и возможность лечь ей
на этот блаженный зной;
и вот им теперь не слиться,
не стать воплощенным сном —
Туринскою плащаницей
с ее опаленным льном.

И что же тогда под словом
«живу» понимаю я,
когда ледяным уловом
и ртутью небытия
моя осевшая лодка
наполнена до краев —
какую кличкой короткой
назвать теперешний кров?
2001.

* *
*

Мутные на просвет —
соль, и вода, и свет —
венецианским летом
волны смывают след
наших побед и бед.
Сносу нет их штабллетам.

Нет, не алмаз — обол,
стершийся, как атолл, —
мир: вон тот у причала
вбитый в пучину кол
(вспомни, сколько гондол
лбами в него стучало).

Капля точит гранит,
чайка мутит зенит —
вот и атом устанет
быть пыланьем ланит
и себя возомнит
тем, что есть он, — и канет.

И лишь волне — во мне,
и вне меня — вполне,
как при Ахилле, вольно:
что-то бормочет не-
внятно — словно во сне,
слепо и безглагольно.

2001.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

«ПИСАТЕЛЬ — ЭТО ТОТ, КОМУ ПИСАТЬ ДАЕТСЯ ВСЕГО ТРУДНЕЕ»

Письма И. С. Шмелева к Н. Я. Роцину

Публикуемые письма И. С. Шмелева (июнь — июль 1925 года) адресованы начинающему писателю Николаю Яковлевичу Роцину (наст. фам. Федоров). Н. Я. Роцин (1896 — 1956) — известный в эмиграции писатель, автор многочисленных рассказов и очерков, печатавшихся в различных эмигрантских периодических изданиях. Им опубликованы также отдельные сборники рассказов «Горнее солнце» (1928), «Журавли» (1931), «Ведьма» (1939), роман «Белая сирень» (1937). В июле 1918 года он вступил в ряды Добровольческой армии А. И. Деникина. Воевал в кубанских степях, в 1919 году был тяжело ранен и эвакуирован вместе с госпиталем в Югославию. После излечения обосновался в Загребе (Хорватия), поступил на философский факультет Загребского университета. Активно сотрудничал в хорватских газетах и журналах, завязал тесные связи с писательскими кругами Белграда и Загреба. С И. А. Буниным Роцин свел случай. В 1923 году один из югославских литературных ежемесячников поручил ему составление «русского» номера. Как пишет Роцин в своих воспоминаниях, «я написал нескольким эмигрантским писателям, и в первую очередь, конечно, Бунину в Париж, и вскоре получил от него приветливое письмо, исправленные им корректурные гранки рассказа „В ночном море“ и подарок — помещенную на целой полосе гессеновского „Руля“ статью „Миссия российской эмиграции“»¹.

В конце 1924 года Роцин переезжает в Париж. В 1925 году П. Б. Струве и И. А. Бунин предлагают ему войти в состав редакции недавно созданной газеты «Возрождение». С 1925 года по приглашению И. А. и В. Н. Буниных Роцин почти ежегодно проводит летние месяцы в Грассе, на бунинской даче — вилле *Mont Fleri*, а затем Бельведер. Видимо, здесь и состоялось его знакомство со Шмелевым. В 1923 году Шмелев вместе с женой Ольгой Александровной прожил все лето на грасской даче Бунина, а затем они частенько бывали там краткими наездами.

Письма Шмелева к Роцину интересны не только подробностями личной и творческой жизни писателя, столь же примечательны в них его развернутые суждения о тех художественных принципах, которым он следовал, работая над своими произведениями.

1925 год — третий год пребывания Шмелева во Франции. Письма Роцину отправлены Шмелевым из Капбретона (департамент Ланды), где с 1924 года он с семьей снимал дачу на побережье Атлантического океана. 1925 год проходит для Шмелева под знаком постоянной нужды, безденежья, а главное, неизбывной душевной боли о погибшем, расстрелянном в Крыму чекистами сыне Сергее (1897 — 1921). «Тоска давит», — признается он в одном из писем Роцину. Единственным утешением в первые годы эмиграции, хоть как-то смягчающим его боль, был маленький Ив (Ивестион), сын племянницы его жены — Юлии Александровны Кутыриной, впоследствии ставшей одной из первых биографов и исследователей творчества Шмелева. Упоминание о маленьком Иве есть в каждом его письме к Роцину.

Публикация, предисловие и комментарии Л. Г. ГОЛУБЕВОЙ. Публикуемые письма находятся в личном архиве публикатора.

¹ Роцин Н. О Бунине. (Из воспоминаний). Публикация Л. Голубевой. — «Вопросы литературы», 1981, № 6, стр. 171.

Большое место занимает в письмах тема литературного заработка. Речь идет о возможности публикации произведений Шмелева в только что открывшейся газете «Возрождение», о планах по осуществлению перевода повести «Человек из ресторана» на хорватский язык. Роцин (Федоров) неоднократно содействовал Шмелеву в публикации его произведений в югославской печати. Это подтверждает письмо Бунина к Шмелеву от 20 августа 1924 года: «Дорогой Иван Сергеевич, получил Ваше письмо от 18-го, спасибо большое. Сейчас спешу сказать вот что: пошлите Николаю Яковлевичу Федорову (N. Feodorov, Pantovcak 15-d Stan Mihie, Zagreb, Jougoslavie) портрет и небольшой рассказ ($1/2$ — $3/4$ листа) для перевода, для какого-то журнала. Срочно надо, немедля. Заплатят франков 200. Рассказ какой угодно, х о т ь с т а р ы й. Ваш Ив. Бунин»².

Произведения Шмелева пользовались большим спросом у иностранных издателей. Как явствует из этих писем, «Человек из ресторана» был переведен на шведский, английский, итальянский, венгерский языки, но плата была, как правило, чрезвычайно мала. Шмелев, испытывая жестокие материальные затруднения, вынужден был соглашаться на любой гонорар. Роцину, содействовавшему Шмелеву в устройстве перевода «Человека из ресторана» на хорватский язык, он пишет: «А сколько дадут — столько и возьму».

В письмах к Роцину проявились чисто христианские черты характера Шмелева — сострадание ближнему, горячее стремление оказать посильную помощь. Роцин также испытывал крайнюю нужду, и Шмелев пытался всячески содействовать его трудоустройству в редакцию газеты «Возрождение». Он пишет письма И. А. Бунину, П. Б. Струве с просьбой поддержать Роцина.

Но самое интересное в письмах — суждения Шмелева о писательском мастерстве, которое он сравнивает с искусством гранильщика, и идеал для него в этом отношении — Чехов. Глубокой проникновенностью исполнены его размышления о роли пейзажа в творчестве русских классиков — Гоголя, Тургенева, Л. Н. Толстого, Чехова. Давая советы молодому писателю, Шмелев с присущей ему деликатностью постоянно оговаривается, что не ставит целью поучать: «Ради Бога, не думайте, что я хочу учить: я сам разбираюсь».

1925 год — Шмелевым уже написано «Солнце мертвых» (1923), одно из самых сильных по трагическому накалу произведений писателя. В этом же году он публикует ряд пронзительных рассказов: «Про одну старуху», «На пеньках», «Каменный век» и др., повествующих о страшных последствиях революционного разлома в России, о неисчислимых страданиях и бедствиях народных. Р. Днепров (один из псевдонимов Н. Роцина) в рецензии на книгу Шмелева «Родное» (Белград, 1931) так охарактеризовал своеобразный талант писателя: «Из всех зарубежных писателей Шмелев едва ли не самый русский. Кажется, никто с такой живостью, силой и горячностью не отзывается на темную горечь наших дней, на ту боль, обиду, страх и негодование, которыми переполнена современная русская жизнь»³.

Отдав горькую дань тому, что изранило его душу, Шмелев предается затем дорогим воспоминаниям о былой утраченной жизни в стране отцов, которая рисуется ему в самых светлых красках. В 30-е годы из-под пера Шмелева выходят его вершинные, итоговые произведения: «Лето Господне» (Белград, 1933), «Богомолье» (Белград, 1935).

В годы Второй мировой войны пути Шмелева и Роцина расходятся. Шмелев наивно верит в освободительную миссию немецкой армии, которая свергнет в России ненавистный ему большевистский режим. В его душе еще живы воспоминания о «страшных днях» России. В период немецко-фашистской оккупации Франции он публикует в прогерманском печатном органе «Парижский вестник» свои произведения, но они о России, о прошлой ушедшей жизни его России.

² «А Париж Вам может быть полезен всячески...». Письма И. А. и В. Н. Буниных к И. С. и О. А. Шмелевым. Вступ. заметка, подгот. текстов и примеч. С. Н. Морозова. — «Москва», 2001, № 6, стр. 192.

³ «Возрождение», 1931, 23 июля.

Роцин же вступает в ряды французского Сопротивления, принимает активное участие в августовском восстании в Париже (1944). После победы над фашистской Германией был награжден орденом Почетного легиона. В декабре 1946 года, получив советский паспорт, Роцин вместе с 360 русскими реэмигрантами возвращается в Советский Союз.

Capbreton <Landes>.

1 июня 1925.

Многоуважаемый Николай Яковлевич.

Благодарю Вас, — и простите, что несколько запоздало отвечаю: запустил корреспонденцию, до души не доходило, — через пень колоду переваливал.

Охотно готов представить д-ру Н. Андрич<у>¹ «Человека»², пусть за небольшое вознаграждение, какое может дать, да только сейчас свободного экз<емпляра> «Человека» не имею. Скоро освободится у венгерского переводчика, напишу ему и вышлю, если дело решится. Не знаю, сколько могу просить с хорватов. Не скажете ли хоть приблизительно?

Я писал Ив<ану> Ал<ексеевичу>³ о Вас — относит<ельно> работы в Сербск<ом> изда<тель>стве, но он ничего пока сам не знает. Я ни звука ни от кого не получаю. Пишу сегодня Ив. Бунину еще. Что Вам известно? М<ожет> б<ыть>, в большей осведомленности в Париже. А я здесь только кукушек слушаю.

Что Вы делаете теперь, как живете. Вот, новая газета «Возрождение»⁴ — надеюсь, Вы там устроитесь как? Во вс<я>к<ом> случае, работать должны. О ней я ничего не знаю подробно, отозвался лишь на телеграмму Струве⁵. Вы напишите Ив. А. Бунину, он хорош со Струве. М<ожет> б<ыть>, он чем-нибудь Вам посодействует. И я о том же пишу ему про Вас. Для «Возр<ожде-ния>» мог бы прислать «Письмо молодого казака»⁶ или «Птицы»⁷ («Руль») — остальные все длиннее 500 строк.

Напишите непременно Ив<ану> Ал<ексеевичу>. Какие литерат<урные> новости в Париже. <Нрзб> ли?

Вот — «Старуху»⁸ перевести на хорв<атский> язык! Да длинновата. И — трудна.

Душевно Ваш Ив. Шмелев.

Шлем Вам все трое привет, или 2 1/2 — Юля⁹ в Париже. Пишите, буду рад иметь известия от Вас и о Вас.

¹ Н. Андрич — Никола Андрич, редактор издательства «Nazodnih Novina» в Загребе.

² «Человек» — имеется в виду повесть Шмелева «Человек из ресторана», впервые опубликованная в сборнике товарищества «Знание» (1911, № XXVI).

³ Ив. Ал. — И. А. Бунин.

⁴ Газета «Возрождение» — первый номер вышел в Париже 3 июня 1925 года. Издатель А. О. Гукасов, главный редактор П. Б. Струве (1925 — 1927). Задуман как умеренно консервативный, монархический печатный орган.

⁵ Струве Петр Бернгардович (1870 — 1944) — экономист, историк, литературный критик, публицист, политический деятель.

⁶ «Письмо молодого казака» впервые опубликовано в журнале «Время» (Берлин, 1925, № 4).

⁷ «Птицы» — впервые в газете «Руль» (Берлин, 1924, 8 ноября).

⁸ «Старуха» — имеется в виду рассказ «Про одну старуху», впервые напечатан в журнале «Современные записки» (Париж, 1925, № 23).

⁹ Юля — Юлия Александровна Кутырина (1891 — 1979), племянница жены Шмелева Ольги Александровны (урожд. Охтерлони; 1875 — 1936), одна из первых биографов и исследователей творчества Шмелева.

Capbreton (Landes).

20.VI.1925

Дорогой Николай Яковлевич.

Удалось ли Вам с «Возрождением»? Боюсь, что нет, ибо, думается, у Струве своих знакомых много. Но, во всяком случае, Вы будете иметь еще одну газету — для работы.

Со Струве Ив<ан> Ал<ексеевич> — в самых дружеских отношениях. Я — два раза всего видел его. Работаю — и только. Но если нужно Вам от меня письмо к нему — в смысле толчка лишнего — для устройства Ваших работ, я с готовностью напишу ему. Не устроит ли что для Вас г. Гукасов¹? Он — богат, типография, газета... Ив<ан> Ал<ексеевич> опять-таки с ним знаком. А я — все только через 3 лиц слышу. И связей у меня личных — ни с кем. Я же дикарь и не ищу людей. Иногда — пожалеешь, но не за себя. А вот — часто быв<аешь> бессильным другим сделать полезное. Напишите мне — что удалось.

«Человека» постараюсь выписать от венг<ерского> перев<одчика>, если он уже кончил. Я ему написал сегодня. И, добыв, перешлю. 1 экз<емпляр> — у шведов, 1 — у англич<ан> и 1 — у итал<ьянцев>. Все в разгон. Кроме гонорара ничего не имею. «Птиц» на днях вышло, поищу копию, т. к. печатн<ых> экзempl<яров> у меня единицы. «Птицы» уже переведены на итал<ьянский> яз<ык> (переводчица посетила меня в Capbret<on'e>), жила по сосед<ству> и перевела в од<ин> день.

Что Вам известно о журнале югослав<ского> издат<ельства>. Мне никто ничего не пишет. Да и я никому, правда, не пишу. Я или — в огороде, или — над книгой, бумагой... Бунину я писал о Вас. Вот, на днях буду, м<ожет> б<ыть>, посылать Струве что-то — напишу, чтобы обратил внимание на В<ашу> работу и поддержал, сколько может. Вы могли бы дать ряд этюдов — подлинное из В<ашего> многострадного недавнего, но — позвольте дать совет — выбирайте характерное, имеющее значение *общего*, а не только как факт. Да и *факт*, данный в краткой форме, — ценность всегда. В народной речи — простите за тов<аришеское> слово — не гонитесь за неверностями речи. Т. е. неправильности хороши, когда они звучно дают образ лица, т. е. когда они не часты и не общеупотреб<ительны>. Т. е. я хочу сказать, не надо на них нажимать. Речь д<олжна> <быть>² *течь* произвольно. У Вас д<олжно> б<ыть> обилие материалов. И дарование Ваше литерат<урное> развивается. Скверно, что волчья жизнь бьет по спокойствию в работе, необходимому столь же, как и святое беспокойство. Сердечно жму руку.

Ваш Ив. Шмелев.

Мои шлют Вам привет. Ив³ хворает уже 2 нед<ели> — энтерит. Пишите и не браните, что редко пишу. — Тоска давит. Передайте мой привет Евг<ению> Ив<ановне>⁴ и скажите ей, что ее экз<емпляр> «Чел<овека>» у венгра.

¹ Гукасов (Гукасянц) Абрам Осипович (1872 — 1969) — издатель газеты «Возрождение», нефтепромышленник.

² Так у Шмелева — описка.

³ Ив (Ивестион) Жантийом (р. 1920) — сын Ю. А. Кутыриной.

⁴ Евг<ения> Ив<ановна> Моисеенко — знакомая Шмелевых и Буниных.

Capbreton (Landes)

15.VII.1925

Дорогой Николай Яковлевич.

Очень хорошо, что связались с «Возрожд<ением>». Большими рассказами не сыпьте, умните больше, — и выпишитесь, и легче печататься, и чаще. Тренировка необходима, самоограничение. В массе пережитого должны быть

«зерна», их нашупываете, — тогда не одолеют Вас россыпи. «Зерна» — как веши, — издалека д<олжны> б<ыть> видны. И в «зерне» д<олжен> б<ыть> непременно *росток*. И, главное, — проще, как бы любимому человеку рассказываете, без рисовки. Можно и не трогать себя, зачем непременно ворошить душу? Когда напишете что — смотрите, что можно выкинуть. Самое главное, как у гранильщика. *Не прибавить*, а *убавить*. И ради Бога, не думайте, что хочу Вас учить: все мы учимся и вечно будем учиться. Многое и от материала зависит. Не знаю В<ашего> рассказа в 500 стр<ок>, почти уверен, что на 200 можно убавить. Самый яркий пример, — для меня, Евангелие. В нашей литературе, — Чехов. Идеалы, конечно. Мне кажется, что в искусстве слова не д<олжно> б<ыть> лишнего. Впрочем, это всем давно известно. А о «пейзаже» особенно надо сказать это. Пейзаж д<олжен> б<ыть> *всегда* связан с действием, с душой человека <нрзб> — изображ<аемого> лица. Пейзаж — только как необходимая реальность, как пол для ног. «Присказки» и «оправа» («заготовка» у поваров) мешает читателю верить, забытья. Возьмите «пейзаж» Л. Толстого — неотделим от действия, а у Тургенева — спл<ошь> и ряд<ом> раскрасочка, хоть и чудесная, выкинуть можно, и рассказ<аз> не пострадает. У Чехова ближе к Тол<стому>. Другое дело — Гоголь — тут музыка, ибо все его «пейзажные» вещи — поэма, музыка. Об этом много можно сказать, и я так вскользь только. Учиться, всегда учиться! Недавно где-то читал — какой-то знаменитый автор выразился: писатель — это тот, кому писать дается всего труднее. Ради Бога, не думайте, что я хочу учить: я сам разбираюсь. *Как* писать — никто не знает, как ни один физиолог не скажет: как переваривают кишками. «Кишки» знают. О сербск<ом> журнале ни звука не слышу. Ив болел долго, теперь ныряет Жучкой, остригли его, стал мальчишкой. Огородничаем. Огурцы...! На выставку в Paris! Собрал до 100 шт<ук>, французы удивляются (малосольными угощал). А подсолнухи... на лист можно даже Сватикову¹ усестья. 24 подсолнуха! Столько у меня «друзей» в саду-огороде, — самое лучшее в тепер<ешней> моей жизни.

Посылаю «Челов<ека>». Он — Евг<ении> Ив<ановне>, ради Б<ога>, как бы не запропал, только что венгры освободили. Если не затруднит, пошлите Андричу (адр<еса> его не знаю). А сколько дадут — столько и возьму.

Сердечно кланяюсь Евг<ении> Ив<ановне>. Я ее очень люблю, она чуткий человек и прямо — Русью из нее льется. Душа б<ольшого> таланта, и умная, у женщин такое — редко, т. е. не ум, а ум, какой-то физически ощущаемый. Ну, талант. Она могла бы быть б<ольшим> художником, ученой, писат<елем>. Вам знаком<ым> — привет. Бедняга Клименко², — увидите — поклон.

Ваш Ив. Шмелев.

¹ Сватиков Сергей Григорьевич (1878 — 1942) — профессор, автор работ по истории донского казачества.

² Клименко Николай Константинович (1883 — 1967) — литературный критик, редактор газеты «Южное слово», выходившей в Одессе в 1919 году.

«ОТКЛИКАЮСЬ ФРАГМЕНТАМИ ИЗ СОБСТВЕННОЙ БИОГРАФИИ...»

Эпизод переписки Г. П. Струве и В. В. Вейдле

В начале 1976 года в Вашингтоне, в типографии русского книгоиздательства «VIKTOR KAMKIN INC», была отпечатана одна из последних книг известного литературного критика, искусствоведа, поэта, переводчика, мемуариста, русско-го эмигранта «первой волны», родившегося в Петербурге, парижского профессора Владимира Васильевича Вейдле (1895 — 1979) «Зимнее солнце. Из ранних воспоминаний».

Почти весь небольшой тираж этой книги по составленному заранее самим Вейдле списку был разослан из Вашингтона сотрудниками книгоиздательства в разные концы США и Европы, в подарок соотечественникам — коллегам, ученикам, друзьям, издателям, книголюбам и библиографам. Но прежде всего — своим сверстникам¹.

Среди них едва ли не первым «получателем» и читателем был давний друг Вейдле, ровесник и земляк по Петербургу, профессор университета Беркли (США, Калифорния) Глеб Петрович Струве (1898 — 1985).

Сохранилась их обширная и весьма доверительная переписка (из США в Париж и обратно — более сотни писем) за почти сорок пять лет творческой дружбы и делового сотрудничества. Мне также посчастливилось ознакомиться с письмами Г. П. Струве из государственных и частных собраний к его отцу и братьям, критику Николаю Ефремовичу Андрееву, профессору Ричарду Пайпсу, Кириллу Львовичу Зиновьеву, Владимиру и Вере Набоковым, Нине Берберовой, княгине Зинаиде Шаховской и другим.

Предлагаемый ниже короткий фрагмент этого эпистолярного наследия — два больших письма Г. П. Струве к В. В. Вейдле — подробный мемуарный «рассказ-отзыв» Глеба Петровича на только что полученную им из Вашингтона и «в миг единый прирученную» книгу своего друга.

По письмам можно представить, как сильно затронули маститого профессора «на покое» эти детские, школьные, лирические и семейные петербургские воспоминания почти восьмидесятилетнего сверстника, если Струве, несмотря на почти утраченное к этому времени зрение, очень быстро прочитал и столь же быстро и нетерпеливо (словно боясь не успеть) отозвался на книгу, которая была набрана (по-видимому, ради удешевления издания) небрежно, весьма мелким, почти слепым, едва читаемым шрифтом. Ни дать ни взять наш совсамиздат...

И это обстоятельство (равно как и сам текст нижеследующих посланий) придает облику старого Глеба Струве особую сердечную теплоту и внушает к нему расположение, которого, насколько мне известно, ему не хватало, особенно в последние годы, несмотря на довольно удачно сложившуюся в зарубежье научную карьеру и благополучную бытовую и семейную жизнь.

Биография Г. П. Струве еще не написана. Однако не будет большим преувеличением сказать (перефразируя известные слова Д. С. Мережковского о Чехове), что если бы почти все, что касается истории русской эмиграции и ее вклада в русскую и мировую культуру, вдруг исчезло с лица земли, только по сохранившему-

Публикация, подготовка текста, предисловие и комментарии Е. Б. БЕЛОДУБРОВСКОГО.

¹ Почти все экземпляры книги воспоминаний Вейдле, которые нам удалось просмотреть в разных библиотеках и в частных собраниях в России, имели на последней странице обложки вклеенный листочек со стандартной надписью: «В дар от Автора».

ся эпистолярному наследию Глеба Струве можно было бы с достаточной достоверностью восстановить подробную картину этого важнейшего культурного феномена XX века.

Источник публикуемых текстов Г. П. Струве — бережно сохраненные им машинописные и слегка правленные копии (то есть вторые экземпляры) его писем к Вейдле, которые при тщательной обработке своего громадного архива (перед передачей его в Гуверовское собрание) были вложены автором в папку с письмами Вейдле согласно датам и сюжету переписки (примечательно, что Глеб Струве, равно как и Владимир Вейдле, до конца дней писали письма друг другу по старой орфографии и пользовались пишущей машинкой с алфавитом, принятым в России до реформы 1918 года). В настоящей публикации тексты воспроизводятся по новой орфографии в тех случаях, когда подобные изменения не затрагивают авторскую стилистику.

Публикатор выражает искреннюю благодарность за бескорыстную помощь и поддержку директору Библиотеки Архива Гуверовского института в Станфорде Елене Даниэльсон, сотруднице Архива Гуверовского института Элеоноре Сорока, профессору Университета Санта-Барбары Дональду Бартону Джонсону, а также Никите Алексеевичу Струве (Париж).

1

Глеб Струве — Владимиру Вейдле

16 марта 1976 г.

Gleb Struve
1154 Springs Street
Berekeley, Calif. 94707

Дорогой Владимир Васильевич!

Вчера получил из Вашингтона Ваше «Зимнее солнце». Вчера же начал читать и буду продолжать читать с интересом и, не сомневаюсь, с удовольствием. Хотя мы оба выросли в Петербурге (я, впрочем, не совсем, так как между 4-мя и 8-мью годами жил по заграницам: в эмиграции, а потому тщательно оберегаемый матерью от иноязычных влияний), я вижу, что наши детства во многих отношениях прошли в довольно разной обстановке. Интересно мне было узнать — не знал этого, — что мы с Вами, хотя и не одновременно, и опять-таки при очень разных обстоятельствах, но довольно близко по времени друг к другу (я раньше Вас, а потому значительно моложе) жили в Монтрё. Там родился один из моих младших братьев — тот, который потом писал Рильке из Давоса, — и его крестили в русской церкви в Вене, где я побывал в 1964 году¹. Монтрё принадлежит к моим самым ранним детским воспоминаниям (мне было тогда около 4-х лет). Читая дальше, увижу, может быть, могли ли у нас быть в детстве и в юности какие-нибудь общие знакомые. Дачи в Финляндии, и вообще какой-либо недвижимости, собственности, у нас не было (но, в отличие от Вас, я в детстве жила в имении, небольшом, но с интересным историческим прошлым и совершенно необыкновенным по красоте местоположения (Федосьин Городок на Шексне) и позднее тоже гащивал в имениях). Нескольо раз мы ездили летом в такие близкие «чухонские» места, как Оллила и Куоккала, а позднее я лучше всего знал Уусикирко: два лета моя семья проводила там на даче, а кроме того, я ездил туда на рождественские каникулы ходить на лыжах.

17 марта

Дочитал детскую часть «Зимнего солнца». Чем дальше читал, тем яснее мне были всякие различия в той обстановке и атмосфере, в которой мы с Вами — с некоторой существенной разницей и в том историческом периоде,

на который пали наши с Вами детство и отрочество, — росли в одном и том же городе (тут тоже надо сделать оговорку: не говоря о том, что годы 1911 — 13 мы жили в совсем другой части города, в 1913 г. мы переселились в профессорский дом в Сосновке (правда, учиться я продолжал в Петербурге, ездил туда каждый день — сначала на паровике, а потом на трамвае). Так как я едва ли когда-нибудь напишу свои — во всяком случае, сколько-нибудь связанные — воспоминания, то хочу сказать кое-что об этих различиях². Пожалуй, наиболее разительными были два различия: 1) то, что у меня было четыре брата, почти все погодки (только самый младший был на три года моложе предшествовавшего ему), так что рос я не один; и 2) та атмосфера «политики», которая очень многое проникала в нашей семье и которая Вас, видимо, совсем не коснулась. Это относится не столько к периоду эмиграции, хотя и тут «политика» играла видную роль (я, например, помогал матери и секретарше «Освобождения» в Париже³ запаковывать номера журнала в двойные конверты для отсылки в Россию), сколько позднее, когда я сам начал интересоваться политикой и читать газеты (главным образом «Речь», но и другие). А началось это с убийства Столыпина. В дальнейшем большую роль в моей жизни сыграла война (Вам к тому времени было уже 19 лет).

По-видимому, большую роль в моей жизни сыграла школа⁴ — в частности, в развитии литературных (а отчасти и художественных) интересов и увлечений. В последних трех классах моим самым близким товарищем был Сережа Никольский, брат Ю<рия> Ал<ексан>дровича⁵ (которого Вы, может быть, знали по университету: он занимался Фетом, Тургеневым; был значительно старше Сережи). Сережа был очень талантливый, многообещающий художник, увлекший и меня современным искусством (впрочем, тут, может быть, еще большую роль сыграл «Аполлон», усердным читателем которого я стал с 14 или 15 лет). Помню, что мы оба с Никольским написали для нашей «Школьной газеты», редакторами которой мы были оба, статьи о выставке «Трамвай В». Как и Вы, я в дальнейшем жалел, что не получил классического образования. Мой отец был ярым сторонником такового, придавая особое значение значению греческому языку, на котором до конца жизни свободно читал. Но мать боялась всего казенного. А кроме того, выйдя из семьи естественников (дед и брат⁶), была сторонницей всего «передового». А потому решительно воспротивилась отдаче нас в классическую гимназию, да еще с греческим языком (таких оставалось тогда немного: одна из них была 3-ья гимназия, где учился мой отец, а также В. Д. Набоков). И учились мы четверо в Выборгском коммерческом училище, которое было отпрыском Тенишевского 10 (его основал преподаватель русского языка в Тенишевском училище Петр Андреевич Герман⁷, который ушел оттуда из протеста против культивировавшейся там игры в футбол, когда во время одного из состязаний один мальчик был убит). Герман был нашим директором в течение всего моего учения и преподавал у нас русскую словесность. Коммерческим училище было, в сущности, по имени, для профформы, чтобы не находиться в ведении Министерства Народного Просвещения, а зависеть от более либерального Министерства Торговли и Промышленности (министром был С. И. Тимашев — отец Н. С.⁸, к<ото>рого Вы, наверное, знавали в Париже). Конечно, это требовало преподавания в старших классах таких предметов, как товароведение (это, впрочем, было довольно занятным лабораторным дополнением к урокам химии), политическая экономия, законоведение (даже интересный предмет, и хороший был учитель, хотя лично и не очень симпатичный) и даже бухгалтерия, которую преподавала женщина и к которой никто серьезно не относился. У нас не было своего Гиппиуса⁹, но были хорошие учителя (у меня, в частности, был интересный преподаватель истории, который мне много дал; у брата моего Алексея историю преподавала Нат<алья> Ив<ановна> Лихарева, жена Н. К. Кульмана¹⁰). От Тенишевского училища наше Выборгское отличали две главные особенности: 1) оно было дешевым, и состав учащихся в нем был соответственно несколько другой, хотя были и очень богатые дети, особенно из еврейских се-

мей; и 2) у нас было совместное обучение — это была первая такая крупная школа в Петербурге. Между прочим, от нас вышли две молодые женщины, впоследствии стяжавшие себе некоторую известность в советской науке, — Катя Малкина, которая оставила несколько работ (о Блоке и др.)¹¹, ее как курсистку очень ценил Эйхенбаум; она погибла довольно трагически в конце 30-х — была убита вломившимся в ее квартиру бандитом; и Вера Лейкина¹², специалистка по «петрашевцам» и истории русской интеллигенции. Малкина была классом старше меня, а Лейкина — классом моложе. Обе были моими коллегами по редакции «Школьной газеты». Латинский язык не входил у нас в обязательную программу, но преподавался факультативно с 6-го класса. Преподавал его небезызвестный К. А. Вогак¹³, сотрудник журнала «Любовь к трем апельсинам». Вы, может быть, его знали? Он дал мне очень много в этих занятиях латынью (у нас была совсем небольшая группа — тех, кто хотел идти на историко-филологический факультет, чего я, правда, когда пришло время, по разным причинам не сделал). Вогак потом оказался в эмиграции (на Ривьере, кажется), но куда-то быстро пропал. Ничего о нем не знаю: преждевременно скончался? Вернулся в Сов. Россию? Сошел как-то на нет? Позднее, когда я поступил в Оксфордский университет, мне, при существовавших тогда порядках, пришлось сдавать т. н. *responsons* (вступительные экзамены), включавшие испытания по латинскому и греческому языкам и по арифметике. Для греческого языка мне пришлось в течение трех, помнится, летних месяцев усиленно заниматься со специальным натаскивателем — читать Ксенофонта. Я выдержал и по латыни и по греческому и провалился по арифметике — не позаботился освежить предмет в своей памяти (у меня всегда были пятерки по математике), а главное — подучить английские меры. Но почти сразу же выяснилось, что я мог быть освобожден от этого экзамена на основании своей — правда, очень кратковременной — службы в союзной армии. И я был принят без перэкзаменовки.

Маленькое общее в наших детских и отроческих биографиях: я тоже часто болел ангинами. Но брюшного тифа в серьезной форме у меня не было (был, помнится, у Алексея¹⁴). Зато я болел скарлатиной. Это приключилось летом на даче в знаменитом имении Петрункевичей «Машук» в Тверской губернии. Там жило много знакомых семей с детьми (Франки, Лосские, разные Ольденбурги), и из-за них меня поместили в уездную земскую больницу в Торжке, где доктором был хорошо знавший Чехова доктор Черномордик. Моя мать жила там со мной. Продолжалось это долго, так как скарлатина осложнилась у меня сердечным заболеванием, а кроме того, не вылечившись еще от скарлатины, я заболел корью, когда в соседних деревнях началась эпидемия и повезли множество больных крестьянских детей. (Одного крестьянского мальчика моего возраста моя мать потом взяла к нам в палату.) Не знаю, умер ли я от скарлатины, но, во всяком случае, был on *critical list* (не зная об этом). А последствием кори было воспаление бронхиальных желез, и по совету д-ра Нечаева¹⁵, который, если не ошибаюсь, лечил мать Блока, меня до конца следующего лета увезли в Крым. Я прожил с матерью в Олеизе, у Токмаковых, которых хорошо знали Булгаковы¹⁶, больше шести месяцев. В Ялте меня осматривал д-р Альтшуллер¹⁷, хорошо известный по биографиям и Чехова и Толстого. А лечил (или периодически осматривал) д-р Михайлов¹⁸, тоже, кажется, знавший Чехова. Не вижу пока из Ваших воспоминаний, насколько хорошо Вы знали Крым, хотя и снимались в Ялте, но Вы, наверное, знаете, что Олеиз находится под Гаспррой, где умер (но тогда выжил) Толстой¹⁹. А как раз в тот год, когда я жил в Олеизе, Толстой и умер. Следующее лето (1911 г.) мы в первый раз проводили лето (на даче) в Московской губернии, недалеко от Бородина, которое нам показывал, иллюстрируя своей «лекцией», А. А. Кизеветтер²⁰, тоже живший не очень далеко, в Можайском уезде. Наши соседи была, помнится, семья Кончаловского²¹, художника (а м. б., его брата). Там я в первый раз видел Брюсова, который приезжал к отцу по делам «Русской мысли». За завтраком (или ранним обедом) у нас он декламировал

Пушкина и какие-то свои переводы. Никогда не забуду, как он читал «Шипенные пенистых бокалов...», иллюстрируя что-то, что он говорил. Единственный другой раз я видел его уже во время войны, когда он приезжал с фронта и у нас (в квартире над редакцией «Русской мысли») обедал. Нет, ошибаюсь, вру — это, должно быть, еще в 1913, ибо в 1914 г. мы уже жили в Сосновке. Но помню хорошо его приезд с фронта — из Вильно, кажется. Это могло быть в квартире при редакции, которая и после начала войны оставалась на Нюстадской улице (переименованной позже в Лесной проспект)²².

Ну, простите, я заболтался. И к тому же еще на Ваши воспоминания откликаюсь какими-то не столько уж интересными фрагментами из собственной автобиографии. Это даже непростительно...

Буду уж бесцеремонным и прибавлю еще кое-что...

Гувернанток у нас никогда не было, и полиглотом я с детства, как Вы, не был. Да и сейчас не владею свободно (в смысле разговора или письма) несколькими языками (Вы, вероятно, теперь и по-испански говорите?). По-немецки, например, мне теперь говорить и писать совсем трудно, хотя именно для немецкого языка у нас в раннем отрочестве была приходящая немецкая учительница, внушавшая мне и Алексею любовь к искусству, разговаривающая с нами о картинах. Читаю и понимаю по-немецки, конечно, свободно; если нужно, могу намаракать письмо. Преподавание языков в Выборгском училище было поставлено хорошо, преподавались они всегда *natives*, полностью избегавшими русского языка (не очень даже хорошо, помнится, говорившими). Английский преподавался факультативно в 7-м и 8-м классах, и я брал эти уроки, как латынь, так что в 1916 г. ездил с отцом в Англию уже со знанием (некоторым) английского языка²³. В тот год я кончил школу, но в университет не поступил, а уехал вместо того на фронт заведовать пропитанием строительных рабочих в Лесистых Карпатах для Земского Союза. В начале 1917 г. пробовал поступить в Михайловское артиллерийское училище, но был отвергнут из-за якобы у меня порока сердца (хотя «порока» у меня не было). По призыву потом получил отсрочку. Но позже, в апреле, поступил добровольцем в гвардейскую конную артиллерию, так что в высшее учебное заведение так и не попал, хотя и записался в Политехнический институт. Только по советской КЛЭ я кончил Петербургский университет²⁴.

Возвращаясь к языкам: по-итальянски научился читать сам, во время каникул в Оксфорде, прочтя «Un uopo finito» Папини²⁵! Во время войны, работая «слушачом» на радиостанции агентства «Рейтер», помогал с переводами речей Муссолини и Гитлера (не говоря о Сталине), когда нужно было запрячь всех, кого можно, и работать (с валиком) в несколько рук. Но Данте читать не могу.

Вдруг вспомнил, что, если не считать стихов, одним из первых литературных опытов, еще в 7-м классе, кажется, вместе с одним товарищем (не Никольским), был перевод «*Letters de mon moulin*» Додэ²⁶, которые мы читали в классе.

По оглавлению Вашей книги вижу, что во 2-ой части будут общие со мной воспоминания — о пушкинском спектакле в Художественном театре, на котором я был, когда жил вне дома, так как в семье у нас опять была скарлатина...

Ну, пора и честь знать...

Г. С.

2

Владимир Вейдле — Глебу Струве*

Париж, 5.IV.76

Дорогой Глеб Петрович,

Спасибо Вам за интересное письмо, где Вы о разных годах Ваших вспоминаете в связи с моей книгой. Вот бы и рассказать Вам о них в печати! А уж я,

* Фрагмент.

во всяком случае, жду продолжения, когда дочитаете «Зимнее солнце». Как кого, а меня оно греет. Перечитываю, совсем по-глупому, самого себя на сон грядущий и переносую, хоть ненадолго, в те сказочные времена...

3

Глеб Струве — Владимиру Вейдле*

14 апреля 1976 г.

Дорогой Владимир Васильевич!

Ко второй части Вашего «Зимнего солнца» у меня гораздо меньше «комментариев», хотя я и ее прочел с большим интересом и много из нее почерпнул. Но тут наши пути и впечатления как-то меньше совпадают, а вместе с тем и меньше наводят на размышления о контрастах.

И я, и брат мой Алексей тоже брали уроки музыки. Я сейчас вспоминаю не без некоторого удовольствия, что дошел до того, что играл «Турецкий марш» и еще что-то из Моцарта. Матери нашей очень мечталось, что на старости лет мы будем услаждать ее игрой на рояле. Но сами мы как-то быстро разохотились — музыкальными мы не были. И уроки оказались недолговечными. То же самое было примерно тогда же и немного позже с уроками танцев, и ни из одного из нас не вышло танцоров. Младших братьев уже и не учили ни музыке, ни танцам.

Мариинский театр вообще, можно сказать, не вошел в мою жизнь. Думаю, что был в нем всего два раза: в очень раннем возрасте, вскоре после приезда из Парижа в 1906 году, на «Жизни за Царя» (со Збруевой) и немного позже (но тут даже не совсем уверен) на «Руслане и Людмиле». Позднее опера вошла в мою с братом (мы тогда были почти неразлучны) жизнь через Музыкальную драму...

Имя Никиша²⁷ в те годы говорит мне что-то только потому, что я помню, что мать ездила на его концерты. А вот имя Моттля²⁸ как-то даже не дошло до меня. О Бузони²⁹ я больше слышал только уже позже, в Германии. Скрябин был только именем.

Больше всего воспоминаний и откликов пробудили во мне Ваши главы о «Где тонко, там и рвется» и о тургеневском спектакле. О тургеневском спектакле вспоминаю с большим удовольствием, но то «особенное», о чем Вы пишете, не выпало на мою долю: я видел этот спектакль только раз, и не с Лиловой, я думаю, а с Гзовской. Что касается пушкинского спектакля³⁰, то я полностью подписываюсь под всем, что Вы говорите: неумение читать стихи — особенно у Станиславского (больше, я бы сказал, чем у Качалова) — меня глубоко шокировало. И на всю жизнь запомнилось, кроме того (м. б., потому, что я был прирожденным петербуржцем и в Москве до 1918 года никогда не жила, да и в 1918 г. недолго), что в первом монологе Сальери Станиславский говорил: «Труден первый шаг и скупен первый путь...» Этого «скушен» я просто не мог переварить, и на моем дальнейшем отношении к Станиславскому это как-то отразилось.

В Михайловском театре на «французах» я никогда не бывал. Мейерхольдовского «Дон Жуана» и «Царя Эдипа» в цирке Чинизелли не видел. Все это читал у Вас с интересом и удовольствием.

Теперь два небольших вопроса-замечания: 1) На стр. 162 Вы пишете: «Стахович был очень хорош в роли Степана Трофимовича». Разве Стахович играл его³¹? Я этого почему-то не помню. Может быть, кто-то другой еще, более известный, в очередь (не могу сейчас припомнить, кто именно)? Должен при этом сознаться, что я «Братьев Карамазовых» в Художественном театре не

* Фрагмент.

видел³² (кажется, считалось, что я слишком молод еще), но помню, что очень интересовался этой постановкой, много читал о ней, у меня до сих пор хранится фотография Германовой³³ в роли Грушеньки. А вот Стаховича в связи с этой пьесой просто не вспоминаю. А казалось бы, должен бы запомнить: с братьями Стаховича, известными общественными деятелями, отец мой был хорошо знаком, и я одного из них хорошо помню с 1913 года (с другим познакомился потом еще лучше в Париже и в Лондоне, а одно лето мы с ним жили вместе на Ф. Джерси у одних общих знакомых).

2) На стр. 136 у Вас есть фраза: «...в России ничего похожего... на „Аполлон“, на „Старые годы“, на „Золотое руно“ (выходившие до „Аполлона“ в Москве)...» Здесь «выходившие», вероятно, опечатка вместо «выходившее», т. е. это причастие относится только к «Золотому руно»? Ведь «Старые годы» выходили в Петербурге³⁴.

КОММЕНТАРИИ

¹ Один из моих младших братьев — Лев Петрович Струве (1902, Монтрё — 1929, Давос), талантливый историк, славист и политолог. Письмо Р. М. Рильке к Л. П. Струве напечатано в «Русской мысли» (1927, № 1). О творческой судьбе Л. П. Струве и его безвременной кончине см. в парижской газете «Россия и славянство» (1931, № 112).

² «Но это и не мемуары, — писал Вейдле в начале своего повествования, пытаясь оправдать самого себя в выборе жанра. — И не совсем автобиография уже и потому, что будет она очень не полна...» Эпиграфом ко всей книге была строка одного из стихотворений обожаемого Вейдле Владислава Ходасевича: «...Лети, кораблик мой, лети...» И хотя книга Вейдле уступает изданным в эмиграции и всем русским миром признанным мемуарным шедеврам — скажем, Ходасевича, Набокова, Георгия Иванова, Сергея Маковского, Нины Берберовой — по части философских обобщений и суждений, по обилию значительных (и иных) имен, по резкости и эмоциональности личных оценок, — она нисколько не уступает им по достоверности и по горячему чувству к утраченной России, детству в родительском доме и петербургской юности. «Навыорот взяв бинокль, в большие стекла гляжу и вижу крошечного себя, на дорожке идущего меж сосен и оглядывающего свои владения...» Думается, все это душевно расположило к мемуарам Вейдле «суховатого» Глеба Струве.

³ «Освобождение» — журнал русских либералов, издававшийся под редакцией П. Б. Струве в 1902 — 1905 годы за границей (Штутгарт — Париж) и переправлявшийся в Россию нелегально; подготовил создание «Союза освобождения» (1904 — 1905), объединения либеральной интеллигенции, «предпартии» конституционалистов-демократов («кадетов»).

⁴ Жизнь и быт Лесновской школы, в том числе и пребывание в ней юного Глеба Струве, подробно освещены в книге: Селиванова И. В., Лекина-Свирицкая В. Р. Школа в Финском переулке. Л., 1989.

⁵ Сережа Никольский — Сергей Александрович Никольский (1898 — 1918), талантливый художник и искусствовед. Сын известного петербургского врача, публициста, депутата Государственной думы третьего созыва. Трагически погиб в Гражданскую войну от рук красноармейцев. Его брат, Юрий Александрович (1893 — 1922), — литературный критик, историк литературы. Выпускник Выборгского коммерческого училища. О его трагической гибели см. в воспоминаниях Г. П. Струве («Русская мысль», Париж, 1978, 4 мая).

⁶ Дед — Герд Владимир Александрович (1870 — 1926), дед Г. П. Струве по материнской линии; ученый-естественник, известнейший в Петербурге преподаватель естествознания, директор Путиловского коммерческого училища. Соученик И. М. Гревса, Д. С. Мережковского, В. В. Гиппиуса и В. Д. Набокова по 3-й Петербургской гимназии.

Брат — сын В. А. Герда Сергей Владимирович (1897 — 1961), гидробиолог, профессор Петроградского университета, ученик профессора-зоолога В. А. Догеля.

⁷ Петр Андреевич Герман (1868 — 1925) — известный педагог, директор Выборгского коммерческого училища.

⁸ Н. С. — Тимашев Николай Сергеевич (1886 — 1970), социолог и правовед, публицист. Профессор Петроградского Политехнического института (1916 — 1920). С 1921 года в эмиграции (с 1923 в Праге; с 1936 — в США). Преподавал в Гарвардском и других университетах.

⁹ Гиппиус Владимир Васильевич (1876, Петербург — 1941, Ленинград, блокада) — историк русской литературы, поэт и переводчик. Преподаватель литературы Тенишевского училища и Стоюнинской гимназии. Здесь намек на превосходную репутацию В. В. Гиппиуса, который был в Тенишевском училище любимым учителем и поэтическим наставником О. Э. Мандельштама, юного В. В. Набокова, Виктора Жирмунского, оставивших о нем благодарную память.

¹⁰ Наталья Ивановна Лихарева (1876 — ?) — историк-медиевист, ученица профессора И. М. Гревса, автор нескольких хрестоматий для средней школы, брошюры «Как произошла революция во Франции» (Пг., 1917) и др. Ее муж, филолог Николай Карлович Кульман (1871 — 1940), в эмиграции в Париже в числе других трудов выпустил книгу «Как учить наших детей русскому языку» (1932).

¹¹ Катя Малкина — Малкина Екатерина Романовна (1899, Царское Село — январь 1945, Ленинград). Внучка А. В. Острогорского. Литературовед, редактор, преподаватель ряда ленинградских вузов. Ученица Эйхенбаума, Тынянова и Жирмунского в Институте истории искусств. Кандидат филологических наук, научный сотрудник Эрмитажа и Русского музея, автор исследований о Лермонтове, Блоке, Маяковском и других. Внучка известного петербургского историка и педагога, первого директора Тенишевского училища.

¹² Вера Лейкина — Лейкина-Свирская Вера Романовна (1899 — 1997), историк и источниковед. В 70-х годах побывала в Калифорнии, в Беркли, встретила с Глебом Струве (своим школьным товарищем) и передала ему в дар сохранившиеся номера училищной «Школьной газеты»; в одном из них (за 1912 год) была напечатана рецензия Струве на поэтический сборник Гумилева (которой он в старости очень гордился).

¹³ К. А. Вогак — Вогак Константин Андреевич (1887 — 1938), поэт, сформировавшийся в начале века в Петербурге. Окончил Петербургский университет по юридическому и историко-филологическому факультетам. Преподавал языки в Лесновской школе и в Выборгском коммерческом училище, где в то время директором был П. А. Герман. Вогак был адресатом Блока, был знаком с Ахматовой, Гумилевым. Принадлежал по своим поэтическим пристрастиям к акмеистам. С другой стороны, его увлекали лингвистические и фольклорные искания в духе Велимира Хлебникова, Андрея Белого, Стравинского. Почти не печатался, за исключением участия в журнале молодых Всеволода Мейерхольда и Виктора Жирмунского «Любовь к трем апельсинам». В эмиграции с 1929 года, жил в Ницце, где и умер. В 1985 году родственниками, проживающими в США (городок Салинас, Калифорния), был разобран его архив, и в России в том же году была напечатана сказочка К. А. Вогака «Золотая птица» («Христианское издательство», редактор и автор предисловия М. Пахомова).

Эти сведения предоставлены Ростиславом Борисовичем Вогак (псевдоним — Евдокимов), ныне здравствующим петербургским писателем, литературоведом и переводчиком с китайского, внучатым племянником К. А.

¹⁴ Алексей — средний брат Г. П. Струве Алексей Петрович (1899 — 1976), библиограф-славист.

¹⁵ Д-р Нечаев Александр Афанасьевич (1845 — 1922) — профессор Обуховской больницы в Петербурге; ученик С. П. Боткина; редактор газеты «Русский врач».

¹⁶ Токмаковы, Булгаковы — Иван Федорович Токмаков (1856 — 1922), известный библиограф, историк московской старины. Его дочь Елена Ивановна (1873 — 1845) была замужем за философом и богословом Сергеем Николаевичем (о. Сергием) Булгаковым (1871 — 1944). У Токмаковых было имение в Крыму, в Олесе.

¹⁷ Д-р Альтшуллер Исаак Нотович (Наумович; 1870 — ?) — крымский врач-терапевт, знакомый Чехова и Толстого, лечивший их обоих в Крыму в 1902 — 1904 годах; член Ялтинского благотворительного общества врачей. О его судьбе в эмиграции см. в кн.: Кудрова И. В. Марина Цветаева в Праге. СПб., 1997.

¹⁸ Д-р Михайлов Николай Федорович — известный врач и московский домовладелец, знакомый и адресат Чехова и Суворина.

¹⁹ О болезни Толстого в Гаспре в 1902 году см. в кн.: Гусев Н. Н. Жизнь и творчество Л. Н. Толстого 1891 — 1910. М., 1960.

²⁰ Кизеветтер Александр Александрович (1866, Петроград — 1933, Прага) — петербургский историк, близкий друг Петра Бернгардовича Струве по службе в Политех-

ническом институте, участник сборника «Вехи», один из основателей Русского заграничного архива в Праге. В частности, см. о нем в кн.: Андреев Н. Е. То, что вспоминается. Таллинн, 1996.

²¹ Семья Кончаловского — Петр Петрович Кончаловский (1876 — 1956), известный художник; Максим Петрович Кончаловский (1845 — 1942), врач-хирург; Дмитрий Петрович Кончаловский (1878 — 1952), историк-латинист.

²² О визитах В. Я. Брюсова к П. Б. Струве и об их отношениях как по петербургской «Русской мысли», так и вне ее в военные годы см. публикацию А. Н. Михайловой «В. Я. Брюсов. Письма к П. Б. Струве» в весьма редком на сегодняшний день сборнике «Литературный архив» АН СССР, 1960, № 5, стр. 257 — 349.

²³ В 1916 году отец Глеба Петровича был приглашен в Кембридж для получения степени почетного доктора и для чтения лекций о положении в России (см.: Казнин А. О. Русские в Англии. М., 1997, стр. 174).

²⁴ КЛЭ — «Краткая литературная энциклопедия», т. 7, М., 1972; автор статьи о Г. П. Струве Н. Шукина.

²⁵ Папини (Papini) Джованни (1881 — 1956) — итальянский писатель и журналист, близкий к футуризму. В начале 30-х годов симпатизировал Муссолини, но гитлеризм резко отвергал. Автор книги «Un uopino finito», 1919 («Конченный человек». Перевод Р. Да-Рома под редакцией Ф. Л. Вольпина. Л.-М., 1923). Папини также автор большой книги о жизни Данте.

²⁶ По-видимому, речь идет о книге Альфонса Доде (1840 — 1897) «Впечатления солдата-пехотинца» («Рассказы по понедельникам»), выдержавшей на русском языке множество переизданий.

²⁷ Никшиш (Nikisch) Артур (1855 — 1922) — немецкий концертный дирижер и композитор. Особой популярностью пользовался в России как музыкант-модернист и авангардист, создавший здесь своеобразную школу пианистов-исполнителей. Поклонник Рихарда Вагнера и Н. Метнера. О его концертах в Москве, вызывавших постоянные споры, см. в частности: «Театр и жизнь», 1922, № 7; Шнейдер П. Записки старого москвича. М., 1970.

²⁸ Моттль (Mottl) Феликс (1856 — 1911) — немецкий дирижер и композитор, часто выступавший в России вместе с А. Никишем и Н. Метнером.

²⁹ Бузони Ферруччо (1866 — 1924) — итальянский композитор, пианист, дирижер, музыковед, музыкальный критик. В 1916 году в русском переводе вышла его книга «Эскизы новой эстетики музыкального искусства». Оказал сильнейшее влияние на Рахманинова и впоследствии на Николая Набокова. Многочисленных знатоков и поклонников исполнительского мастерства Ф. Бузони критика называла «бузонистами», и этот термин вскоре стал среди посвященной публики нарицательным.

³⁰ Пушкинский спектакль (см. о нем упоминание в предыдущем письме Г. П. Струве), по воспоминаниям актера МХАТа Леонида Мироновича Леонидова, был одним из немногих в истории Художественного театра провалов, хотя Станиславский (один из «виновников» провала) никак этого не мог ни понять, ни принять. См.: Леонидов Л. М. Воспоминания, статьи, переписка, записные книжки. Статьи и воспоминания о Л. М. Леонидове. М., ГИЗ, 1960.

³¹ Стахович Алексей Александрович (1856 — 1919) — адъютант московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. Из семьи камергера, сын известного мецената и знатока искусств Александра Александровича Стаховича. Друг К. С. Станиславского со времен Общества искусства и литературы. С 1902 года — пайщик и член правления Московского художественного театра. В 1907 году уходит в отставку и посвящает себя целиком МХТ. Один из основателей Второй студии МХТ (1916). С 1911 года выступал как актер МХТ. Роли: князь Абрезков («Живой труп» Л. Толстого, 1911), Клеант («Тартюф» Мольера, 1913), Степан Трофимович Верховенский («Николай Ставрогин» по Достоевскому, 1913), Репетилов («Горе от ума» Грибоедова, 1914), граф Ляубин («Провинциалка» И. Тургенева, 1915), Дон Карлос («Каменный гость» А. Пушкина, 1915) и др. В 1919 году покончил с собой.

Ценнейшие воспоминания о Стаховиче оставили К. С. Станиславский, Вл. И. Немирович-Данченко, Л. М. Леонидов, М. И. Цветаева.

³² У Вейдле речь идет об инсценировке «Бесов» Достоевского на сцене Художественного театра (спектакль «Николай Ставрогин»).

³³ Германова Мария Николаевна (1884 — 1940) — актриса МХТ в 1902 — 1919 годах; исполнительница ролей Софьи («Горе от ума»), Грушеньки («Братья Карамазовы»), Ольги («Три сестры») и др.

³ Автор письма прав: «Аполлон» — СПб., 1909 — 1914; «Золотое руно» — М., 1906 — 1909; «Старые годы. Ежемесячник для любителей искусства и старины» — СПб., 1907 — 1916.

На этом в письме заканчивается отклик Г. П. Струве на «Зимнее солнце» В. В. Вейдле. В дополнение, однако, считаем небесполезным процитировать (уже без комментариев) письмо до конца, поскольку это может дать представление об общем характере интереснейшей переписки.

«...По поводу Вашего „Алданова“. Когда появилась Ваша первая статья о нем, один человек спросил меня: „Скажите, почему Вейдле так едко написал об Алданове?“ Человек этот один мой здешний коллега, не славист, а романист, редактор (уже много лет) журнала „Romance Philology“. Зовут его Яков Львович Малкиель. Семья его была знакома с Чеховым, а сам он находится в родстве и в свойстве с Жирмунским и с Тыняновым. Мать Алданова была не то сестрой, не то двоюродной сестрой его деда. Он тогда же сказал мне, что как-нибудь расскажет мне кое-что об Алданове, чего я могу не знать. Вчера я снова с ним разговаривал, и действительно он рассказал мне об Алданове кое-что новое для меня. Он хорошо знал мать Алданова («Мало о ком можно, пожалуй, сказать это», — прибавил он). Она почти не говорила по-русски, и Алданов вырос совершенно без знания русского языка (а также русской природы, почему никогда и не писал о природе, по его словам; я думаю, что, кроме того, не хотел соперничать, скажем, с Буниным или даже Алексеем Н. Толстым). Русский язык он воспринял много позже, в Петербурге, и потому язык этот был «искусственный», литературный скорее, чем разговорный. Я не помню сейчас биографии Алданова, а потому не помню: учился он в Париже (он ведь учился там химии) до Петербурга или после? Малкиель этого тоже не помнит: его знакомство с самим Алдановым относилось к более позднему времени (он значительно моложе меня, кончал университет в Берлине в начале 30-х годов; я познакомился с ним уже здесь, но фамилию его знал раньше, по «России и славянству», где он напечатал статью о Рильке).

Рад, что Вам понравилась статья моя о «Континенте». Я мог бы написать острее, резче (вижу больше недостатков, чем упомянул), но не хотел «обижать» их. И то Померанцев написал мне, что Максимов был очень статьей огорчен, к чему он прибавил, что «они», новые эмигранты, вообще не выносят критики, страшно чувствительны к ней. Но потом тот же Померанцев написал мне, что Максимов взял свои слова назад, что кто-то неверно перевел ему мою статью.

«Историю женитьбы Ивана Петровича» Марамзина я нашел лучше другой беллетристики у них, но ничего особенного и в ней не увидел. А стихи все, по-моему, очень слабые. Ивашку почему-то понравились два стихотворения Льва Мака, но я нашел их совсем слабыми. Номера 5 я до сих пор не видел, хотя Терновский уверяет, что послал мне. Номер 6 на днях получил от него, но до сих пор не удосужился прочесть. По оглавлению он показался мне скучным.

Надеюсь, что здоровье Ваше лучше: мне писал Александр Васильевич, что поездка Ваша в Испанию была отсрочена из-за здоровья.

Р. С. Я послал сегодня ксерокопию Вашей статьи о Бальмонте В. Ф. Маркову, который как-то прозвал ее в «НРСлове». Вы, вероятно, знаете, что Марков недавно издал в Германии (у Финка) собрание стихов Бальмонта (м. б., даже видели издание?). В какой-то момент он почувствовал неожиданную слабость к Бальмонту. Я его издания не видел и не знаю, сходятся ли его предпочтения с Вашими. В недавнем письме я упомянул мимоходом Вашу статью, и Марков просил прислать ее ему. Сейчас он готовит двухтомное издание Кузмина (тоже у Финка)».



АЛЕКСАНДР НЕКЛЕССА



ТРАНСМУТАЦИЯ ИСТОРИИ

11 сентября 2001 года в исторической перспективе и ретроспективе

Смотри, как колеблется на оси потрясенный мир;
смотри, как земля и море во всей их необъятности,
и небо со своим глубоким сводом, и вся природа
дрожит в надежде на грядущий век.

Вергилий.

В истории христианского мира присутствует странная закономерность: приблизительно каждые 500 лет происходит сотрясение цивилизации, приводящее к рождению ее новой версии. В V — VI веках это было утверждение «государственного христианства» Византии и отпадение Восточных церквей, в XI веке — подъем Западной Европы и разделение православного и римско-католического миров, в XVI веке — освоение Нового Света и Реформация. Социокультурная доминанта смещалась при этом с Востока на Запад — от ближневосточных провинций Римской империи к ее европейским мегаполисам: к латинскому Риму и греческой Византии, далее из мира Средиземноморья в Западную Европу франков и Северную Атлантику тевтонов и англосаксов, затем — в Новый Свет, остановившись в конце концов на мультикультурном калифорнийском побережье перед необъятными просторами Тихого океана и расположенной на противоположном берегу глыбой Восточной Азии... Если следовать данной логике, то в наступившем веке нам не избежать драматичной трансмутации истории. Судя по всему, именно это сейчас и происходит, только речь, кажется, идет о весьма особом случае «великого делания» исторических метаморфоз.

За пределом конца истории

Кризис культуры Большого Модерна назревал не один год и не одно десятилетие, весь XX век прошел под знаком обретения нового миропорядка. Но символом «исторических врат» — замаячившего конца современной цивилизации либо ее фундаментальной метаморфозы — стали, пожалуй, трагические события 11 сентября 2001 года, вознесшие из руин геркулесовых столпов Нового Света призрачные *Twin Peaks* Нового мира. Социальная организация в ее нынешней версии продемонстрировала в тот критический день даже не силу или слабость, а скорее неадекватность прежнего корпуса идеологом, институтов, систем управления и безопасности характеру возникающей реальности и исходящих от нее угроз.

Некlessа Александр Иванович — политолог. Родился в 1949 году. Окончил МГИМО. Заместитель директора Института экономических стратегий при Отделении международных отношений РАН. Автор более 200 публикаций по вопросам политологии, экономики, истории, в том числе и в толстых журналах.

Публикуется в рамках проекта РГНФ № 00-02-00213а. Журнальный вариант. © 2002, А. И. Неклесса.

Трансформация социального контекста все чаще напоминает о временах поздней Античности: синкретизм и размывание культурных горизонтов, снижение морали, распространение идеологии общества потребления, сжимание цивилизации варварством... Однако исторический итог потрясений складывается заметно иной. Вместо былого «сообщества катакомб» на планете выстраивается его шаржированный и гротескный аналог — глобальный *Undernet*, эксплотирующий открывшиеся возможности для иллегальных организаций и не скованных моральными ограничениями видов деятельности, где неформальность и гибкость подобных организмов оказывается их существенным преимуществом. Мировой андеграунд, многоликий и многомерный, — прочертив своим лабиринтом как пространства Глубокого Юга, так и Нового Севера, — становится влиятельным участником игр на глобальной шахматной доске. Системный терроризм — это своего рода стиль жизни, освобожденной от пут прежней культуры и морали; его субстрат — смесь фрустрированных, испытавших культурный шок персонажей и организационных компонентов прежнего мира, прямо и косвенно управляемых представителями новой культуры. Причем в специфичной, слабоформализованной среде сетевого сообщества, широко использующего механизмы манипулирования, реальный генезис события нельзя установить с полной достоверностью, даже определив исполнителей.

Сталкиваясь с радикальностью происходящих на планете изменений, тем более с их динамичным горизонтом, невольно немеешь, ощущая скудость речи из-за отсутствия адекватных категорий для подспудно или взрывчато возникающих феноменов. Потому, наверное, так обильно плодились в последние десятилетия частицы «пост», «нео», «анти», фиксирующие новизну, но, в сущности, ничего не говорящие о ее характере. Даже привычный джентльменский набор: постиндустриальное и информационное общество, социальный постмодерн и новый мировой порядок, конец истории и столкновение цивилизаций — напоминает скорее ярмарку тщеславия, нежели провидения. В этом ряду, однако, существует понятие, которое, с каждым годом набирая очки, становится все более многогранным, полифоничным, неоднозначным. Имя ему — глобализация. О самой глобализации, ее генезисе, формирующемся ландшафте мы поговорим чуть ниже. Рассмотрение же исторической перспективы начнем с неприбранной авансены, с последнего мазка кисти XX века, без которого список социальных новаций был бы явно неполным, — явления, чьи горизонты общественное сознание уясняло для себя, уже балансируя на грани эпох.

Лишь с недавних пор стало осознаваться различие между глобализацией как тенденцией, определяемой мощью цивилизации, ее способностью эффективно проецировать себя в планетарном масштабе, и глобализмом как определенным цивилизационным стандартом, мировоззрением, имеющим свои теневые стороны и порождающим собственную антитезу — антитоталитарный порыв, отстаивающий право на альтернативное прочтение будущего, — идеологию и движение антиглобализма. Интегрируя тенденции индивидуации и коммуитаризма, рафинированные интеллектуальные дискуссии и спонтанный идеологический китч, оно преобразует феноменологию протеста против гримас глобального капитализма в неоднородную, турбулентную политическую субстанцию, чреватую разнообразными следствиями, очерчивая, таким образом, кромку потенциального источника власти.

Несмотря на суженный и частично окарикатуренный в СМИ образ, антиглобализм стремительно заполняет некий вакуум, доставшийся ему в наследство от антитоталитарных порывов прошлого — антифашизма, антиимпериализма, антикоммунизма, — причем сам феномен вроде бы всходит на дрожжах многоликого левого движения. Однако не все столь просто и однозначно. В новых пространствах прежние оппозиции ощутимо смещаются — к примеру, в ряде акций последних лет совместно участвуют такие непримиримые прежде враги, как анархисты и «бритоголовые». Все же мегаломания конструкций глобального капитализма, их недружественность по отношению к человеку ско-

рее обостренно ощущаются, нежели отчетливо осознаются, свидетельство чему именно пестрый, карнавальнй состав движения. Интеллектуальный же и политический круг детей Сизтла представляют сегодня прославленный сокрушитель одного отдельно взятого «Макдоналдса» французский фермер Жозе Бове и его соотечественница-соратница Сьюзен Джордж, автор культового романа-антиутопии «Рапорт Лугано»; словенский философ Славой Жижек и бельгиец Ноель Годен, зачинщик торговой войны, создатель ее теоретического обоснования «Торт и наказание»; мексиканский партизан субкоманданте «Тата» Маркос, творец трактата о «Четвертой мировой войне», и знаменитый шестидесятник Режи Дебре... Из симпатизантов можно назвать экономистов Фредерика Джеймсона и лауреата нобелевской премии Джеймса Тобина, инициатора «проекта Тобина», предлагающего обложить налогом все финансовые транзакции; писателя Габриеля Гарсиа Маркеса и кинорежиссера Оливера Стоуна, актрис Сьюзен Сарандон и Тим Роббинс. Основные организации антиглобалистов: «Глобальное движение людей» (400 филиалов), «АТТАК», «Черный блок» («Антикапиталистический блок»), «Ябаста», хакерское движение «Хактивист», а также система электронного обмена информацией «Индимедиа».

Антиглобализм между тем не совсем то, что предполагает его гляцевый образ, предстающий с экранов TV, со страниц газет и популярных журналов. Правда, и в этом случае движение уже не всегда выглядит как перманентный хэппенинг, как праздничное действо анархистов и маргиналов, но скорее — как спонтанный, эмоциональный ответ части общества на культурный шок нового мира, на вызревание в нем определенных тенденций, ответ, в котором присутствует свое второе дно. Тем более, что на протяжении последних десятилетий, пусть менее зрелищно и громко, развивался правый антиглобализм, вершина айсберга которого представлена так называемой «милицией» (*militia, vigilantes*) в США и политическим усилением правых и ультраправых консерваторов в Европе (последний яркий пример чему — Франция, а до нее — Австрия). Да и первое, породившее традицию антиглобалистское действо 1999 года в Сизтле в значительной мере было организовано и спонсировано отнюдь не радикалами, а профсоюзными организациями Америки — традиционным оплотом консерватизма.

Влиятельная, хотя и оказавшаяся не в фокусе СМИ часть движения — религиозные организации и их лидеры, быть может, обостреннее других ощутившие глубины кризиса. О распространении в мире «культуры смерти», подрывающей основы цивилизации и грозящей обществу новым тоталитаризмом, предупреждал в конце прошлого века папа Иоанн Павел II. Выступая против ряда тревожных аспектов глобализации, ее «структурных корней» и проявлений социальной несправедливости, понтифик заявлял: «Поскольку... глобализация руководствуется законами рынка в интересах наиболее могущественных, ее последствия могут быть только негативными. Таковы, к примеру, подход к экономике как к абсолютной ценности; безработица; упадок многих общественных служб; разрушение окружающей среды, природы; рост разрыва между бедными и богатыми; несправедливая конкуренция, ставящая бедные нации в положение еще большей униженности».

Идеология и практика глобального капитализма, особенно в его нынешней форме «вашингтонского консенсуса», неоднозначно воспринимается и большинством лидеров Третьего мира, спектр настойчивых критиков — от руководителей Ирана до премьер-министра Малайзии Махатхира. Помимо претензий на мировую гегемонию критикуются результаты более чем двадцатилетнего эксперимента по применению программ структурной адаптации/финансовой стабилизации, разработанных Международным валютным фондом и Мировым банком. Широко пропагандировавшиеся в развивающихся странах, рекомендации эти оказались в конечном счете двусмысленными, приведя к созданию механизма сжатия внутреннего потребления и форсированного экспорта природных ресурсов по низким ценам, в то время как доходы от операций шли на выплату практически неубывающего внешнего долга. Одна-

ко параллельно с легальным протестом Третьего мира против гримас глобализма на «диффузных пространствах» мирового андеграунда процветает также иной формат антиглобалистской риторики и энергичной, агрессивной практики. Исходящие из социальной бездны флюиды питают новое поколение антицивилизационных идеологов и террористических организаций, провоцирующих нарастающее применение репрессалий и легализацию обновленного, жесткого формата международных отношений.

Сейчас ряд фактов и положений, связанных с привычным образом глобализации, не вызывавших ранее ни вопросов, ни возражений, начинают восприниматься по-иному, вызывая уже и серьезные вопросы, и не менее серьезные контрположения. Под изменяющимся углом зрения протееобразный антиглобализм выглядит как обнажившийся в водах времени риф — часть нового континента смыслов, элемент более широкого феномена, мутант непознанной культуры, чьи корни в «молодом, незнакомом» племени: плеяде разнообразных сетевых организаций. Пионеры нового мира напоминают пока неуклюжего ребенка, обучающегося ходить, однако эти дети могут стать культурными героями наступившего века, сражающимися с очередным обликом гидры тоталитаризма. Либо сами рискуют обратиться в разновидность многоликого дракона, пожирающего цивилизацию и воцаряющегося в мире неорархаики. Пируэты монструозного глобализма и балансирующего на грани терроризма антиглобализма порой напоминают затейливые па «нанайских борцов», скрывающих под пестрыми одеждами некую пружину XXI века: сдвоенный секрет, губительный для современной цивилизации, шаг за шагом уходящей с исторической магистрали в маргинальное небытие. Между тем именно ощущение свежей крови и будущего мейнстрима привлекает сейчас в сетевую культуру самые разные силы, стремящиеся активно влиять на судьбу крикливого малыша.

Сегодня, несмотря на многообразие прочтений и толкований, образ Нового мира, его грядущий строй все же остаются загадкой, которая, наподобие знаменитых дзэн-буддийских коанов, не имеет однозначного ответа. Социальные порывы глобализма и антиглобализма демонстрируют совершенно неожиданные конфигурации прежних сил и течений, объединяя, казалось бы, несоединимое и разводя близкое. Тайна этой причудливой геометрии подвижных берегов истории связана с какой-то иной, нежели привычная для нас, системой координат. Вопрос остается открытым: что находится в фокусе столь неровной, инстинктивной реакции на реалии и эманации глобализма, что вообще скрывается под этим простым и звучным определением?

Постсовременная цивилизация

В наши дни разговор о постсовременной цивилизации или же более общее и менее обязывающее обсуждение нового цивилизационного контекста могут оказаться как тривиальной данью духу перемен, так и чрезвычайно взрывчатой, революционной темой. Вся соль, по-видимому, в том, что понимать под этой формулировкой. Если расшифровать ее просто как очередное обновление христианской, все еще — по своим культурным основам — христианской цивилизации, то подобные процессы, как было сказано, уже не раз и не два происходили на протяжении последних двух тысячелетий. Если же это словосочетание соответствует появлению на Земле признаков какой-то иной цивилизации, то мы, конечно, присутствуем при революционном и драматичном переломе.

Мое понимание проблемы меж тем именно таково. Более того, речь, по-видимому, идет о зарождении новой цивилизации не только в том широком смысле, который был привнесен в данное понятие в конце XIX века — как тема культурно-исторических типов обществ, что позволило, например, Арнольду Тойнби насчитать 22 цивилизации, — но и в русле гораздо более узкого, хотя и универсального словоупотребления этого термина, идущего от Мирабо. Правда, здесь мы вплотную приближаемся к парадоксу, неизбежно трансцендируя и переосмысливая прежнее значение термина, безнадежно за-

пертого в триаде *дикость — варварство — цивилизация*, предполагая возможность некоего таинственного *четвертого состояния* общества. С подобной реформированной точки зрения, всю историю в конечном счете можно свести к двум гигантским шагам. Один — возникновение и развитие рафинированных культур Древнего мира, причем как восточных, так и античных, всего того разнообразия, которое можно объединить понятием традиционной цивилизации (традиционная культура). И второй тип цивилизации — или группы, семейства цивилизаций, если все-таки рассматривать их как культурно-исторические типы, — это христианская цивилизация (культура Большого Модерна). Именно данная форма человеческого общежития пребывает сейчас в состоянии системного кризиса и трансмутации.

Христианская цивилизация развивалась, отвечая особому статусу человека, расширяя спектр его возможностей, создавая соответствующую среду действия, но при этом новое мироощущение, мятущийся человеческий дух — оплодотворив прежнюю ойкумену и впечатляюще трансформировав ее — не раз и не два срывался в долгий, затяжной кризис. В результате вектор развития — обретаемая людьми свобода — оказывается двусмысленной шкалой формального могущества, которое не претворилось в победу. Несовпадение траектории внутреннего мира с техническими возможностями и границами общественного развития предопределило разрыв социальной ткани, одновременно усилив предчувствие кардинальной исторической метаморфозы.

В начале III миллениума мы видим присутствие на планете двух сопоставимых по своим возможностям кодов управления, их конкуренцию и симбиоз. Одна система общественной регуляции, привычная и явная, связана с публичной политикой, национально-государственным устройством. Ее можно было бы назвать политической, но лучше, наверное, определить как власть государственную, суверенную и легитимную, ибо любые системы управления глобального масштаба в конечном счете политические. И второй тип мирового управления — находящаяся на подъеме, обезличенная транснациональная система, состоящая из международных неправительственных организаций и транснациональных корпораций, которую по аналогии можно бы назвать экономической, но тут нужен какой-то семантический сдвиг, и мне привычнее понятие *геоэкономическая*, поскольку мы имеем дело именно с парагосударственной системой управления, а не просто с хозяйственной деятельностью. То есть рассматриваем нечто, что содержит регулирующие, властные функции, далеко выходящие за рамки самых сложных производственных и рыночных связей и относится к политической стороне жизни общества. Или же — есть и такое, масштабное по своему смыслу определение — *«денежный строй»*. Непубличная власть, хорошо владея схемами полифункционального организационного и хозяйственного управления, постоянно наращивая изоциренность и мощь привычных финансово-правовых кодов, проделала впечатляющую эволюцию от господства над материальными объектами к управлению объектами социальными (субъектами), сливаясь, таким образом, с более привычным контуром власти, причем чрезвычайного уровня компетенции. Впрочем, то, что на определенном уровне власть экономическая и политическая сливаются, представляется сейчас уже вполне тривиальным фактом...

Серьезные трансформационные процессы развиваются также в сфере культуры, чьи глубинные источники, кажется, иссякают. Ее плоды все чаще рассматриваются как особый интеллектуальный ресурс, сырье для информационных и коммерческих проектов. Основное внимание при этом уделяется не трансценденции бытия, но аранжированию материала, стратегическая же цель видится не в познании смысла жизни, а в ее системной организации. Соответственно и усилия индивида направлены не на обретение полноты личности, а на расширение пространства собственной актуализации, на «эгоистический захват духовного пространства». В результате культурное наследие человечества превращается в компоненты эклектичного трансформера *à la Lego*, текущие штудии — в спортивно-состязательную «игру в бисер» либо массовую

культуру, и, как следствие, в мире распространяется феномен фрагментарного, «клипового» сознания. Так что читать толстые романы теперь не то чтобы не модно, но порой становится «почти физически» затруднительно. Иначе говоря, происходит декомпозиция культуры с последующей экстенсивной эксплуатацией ее достижений, их произвольной реконструкцией в соответствии с той или иной конъюнктурной задачей, случается, противоположного свойства. К тому же создатель культурного объекта (или *продюсер*) нередко заранее учитывает маркетинговую стратегию, встраивая ее компоненты непосредственно в художественную ткань произведения. Последний, хотя, может быть, и не самый яркий пример тому — две версии фильма «Пёрл-Харбор»: для мировой аудитории и отдельно для японской, исходя из интересов проката.

Происходящие изменения можно, конечно же, объяснить усиливающейся прагматизацией бытия современного человека. Действительно, нередко приходится сталкиваться со следующей точкой зрения: долгое время в мире доминировали *ценности*, а сейчас начинают превалировать *интересы*, то есть происходит простое уплощение привычной цивилизации. На первый взгляд, дела обстоят именно таким образом. Однако можно ли всю феноменологию перемен объять подобной рационализацией? Пожалуй, нет, это было бы поверхностным прочтением ситуации: помимо очевидного упрощения и даже примитивизации ряда сторон жизни мы имеем дело с интенсивным процессом социального творчества, со сменой социокультурных ожиданий, с многообразным проявлением энергичного и специфического мироощущения, с оригинальным переосмыслением системы взаимоотношений в рамках триады *человек — мир — Бог*.

В настоящее время двусмысленность, расщепленность пронизывает практически всю социальную феноменологию — политическую, экономическую, правовую, — подчеркивая тем самым ее транзитный характер. Можно без особых усилий составить обширный реестр близких по своему предмету, но различных по содержанию диад, связанных с жизнью современного человека, прямо указующих на присутствие в социальной ткани довольно несхожих реальностей. Скажем, гражданское общество и общество массовое, демократия представительная и управляемая, либерализм, понимаемый как свобода и полнота прав личности, и неолиберализм, то есть универсальность ценностей рынка, акцентирующая функциональный аспект индивида (фактический субъект неолиберализма не личность, а предприятие), национальный суверенитет и складывающаяся на иных принципах транспарентная система международных связей и т. п. Можно также перечислить ряд весьма специфичных явлений, связанных с новым кодексом политкорректности: от феминизма, утверждения полноты прав сексуальных и любых других меньшинств, права на контроль над собственным телом (аборты, фетальная терапия, новые репродуктивные технологии, смена пола, генетические манипуляции, в перспективе — клонирование) до начавшейся легализации эвтаназии, легких наркотиков и т. п. В этом пестром собрании просматривается комплекс понятий, ломающий горизонт христианской секулярности. Комплекс, который базируется не на плоских интересах, а скорее на разветвленной, глубокой системе каких-то других ценностей, пусть пока неотчетливой, укрытой инерцией жизни и эклектикой повседневности.

Что все это означает? Быть может, дело в том, что обретенная на пике христианской культуры универсальная свобода предопределила в конце концов взрыв индивидуальной активности, освобожденной от диктата привычных форм власти, и одновременно — легализацию иных кодов бытия. И то, что мы наблюдаем сегодня, есть не что иное, как неизбежное смещение времен, смещение цивилизации и одичания (но это уже не прежняя цивилизация, как и не прежняя дикость), плавильный тигель того самого четвертого, синкретичного состояния общества — *альтернативной квазицивилизации*, где человеку будет дано распорядиться свободой, как никогда, и одновременно испытать небывалое угнетение. Пристально взглядевшись в этот калейдоскоп, мы начи-

наем различать, как сквозь расплывающийся фон привычных реалий проступает облик некой *неопознанной культуры*, и нам остается лишь распознать ее, в том числе за скучными политическими и экономическими феноменами. Правда, при этом возникают проблемы, — исследователи с некоторых пор инстинктивно избегают делать широкие обобщения, а социальные явления предпочитают рассматривать в функциональном ключе, по возможности отдельно от общих тем мировоззрения и культуры. В свою очередь короткий горизонт рефлексии, утрата вкуса к большим смыслам бытия (в немалой степени поддерживавшегося традицией богословия) приводит к тому, что действующие в недрах социума закономерности начинают восприниматься как самостоятельные универсалии, незывлемые для всех культур и на все времена. Поэтому, чтобы увидеть и прочесть новый социальный текст, опознать его скрытую культурную традицию, приходится отступать на шаг, вспоминая некоторые распространенные мнения и положения той поры, когда в обществе еще царила любовь к широким теоретическим обобщениям.

Но тут мне становится тесно в веберовской шинели. Макс Вебер, как слишком хорошо известно, затрагивая данную тему, уверенно говорил о протестантских корнях капитализма. Если мы внимательно его прочтем, то сможем сделать, пожалуй, лишь одно уточнение — речь идет не столько о протестантских корнях вообще, сколько о корнях кальвинистских (да еще о роли американских пуританских сект). Разница на первый взгляд никакая, но все же фиксирующая определенный вектор, позволяющий, следуя ему и приложив определенные усилия, отыскать неопознанное «второе дно» современного мира, реальный пунктир нового контекста, претендующего на роль исторической альтернативы христианской цивилизации. Эта возводимая в недрах общества антропологическая и социальная конструкция имеет весьма глубокий, гораздо более древний, чем протестантизм, мировоззренческий фундамент, который, на мой взгляд, принадлежит *гностицизму*. Соответственно прорисовывающийся постхристианский универсум, чей контур с каждым годом становится все четче, может быть определен — с точки зрения его начал и постулатов — как гностический.

Novus Ordo

Что есть гностицизм, его внутренняя картография применительно к данному кругу проблем, то есть к общественному мироустройству, экономической и политической практике, основам поведения человека в мире? Каким видится влияние идей гностицизма и шире — присущего ему мироощущения — на начала культуры и практическую жизнь? Наконец, какова наиболее соответствующая его духу модель социального универсума?

Отличительной чертой гностицизма является особый статус материального мира, как области несовершенного, случайного; как пространства «плохо сделанного» земного и человеческого космоса, для которых естественны производ, инволюция и самоотчуждение. Бог обособляется здесь от чуждого ему творения, трансформируясь, по сути, в аристотелев перводвижитель; миру же присущ тот же механицизм, что и у язычников, нет лишь страха и пиетета перед ним. Характерны абсолютизация роли зла, презумпция отдаленности и неучастия «светлых сил» в земных делах при близости и активном соучастии в них «сил темных», а также вытекающий из данной ситуации деятельный пессимизм. Кроме того, гностицизму свойствен глубокий, порой онтологичный дуализм, который предопределил специфическую антропологию (к чему мы еще вернемся). Речь идет не о сложных кодах соединения разнородного, как, скажем, в дохалкидонской полемике о сочетании двух природ в Богочеловеке, но о двух породах людей, о двух жестко разделенных слоях в человечестве: высшем и низшем — избранных и отверженных, — являя радикальный, обостренный элитаризм. Другой родовой признак — эзотеризм, эволюция степеней посвящения и практика создания особых структур управления, скрытой

власти, действующей параллельно власти официальной, но невидимой для нее; структур, подчас применяемых и используемых во вполне прагматичных целях. Еще одно немаловажное свойство — это, конечно же, специфическое абстрактное, системное мышление, любовь к строительству бесконечных миров, числовых, нумерологических систем и т. п.

Иначе говоря, гностицизм серьезно подошел к проблеме зла, решив ее, однако, совершенно по-своему, через призму негативного восприятия Вселенной и ее умопомраченного демиурга. Пытаясь отыскать простое (линейное) и понятное (рациональное) решение этой тайны, адепты учения усложняют по форме, но упрощают по сути и модель мира, и саму проблему, и ее решение, придавая им какой-то скорее механистичный, нежели метафизический привкус дурной бесконечности. И тем самым вольно или невольно представляют Творца и творение редуцированными, жесткими, неблагоприятными. Я бы рискнул сказать, что гностицизм — своего рода «упрощение христианства», что влечет, однако, совсем не простые следствия. Но как раз этой стороной данное мировоззрение наиболее близко современному человеку, развращенному потребительской логикой, эманациями поп-культуры и обожающему именно эффективные упрощения, для понимания которых достаточно поверхностного усилия разума. Особенно если есть возможность заменить реальное усилие души необременительными, квазимистическими спекуляциями ума, имеющими к тому же — как и всякое средство для повышения комфорта, в данном случае душевного, — коммерческую перспективу.

Порой создается впечатление, что наиболее характерная черта данного мироощущения — присущая только ему удивительная смесь элитаризма и вульгарности (вполне, кстати, отражающая *Zeitgeist* эпохи уплощения цивилизации и освобождающейся дикости). Отклонение от начал реализма, свободы и любви обнаруживает себя в распространении парадоксального на первый взгляд сочетания спиритуализма и материализма, вседозволенности и деспотизма, эгоцентризма и коллективизма. Двойственный же характер представления о тварном мире проявился в разделении людей на настоящих, обладающих гнозисом, что бы под этим ни подразумевалось, и ненастоящих, имеющих лишь обличье человека, но являющихся, по существу, разумными животными. Гностический универсум, таким образом, делится на виртуальную сферу настоящих свойств (сакральный Север) и низкий, материальный мир поделок (десакрализованный Юг).

И наконец, главное. Если мир и большинство его обитателей не вполне настоящие (механические объекты), то и действия в отношении их лишены реального груза моральной ответственности. Высшее состояние этой юдоли зла — «ночь творения», грядущий распад и аннигиляция мира, освобождающие избранные души от скуки, отчаяния и власти материи.

Наверное, нельзя не упомянуть об одной слишком очевидной и потому неотчетливой черте гностицизма — о его странной тяге к христианству, его двойничестве-оборотничестве, соприсутствию с христианским космосом на одной территории «абсолютной религии» (которая выше религии), подчас в одних и тех же душах и умах. Гностицизм по-своему весьма близок христианству как основной его оппонент, «близнец»; в некоторых случаях различие кажется столь «узким», словно из сущностной сферы оно переходит в область акцентов. В Древнем мире гнозис вообще стал своеобразным провозвестником христианского века, зачинателем осевого времени, будучи метафизически глубже и деятельнее язычества традиционных культур. Он свидетельствует о христианстве, как полноценная тень свидетельствует о светиле, он что-то *знает* о христианской истине, но по слишком многим причинам предпочитает дать собственный ответ, в котором оказывается разъятой органичная триада свободы, любви и реализма (трезвения). Поклонники лжеименного учения подменяют личное и жертвенное сочетание свободы и любви в реальном мире на героическое соединение свободы и универсального, но безличного знания в мире иллюзий. Их бог — скорее маска, чем личность, ибо гностическим даром, «утешеньем» можно обладать и обогащаться, управляя, словно аморфной

силой, что подчас сближает гностицизм с магией. Различие двух ответов на тайну бытия ярко проявляется в отношении к несовершенствам жизни: гностицизм, копя в сердце нигилизм, отрицает жизнь и, тяготея к силе искусств, «изобретает несуществующее» (плодя утопии), в то время как христианство приходит в падший мир ради того, чтобы его спасти. Проще говоря, гностицизм склонен уничтожать несовершенное, а не исцелять. Его адепты определенно не любят мир, поэтому, порождая и выстраивая утопии, они лишены снисходительности и сострадания. Но при всем том и гностицизм, и христианство пребывают в активной трансцендентности к обыденности, постоянно сталкиваясь в метафизических областях и деятельных душах. Хотя, конечно же, земное пространство распространения гностицизма, универалистский дух которого проклевывается еще в буддийском нигилизме и зороастрийском дуализме, не ограничено иудео-христианским миром.

Оставим, однако, за пределами нашего рассмотрения времена появления мандеев и самарянских ересиархов, фрагменты учений Симона Волхва и Саторнила, Василида и Валентина, офитов и каинитов, сифиан и архонтиков и даже столь важные для избранной темы фигуры, как Маркион и Мани. А также весь пестрый калейдоскоп околумульманской мистики и иудейской каббалистики, имевших, пожалуй, большие возможности для полулегального существования в космосе средневековой Европы, образуя подчас симбиотические конструкции с привычными структурами повседневности. Если же попытаться сжать время и выделить какую-то отправную точку для ретроспективного дискурса, момент, когда многовековой подспудный процесс выходит наружу и значимо социализируется, то наибольший интерес, пожалуй, представляет предыдущий перелом тысячелетий, первые века второго миллениума христианской эры.

Тогда, после тектонического раскола универсального пространства спасения в XI — XII веках, на волне массового перемещения в ходе крестовых походов людей и ценностей, в Европе, как и сейчас, велись разговоры о новом мировом порядке, даже словосочетание употреблялось то же: *Novus Ordo*. Но что такое новый порядок в социально-политических реалиях того времени? Начало второго тысячелетия — непростой рубеж в истории цивилизации. Это было время феодальной революции, распада импероцентричной государственной системы, своеобразной «приватизации власти», ее децентрализации. (Кризис прежнего мироустройства приведет со временем к формированию системы суверенных национальных государств, в которых закат идеала *христианского народа* и его *единого царства* выразится в альтернативном чувстве земного патриотизма.) Тогда же происходит аграрный переворот, сопровождающийся демографическим взрывом ставшего в свою очередь преддверием урбанистической цепной реакции роста влияния бюргерства... Начинаясь эпоха географических открытий, колониальной экспансии, множились разнообразные формы миграций, менялись торговые и финансовые схемы. В сущности, уже тогда возникают сполохи зари Реформации, происходит пассионарный толчок, направленный в том числе против эксцессов и духовного оскудения Рима, складывается новая, динамичная социальная общность.

Novus Ordo переводится ведь не только как новый порядок, но и как новое сословие («сословие» и «порядок» одно и то же слово на многозначной латыни). Проблема эта столь глубока и многомерна, что осознавалась и схоластически осмысливалась уже во времена этого великого перелома, иначе говоря, у самых истоков современной фазы западной цивилизации. Мы хорошо знакомы со стереотипом трех сословий, но гораздо хуже осведомлены о полемике вокруг сословия четвертого. А такая полемика велась, к тому же не один век. В концепции «четвертого сословия» проявилась сама квинтэссенция нового, динамичного состояния мира, смещения, ломки мировоззрения человека Средневековья. Контур нового класса, равно как и изменившегося статуса мира, проступал в дерзких исканиях мысли, в нетрадиционных торговых схемах, в пересечении всех и всяческих норм и границ, географических и нрав-

ственных, в области теории и практики. Диапазон его представителей — от ростовщиков и купцов до фокусников и алхимиков. Так, в немецкой поэме XII века утверждалось, что четвертое сословие — это класс ростовщиков (*Wucher*), который управляет тремя остальными. А в английской проповеди XIV века провозглашалось, что Бог создал клириков, дворян и крестьян, дьявол же — бюргеров и ростовщиков.

Здесь мы вплотную подходим к загадке капитализма. В этой области обитает немало химер и мифологем. Капитализм — не просто форма эффективной хозяйственной деятельности, естественным образом возникающая в лоне рыночной экономики. В определенном смысле — это выход за пределы экономики, психологический и социальный прорыв, малодоступный человеку традиционной культуры (язычнику). От рынка капитализм, впрочем, отличает не столько объект деятельности, сколько ее масштаб и цели. Это не рынок *per se*, но его особая организация. Фернан Бродель, описывая данное непростое явление, назвал его «противорынком», поскольку его суть «в явно другой деятельности», «в неэквивалентных обменах, в которых конкуренция, являющаяся основным законом так называемой рыночной экономики, не занимает подающего места».

Загадка капитализма

Субстанция капитализма — это, по сути, энергичная социальная стратегия, целостная идеология и одновременно далеко идущая схема специфического мироустройства, уже упомянутого выше денежного строя, субстратом которого являются не само производство или торговые операции, но операции системные, направленные на контроль над рынком и имеющие целью перманентное извлечение системной прибыли (устойчивой сверхприбыли). Обретая универсальную власть главным образом не через административные, национальные структуры, а посредством хозяйственных, интернациональных механизмов, капитализм по самой своей природе не ограничен государственной границей и распространяется далеко за ее пределы, рассматривая всю доступную ойкумену как единое пространство для своей деятельности. В конечном счете параллельно проекту создания на земле универсального пространства спасения *Universum Christianum*, этот мир-двойник, вынашивает и реализует собственный амбициозный глобальный проект — построения вселенского *Pax Oeconotmica*.

Прочерчивая широкий исторический небосвод, капиталист как исторический тип несводим к своей яркой, динамичной, результативной, но все же преходящей «протестантской ипостаси». Питательная среда денежного строя, его магнитное поле и силовые линии складываются в русле финансовых схем и трофейной экономики крестовых походов, преимущественно в приморских ареалах Европы (исключение — сухопутный порт ярмарок в Шампани). Его родовые гнезда — это прежде всего север Италии: Ломбардия, Тоскана, Венеция, Генуя; а также побережье Северного моря: города Ганзейского союза, Антверпен, позже — Амстердам. Духовным источником этих преобразующих мир энергий являлись, по-видимому, «разноконфессиональные», но единые в своей основе гностические ереси (как ветви некой параллельной христианству, полифоничной «абсолютной религии»), уже тогда прямо и косвенно оплодотворявшие семена будущего бунта Реформации против Рима. В тот период секты и ереси активно распространяются в европейском регионе: эстафета передается от павликиан и богомилов к патаренам и альбигойской ереси, то есть к общинам катаров и вальденсов. Это также тамплиеры, активно занимавшиеся финансовой деятельностью, сама система организации которых является впечатляющим прообразом будущих транснациональных банков и корпораций, виртуальных сообществ-«государств».

Особенно интересны для нас в данном контексте вальденсы, определение которых различными авторами разнится от «еретической секты манихейского

толка» до «дореформационной протестантской конфессии», но, возможно, тут и нет никакого противоречия. В годы гонений, последовавших за альбигойскими войнами, вальденсы разделились, причем наиболее радикальная их часть, отказавшаяся принести покаяние, переселяется в германоязычные страны, в Нидерланды, Богемию, Пьемонт. А также в Западные и Южные Альпы (эту расколыню «Сибирь» Европы того времени), где, по некоторым сведениям, существовали общины, ушедшие от закрепощения и «государственного христианства» еще в IV веке (бунтари багауды и «состязующиеся с дьяволом» агонистики). Здесь в труднодоступной местности, в суровых условиях борьбы за выживание, причем отнюдь не только с природой, на протяжении веков плавится удивительная амальгама, формируется тот самый «дух протестантизма», отмеченный особой экзистенциальностью, энтузиазмом, персонализмом и личным аскетизмом, особым метафизическим отношением к практике, корпоративизмом, презрением к «суетным грехам». Развивается также институт тайного прозелитизма, охвативший со временем едва ли не всю Европу, вплоть до Скандинавии и Тартарии-Руси (преимущественно через торговое пространство Великого Новгорода, но не только). Бывшие «лионские бедняки» активно внедряются при этом в оптовую и розничную торговлю, что позволяет им свободно перемещаться и устанавливать множественные связи. Контакты с вальденсами приписываются практически всем значимым фигурам «дореформационного протестантизма»: от Джона Уиклифа до Яна Гуса...

Изгнанные из легального мира, вынужденные обитать в нем «в масках», общаться между собой непрямым образом, сектанты вскоре обнаружили, что именно вследствие данных обстоятельств обладают серьезными конкурентными преимуществами и великолепно подготовлены для «системных операций»; иначе говоря, владеют готовым механизмом для реализации сговора и контроля над той или иной ситуацией, для разработки и проведения в жизнь сложных, многошаговых проектов, трансграничных торгово-финансовых операций, осуществления крупных (суммарных, коллективных) капиталовложений, доверительных соглашений, требующих долгого оборота средств и деятельного соприсутствия в разных точках земли. То есть для формирования структур энергичного *private market* в рамках гораздо более аморфного *public market*. Эффективность подобного механизма была впоследствии подтверждена сохранением и даже развитием его элементов и модификаций, а также появлением различных аналогов уже во времена торжества секулярного общества, когда прежние причины для подобных форм поведения перестали существовать.

В XIV и XV веках происходит разделение ересей в социальном отношении. С одной стороны, это плебейские ереси («народные религии») — своего рода крестьянский *New Age* с хилястическими ожиданиями и социалистической перспективой, — получившие собственную историческую реализацию, в том числе и в XX веке. С другой — ереси бюргерские («городские», «буржуазные»), ставшие закваской трансформации западноевропейского мира, равно как и ереси «университетские» или «интеллектуальные». Вся же гамма данного спектра, его системная реализация проявилась к концу второго тысячелетия в таких на первый взгляд различных политических и идеологических конструкциях, как коммунизм, нацизм, глобализм, странным образом напоминая о знаменитых трех искушениях. Однако и по сей день разрозненные фрагменты мозаики уверенно контролируемого мира еще не сошлись воедино.

В XVI веке «буржуазная религия» окончательно выходит на поверхность в феномене Реформации, этой «второй схизмы» христианской ойкумены. Реформация по-своему легитимизирует ряд еретических течений, фактически включая их в западнохристианский круг, образуя с ними специфический симбиоз в форме скрытого синкретизма протестантских сект. В порыве протестантизма была своя искренность и своя правда, но было в нем и нечто другое. «Когда-то Евангелие вызвало к жизни новую человеческую расу, — писал в одном из писем Эразм Роттердамский. — О том, что зарождается сегодня, я бы предпочел умолчать». В этом контексте для нас особенно интересен гене-

зис гугенотов и кальвинизма. Не менее плодотворным может стать анализ зарождения и истории тайных обществ (а также секретных торговых и финансовых соглашений) эпохи Нового времени, чье мировоззрение и практика прямо противопоставляются вполне определенному «вероучению толпы».

В новом прочтении социальной метафизики меняются принципы взаимодействия человека с окружающим миром, утверждается иной тип мироощущения. Важнейшей — и для Вебера, и для нас — оказывается такая характерная черта кальвинизма и в той или иной степени протестантизма в целом, как «деятельный фатализм», рассматривающий земное богатство как доказательство призвания, а успех как признак харизмы¹. Личный труд по преодолению испорченной человеческой природы практически обесмысливается, подменяется деятельным гаданием о своей загробной участи, в результате чего индивид попадает в беличье колесо фетишизации успеха. Для определения своего статуса в вечности, принадлежности к спасенным или проклятым, к избранному народу *Übermensch* или сонмищу *Untermensch* человеку требуется постоянно испытывать собственную профессиональную состоятельность, а «милость к падшим» сменяется почти ритуальным их презрением².

Учение о предопределении — квинтэссенция новой веры. Именно здесь наиболее ошутимо присутствие своеобразного дуализма, жесткость и механистичность всей новой антропологии, формирующей в обществе собственную аристократию житейского успеха. Уже в этих конструктах можно различить истоки современного состояния мира, когда происходит «постепенное формирование все более контролируемого и направляемого общества, в котором будет господствовать элита... Освобожденная от сдерживающего влияния традиционных либеральных ценностей, эта элита не будет колебаться при достижении своих политических целей, применяя новейшие достижения современных технологий для воздействия на поведение общества и удержания его под строгим надзором и контролем» (З. Бжезинский).

Для человека подобных взглядов деньги имеют прежде всего символическое значение: они не столько богатство или средство платежа, сколько символ статуса и орудие действия в этом не вполне реальном мире, инструмент управления им. Экономика сама по себе имеет для него вторичный характер, это расчерченная доска иных схем и планов; психологически гораздо ближе оказывается стилистически рафинированная и отвлеченная аристотелева хрематистика («производство денег ради денег»), но облагороженная и очищенная от низкой алчбы. Действительный соблазн таится скорее в уходящем вдаль горизонте планирования, в проекции скрытой до поры власти, что позволяет развернуть совершенно иное поколение технологий и операций. Подобное мироощущение провоцирует постоянное искушение и в чем-то сближает деятельного протестанта с еретиками, адептами тайных наук, ибо романтика цифр незаметно сливается здесь с каббалистикой и алхимией: финансовые формулы оказываются наделенными силой, обладающей специфической властью в этом мире, в том числе и над душами людей.

Но вернемся к перипетиям генезиса западного капитализма. Его зарождение, первую, *торгово-финансовую*, фазу обычно связывают с XVI — XVIII ве-

¹ Ранее в средневековой Европе доминировала совершенно иная логика: при обязательности труда и трудолюбия (*industria*) подчеркивалось различие в добывании необходимого (*necessitas*) и избыточного (*superbia*) с соответствующей моральной оценкой, то есть стремление к наживе оценивалось как позор (*turpitude*) и даже сама деятельность профессионального торговца как едва ли угодная Богу (*Deo placere vix potest*).

² Центральным вопросом здесь — влияет ли человеческая свобода на положение дел в вечности или только во времени: от характера ответа напрямую зависит открытость и живая драматичность текста бытия либо прочтение судьбы как книги с заранее известным концом. Погружаясь в детерминированные пространства, испытываешь порой тягостное ощущение, что в категоричности их эсхатологических проекций, пусть в искаженной форме, все же присутствует некая значимая для человеческой души реальность: предчувствие не столько сущего, сколько грядущего (послесудебного) вселенского разделения, черты космогонии огненного мира отверженных, лишенного реальной сотериологии.

ками, хотя по ряду параметров эти истоки можно датировать более ранним временем, что, правда, нередко и делается с использованием понятия «прото-капитализм». Расцвет данной фазы был тесно связан с эпохой географических открытий, кардинально изменившей экономическую картографию, сместив центр тяжести из средиземноморского в атлантический ареал. Колониальный мир породил изобилие материальных ценностей и драгоценных металлов, вызывая к жизни все более изощренные формы кредитно-денежных отношений, сдвигая вектор активности в виртуальный космос финансовых операций, рождая такие эпохальные изобретения, как центральный банк, государственный долг или ассигнация. Закат же торгово-финансовой фазы совпал с упрочением на исторической арене национального государства, которое забирает наиболее прибыльную часть этой деятельности — кредитование правителей, начав само финансировать собственные нужды путем выпуска государственных ценных бумаг и эмиссии национальной валюты, особенно в форме банкнот.

Капитализм, однако же, успешно преодолевает кризис, переживая яркую историческую метаморфозу, занимая и одновременно формируя новую нишу деятельности, иногда прямо отождествляемую с ним (что порождает ряд абераций и иллюзий) — *индустриальное промышленное производство*. Эта сфера хозяйственной активности развивается в тот период по стремительно восходящей линии, с лихвой оправдывая практически любые капиталовложения, создавая на основе столь характерных для христианской цивилизации радикальных новаций и перманентного технического прогресса все более обильный прибавочный продукт. От подобного стратегического союза получало свою долю и государство, чьи инфляционные и эмиссионные риски уверенно оправдывались интенсивным промышленным развитием, ростом национальной экономики. В общем энтузиазме эпохи — в обретении рыночной конкуренцией второго дыхания и в звездном часе либерализма — временно растворяются, отходят на второй план многие специфические черты денежного строя. Здесь, кажется, особенно капитализма, действующего в христианском обществе, подчас принимаются за черты самого общества и наоборот. Однако в завершающем второе тысячелетие веке индустриализм переживает как стремительный взлет, так и серьезный кризис.

Промышленное производство на протяжении последнего столетия испытало воздействие фундаментальных факторов, препятствующих динамичному росту промышленности, ведущих к падению нормы прибыли в традиционных отраслях. Во-первых, это ограниченность платежеспособного спроса в сравнении с экспансией производственных возможностей и как следствие необходимость вовлечения в процесс расширенного потребления все новых групп населения или же развития новых, порой искусственных потребностей у платежеспособной его части, либо создания механизмов целенаправленной деструкции материальных ценностей. Во-вторых, обозначившиеся границы хозяйственной емкости биосферы, перспектива ухудшения ее качества, а также исчерпания критически важных видов природного сырья. В-третьих, усложнение отношений с научно-техническим прогрессом, в частности, из-за его двусмысленного воздействия на норму прибыли, учитывая необходимость перманентного перевооружения основных фондов вследствие их быстрого морального устаревания. А также из-за потенциальной способности неконтролируемых инноваций выбивать почву из-под ног у сложившихся хозяйственных организмов и даже целых отраслей. Произошли, кроме того, серьезные изменения в направлении реализации творческого дара, в характере инновационной динамики и, пожалуй, в диапазоне ее возможностей.

Глобальная трансформация

Момент истины XX века — это 1968 — 1973 годы, эпицентр социокультурной революции, обозначившей рубежи взлета и падения, перерождения и угасания протестантского космоса. И одновременно — выхода на поверхность,

социальной реабилитации многочисленных подспудных его течений. Нижняя граница периода была охарактеризована социальными мыслителями как «вступление в фазу новой метаморфозы всей человеческой истории» (З. Бжезинский), «великий перелом» (Р. Диес-Хохлайтнер), «мировая революция» (И. Валлерстайн). В то время в условиях «позолоченного века» — материального изобилия цивилизации и раскрепощения человека от многих тягот бытия — в мировом сообществе, как на Востоке, так и на Западе, происходят серьезные системные изменения. На поверхность, в частности, выходит феномен сетевой культуры, проявившейся в новых формах социальной организации и экономической деятельности, в кризисе прежней системы общественной регуляции и в становлении специфичной группировки элиты, получившей характерное определение «нового класса».

В постпротестантском мире сама стерилизованная секулярность, светскость *per se*, предстает не просто универсальной оболочкой, но наследницей идеалов протестантизма, новой культурной основой, пределом и осью цивилизации. Будучи носителем «политически корректной», внеинституциональной, индивидуализированной версии христианской культуры и соответствующего цивилизационного содержания (если не идеала), секулярность, однако же, оказывается — на очертившихся глобальных просторах — мировоззрением, так сказать, «неосновательным», синкретичным и по-своему хрупким. Пребывая в состоянии фактической утраты оригинальных начал, полудобровольно наложенного на них «эмбарго», она подвергается интенсивному воздействию, размыванию со стороны разнообразных модификаций как неоязычества, так и традиционализма, не имея ни иммунитета, ни энтузиазма прежних эпох. Кроме того, после политической и культурной деколонизации Не-Запада, образования эклектичного пространства Третьего мира, семантика глобальной революции начинает реализовывать себя как «деколонизация» самого Запада, отмеченная элементами прямого и косвенного демонтажа его прежней культурной конструкции, чертами дехристианизации и квазиориентализации. В меняющемся контексте капитализма Нового времени, капитализм «веберовский», «цивилизованный», постепенно утрачивает привычный облик и начинает превращаться в нечто иное. Его прежняя метаморфоза, привычно связываемая с протестантской этикой, теряя черты христианской цивилизованности, возвращается к некоему изначальному состоянию — капитализму «незападному», «варварскому», но в постмодернистской, непознанной ипостаси³.

В те же годы предпринимаются энергичные меры для осмысления социальных перспектив, выстраиваются и отлаживаются транснациональные механизмы по воплощению идеалов управления новым миром, долгосрочного планирования стержневых событий. Вектором исторической динамики становится реализация масштабного проекта глобализации. Выделю по традиции три фактора, сыгравших ключевую роль в становлении глобального капитализма как универсальной системы. Во-первых, появление новых денег (логическое завершение многовекового процесса порчи монеты), превратившихся на практике из средства платежа в универсальную меру стоимости и инструмент управления. Доллар, фактическая мировая резервная валюта, окончательно утратив рудименты золотого стандарта, позволяет проявиться феномену ничем, в сущности, не обеспеченного — кроме умелого управления — алхимического кредита последней инстанции. Во-вторых, масштабные финансово-правовые технологии наподобие управления глобальным долгом. Наконец, в-третьих, революция в микроэлектронике и средствах телекоммуникации, открывшая «виртуальную реальность» — активно осваиваемые и практически неограниченные физическими параметрами информационные ландшафты.

Специфику новой формулы экономического универсума можно описать следующим образом: если до некоторого момента мировая экономика пред-

³ Или, как писал тот же Макс Вебер (хотя об этом редко сейчас вспоминают): «...капитализм, одержав победу, отбрасывает ненужную ему больше опору».

ставляла сумму национальных хозяйств — самостоятельных субъектов, действовавших на пространствах планеты, — то теперь ситуация переворачивается. Появляется глобальный субъект, «штабная экономика», уверенно действующая на национальных площадках, превращая их в универсальный объект.

В результате очерчивается контур третьей фазы капиталистической мир-экономики — *геоэкономической*, современниками которой мы и являемся. Ее базовый механизм — получение системной прибыли уже не столько за счет творящего привлекательность промышленного производства (как когда-то произошло с торгово-финансовыми операциями), сколько в результате развития многообразных форм контроля над хозяйственной практикой в целом, наиболее простым, хотя и частным, примером которых служат хорошо известные «ножницы цен». В некотором смысле происходит возврат как раз к алгоритмам первой, торгово-финансовой, фазы, но уже на ином, глобальном, уровне, позволяющем осуществлять как системные операции в экономике, так и управление социальными процессами в масштабе планеты. И здесь социалистический эксперимент прошлого века может получить неожиданную перспективу. Опыт коммунистического постмодерна можно в этом случае рассматривать как футуристическое (забегающее в будущее) отрицание *публичной власти* ради полуанонимной, законодательно нечетко фиксированной, но фактически тотальной *власти организации* — треста или госкорпорации, которая посредством системы назначаемых ею управляющих (номенклатуры) контролирует пространство страны (группы стран, а в идеале — весь мир). Положение вещей, когда крупная транснациональная корпорация контролирует и направляет деятельность марионеточной администрации небольшой страны Третьего мира, может тут сослужить роль своеобразной лабораторной реторты.

Создавшаяся ситуация есть своего рода завершение гегелевской триады становления глобального капитализма, где роль антитезы сыграл его временный союз с христианской инновационной динамикой. Институциональные же формы заключительной фазы могут свести воедино проклюнувшиеся в прошлом версии социального постмодерна, проявив их неочевидную типологическую родственность и утвердив таким образом торжество всеобъемлющей конвергенции. Сохранится ли отмирающий уже сейчас ярлык «капитализм»? И насколько обнажится при этом мировоззренческая основа «высшей стадии», уходящая далеко за пределы протестантской этики и вскрывающая гораздо более интригующие истоки рукотворного универсума. Это, впрочем, отчасти предполагал и сам Вебер, предупреждая, что результаты его анализа не распространяются на реалии XX столетия⁴.

Картография постсовременности

Торжество денежного строя, его влияние и амбиции стать абсолютной мерой человеческих пристрастий и практики очевидным образом свидетельствует об истощении христианских энергий протестантского вектора. Идеалы заметно сместились: строители уходящей в дурную бесконечность конструкции говорят на едином для стран и народов языке финансовых операций, обретающих смысл и жесткость «естественных законов» бытия, а социальная анатомия демонстрирует принципы и цели, в недавнем прошлом плохо различимые под флером христианской культуры. Финансовая состоятельность, успех — уже не просто признак благодати, но сама благодать, истекающая из единого центра — квазиплеромы кредита последней инстанции, активно перераспределяемая нисходящими божествами, управляющими средне- и краткосрочными сценариями и рисками, причем нижние божества используют ее в самых низ-

⁴ «...в настоящее время действительно не может быть и речи о какой-либо обязательной связи между... „хремастическим“ образом жизни и каким-либо цельным мировоззрением (то есть исторически нам известным, и прежде всего — протестантизмом. — А. Н.)» (Вебер М. Избранные произведения. М., 1990, стр. 91).

менных и преступных целях. В круговороте совсем не призрачной жизни цифр и множеств, взвешенных устремлений и просчитанных порывов финансовые ресурсы, заменив собой харизму, действительно определяют статус индивида, его положение в обществе, спектр возможностей в Новом мире, становясь творческими энергиями — источником созидания и уничтожения. Финансовый успех в качестве мерила значения и шкалы ценностей здесь универсален, но по-настоящему крупный успех действительно все чаще оказывается выше личных усилий, труда и морали, являясь признаком особой благосклонности воплощенного Абраксаса — высшего гностического «божества».

Моделью архитектоники утверждающейся на планете геоэкономической конструкции (*геокона*) — своеобразного аналога *гебдомады*, модели гностического космоса — может служить известный многоярусный «китайский шар». Геокон последовательно соединяет сопряженные виды деятельности — хозяйственные диады, *сизигии*, — в единое сложноподчиненное хитросплетение экономистичного универсума. На нижнем, географически локализуемом уровне — это добыча природных ископаемых и их использование природозатратной экономикой; другой, более высокий локус — производство сырья интеллектуального и его освоение высокотехнологичным производством. На транснациональном ярусе — производство финансовых ресурсов и применение технологий универсальной процентной дани в качестве механизма управления индустриальными объектами (в свою очередь плодящими потребность в данных ресурсах). Но транснациональна также изнанка, «подполье» геоэкономического мироустройства — сдерживаемый цивилизацией порыв к инволюционному, хищническому использованию ее потенциала с целью извлечения краткосрочной прибыли, а также контроль над различными видами асоциальной практики. Отсюда в легальный сектор проникают правила игры, в которых правовой, а тем более моральный контекст утрачивает былое значение. Наконец, на высшем этаже — это ткущаяся паутина «штабной экономики»: система глобального управления метаэкономикой, предчувствующая унификацию источника легальных платежных средств, тотальный контроль над их движением и появление единой, диверсифицированной системы налоговых платежей, способной превратить со временем все земли геоэкономического универсума в плодородную ниву Нового мира — волшебный источник специфической квазиэнергии.

В сущности, по крайней мере в эстетических категориях все это напоминает то ли кропотливое воссоздание мистифицированной пирамиды кафкианского Замка, то ли планомерное строительство еще более загадочного вселенского лабиринта, чей центр невидим, а власть — везде. Кодовым же ключом к подобной сборной конструкции земных иерархий является, пожалуй, нехитрая модель политкорректного Севера (мировой град) в обрамлении проклятых стран остального мира (мировая деревня) с их, в общем-то, не вполне легитимной, с точки зрения новой ситуации, и «подведомственной» властью.

Реализация столь амбициозных целей требует не менее радикальных действий по изменению миропорядка. На сегодняшний день прочерчиваются два сценария завершения геоэкономической реконструкции. Одна логическая траектория, чей дизайн достаточно внятен, — мирное окончание строительства каркаса Нового мира, или, проще говоря, тотальной эмиссионно-налоговой системы. Однако если каталогизация мира все-таки споткнется о ряд возникающих противоречий, то произойдет нечто иное: введение в качестве нормы нестационарной, динамичной системы управления социальными процессами (в русле типологии контролируемого хаоса) вместо статичных схем международных отношений. Результатом окажется перманентный силовой контроль, появление новых форм конфликтов и путей их урегулирования, отчуждение прав владения от режима пользования, масштабное перераспределение объектов собственности, ресурсов и энергии — и еще, пожалуй, кардинальное изменение структуры цен, в том числе за счет целенаправленно взорванного мыльного пузыря финансов.

Между тем вероятность воплощения мегаломаничного эскиза в равновесных формах и в соответствии с прежней логикой социальных связей вызывает серьезные сомнения. Если вдуматься, в самой стилистике происходящей трансформации — несущей энергии индивидуации и глобального контроля — скрыта большая двусмысленность. Кроме того, плоть сетевой культуры проявляет себя — наводя опять-таки на мысли о катакомбных временах — как своеобразная реконструкция соборного, а не храмового, не организационно-институционального единства христиан — хранителей ключей культуры Большого Модерна.

И тут возникают вопросы: действительно ли постпротестантский век станет *пост*христианским эоном, либо это очередная метаморфоза все той же цивилизации? И каким образом будут сочетаться столь разноликие реальности в одной исторической эпохе? Окажется ли возможным сохранить личность, остаться человеком и христианином в космосе Нового Ренессанса: в хаосе свободы, открывшейся для страстей, и одновременно в ситуации разобщенности и поражения? Находясь на арене с «веком-волкодавом» один на один — под имперским оком органов «глобальной безопасности», — вне героического утешения и энтузиазма первых веков, в условиях активного и тотального господства зла? На перекрестье подобных вопросов — квинтэссенция опыта XX столетия христианской эры, века Освенцима и ГУЛАГа, массового общества и «церковного двойничества», — и именно об этих «тесных бесконечностях» размышляли Дитрих Бонхёффер и Романо Гвардини, но еще прежде них — безумный и гениальный Ницше...

«Кто дал вам губку, чтобы стереть весь небосвод?»

«Мы восстанавливали человека, но когда это существо восстало, оно оказалось мало похоже на человеческое».

Завершая данный экскурс, посвященный поиску корней Нового мира, начал его аксиологии, но также его горизонтов, его «последней границы», — экскурс, нитью которого было, в сущности, *искусство землемера*: скорее стремление очертить проблемные поля, нежели попытка дать уверенные ответы, — я бы заметил в качестве заключительной ремарки (отталкиваясь от формулы Чеслава Милоша о причинах и свершениях): временами слишком пристальный взгляд, брошенный в далекое прошлое, рискует рассмотреть фрагменты невероятного будущего.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО



СИЛОВИКИ

Стилевые приметы повседневности — осколки зеркала, в которые мимолетно смотрится время. Целое зеркало возникает потом, в панорамах историков. Изготавливается оно, как правило, из концептуального монолита, не столько отражающего реалии, сколько ворожащего с идеями (и иногда идейно заволаживающего).

В онлайн-режиме кусочки отражений собирает телемонитор. Телеэкранный — аналог зеркала: тоже увеличивает, расширяет, обогащает домашнее пространство. Но устойчивая собирательная картинка держится на экранном стекле недолгие сроки. Калейдоскоп перетряхивается, возникает новый бриколаж. Способы размещения элементов запечатлевают ту или иную оптику саморазглядывания, свойственную данному моменту.

Автора поначалу интересовали интерьеры в сериалах, студиях новостей и ток-шоу, но тема сама собой смодулировала к силовым структурам — к расстановке в телевизионном поле связанных с ними стилизованных примет.

И стол, и дом. Модуляция от интерьеров к силовикам началась с сериалов. Обстановка помещений в них тесно связана с географией, а география — с родом занятий. В зарубежных «мыльных операх» — из тех, что регулярны на российских телеканалах, — всё больше любят; в 90 процентах наших многосерийных лент ловят преступников или действуют в боевой обстановке. В географии сериалов выделяются два населенных пункта. Климат в обоих похож, но при разной этиологии. В не нашем городе (возьмем самый долгоиграющий топоним) Санта-Барбаре плачут богатые. На отечественной улице разбитых фонарей выпивают менты — тоже влажно получается.

Влаге зарубежных слез соответствует диван: на нем фокусируются интерьеры семейных гостиных. Влаге отечественного горячительного соответствует стол, вокруг которого строятся мизансцены в наших сериалах. Стол пластичный — сразу и письменный, и обеденный, даже скорее закусочный: трансформер в кулинарно-сервировочном стиле «колбаска — газетка». Такой стол предельно далек от дивана — еще и потому, что его функцию способны выполнить парковая скамейка или откос под забором.

Диван домовит, а стол бездомен. Но вместе с тем именно столом одомашнивается пространство служебных кабинетов. На нем не просто едят и пьют — вокруг него завязываются задушевные беседы, им излучаются дружба и взаимопонимание. Бездомный стол символизирует дом. К этому парадоксу добавляется еще один. Столом и диваном представлены, очевидно, разные системы ценностей, и удивительна их легкая, даже как бы естественная совместимость на нашем экране. Утром и днем — диваны (в семейных сериалах), вечером — столы (в детективах). Во время, когда основная масса зрителей приходит с работы домой, на экране наступает бездомье. Дом же отодвинут в ту часть суток, когда, как отвечают дети по телефону, «никого нет дома».

Чередниченко Татьяна Васильевна — музыковед и культуролог, доктор искусствоведения, исследователь истории музыки и современной культуры. Постоянный автор «Нового мира». Настоящее эссе продолжает цикл штудий, посвященных семиотике нашего телевидения. См. «Новый мир», № 5 с. г.

Комплементарность столов и диванов может означать трудное рождение утопии дома при сохраняющейся инерции признания несущественности, недостаточной значимости жизни, протекающей дома. Противовес — в виде субботней телепрограммы НТВ «Квартирный вопрос» или воскресной передачи ОРТ «Пока все дома» (обе симптоматичным образом все же утренние) — не отменяет общей пропорции.

Силовой дом против коммерческого офиса. Вообще-то домостроительство — наша давняя традиция. Как в новейшем документальном сериале «Откройте, милиция!», в РУВД теплится что-то вроде домашнего очага (дежурная угощает оперативников самодельной выпечкой, на столе дремлет котенок, уставными отношениями не пахнет, сотрудники понимают друг друга с полуслова, к концу дежурства не скрывают усталость), так и в прежних фильмах про передовые коллективы, будь то рабочие или ученые, если до котят и не доходило, так был мальчик на перевоспитании (например, «Семь няnek») или даже двое «неподдающихся» из одноименного фильма...

Не зря в советские времена на юбилеях желали первым делом «успехов в работе», а уж во вторую очередь — «счастья в личной жизни». Личная жизнь почти факультативна. Следователь Знаменский в «Знатоках» так и не женится, а атмосферу свойскости в его рабочий быт вносят разве что прибранные шуточки Томина. Работа и есть подлинная личная жизнь и соответственно подлинное личное пространство, «дом». Именно поэтому партийные комитеты или месткомы предприятий не только раздавали продуктовые наборы, решали жилищные вопросы, занимались проблемами лечения и отдыха, но и имели странное право рассматривать заявления жен на неверность мужей.

Благодаря разнообразной символике домостроительства работа оказывалась сферой приватной свободы, главной областью самоощущения личности. В результате работа реально самоуказывала свою изначально мифологическую первоочередность. Соответственно ходили на работу «свободно» — более или менее в чем придется, не помышляя о соблюдении цивилизованных офисных норм.

Но в фильмах об армии или органах одомашниванию рабочего места противостояла строгая субординация. Советские киногерои чувствовали себя как дома на стройке, в заводском цеху (благо жили они целыми бригадами в общежитиях, так что работа как бы продолжала дом, а дом — работу), на вузовских кафедрах или в научных лабораториях, но никак не в служебных кабинетах МУРа, казармах или штабах.

В последние годы и эти рабочие места домостроились — вероятно, в противовес новому формализму офисной стилистики, проповедуемому попытками мелодрам из жизни «новых русских». Если в старых фильмах о военных эстетизируются погоны со знаками различия званий, то в нынешних все одинаково одеты в потрепаный камуфляж: табель о рангах условна. Если в советских лентах кабинет следователя строг, как закон, то декораторы нынешних сериалов заботятся об изобилии не относящихся к делу деталей, даже о захлапленности силовых рабочих мест. Ясно: тут протекает личная жизнь, свободная от уставного «равняйся!». Начальник отдела в «Убойной силе» постоянно жует огромные бутерброды, сотрудники аналогичного отдела из «Улиц разбитых фонарей» относятся к своему начальнику как к опереточному дедушке, Грязнов из «Марша Турецкого» ложится прикорнуть в кабинете прокуратуры и т. д. и т. п.

Неформальную атмосферу рабочему месту задает принципиальная нещеголеватость убранства кабинетов, чтобы не сказать — специально стилизуемая бедность. Даже туда, где мебель напоминает о посреднической конторе средней руки (а это — высший дизайнерский шик «силовых» сериалов), как в «Марше Турецкого», «Улицах разбитых фонарей» или «Каменской», обязательная некомфортность пролезает в кадр в виде импровизированных застолий на скорую руку. Вокруг непритязательно выложенных закусок все свои и у себя дома. Дом небогатый, но именно потому «свой/наш».

Неформальность в смысле потрепанного камуфляжа и непрезентабельных застолий ставит на место личной жизни не просто «работу» (как в фильмах советского времени, где работа — это добропорядочные трудовые успехи), но борьбу вприпивку: «работу», связанную с темными кознями врагов, отчаянным риском и релаксацией, доходящей до отключки.

Естественно (и это заключительный шаг модуляции), что такого свойства работу выполняют прежде всего силовики. Отсюда и главная тема настоящих заметок.

Уязвимое множество. Силовики все гуще заполняют новости. Способствует тому широкая политическая реальность: от борьбы с терроризмом до предвыборных кампаний руководителей прокуратуры.

Помимо реальных информационных поводов существует экономическая телевостребованность силовиков. Программы типа «Криминал» на разных каналах множатся почкованием: «Криминал» — «Криминальная Россия»; «Совершенно секретно» — «Наша версия под грифом секретно» — «Секретные материалы»; «Независимое расследование» — «Внимание, розыск!» — «Очная ставка» — «Чистосердечное признание» — «Слушается дело»; «Дорожный патруль» — «Дежурная часть» — «Петровка, 38»; «Служба спасения» — «Экстренный вызов»... Вряд ли количество криминальных программ растет прямо пропорционально росту преступности. Скорее учитывается давно уже томящая население потребность в порядке, на которую накладывается беспроектная выгода жанра — среднего между всегда рейтинговой репортажной информацией и не менее рейтинговым детективом.

И в телекино люди в камуфляже завоевали первенство. Нет отечественного сериала без силовиков, и нет силовой структуры без «своего» сериала. Ср.: у пограничников — «Граница», у спецназовцев — «Блокпост», у ОМОНа — «Мужская работа»; в «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе» и «На углу у Патриарших» — оперативники РУВД и ГУВД; в «Марше Турецкого», «Тайне следствия» и «Гражданине начальнике» — следователи прокуратур, от районной до Генеральной; в «Сыщиках» — следователи милиции; в «Маросейке, 12» — налоговые полицейские, в «Агенте национальной безопасности» — сотрудники ФСБ, а в возобновленном «Следствие ведут Знаатоки» — даже наши из Интерпола... Отсутствует (симптоматичным образом) разве что фильм о ГИБДД, но процесс на подступах (ср. многосерийную ленту о шоферах «Дальнойбойщики»).

Развлекательное вещание тоже не отстает. К традиционным гала-концертам на Дни армии и милиции добавились не менее дорогостоящие (с идентичными наборами «звезд» и шоу-эффектов) праздничные мероприятия в честь разведчиков, десантников, налоговиков, таможенников и т. д., включая то же ГИБДД.

В советские времена силовые структуры культурно предъявлялись двумя недифференцированными категориями: вооруженные силы и милиция (она же органы). Правда, в раннесоветском кино особо выделялись летчики, а в позднесоветском — десантники. Но теперь число классификационных позиций внутри понятия «силовики» резко увеличилось — и не столько за счет традиционно позитивной «армии», сколько константно проблемной «милиции». С этим связана сложная оценочная окраска нынешнего мифа о силовиках.

От «Бандитского Петербурга» к петербургам ментовским. Выражения «силовые структуры», «силовые министерства», «силовики» вошли в широкое употребление сравнительно недавно, в последние годы правления Б. Н. Ельцина. Ранее обходились не подведенными под общий понятийный знаменатель «вооруженными силами», «МВД», «КГБ». Контекст, в котором разрозненное объединилось, определялся противопоставлением формирований, подчиняющихся прямым приказам Президента, остальным подразделениям исполнительной власти.

Прямое влияние Президента на силовиков состояло не только в его роли главнокомандующего, но и в его резко выраженной насильственной активности в отношении силовых структур. Их переименовывали, разъединяли, сливали, бесперерывно меняли их начальство. В результате силовиков стали воспринимать как часть государства, наиболее близкую к первоисточнику власти и наиболее манипулируемую им.

Поскольку же сам первоисточник власти в 1996 — 1999 годах воспринимался как отягченный болезнями и пороками, подчиненный корыстным фаворитам, отчасти даже самозванный, то и близость силовиков к вершине власти не служила на пользу их имиджа. Выражением растущего недоверия к силовикам стали взаимоисключающие тезисы об их слабости перед лицом оргпреступности и их оргпреступном всевластии.

Ситуация изменилась, когда Президентом стал выходец из самих силовых структур и к тому же избранный на волне массового одобрения. Силовики начали изживать социальную сомнительность.

Обратимся к криминальным телепрограммам. Поначалу («Дорожный патруль» и первая поросль его отводков) на экране доминировало преступление; теперь — борцы с преступностью. Также и в фильмах: вначале имелся один только «Бандитский Петербург»; затем к нему добавилось множество петербургов ментовских, циклизуемых в некий единый миф (актеры и персонажи из «Улиц разбитых фонарей» сыграли также в «Убойной силе-1», несмотря на конкуренцию между НТВ и ОРТ).

Военные и работники правоохранительных органов на телеэкране выглядят все более сильно, тогда как террористы и правонарушители — все менее внушительно. Показательно в репортажах о событиях в Чечне сочувствие к армии, в том числе и на телеканалах, ранее героизировавших боевиков. Солдаты и генералы предстают в возвышенном ореоле мужества и патриотизма, тогда как руководителей бандитских формирований мы видим в жалком образе арестантов или даже окончательно бессильных «вещдоков». То же в фильмах. В кинематограф вернулась героика Великой Отечественной войны: после паузы длиной в десять лет в последние два года сделаны сразу два фильма в стиле советской фронтовой эпопеи: «В августе 1944-го» и «Звезда». Образ армии получил новую героическую подпитку из легендарного прошлого.

В криминальных лентах наблюдаются аналогичные трансформации: бандиты мельчают, борцы с ними укрупняются. Антибиотик из «Бандитского Петербурга» — характер; в «Улицах разбитых фонарей» ни один бандит характером не располагает, от преступников остается одна лишь сюжетная функция. Показательна и персоналия документальной телепрограммы «Очная ставка»: на экране в основном бытовые злоумышленники — никаких тебе заказных убийц с уводящими на самый верх заказчиками. Программа о преступниках выглядит как экстремальный вариант посвященного бытовым дрязгам ток-шоу «Моя семья».

В этом контексте особо примечателен упоминавшийся документальный сериал «Откройте, милиция!» из жизни московского РУВД «Аэропорт». В этой хронике герои в погонах играют на фортепиано музыку собственного сочинения, читают стихи, проявляют терпеливое внимание к неадекватным старушкам и запутавшимся подросткам. Контрагенты же мелки, ущербны, невняты. Правда, их много, как нелегалов в общежитии, заселенном выходцами из Южной Азии, или как застарелых алкоголиков, доживающих век в рушащихся пятиэтажках. Это рутинное количество по-своему впечатляет, но, во всяком случае, лишено той брутальной персонифицированности, которую смаковали криминальные программы 90-х.

Несмотря на снижение образа преступника и соответствующее возвышение его ловца, за «силовиками», «силовыми структурами» еще сохраняется наработанный 90-ми противоречивый ореол. Теперь их функция подается (и более или менее солидарно воспринимается) как высокая; но выполнение ее вызывает ожесточенную критику — либо того же разлива, что критика действий

государства вообще («тоталитаризм; взрыв домов, произведенный спецслужбами по заказу Кремля...»), либо проистекающую из критики государства за пренебрежительное отношение к силовым структурам («развалили армию; профессионалы вынуждены уходить из МВД...»).

И в сериалах то же противоречие: масштаб сюжетным ходам и «Марша Турецкого», и «Убойной силы-1», и «Гражданина начальника», и «Тайны следствия», и некоторых серий «Каменской» придает борьба «хороших» силовиков с вышестоявленными «плохими», коррумпированными. Там, где, как в «Улицах разбитых фонарей», криминальный разлом не проходит между низом и верхом самой силовой системы, преступники декоративнее, борьба с ними напоминает мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь», место детективных опасностей занимают гэги.

Недостойные герои/неблагодарная страна. В символике предъявления силовиков прослеживается такой нажим: их подвиги социально невознаграждаемы — служба сродни аскетическому служению. Имеется в виду не только реальное недоплачивание армейским и милицейским, а и самоценный момент аскезы. Его нельзя обойти — он составляет специфически наше понятие о благородстве.

Во множестве фильмов подчеркивается скудость житейского комфорта, которым могут располагать люди в погонах. Следовательница прокуратуры из «Тайны следствия» привычно смиряется с хронической пустотой кошелька; Плахов и Дукалис из «Убойной силы-1» с юмористическим фатализмом сдают доллары, заработанные в период внедрения в стан мафии, а начальство утешает их обещанием премии в размере 200 рублей; Ларину с напарником из «Ментов» не на что купить бутерброды, и они инсценируют в кафе поимку грабителей, в благодарность их кормят; Каменская в одноименном сериале не может обзавестись личным компьютером; у главного героя сериала «Гражданин начальник» в доме только две тарелки, а у его помощника-эксперта никогда нет средств на жизненно необходимый опохмел; главный герой сериала «Сыщики» проживает в коммуналке; в «Убойной силе-3» простодушный опер Вася Рогов упоенно подсчитывает, сколько он заработает за время командировки в Чечню — вопрос об опасности боевого задания даже не встает; помощник супермена из «Агента национальной безопасности» Краснов от бедности посмурнел настолько, что и весь сериал обретает сюрреалистический оттенок... Несколько зажиточней сотрудники Генеральной прокуратуры в «Марше Турецкого» и главный герой сериала «На углу у Патриарших». Но в первом случае речь идет о генералах (впрочем, не слишком амбициозных по части жизненных благ: Грязнову высшую радость доставляет плавленный сырок под народный сорокаградусный напиток), а во втором — о престижном центре Москвы.

Аскеза демонстрируется и принципиальной обшарпанностью мебели в служебных кабинетах. Этот стилевой знак важен: там, где мебель менее обшарпана (как в «Улицах разбитых фонарей» — сравнительно с «Убойной силой», в «На углу у Патриарших» — сравнительно с «Гражданином начальником»), те же самые актеры кажутся более кукольными персонажами, схожие сюжеты — мельче, а совершаемые подвиги — безопаснее. Бедность идет рука об руку с героическим служением.

Но из бедности вытекает не только героизм, а и юмор. Обязательное в современных криминальных сериалах комикование держится не столько на диалогах с подначиванием или простаках/увальнях в роли напарников для суперменов, как в западных детективах, сколько на нищете наших служивых и ее непереносимом спутнике — алкоголе. Деньги (ничтожные) и выпивка (обильная) — источник юмористических мизансцен в различных сериалах. На их двуединстве замешены многие репризы Васи Рогова из «Убойной силы-1 и 2». Рогов — простоватый и притом сильно поддающий двойник интеллектуального Плахова, который о деньгах фаталистически не заботится, а выпивает более

или менее сдержанно. В свою очередь у Васи есть свой двойник, еще менее отягощенный деньгами, чем сам Рогов: тещь-пенсионер, занятый самогоноварением. Героинка травестируется безденежьем и самогонкой. Но и возгоняется ими: отсутствие денег = бескорыстие, алкоголь в качестве способа саморастворивания примыкает к самоотверженности подвига.

Пьют в наших силовых сериалах амбивалентно — и для снижения непопулярной (для зрителя) серьезности выполняемого долга, и для возвышения этого долга в качестве выполняемого принципиально бескорыстно. Нищета и питье суть сразу условие служения, травестия служения и продолжение служения. Потому наши напарники (интеллектуал и простаки и т. п.) — не то же самое, что пары-аналоги в зарубежных сериалах (члены которых, кстати, вполне обеспечены и практически не пьют). Тамашний инвариант восходит к общему архетипу «король-шут», «герой-трикстер»; наш — к апробированной в отечественных социальных традициях возможности быть бескорыстным героем: алкоголизированное нестяжание.

Таким образом, на сегодня миф о силовиках — это миф о недостойных, невознаграждаемых, но не переменных героях в неисправимой, неблагодарной, но защищаемой стране. Это касается и армии, и органов. Они обрели стилевое единство в горе. Но типологически разошлись в радости.

«Мурки» и «Зайки». Обратимся к песенным примерам. Советское звучание армии было «несокрушимым и легендарным» — коллективно-гранитным. Гранит, правда, изредка драпировали пионерской формой. Маршевая героинка на застойных концертах в честь 23 Февраля разбавлялась лирико-шуточными плясовыми, целомудренно выдержанными в темпоритме школьных полков (вспомним: «Ой, дружок, ой, Вася-Василек! Эх!..»).

Милиции же полагалось звучать более взросло и человековедчески — с некоторым минорным допуском на задушевность. Задушевность вытекала из исповеднической функции, приписываемой органам послевоенными детективами, в сюжетике которых наказание тесно связывалось с нравственным исправлением («На свободу — с чистой совестью»). Духовные отцы с лампасами должны были петь в миноре и не могли танцевать польку.

В эти условия точно попал марш с романсовой мелодикой из сериала «Следствие ведут Знаатоки». Сегодня он обрел новую жизнь — и не столько из-за малоудачного возобновления сериала (само возобновление скорее всего стало ответом на обнаружившуюся жизненность старой песни), сколько вследствие наново истолкованного «человековедчества» силовиков. При этом армия запела в унисон с милицией; гранитное стало задушевым.

Различие между МО, с одной стороны, и МВД-ФСБ-ФСНП и т. п. — с другой, формируется теперь на оси социального статуса. В обоих случаях он семиотизируется как болезненно низкий. Однако у армии он еще унижительней (см. ниже), чем у правоохранителей.

Советский армейский репертуар песя преимущественно хором, тогда как милицейский — соло. Армейская коллективность подчеркивалась и текстами (ср.: «Экипаж — одна семья»). Но в армии имелся свой сольный пласт, относящийся, правда, лишь к одному периоду истории Вооруженных сил. Во время Великой Отечественной войны (и впоследствии только для темы войны, как в песне из фильма «Белорусский вокзал») в армии выявилось лирическое «я». В знаменитых «Землянке» К. Листова и «Темной ночи» Н. Богословского была найдена интонация героини «наедине с собой/тобой».

Нашли ее на ресторанно-шантанном подмостках, куда романс попал в начале XX века и откуда в 30-е распространился по зонам и «малинам». Не зря названные фронтовые песни при своем появлении задевали советских ортодоксов (ср. воспоминания Н. Богословского о попытках запрета «Темной ночи»). Оказалось, что социалистической культуре просто неоткуда взять востребованное фронтовым подвижничеством личное страдание, кроме как из тюрьмы или кабака. И искреннего коллективизма, необходимого для единения

в беде, тоже неоткуда взять — пришлось реабилитировать церковную лексику (сталинские «братья и сестры»). Так выявилась функциональная эквивалентность церкви и кабака — знаков человеческой подлинности, утвердившаяся в отечественной традиции.

Эквивалентность эта значима и сейчас. Остается значимым и трехаккордовый синдром личного героизма. Синдром, впрочем, сильно политизировался.

После освящения войной и бериевской амнистии (она дала новый масштабный вброс «Мурки» в массовый слух) барачные три аккорда превратились в двойственный символ личного героизма, который сразу и «за Родину», и против «мусоров» («режима»). Оба значения очень скоро отождествились — в гражданственно-протестной бардовской песне. Отсюда-то романсовый стандарт и проник в милицейские марши, поначалу с извинительной выборочностью типа «кто-то кое-где у нас порой».

Зато сегодня, когда пружиной детективных сюжетов служит борьба милиции, прокуратуры, ФСБ и т. д. с мафией, засевшей в коридорах власти, и когда армия оказалась социальным изгоем, гражданский протест бардовского типа (вместе с его генетическим смысловым шлейфом) оказался абсолютно уместным в песенном репертуаре силовых структур.

Появилась целая генерация сентиментально-горьких гимнов. Офицерам вообще посвящается новый извод «Священной войны», перемешанной с «Муркой», — марш-романс О. Газманова «Господа офицеры». Каждой тактовой долей он давит на интонационные мозоли, набитые бардовским «стоянием на краю», а нынче растертые во всхлип переживанием героически претерпеваемого нищего подвижничества.

Учтены песни и командиры артиллерийских батальонов («Батяня-комбат» группы «Любэ») и сержанты-пехотинцы («Товарищ старший сержант» того же коллектива). Учтены во все том же духе горькой агрессии брошенности. Государевы люди звучат как подвигничающие беспризорники при жирующем наместнике. Их нищета предствалена трехаккордовой бедностью, сила духовного сопротивления нищете — интенсивной артикуляцией ритма и вокальной интонации. Но они ближе, чем газмановские «офицеры», к боевым действиям: марш в них более выражен, чем романс, да и звучание «Любэ» мужественней, чем у не меняющегося Газманова: интонационно автор-певец все еще скачет на детских лошадках своего раннего хита «Эскадрон моих мыслей шальных».

Работники МУРа тоже получили романсово-маршевый девиз, приближенный к боевым действиям. Речь идет о песне-заставке сериала «Убойная сила» в исполнении тех же «Любэ». «Прорвемся, опера!» и звучит прорывно: чего стоит хотя бы пулеметно стреляющий ритм бас-гитары в отыгрыше.

Но о песнях «Любэ» надо бы сказать особо. Ведь практически все силовые «хиты» (к перечисленным надо добавить «Ты река моя, река» из «Границы» и «Давай за нас!» из «Блокпоста») имеют звук «Любэ». И в этом звуке порой появляются обертоны более глубокие, чем те, что связаны с генетикой романса или марша. Точнее, они связаны именно с этой генетикой, но парадоксальным образом выводят в иной смысловой масштаб. В трех аккордах вдруг отзывается чистый тон глубокой душевности/аскетической суровости, представимый в голосе монаха-воина. Эта ли краска делает песни «Любэ» главными в нынешнем лирико-патриотическом репертуаре или наблюдается безусловный рефлекс на трехаккордовый минор, как в случае упомянутых опусов О. Газманова или неупомянутых — А. Розенбаума, трудно сказать. Тем более, что (парадокс!) в целом в репертуаре группы привычный минорный комплекс выделен подчеркнуто, во всей своей раздрызганной примитивности... Во всяком случае, в звучании «Любэ» музэсперанто, идущее от «Цыганочки», а потом и «Мурки», равно как от «Священной войны», а потом и бардовской баллады, порой преодолевает несколько злокачественный ассоциативный мезальянс, накрепко в него вросший.

Стандарт, впрочем, работает благодаря статистике. А на статистическом уровне то, что может быть многозначным у «Любэ», сплющивается в тягост-

ную монолитность. И вот благодаря именно этому стандарту армия и милиция теперь едины. Но не совсем. Вернее, не всегда. На Новый год вот уже в третий раз подряд выявляется существенное их типологическое различие.

На новогоднем «Огоньке» возникла новая традиция. Речь идет о превращении серьезных политиков в шоуменов, в эстрадных куплетистов. Первым, конечно, начал В. Жириновский, когда дополнил необозримую палитру своих шоу-умений пением и записью песен собственного сочинения. Этот ход ратифицировали сценаристы «Огонька», поручив министрам, думцам и прочей тяжеловесной элите тужиться непринужденным исполнением куплетного конфетти. Наличие слуха совершенно не берется в расчет, что несколько вредит разве только министру культуры.

Сообщив не всегда обаятельным VIP искрометность, заключенную в двух притопах, трех прихлопах, картину приятственного официоза решили дополнить умильной веселушкой, произведенной с армейскими хоровыми ансамблями. Монументальным хором исполняется шуточная песня. Под занавес мундирного веселья с голов сдергиваются фуражки, из-под которых торчком выскакивают санта-клаусовские колпачки или плейбойско-киркоровские заячьи ушки. Ах, какие детки послушные, хоть и вооруженные! Как они веселят своих добрых родителей, которые их недокармливают и жильем не обеспечивают! Какая легко и всеми способами используемая у нас армия!

Находка упорно тиражируется каждый Новый год, несмотря на примечательный отказ постоянно солирующего при военном хоре И. Кобзона сдернуть (за неимением фуражки) парик, чтобы проявить тот же юмористический шик. Видно, изготовителям всенародного телеувеселения как-то особенно по вкусу показывать травестийное самопроституирование людей, защищающих страну.

Но этот вырожденный карнавал созвучен не только социальной заброшенности «родной армии», а и унижениям, входящим в меню внутреннего армейского быта, — дедовщине, воровству, устарелой технике...

Надо отметить, что с хоровыми ансамблями милиции, прокуратуры, таможи, Федеральной службы безопасности и даже ГИБДД ничего подобного не происходит. Они веселятся сохраняющим достоинство путем. Дальше приглашения на сцену дуэта Вовчика и Левчика дело не заходит.

Обретение свойств. В фильмах 90-х, да и раньше, работники правоохранительных органов были людьми без свойств. Симптоматична добропорядочная бесцветность следователя Знаменского из «Следствие ведут Знатоки». В других советских детективах характеры персонажей определялись уставом службы. Генерал вызывает безусловное уважение, в том числе и у воров с бандитами, он самый умный, отечески заботлив, суров, но справедлив. Офицеры рангом младше — кто внимателен к людям, кто подозрителен, но равно почитают генерала...

Безликость милицейских особенно бросалась в глаза на фоне армейских фильмов. Тут контекст диктовался темой Великой Отечественной войны. Большой теме (и большому кино) естественным образом соответствовали большие характеры (или хотя бы выраженные типажи). Но кино о войне в 90-е практически не снималось, и личная невнятность утвердилась в качестве обязательного дополнения к погонам. Не помогал и крен в сторону боевиков — борцы с криминалом накачали мускулатуру, овладели приемами рукопашных единоборств, а личности тогда еще не приобрели. Личные свойства (характер, судьба, привычные словечки и т. д.) и в 60 — 70-е, и в 90-е выпадали на долю преступников, которые (в функции носителей характеров) как бы заменили военных из традиционного советского кино.

Зато сегодня от своих братьев остался один «Брат» (и тот примечательным образом не столько бандит, сколько защитник справедливости), а новые милицейские сблизилась с бывшими армейскими — обрели человеческую колоритность. В свою очередь новые армейские (например, из сериала «Блок-

пост»), которых пока что мало, лицом сходятствуют с новыми милицейскими, которых уже довольно много (силовики-правоохранители раньше пробились в сериалы, чем формирования Вооруженных сил).

Впрочем, имевшее в 90-е замещение (в роли героев с судьбой и характером) армейских блатными бесследно не прошло. Колоритность борцов с преступностью носит на себе следы блатной броскости. Не только изощренные способности к драке — профессиональный жаргон у противоборствующих сторон в значительной мере совпадает. А личная характерность пока что проявляется главным образом на уровне словечек и повышенной психомоторики. Акцентированной мобильностью в сериалах выделяются «важняк» Турецкий и агент ФСБ Николаев; на этом фоне главный герой «Гражданина начальника», полноватый тюха в первых кадрах фильма, делает шаг вперед, к неповторимому «я» (впрочем, медлительность и вообще негероичность уже в позднесоветских детективных фильмах использовались в качестве краски «частный человек, неформальный персонаж на государственной, уставной должности»).

Наблюдается еще и такая закономерность: чем ближе к верхним ступеням служебной иерархии, тем персонажи скучнее и бледнее (если только они не скрытые бандиты и коррупционеры, каковые тенью выделяются персонаж на формализованном фоне устава), а чем ниже в направлении к подножию иерархии, тем сочнее проявление немундирной личности. И тут уже речь должна идти не о поверхностных характерологических приметах, но о стихийном подстраивании силовых героев под смутно типизируемый национальный характер.

Прорвемся к тихой Родине. Серии «Убойной силы» открывает брутальный хит «Прорвемся, опера!» с инкрустированными в инструментальный отыгрыш свистками и выстрелами, а завершает песня «Позови меня, тихая Родина!» на стихи Николая Рубцова. Характерный катарсис. Что остается вооруженному нищему? Патриотизм. Впрочем, патриотизм — это только идеологема, символическое прикрытие другого переживания.

Песни звучат в начале и финале серий, создавая рамку «удаль — сердечность». Об «удали» уже говорилось. Она окопная и похмельная, как и положено маршево-романсовой смеси. Есть в этой смеси еще один звуко-смысловой оттенок: окоп=похмелье — также последний рубеж, за который отвечать только нам, и никому больше. И все же «сердечность» сложнее.

Вслушаемся. Звучит созерцательный вальс. Чем-то (тем хотя бы, что звучит как одна из главных тем фильма) он напоминает знаменитый вальс из «Берегись автомобиля» и тем самым подсоединяет героев сериала к каноническому образу одинокого лирика — борца за справедливость. Но вальс Деточкина был городским и наивным. Городское — это повторяемое кружение мотивов в узких амбитусах, словно каждый из них стеснен нагороженными вокруг домами. А наивность выражена началом мелодии. Она робко нащупывает себя, словно сама себя смущается. Центральный звук главной мелодической фигуры звучит отрывисто-пробно один раз, второй и уж потом опеваётся вальсовым мотивом. В «Позови меня» вальс не наивный, а созерцательно-мудрый; и не городской, а деревенский. Пространство мелодии равнинно и речитационно, оно льется мелодической линией, почти лишенной пауз, и вместе с тем членится вальсовыми трехдольниками на молитвенные аккламации. Простор и духовная просительность усиливают друг друга в кульминации припева. На словах «Позови меня-а-а / На закате дня...» одним взлетом достигается и зависает долгий вершинный звук, словно эхо самого себя в пустой вечерней тишине, словно умоляющий зов в бездонную высоту... Ему откликаются в конце припева мотивы с концовками на слабых долях — не то ласковые причитания, не то легкие выдохи: «Русь печальная, / Позови меня...»

Рядом с «Берегись автомобиля» — еще одна параллель: песня «Русское поле» из кинофильма «Новые приключения неуловимых». Уже тогда, в 1968 году, в вошедшей в полуподпольную оттепельную моду советской роман-

тизации белогвардейской ностальгии тема Родины-поля была связана с вальсом и молитвой. Одновременно в ней присутствовала и та трехаккордовая героическая тоскливость, которая маркировала бардовское героическое сопротивление режиму. «Русское поле» звучало «за Родину — против узурпировавшего Родину государства». И в «Позови меня» эта смысловая краска слышна. «Тихая родина» скрыто оппозиционна власти; она нравственно подлинна, тогда как государство фальшиво.

Вместе «Прорвемся» и «Позови» (песенные окоп-кабак и поле-храм) создали сериалу «Убойная сила» образ, который сценаристам и актерам оставалось только доиграть (и в первом комплекте серий образ доигран; второй и третий выпуски фильма слабее). Образ — по-советски наш: из повседневной кромешности брежжит свет подлинной жизни, неизменяемой души. «Мы проиграли, мы виноваты, мы заслужили все то, что случилось, но отказаться от некоего подлинного огня, некой сумасшедшей надежды, жившей в обреченном теле большевистской империи, невозможно. Отсюда — тотальная ностальгия...» — эти слова А. Машевского о поэзии Бориса Рыжего (см. статью «Последний советский поэт» в «Новом мире», 2001, № 12) легко ложатся на песни из «Убойной силы» (и их аналоги: марш-романс «Давай за нас!» из фильма «Блокпост»; вальс из «Гражданина начальника», романс-вальс из «На углу у Патриарших»...). Можно только добавить, что оппозиция кромешности/подлинности синонимична в фильмах и песнях из них противопоставлению «темного» государства, которое человека пожирает (горькая героика романса-марша), и «светлой» Родины, которая человека возрождает (светлая ностальгия вальса-молитвы).

Впрочем, возрождается все тот же советско-постсоветский тип — условно говоря, герой поэзии Б. Рыжего. Более широкий национальный типаж, для которого государство и Родина не находятся по разные стороны баррикад, пока что не удается. За одним, может быть, исключением.

Настоящий Фандорин. Исторических детективов у нас мало. «Петербургские тайны» — больше семейный сериал, чем криминальный. Недавно всеобщее внимание привлекла телевизионная версия романа Бориса Акунина «Азазель», но о многообещающем почине акунинских экранизаций критики писали не вполне удовлетворенно¹.

Если же обратиться к романам Акунина из цикла о Фандорине, то ведь в них выдвигается раритетная сегодня смесь российского государственника не за честь, а за совесть, независимого интеллектуала, да к тому же спортсмена-победителя. Фандорин увлекается японскими единоборствами; загадочен, хотя рационален; неуязвим в игре, хотя не игрок; работоспособен, но не честолюбив; точно выполняет поручения, отнюдь не теряя при этом собственного «я»; наделен незаурядным аналитическим умом, что не мешает ему сохранять почтительную лояльность к высшим по службе и возрасту; умеет внимательно слушать, быстро принимать и четко формулировать решения; лишен позерства, предпочитает оставаться в тени, но вызывает ажиотажное внимание; в любой момент готов уйти в частную жизнь, не держась за почет, сопутствующий занимаемому месту, а почет растет как будто сам по себе...

Почему этот персонаж не устраивает в экранизации? Оставим в стороне аргументы критиков: неубедительный выбор актера или не до конца решенную проблему трансформации литературного текста в киносценарий. Кажется, дело в другом. Не удался экранный Фандорин просто потому, что один такой на телеэкране уже есть. И это... правильно: В. В. Путин.

С ним на всеобщее телеобозрение предстали качества идеального силовика, который принадлежит не героически-похмельной советской-постсовет-

¹ См. критический разбор теле-«Азазель» в «Кинообозрении Игоря Манцова» («Новый мир», 2002, № 8). (Примеч. ред.)

ской, а утопически-культурной российской традиции. Исторический детектив у нас все же отснят, и наращивание числа серий продолжается — смотрим каждый день. Сделан этот фильм словно по мотивам акунинского литературного образа, хотя на материале текущей реальности (впрочем, современность вносит стилизовую редактуру, отчасти сближающую современного Фандорина с Плаховым, Дукалисом и иже с ними; имеется в виду такая речевая мелочь, как «мочить в сортире»: она подключает образ идеального силовика к квазиреалистическим мифам с «Улицы разбитых фонарей»).

Кстати о столах и диванах. Больше всего Путин запоминается вне кабинетной обстановки, во время его поездок и общения «на местах». Не зря внесены коррективы в традиционный жанр новогоднего телеобращения первого лица государства — теперь оно снимается не в кабинете, а на пленэре, в виду Кремля. Да ведь и кабинет в Кремле, в котором проходят протоколными снимаемые телевидением встречи Президента, воспринимается как сугубо символическое пространство, означающее регалию власти, а не собственно «кабинет Путина» (напротив, «кабинет Ельцина» узнавался как именной, личный интерьер). В домашней обстановке Президента нам не показывают вовсе. Потому ни офисности, ни доместикации вокруг Путина не образуется — он выпадает из сложившихся оппозиций уставного/анархического.

Он выпадает и из «командной игры» (если не считать фона из двух ключевых силовиков, подобранных в тон: С. Иванов и Б. Грызлов тоже подтянутые, суховатые, без внутренней суетливости, со спокойно-внимательной манерой смотреть), обычной во всех ныне популярных силовых сериалах, когда герои выступают кордебалетом, дотягивая друг друга до статуса коллективного типажа. В уникальности Путина на фоне имеющихся силовых расстановок тоже проглядывает Фандорин, выписанный литератором как принципиально внесистемный герой.

Фандорин — гениальный одиночка. ореол избранничества-одиночества накапливается и вокруг Путина. Сконцентрировав в себе тип идеального русского силовика, он оказывается в стилевом противостоянии множеству нестойких, хотя и обязательных советско-постсоветских силовых структур...

В телезеркале российское наше выглядит как исключение на фоне советско-постсоветского нашего; до такой степени исключение, что чуть ли не противоположность. Актуальное наше — окопно-похмельная исповедь-молитва. Идеальное наше — аристократизм (а если уж речь идет о силовиках, то традиционный лоск).

Примечательно: исключение это выдвинуто на ключевую позицию. То есть сразу и уникальную, и перспективную.

Перспективной могло бы стать добавление культивированного благородства к силовому мифу о «нашем». Трудно представить, как привьется к укоренившейся экстаике обиды-победы культивированность монархического склада, и в телезеркале пока нет примет такого поворота. Но калейдоскоп на то и калейдоскоп, что непредсказуем. И одиночный элемент может при очередном встряхивании оптически размножиться (ср. выше о силовиках С. Иванове и Б. Грызлове как о фоновых репликатах В. Путина) и образовать стержневой рисунок...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА



К КОМУ ЕДЕТ РЕВИЗОР?

Проза «поколения next»

За два года существования премии «Дебют» выявилась одна числовая константа: на конкурс поступает порядка тридцати пяти тысяч рукописей. Что означает цифра 35 000? «Одних курьеров!» — подсказывают доброжелательные голоса. Гоголь вмастил литературным обозревателям, подав им на блюдечке псевдоаргумент — вечно юного Хлестакова, тоже, между прочим, сочинителя.

Хлестаков сочинитель и есть: он успешно продал обществу свою историю (псевдоавтобиографию, как у Пола Теру), и на него посыпались бабки. При этом никакого «другого Юрия Милославского» Хлестаков не писал. Его креативный продукт — образ ревизора, достроенный умами уездного общества из имеющегося материала: ожиданий ревизора, во-первых, и смутного представления о большом столичном чиновнике, во-вторых. То есть о тексте речи не идет: он может быть таким, может быть другим, может и вовсе отсутствовать. Важно продать себя обществу как писателя. Все равно покупатель книги недостаточно знает современную литературу, чтобы подвергнуть текст экспертизе. Что касается премии «Дебют», то она как раз и есть то поле, где происходит подмена: пятерых лауреатов назначают надеждами русской литературы, и они, проданные в этом качестве литературному сообществу, получают каждый по 2000 долларов США в рублевом эквиваленте. Примерно так мыслят противники премии, полагая, что цифра 35 000 выскакивает не случайно, а как знаковый отсыл к классическому гоголевскому сюжету, где все про «Дебют» и сказано.

В действительности все не так просто. Вообще любое явление сложнее его интерпретаций, а уж сейчас, когда интерпретации — занятие абсолютно безответственное, и подавно. При этом у «Дебюта» есть и серьезные оппоненты: Андрея Немзера и Александра Архангельского с бойким Леонидом Быковым никак не уравнивать. В проекте «Дебют» оппоненты усматривают явление поколенческого шовинизма, а также бега за комсомолом. Повод к этому присутствует. Юные авторы, будучи людьми не литературными и соответственно не знающими, что вообще создано грустными дядьками, пришедшими к ним на церемонию «Дебюта», полагают себя (сознательно либо подсознательно) ревизорами современной им российской словесности. У них имеется волшебное слово «отстой», которым они помечают все, что ими не усвоено, что не подаст им внятных опознавательных знаков. Разительная перемена: раньше на совещаниях молодых писателей «семинаристы» знали творчество мэтра и искали случая почтительно вставить цитату, а мэтр, скучая, пролистывал у себя в пансионатском номере люкс полповести соискателя, чтобы наутро что-нибудь высказать снисходительно, не обязательно по делу. Теперь же наоборот: руководитель семинара знает рукописи молодых (сделал работу по своему контрак-

Славникова Ольга Александровна — прозаик, критик, автор романов «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», «Один в зеркале», «Бессмертный». Координатор литературной премии «Дебют». В качестве романиста и литературного критика — постоянный автор «Нового мира».

ту), те же — понятия не имеют, кто перед ними говорит за литературу, и только верят на слово, что Алексей Слаповский, например, — известный прозаик и драматург. На том спасибо.

Современная литература разобщена. Только ленивый не упрекал писателей в том, что они не читают друг друга. Причем в поэзии это не так ощутимо: стихи, как подвижная жидкость, сами стремятся от поэта к поэту и превращают тех, кто причастен, в сообщающиеся сосуды. У поэтов — по крайней мере тех, кто пишет по-русски, — есть ощущение зависимости собственного уровня от уровня поэзии в целом. Вообще они относятся к своему занятию более заинтересованно, более страстно, они активнее общаются в литературе, нежели авторы прозы. Поэты нужней друг другу, чем прозаики, и эта закономерность вполне сохраняется в «поколении пехт». Что до юных новеллистов и романистов, то они ревизоры только в том отношении, что не сомневаются в собственном праве выставлять оценки чужим сочинениям. Это не значит, что они с сочинениями ознакомятся и применят к ним критерии, которые хоть как-то могут сформулировать. Увы, это так. Разобщенность внутри профессионального цеха прозаиков — ничто по сравнению с пропастью, что пролегла между нынешними «двадцатилетними» и всеми остальными.

«Я женщина, и значит, я права», — писала одна уральская поэтесса, и это, пожалуй, единственная ее строчка, которую некоторое количество людей знает наизусть. Правда не по личной сути, а по занимаемой позиции — вещь несокрушимая. Позиция вооружает. Молодость — аргумент еще более сильный, чем гендер. Самое приятное и лестное, что может ожидать от жизни «олдовый» романист, — стать кумиром «продвинутой молодежи». Если это происходит, автор чувствует себя защищенным от всякой экспертизы: гротескный случай с «Господином Гексогеном» господина Проханова тому пример. Как бы уже состоялось то главное, ради чего писалась книга: поверх голов удивленных экспертов пролетели флюиды, к автору пошла встречная волна, и разговоры о качестве литературы сделались неуместны.

Правота молодости основана не на экспертизе, не на знании того, чего, к примеру, не знает тридцатипятилетний человек, а на свободе. Что это за свобода? Вы меня не купите ни на какую вашу художественность и прочую ботву, говорит нам тинейджер. Ваши критерии и авторитеты мне фиолетовы. Всякого, кто пытается меня лечить, я посылаю на. Меня цепляет только то, что цепляет *на самом деле*, и книжку, если вообще захочу почитать, я выберу сам. Подлинность контакта читателя и текста — вот ценность, ради которой многие действительно готовы бежать за комсомолом и даже задирают для этого штаны. Подлинность — не по достоинству произведения, но по чисто житейскому факту, который по-ленински упрям; рядом с ним та истинность, к которой пробивается художник, выглядит как нечто сомнительное, никем не доказанное, недостоверное. Короче, как отстой.

Подлинность — вещь как бы иррациональная, поскольку о познании себя и своих мотиваций тинейджер не помышляет, — удивительным образом соединяется в юном мозгу с пониманием механизмов успеха. «Двадцатилетние» вполне технологичны, и многими соискателями проект «Дебют» воспринимается как способ продать некоторых людей в качестве культовых авторов. То есть как систему назначений и выстраивание новой иерархической пирамиды весьма поодаль от взрослого мейнстрима. Если копнуть еще глубже, обнаружится трогательное романтическое представление о гении, который, ничему не учась, возникает весь целиком и получает признание вдруг, как изгнанный наследный принц получает трон. Такова воспроизводимая во всех поколениях психология авторствования: никакое знание механизмов раскрутки ее не победит.

Короче говоря, каждый «дебютант» ожидает благодаря проекту проснуться знаменитым. И для многих присутствие в «Дебюте» «взрослой» экспертизы становится шоком. Цитирую письмо, пришедшее по электронной почте: «Кто такие ваше жюри? Мы не знаем таких писателей. Как Веллер или Бовильский (так у автора. — О. С.) могут судить о молодежи, о ее чувствах? <...> Пусть

председателем в „Дебюте” будет Пелевин, а остальные пусть будут победители прошлого года». Поступали и другие предложения делегировать полномочия жюри «поколению next»: например, определять лауреатов «Дебюта» голосованием в Интернете. Эти воззвания и вотумы недоверия свидетельствуют о неготовности юных дарований переходить на взрослое профессиональное поле и вообще быть судимыми по законам собственно литературы. Легко вообразить реакцию Хлестакова на предложение предъявить для разбора «другого Юрия Милославского».

Таким образом, «поколение next» внятно проявляет волю к поколенческому суверенитету. Шовинизм? Еще какой. С кашей в башке и с наганом в руке. Шовинизм тем более внятный, что поколение не размыто, как «тридцатилетние» или «сорокалетние», но как нельзя более четко очерчено. Мне представляется, что константа в 35 000 рукописей за премиальный сезон как-то связана с другой неизменяемой цифрой: 25. Это предельный возраст для участников «дебютовского» конкурса. Сколько ни упрекали организаторов в условности возрастного барьера (особенно обидно было молоденьким «перестаркам», оказавшимся тут не при деле) — тем не менее организаторы случайно попали в десятку. Граница между теми, кто может участвовать в «Дебюте», а кто не может, совпала с метафизической трещиной, отделившей «next» от «before». Между прочим, в «Дебюте» потенциально заложен и механизм выхода человека из «next»: минует еще два-три года, и механизм заработает. Появится большая группа авторов, по возрасту потерявших привилегию рассматриваться в юниорском разряде и одновременно утративших право представлять от комсомола. Какими они будут, какого рода опыт успеют получить, прежде чем их вынесет в пустыню индивидуального взросления? Многим это безразлично. Многие думают, будто все произойдет примерно так, как происходило всегда: часть слепых щенков утонет, один гений повесится, другой более или менее научится жить и напишет нам литературу. Не произойдет. Образовалась емкость из весьма прочного материала, постоянно пополняемая новобранцами и исторгающая из себя «выпускников». Она, эта емкость, а не юные люди, в ней пребывающие, и есть «поколение next».

Почему так случилось? В чем новизна ситуации? В принципиально иной структуре информационных процессов. Оружие массового поражения завтрашнего дня — не атомная бомба, но информация. Предыдущие полвека люди учились жить при свете факта, что простым нажатием кнопки можно уничтожить город. Это изменило человеческое сознание. Теперь же мы на пороге мира, где целую культуру можно стереть, как папку с файлами. Ее попросту не будет, если некто с соответствующим чемоданчиком нажмет на «Delete». Существует предельное число носителей языка, при котором язык еще жив. Существует и предельное число читателей Пушкина, при котором Пушкин наличествует. Уберите пиаровскую программу в виде школьного курса литературы — и нашего золотого XIX века не станет уже послезавтра. Надо ли удивляться, что новое поколение начинает жизнь со строительства бомбоубежища? Это только кажется, будто «поколение next» открыто и восприимчиво — в отличие от закосневшего «before». На самом деле там построены бетонные перекрытия и работают воздушные фильтры. При этом все имеет обратную сторону. Убежище не защищает от прямого попадания информационного фугаса (например, той замечательной идеи, что русского романа больше не существует); более того — делает цель компактной, достижимой и экономит информационному агрессору его боезапас. В убежище также проникает вирус, являющийся программой, распознаваемой фильтрами как санкционированное и «свое». Пример вируса — «Господин Гексоген». А вот романы Слаповского — не вирус, а литература, поэтому «поколением next» они не прочитаны.

Видимо, 35 000 рукописей, при всей грандиозности цифры и впечатляющем объеме бумаги, есть тот минимум, при котором внутри поколения поддерживается письменная жизнь. «Дебют», распространивший информацию о себе через телевидение, этот минимум носителей русского письменного языка

активировал и обнаружил. Стоит сказать о том, что именно происходит внутри убежища, где спасается от Пушкина и Пруста статистически неизбежный процент талантливых людей.

Повторяю: речь идет о прозе. В поэзии своя ситуация: чужие там почти не ходят. Прозаик же, в отличие от поэта, обязан иметь некоторое количество посторонних читателей: людей с улицы, людей из метро. Проза как вид искусства обязана учитывать нужды коммуникации. Поэтому она более поэзии зависима от социальности, от положения дел в обществе. От рынка, наконец.

Прежде всего бросается в глаза стремление «новых молодых» дистанцироваться от ближайших предшественников — адептов постмодернистской иронии и интеллектуальной игры. Сергей Шаргунов, лауреат «Дебюта» 2001 года в номинации «Крупная проза», — первый проявленный идеолог «поколения пехт». Называя постмодернизм мракобесием, он объявляет скучной литературную практику деструкции. Что ж, должен был наступить момент, когда эта истина прозвучала бы не из лагеря «сорокалетних», а от самых младших товарищей — потому что деструкция, во-первых, принципиально конечна, во-вторых, пребывает в сырьевой зависимости от логоцентричных авторов, по старинке шаманящих с поэтическим ресурсом языка. В качестве альтернативы моделям для сборки Шаргунов предлагает «новый реализм», или эстетику «прямого зеркала». Манифест Шаргунова, опубликованный в «Новом мире», а также на сайте «Дебюта», грешит большим количеством красивых фраз, не выражающих суть: «Все краски, все бледно недосказанное и ярко оглушающее сливаются в новом динамичном движении. И смысл этих цветных ручьев — сама жизнь. Писатель показывает жизнь во всей ее полноте». Этот и аналогичные лозунги приложимы почти к любому типу письма, ибо что такое «сама жизнь» — еще никто не определил. Тем не менее Шаргунов описал — приблизительно, очень и очень «около» — то отношение искусства к действительности, когда решается задача в одно действие: действительность идет в текст, умножаясь только на эмоцию автора.

Шаргунов не столько теоретик, сколько практик: две его повести — «Малыш наказан», увенчанная «Дебютом», и новая повесть «Ура!» — являются образцами «нового реализма». В первой излагается история любви Сергея Шаргунова к богемной наркодилерше Алисе, в которой угадывается... впрочем, это к делу не относится. Вторая повесть — сознание и тело Сергея Шаргунова в точке, близкой к настоящему: новая влюбленность, ранний мемуар, а также взгляды автора на курение, наркотики, сексуальные меньшинства и прочее. Чем отличается «новый реализм» от реализма, скажем, традиционного? Прежде всего — отсутствием сочиненного сюжета, а также таких тонких вещей, как саморазвивающиеся характеры. Для автора не стоит проблема композиции, поскольку все в тексте более или менее равноценно. Истинно, потому что документально. Если в прозе на Шаргунове синее пальто, можно быть уверенным, что оно физически существует.

Что здесь проигрывает проза — уже понятно. Многоуровневость ее отмечена по определению. Выигрыш состоит в энергетике прямого высказывания. Самые банальные вещи становятся важными, потому что в них вложена страсть и, если угодно, личный пример. Признаюсь, что, читая «Ура!», я испытала самый искренний порыв завязать с курением (не знаю, надолго ли хватит). Кроме того, Шаргунов умеет делать очень живые и верные зарисовки с натуры. Именно здесь он овладевает словом во всю меру своих природных (хоть пока и мало тренированных) способностей. Читать эти главы интересно просто потому, что они несут специфический опыт. Мне, например, как-то не приходится сейчас контактировать с обкуренными децлами, и от ментовского уличного рэкета Бог в последние годы миловал. Экскурсия в иную социальную, поколенческую среду — это всегда любопытно. По сути, перед нами «лимоновский» тип письма, где только один герой — сам Эдуард Лимонов. (Кстати: ныне лефортовский сиделец напоминает тех беспризорных детей, на

которых собирал пожертвования Остап Бендер. И Шаргунов ему отдал свою литературную премию, и Проханов. Получается, чтобы дать Лимонову четыре тысячи долларов, надо потратить сорок. Как в анекдоте: шесть старушек — шесть рублей...)

Явление, описанное Шаргуновым, им самим не ограничивается. Предыдущие лауреаты «Дебюта» по крупной прозе Сергей Сакин и Павел Тетерский сработали в том же «новореалистическом» ключе. Повесть «Больше Бэна» о приключениях двух русских подонков в Лондоне — та же субъективная документалистика. Точно так же не стоит вопрос о совершенствах сочинения, потому что сочиняют не авторы, но жизнь. Опять-таки прежде всего интересен заключенный в книге опыт. Я, например, вряд ли буду ездить без билета в лондонском метро, «вписываться» в тамошние сквоты и промышлять ворованными мобильниками. Соответственно целый пласт жизни, человеческих типажей останется для меня закрыт, если Сакин с Тетерским мне о них не расскажут.

Пойдем по ключевым словам. С одним словом — «отстой» — мы уже разобрались. Теперь попытаемся понять, что значит часто употребляемая на интернетовских форумах оценка «живая литература». Сопроводительные слова: «цепляет», «вставляет», а также ряд непечатных эквивалентов. Видимо, автора и текст признают своими, если проза содержит близкие читателю реалии, предлагает дружить против «отстойных» и не грузит лишними проблемами, как нравственными, так и эстетическими. Все это обеспечивает подлинность контакта читателя и текста, на чем настаивает «поколение next». Это не значит, что тинейджер принципиально против художника слова. Он мыслит так: «По мне, будь ты хоть Набоков и Фолкнер в одном флаконе, но сделай, чтобы мне было прикольно. Как — твоя проблема». Какое же искусство принадлежит этому новому народу? «Сочинять одни хиты, чтоб понятно для братвы. Без залеча, без ботвы, без всякого-о отстоя-я. Никогда не унывать, ожидания воплощать. Вот такая жизнь у рок-н-рольного героя-а!» Это слова на какую-то их музыку, но цитата взята из книги Ирины Денежкиной «Дай мне! (Song for Lovers)».

Об Ирине Денежкиной стоит говорить не столько потому, что она стала финалистом премии «Национальный бестселлер» (задача коммерческого скандала полностью оттеснила в этом премиальном сюжете задачи литературы). Дело в том, что проза Денежкиной — типовая для «поколения next». Денежкина участвовала в «Дебюте-2001», но не вошла в «длинный список» по причине отсутствия экспертизы, выделявшей из рукописей с потенциалом рукописи с реальным художественным результатом. Иначе говоря, в работе у «ридеров» был целый корпус текстов, созданных весьма способными авторами, потенциальными писателями, — но выделить что-либо из этого большого блока можно было только путем назначения, чего в «Дебюте» стараются избегать. Тем не менее Денежкина интересна именно как «типичный представитель» — тем более проза ее выпущена издательством «Лимбус-Пресс» и тем введена в литературный оборот.

Так вот, Денежкина — это тоже «новый реализм». Сегодня ее рассказы ценны минимальным расстоянием между жизнью и страницей. В этом небольшом зазоре порой возникает напряжение, на которое у молодого автора не хватило бы (пока) творческой энергии, будь опосредования сложнее, а эстетика богаче. В текстах Денежкиной много эротики, но прописано это слишком, что ли, буднично и, по правде сказать, скучновато. Действительно, не повод для знакомства — в данном случае с автором. Но зато события рассказа, эмоционально значимые для юной писательницы, порой выносятся на тот неожиданный уровень, когда рассказ сам себя пишет. Откуда ни возьмется появляется пластика фразы, психологическая точность диалога. И тут оказывается, что несчастная любовь художественно интереснее дружеского переписки.

Вообще «новых реалистов», бывает, выносит туда, где их вряд ли уже сопровождают поклонники из next'ов. Так у автомобиля, если его толкать, заводится заглохший мотор. Так самолет, набрав разгон, отрывается от взлетной

полосы. У Шаргунова это происходит в жанровых сценках и еще в мемуарах, где он пишет о детстве, о стариках из своего двора. Сакин, поскольку он самый умный, самый психологически подготовленный к инженерному построению карьеры, вообще склонен к литературной учебе. Еще в первой повести он с соавтором пробовал работать на приеме, разложив повествование на два голоса, не очень, правда, проявившихся. Там соавторы подсознательно пытались вывести материал из области документалистики в область поэтическую: несовпадение «показаний» по ряду фактов могло вызвать на страницы прозы музу Мнемозину, преломляющую события в более плотной среде, нежели пусть экзотическая, но повседневность. Не получилось. Что ж, не все получается сразу. Теперь у Сакина написана новая повесть «Умри, старушка». Первые главы ее опубликованы в издательской программе «Дебюта»: почему-то все заметили, что там про скинов, но никто не обратил внимания на попытку построения «сада расходящихся тропок», развития разных сюжетных линий на одном повествовательном пространстве. Я читала повесть в рукописи целиком. Возможно, на момент, когда выйдет эта статья, появится и книга. Обращаю внимание господ рецензентов на творческую эволюцию автора, выстроившего все на том же неполиткорректном материале вполне литературный любовный сюжет.

Неполиткорректность есть побочное, но знаковое следствие искренности «новых реалистов». Им на самом деле не остается ничего другого, как высказываться до конца. Тут сложно провести черту между сознательным эпатажем (пехт'ы, повторяю, весьма технологичны) и внутренней логикой «прямого письма». По этой логике, воспитанность есть несвобода. «Несколько слов про ментов», «Еще раз о пидорах» — вот названия глав новой повести Сергея Шаргунова. Ближе, еще ближе к читателю, так, чтобы вообще исчезла ситуация отстранения пишущего: «Менты, вы достали народ!» Разговор с читателем сквозь книжную страницу уже не удовлетворяет автора, страница рвется, сминается, автор, каков он есть по жизни, шагает в чучку собравшихся зевак. Он хочет быть своим среди своих, хочет быть не менее реальным, чем любой из его аудитории. Он уже не согласен на писательскую бесплотность. Соответственно вопрос об искусстве слова снимается, но ставится вопрос о харизме. Тут мы переходим от литературы в область несколько иную — возможно, что и в политическую.

Два ключевых слова нуждаются в нашем внимании. Одно из них — «революция», другое — «боец». Писатель из пехт'ов отвергает эстетику изысканного индивидуализма, нытья и распада. Роль социального аутсайдера ему не по вкусу, он примеряет на себя роль молодежного лидера. Всякого пишущего возбуждают слова — их окраска, вкус, стилистическая валентность. «Нового реалиста» заводит лексика энергичная, плакатная, которую он применяет не совсем по назначению, — так стильная женщина освежает офисную юбку, надевая ее с брюками-«карандашами». «Плохо быть плохим. Хорошо быть хорошим, — цитирую по рукописи Сергея Шаргунова. — Какие красочные избытые фразы. Мне кажется, их СЛИШКОМ часто повторяли, эти законы жизни. Так часто, что они, нет, не просто истрепались, с них уже сорвана кожа, рыдают и кровоточат. Мокро блестят! Юные слова. От бесконечных повторов к ним вернулась первозданная свежесть. ЧУВСТВО ЛОКТЯ. ИМЕТЬ СТЕРЖЕНЬ. Я наслаждаюсь их звучанием». И еще: «Я проникся красотой положительного. Почувствовал всю ущербность, всю неэстетичность и мелкую расчетливость распадenceв. Скукота с ними! Мало от них радости. Бери от жизни все — это не значит сколись и скурись... Надо волю свою тормозить, жизнь превратить в одно „ура!“». Ура-мышцы. Ура-своя судьба. Ура-талант». Между прочим, как указывается в той же повести, тюркское слово «ура» означает «бей».

В бомбоубежище «поколения пехт» — мода на политический радикализм. И не только потому, что у комсомольцев шило в заднице. И не только потому, что сытый буржуй не понимает голодного пролетария, а комсомольцам это

не нравится. Важней причин социальных и гормональных — причины эстетические. Умные дети, в общем, понимают, что общество глотает их революционный порыв, возвращая им его в виде товаров — от компакта до курточки. Умных детей это на самом деле устраивает. Но можно и заиграться. Мало кто осознает, что главная мотивация скинхеда — быть хорошим. Быть хорошим и героически бороться с плохими. Если бы юноше просто хотелось подражаться, он бы нашел искомое без затей в любой подворотне. Но требуется эстетика. Тоталитаризм и есть обязательность, директивность хорошего. Как это оборачивается своей противоположностью, старшим товарищам уже известно, а вот комсомольцам — вряд ли. Поскольку здесь мы говорим о литературе, то нельзя забывать основного условия ее производства: она делается одиночками, одинокими людьми. А не вождями. Писателю очень важно оставаться в пределах текста — вернее, отличать себя, внетекстового, от того, кто пишет. Конечно, сегодня писательское поведение не такое, как позавчера. Автор уже не только дух, что витает над страницей. Он становится физическим телом, обретает плоть. Сегодня яичница в бороде и закишие глаза — это непрофессионально. Однако «новый реалист» перестанет быть автором художественного текста, как только потеряет расстояние между собой и своим героем. Энергичная лексика на это провоцирует. (Я не говорю о лексике ненормативной — она здесь просто не обсуждается.) Пить, курить и разговаривать можно начинать одновременно, но литература приходит к человеку несколько позже и на другом его личностном этапе.

Иметь стержень. Быть бойцом. Быть сильным. Нести позитивный мессидж. Все это правильная и здоровая реакция на измельчание людей в литературе, на измельчание задач, на традиционную апологию лузера, у которого просто не хватает (не заложено автором) внутренних ресурсов, чтобы стать героем трагедии. Однако ребята пока не понимают, что бить стекла совсем не обязательно, что им хватит трудностей внутри самой литературы. Главная надежда на то, что природа умнее комсомольца. Если в человеке заложен дар, то словесное занятие само выправляет его в нужную сторону. Повесть Сакина «Умри, старушка!» — тому пример. Герой повести — тот самый скинхед, которым умный политик еще напугает глупого избирателя в нужной для себя точке истории. Однако логика сюжета, зажившего своей жизнью, как только у татуированного Ромео появилась нормальная Джульетта, приводит к опровержению изначально заявленных ценностей. На самом деле автор понимает, что он пишет, не до начала процесса, а во время или даже много после.

В двадцать лет трудно писать прозу, потому что для этого еще не нажито имущество. Почему хорошие рассказы Ирины Денежкиной похожи на многие другие хорошие рассказы? А материал стандартный: молодежные тусовки, клубы и дискотеки везде одинаковы. Молодежная субкультура сравнительно однородна, а на радикальную авантюру вроде вылазки Сакина и Тетерского в Лондон мало кто решается.

Но бывает и такой опыт, который во всех смыслах дорогого стоит. Открытием «Дебюта-2001» стал Аркадий Бабченко — талантливый человек, прошедший чеченскую войну. Один из его военных рассказов называется «Квартира». В разгромленном и разграбленном Грозном солдат-федерал находит квартиру, где еще не побывали мародеры. И он не трогает там ничего, просто иногда сидит в кресле, воображая, будто это его мирный дом. Будто война — это такая работа, с которой можно прийти, как после смены на заводе, а жена нальет борща и будет ворчать, что гранаты грязные и не надо класть их на подоконник.

Если сравнить прозу Бабченко с «чеченской» повестью Андрея Геласимова «Жажда», станет понятно, что опыт молодого автора еще не вполне созрел для литературы. Геласимов, будучи постарше пехт'ов, работает гораздо более профессионально и более осознанно. Понимает, что если сделать вот так, то в

тексте будет вот это. По ряду деталей повести чувствуется, что в Чечне Геласимов не был и на броню не сидел. Однако он сумел выстроить сюжет с элементами мелодрамы и с выходами на некие верхние уровни, где зарождается поэтическое. Герой Геласимова — чеченский ветеран со сгоревшим лицом, все время рисуемый на разных листках какие-то комиксы, видящий на бумажной белизне изображения, которые там уже присутствуют. Образ напоминает «Парфюмера» Патрика Зюскинда, где герой составляет уникальные ароматы, но сам не по-человечески ничем не пахнет. Геласимов, короче говоря, умеет так распределить силовые точки, что напряжение в повести не ослабевает. При этом инженерная драматургия вещи не мешает, но помогает проявляться обаянию авторского письма. Что до Аркадия Бабченко, то лучшая его военная проза, похоже, впереди. Пока Бабченко — тоже «новый реалист». Сравнение его с Геласимовым показывает, что возможности «искренней документалистики» серьезно ограничены. Автор прозы должен придумывать, должен сочинять, шаманить; только тогда его опыт отдаст прозе свой лучший сок.

Антон Фридлянд — писатель совсем другого склада. Самый урбанистический, самый «умственный» из всех известных мне пехт'ов. Киевлянин, он пишет по-русски, но проза его выглядит переводом с какого-то несуществующего эсперанто. Однако бредовые идеи Глеба Шульпякова насчет того, что лучший русский роман сегодня — это переводной роман, здесь не подтверждаются, но опровергаются. Потому что язык, с которого якобы переложена проза Фридлянда, выдуман автором. Как выдуман в «Запах шахмат» несуществующий Киев — европейский мегаполис, единственной узнаваемой «чертой лица» которого остается Днепр. В редчайших случаях гениального перевода ресурс изначального языка не затирается, но умножается: текст получается, как двойной кофе, очень крепкий. У Фридлянда «двойной кофе» получился за счет выдуманного языкового слоя — чистой виртуальности, — при том, что сама проза предельно проста.

Какой опыт идет в романы Фридлянда? Не прямое личное переживание, но некая сумма усвоенной культуры, пережитой как личное. Герои «Запах шахмат» носят имена известных художников, составляющих круг субъективных привязанностей Фридлянда в этой области искусства. И это не только игра, но и некие знаки автора самому себе, подъем тонуса, намек на «двойное» — потому что у всех этих путан и мафиози есть имена и настоящие. За пределами текста, разумеется. Кроме книги «Запах шахмат», вышедшей в издательской программе «Дебюта», мне известен в рукописи и новый роман Фридлянда, рабочее его название «Золотое радио». В этом произведении действие также происходит в интернациональном супермегаполисе, без каких-либо географических, временных и иных привязок. Новый Вавилон венчается Башней, чем-то пронзительно похожей на World Trade Center, — причем роман писался, как всем понятно, до американской трагедии 11 сентября. Чуткость автора к движениям урбанистической среды проявляется не только в том, что Башня (двойная!) взрывается в конце романа. Фридлянд уловил голографичность мегаполиса: в Башне метафизически заключен весь город, часть содержит целое. При этом каждый герой романа несет в себе, как программу, своего двойника.

В отличие от «новых реалистов» с их прямыми зеркалами и прямыми авторскими высказываниями, проза Фридлянда лишена идеологии. Это такая головная, фрактальная эстетика — плюс сюжет, имитирующий боевик. Фридлянд в своей интеллектуальности перпендикулярен «новым реалистам». Сказать ли, что Фридлянд устарел? Но тогда устарел и Данила Давыдов с его пластическими новеллами, где герой — печальный мим в клоунском гриме и черном трико, распластанный перед зрителем на несуществующей стеклянной стене. А ведь Давыдова еще не успели толком прочитать! Впрочем, трактовать «новых реалистов» как передовой отряд литературной молодежи вряд ли стоит: уже послезавтра какие-нибудь сверхновые это опровергнут.

Есть у пехт'ов, играющих в свою игру на своем поле, и целый стадион из скамеек запасных. Это молодые провинциальные литераторы, не очень знающие правила и не совсем понимающие, почему перед ними куча народу бежит за одним-единственным мячом. В провинции оружие массового информационного поражения срабатывает хуже из-за неважных средств доставки: у людей просто очень мало денег, чтобы сидеть в Интернете или покупать какие-то продвинутые издания. У многих нет компьютера. Первую мировую информационную войну люди переживают рассредоточенно, живя натуральным хозяйством, то есть домашней библиотекой. Это сказывается на характере творчества.

Вообще в провинции писатель формируется принципиально по-другому. Он почти никуда не выезжает, мир, который он может описывать, исходя из личного опыта, невелик, обыден и как таковой мало кому интересен. В то же время литературный провинциал сопрягает себя в своей профессии не с приятелем по тусовке Пупкиным и даже не с более продвинутым Папкиным, а, к примеру, с Гарсиа Маркесом, который стоит у него на полке и пахнет печкой. Ориентир для провинциала — далекие мировые величины, в их тени он пишет что-то свое, и эта тень печальна. Мало кому из глухих провинциальных гениев удается дорости до солнечного света, да никто почти и не стремится. Поэтому литература там депрессивна и одновременно причудлива. Ну что, скажите на милость, можно сделать в романе из областного центра? Только фантазмагорию! У писателя единственный путь: надыхать в родное краеведение как можно больше мифа. Тут и Гарсиа Маркес как учитель и образец окажется кстати. Зато литературное хозяйство в провинции действительно натуральное. Здесь авторы не гонятся за модой, но честно вырабатывают художественные ценности и достигают порой такого, чего в столицах ни от кого теперь не дождешься. Так был написан лучший российский провинциальный роман из всех, что мне известны: «Автопортрет с догом» Александра Иванченко.

Разумеется, «Дебют» зачерпнул своими сетями и из этих глубин. Так обнаружилось, что и в провинции пехт'ы от старшего поколения отличаются весьма. Их проза — не депрессивна. «Нового реализма» там не так много, преобладает реализм классический, а также фантазмагорический. Но градус витальности сильно повышен. Известно, например, как часто писатели прокатывают в прозе ситуацию, когда ребенок впервые видит покойника в гробу. Обычно это поиск разных сумрачных состояний, физиологическая поэтика детства и смерти. А вот как преподносит то же самое финалист «Дебюта-2001», гражданин Молдовы Владимир Лорченков: «Улыбнувшись Деду, Этейла отворачивается, когда гроб начинают заколачивать. Перед этим один из братьев старика кладет туда полуторалитровую бутылку вина, и когда просторный гроб опускают в яму, мальчик слышит, как Дед пьет. Землю уже начали сбрасывать, когда раздался глухой стук. Один из могильщиков спускается вглубь и, прислонив ухо к крышке гроба, стоит на коленях около минуты. Закуски хочет, обращается он из могилы к родне покойника. Вот неугомонный старик, всплеснул руками дядя Этейлы; и умер ведь уже, а все выпить-закусить хочет! Не перечь старшему, осадил его мать, дайте. Ей протягивают блюдо с вареной пшеницей, политой жженым сахаром, с несколькими карамелями, и женщина передает его на вытянутые руки могильщика. Тот, вынув четыре гвоздя, сует в щель тарелку, но, что-то услышав, поднимает ее наверх. Мяса хочет!»

Литература такого рода, поступающая на «Дебют», вполне конвенциональна, то есть может быть оценена по вменяемым критериям; чувствуется, что авторы лишней цены себе не набросят, но и своего не отдадут. Как это ни парадоксально, пехт'ы из провинции как художники слова на класс старше жителей столицы. Просто потому, что их всерьез заботит язык, образ, сюжет, мастерство. К примеру, Алексей Лукьянов из Соликамска пишет странную, сдвинутую, но при этом очень изобретательную прозу. Обстоятельный говорок Ивана-дурака гипнотизирует читателя, пока читатель не понимает, что Иван-дурак — большой провокатор. Рассказ «Палка», опубликованный в журнале

«Октябрь»¹, написан от имени простого ненецкого парня, почему-то попавшего служить в военно-космические войска. Но служил герой недолго: во время первой увольнительной какие-то отморозки забили ему в череп два гвоздя, и парень превратился в человека-радио. С этим повреждением он, понятное дело, попал в армейскую «дурку». Заведение не из веселых: объект в духе армейской трилогии Олега Павлова. Но у Лукьянова от ужасного до смешного — всего один маленький шажок. Текст как будто переминается с ноги на ногу, а на самом деле танцует на острой грани между реальностью и фантастикой. Такая клоунада с риском для жизни. В финале выясняется, что иногда и палка стреляет: в руках заключенного — то есть, простите, больного — по кличке Хряк швабра превращается в АКМ, и герой выпускает своих товарищей на прогулку, а сам уходит в неизвестность. После такого поворота автор вдруг берет самый-самый серьезный тон, и читатель понимает, что не развлекали его здесь:

«Раз в год и палка стреляет. Да только кто эту палку заряжает? А перезаряжает?»

Действительно, во что-то надо верить.

И лучше всего — в Бога.

Но Бог ли заряжал швабру?»

Остается сказать про Дениса Осокина из Казани, лауреата «Дебюта-2001» в номинации «Малая проза». Его работа «Ангелы и революция. Вятка, 1923», опубликованная в журнале «Знамя», требует уже не только критического, но литературоведческого анализа. Это произведение не просто человека с задатками, но настоящего художника. Тонкая стилизация под заявленное время, вызывающая некоторые аналогии с «анонимным» Добычиным, но на самом деле очень самостоятельная, наделенная зрелой и твердой интонацией. То, что герой-рассказчик работает в Вятской ЧК, ни в коем случае не присоединяет работу Осокина к «революционной» литературе его харизматически озабоченных ровесников. Вятская ЧК взята для того, чтобы обозначить своеобразный склад мышления и личности героя, обосновать его уверенное «мы», которое всюду появляется вместо «буржуазного» «я». Мир рассказов Осокина — бытовой и одновременно фантастический, сплошные летающие пролетарии и купание красного коня. Это глубоко воспринятая и переосмысленная эстетика. Это просто очень здорово сделано. Чтобы не быть голословной, приведу целиком один рассказ.

Хлебный пролетариат

Из всего пролетариата самый лучший — хлебный. Это люди, обсыпанные мукой и пахнущие самой счастливой истиной, исходящей из земли. У них не такая уж сладкая жизнь, как сладки могут быть их щеки и руки, но, согласитесь, хлебный завод лучше чугунолитейного или угольной шахты. Конечно, эксплуатации человека человеком хватает везде, глаза у наших белых тружеников часто как у обманутых детей. Но поэтому и порыв, и особенное упрямство человека, умеющего делать вкусный калач, и в революционном строю хлебный пролетариат — самая душистая колонна.

Итак, еще раз о поколенческом шовинизме. Явление, конечно, малосимпатичное. Можно отвернуться и предоставить пехт'ов собственной судьбе — тем более, что они как будто только этого и хотят. Можно противопоставить их шовинизму наш шовинизм, закаленный и качественный: мол, послужи-ка, щегол, как дедушка служил. И не заигрывать с «продвинутой» молодежью — об опасности этого занятия не устает говорить Андрей Немзер.

¹ См. также анализ этого рассказа в эссе Марии Ремизовой «Свежая кровь» («Новый мир», 2002, № 6). (Примеч. ред.)

Только «поколение пехт» — на самом деле не завоеватели. Не гунны. Они не идут на нашу литературную территорию. Пиарятся — да, как только могут. Выдают себя желаемых за себя действительных? Само собой. Но при этом остаются там же, где были: сидят в своем бомбоубежище, сверкают оттуда глазами, как мартовские коты. Хотят выглядеть будто опасные зверюги. «Я понижаю старших, — пишет Сергей Шаргунов. — Они трогательно пытаются вникнуть в тинейджерский говор (обрывки можно услышать в толпе на улице), поймать выражение глаз под оранжевыми очками. Сокрушенно думают, разглядывая обритые или пестро выкрашенные бошки: что там в них?» Развеять ли счастливое заблуждение? Никто особо не вникает, выражения глаз не ловит и содержимого бошек не анализирует. Занимаются этим только дядьки, которым ваши пестрые бошки нужны по бизнесу. Как арбузы. А говорок, кстати, в основе своей блатной, уголовный, попадает в толпу совершенно из других источников.

Если человек за что-то страстно борется, он на это непременно напорется. Можно стать «писателем» на час, а можно стать писателем навсегда. Если происходит первое, то второго, скорее всего, не случится. Или случится, но через такую ломку, какой не пожелаешь самому злему литературному врагу. Мне дорого то, что многих наших «дебютантов» опубликовали толстые литературные журналы. Это — постанова в контекст. Как ни нападай на «толстяков», но старый добрый формат позволяет, просто перелистнув страницы, взглядом сопоставить известного писателя и писателя-новичка. Что само по себе прекрасный урок, хотя бы и технический.

Бойцам же, которых почему-то занесло в прозаики, могу сказать: правильной дорогой идете, товарищи! Потому что в литературе (а не в игре и не в пиаре) выживает сильнейший, и мало вам не покажется. Скоро и к вам приедет ревизор.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

ЗЕЛЕННЫЕ ИГРЫ

Олег Постнов. Страх. СПб., «Амфора», 2001, 285 стр.

Какое бы впечатление ни вынес читатель «Страха», в одном он наверняка не откажет автору — в начитанности. Сделав повествователем в первой, основной, части романа профессионального филолога, Олег Постнов не упускает возможности продемонстрировать, что его герой весьма эрудированный человек, когда дело касается литературы, преимущественно западной, но и отечественной тоже. И не только литературы, а вдобавок и философии. Эпиграф из Кьеркегора провоцирует ожидание интеллектуальных глубин и больших обобщений. Хотя, если присмотреться, рассказывается довольно тривиальная история мальчика с университетским дипломом, вплотную соприкоснувшегося — из-за превратностей жизни, из-за собственных странных пристрастий — с грязью и гадостью, которые обильно выплеснулись на поверхность, когда в начале 90-х годов свершался наш неуклюжий поворот к новому социальному состоянию, к «открытому обществу».

Как тысячи других, герой Постнова в этот поворот не вписался, и вот мы уже видим его обитателем какого-то невзрачного городка в штате Нью-Джерси. Он коптит небо, ведя существование скучное, но безбедное, обеспеченное продажей московской квартиры в элитном доме на Кутузовском и удачным помещением выроченной суммы, о чем позаботился приятель, знающий толк в подобных делах. Пустые будни скрашены нечастыми поездками в Нью-Йорк, в русское издательство, для которого герой редактирует книжку рассказов Эдгара По, кажется, так и не вышедшую.

Попутно он мелким почерком пишет в школьных тетрадках хронику своего прошлого, и после его исчезновения эта хроника попадает в руки О. П., решившего ее опубликовать без существенной правки. Внешней необходимости использовать затертый прием не было, тем более что остается непонятным, каким образом в доставшийся О. П. пакет попала еще одна рукопись, где уже героиня повествует о кое-каких подробностях, не вполне ясных из исповеди героя. Однако нечего обращать внимание на такие неувязки, поскольку автора менее всего заботит, чтобы его рассказ воспринимался как жизненно правдоподобный. Автор поглощен имитацией, стилизацией, литературной игрой по правилам, установленным тем писателем, русские переводы которого сличает с оригиналом рассказчик. А эти правила, среди прочего, требуют и чужой рукописи, найденной в бутылке, как у По, или, как в «Страхе», доставшейся от знакомого букиниста.

Букинист позаботился и о том, чтобы библиотека рассказчика исправно пополнялась сочинениями авторов, которых без Эдгара По в литературе просто не существовало бы: Бирса, из шегольства именуемого Амброзием, хотя он был Амброс, Лавкрафта, а также некоего Говарда, похоже, вымышленного (упоминаемые справочниками три англоязычных драматурга, которые носили эту фамилию, не интересовались ни фантастическим, ни чудесным). Впрочем, это перечисление вовсе не исчерпывает список литераторов, предоставивших материал для излюбленных Олегом Постновым реминисценций и цитат, которыми определена стилистика его книги. Список обширен, и за его полноту сможет поручиться разве что какой-нибудь добросовестный диссертант, которому «Страх» предоставит повод для очередного опуса на модную теперь тему интертекстуальности.

Но, даже довольствуясь прямыми авторскими указаниями, невозможно не оценить рискованность соединения явно разнородных текстов, которые помогли изготовить — еще одно расхожее слово — гипертекст под названием «Страх». Сочинительница пугающих историй про готические замки с окровавленными призраками Анна Радклиф из своего XVIII столетия вступает в диалог с Германом Гессе, а «Женщина в белом» Уилки Коллинза оказывается в близком соседстве с купринской «Олесей». Потерявший свою тень юноша Шлемиль, которого выдумал немец-

кий романтик Шамиссо, аукается с Турбиным, бегущим по киевским улицам под пулями петлюровцев. Повести, рассказанные вечерами на хуторе близ Диканьки, подсвечены отсылками к мистическим образам Блейка. Причем гравюры Блейка — случай воистину невероятный — обнаруживаются, да еще в изобилии, у тетки героя, учительницы английского языка, занимающей квартиру где-то в пятиэтажке на Парковых улицах у метро «Измайловская». Ленинка беднее, там есть только альбом неважных репродукций.

Увязнув в густом вареве раскрытых или подразумеваемых цитат, читатель «Страха» начинает с напряжением ловить какой-то сокрытый высший смысл в перипетиях любовного сюжета, который завязывается неподалеку от Киева, в усадьбе, называющейся Плакучие Ивы, а завершается гибелью героини, уехавшей с мужем в Америку, но и там терпевшей лишения, пока последствия чрезмерно бурной юности не положили конец ее печальной истории. Что-то, видимо, таится за этими непритязательными сценами подростковой сексуальной инициации и последующих спорадических вспышек страсти, происходящих с многолетними интервалами, с вынуждаемой обстоятельством поспешностью, с механическим иступлением неутоляемых инстинктов. Автор щедр на подсказку: таится за ними «тайный выбор» героя, его «ужимка воли, неуместность желаний. Или, может быть, просто ошибка ума». Не из-за нее ли теперь, в обустроенном типовом американском домике, у героя «беспредметная боль в душе»?

Само собой — нет, не из-за нее, по крайней мере не только из-за этой ошибки, которой, возможно, и не было. Объяснения, предложенные героем, чересчур просты, чтобы ими оправдать то и дело о себе сигнализирующий аромат фантазмагории, напоминания о том, что в роду героини водились ведьмы и что нечто inferнальное присуще ей самой, обожающей купания нагишом в лунные ночи на глазах ошалевшего от подобной смелости московского дачника всего одиннадцати лет от роду. Его столь же юная прельстительница явно принадлежит таинственной стихии, перед которой ум, заблуждающийся или нет, беспомощен, потому что тут властвует магия. Или же «вздор из тех, что Бердяев зовет „фантазмы“, возбуждавший, однако, раз за разом мой пыл». Или никуда не отпускающий «зеленый мир», в котором теряются, обрываясь, цепочки рациональных построений и сама логика смущенно отступает, освободив место для «метафизики», отчего-то склоняющей все только к «бесстыдству и разгулу».

В пространстве этого мира волшебных смещений, перевернувшихся понятий, освобожденных сокровенных помыслов, которые избавились от бремени ограничительных норм, герои и заняты своими «зелеными играми», растянувшимися на целую жизнь. Они, правда, немножко поучаствуют и в тусклой реальности нашего общественного существования: она, натешившись мимолетными эротическими приключениями в киевских парках, расчетливо выйдет замуж с целью покинуть родные палестины ради заокеанского рая, а он, утомленный однодневными подружками, которым никак не удавалось вытеснить влечение к панночке, лихо скидывавшей платье, когда они ночами катались на лодке в Плакучих Ивах, вдруг окажется причастен к толчкам истории — шальной осколок легко его ранит солнечным августовским вечером, когда по Москве разезжали танки и шли демонстрации под непривычным тогда трехцветным флагом. Но все это только мелкие эпизоды, ненадолго отвлекающие от основного дела, которым заняты и он, и она — в своей не то любви, не то горячечной одержимости постигающие существо собственной человеческой природы. А когда оно открылось — в беспутстве, которому автор не слишком успешно пытается придать флер поэтичности, — он испытает тот самый обещанный эпиграфом страх перед иррациональной силой, ужасающей, но и притягательной неодолимо. Ведь у Кьеркегора сказано: «Чего мы боимся, того мы желаем вместе с тем».

Назвать идеологему, на которой построен роман, оригинальной — значило бы сильно погрешить против истины. Но на открытие Олег Постнов и не притязает. Его текст, повторю, насквозь литературен, повторю, в том смысле, что он тесно заполнен отголосками других текстов, и это осознанная авторская позиция. Ощувив ожог от ранения, герой, валяющийся на асфальте, размышляет вовсе не о том, пришел ли его последний час, а о правоте Пушкина, писавшего про русский

бунт, неправоте Толстого, думавшего, что в душе раненого поднимается буря воспоминаний, надежд, сожалений, и о красивой фразе Грина (видимо, Александра): «Повесть, законченная благодаря пуле». Дедовский курятник вблизи Плакучих Ив для героя не иначе как animal farm, чтобы ни к селу ни к городу одобрить описание деревенской идиллии аллюзией на Оруэлла. Оглядываясь на дни, предшествующие первому соприкосновению с магической властью эроса, повествователь занят — кто бы подумал? — не попытками оживить тогдашние волнения и муки, но мыслями о зыбкости любого кошмара на фоне скучных дел дня, а вместе с тем и о его, кошмара, неодолимости. Заметим, эти мысли откровенно взяты напрокат у По, у Бирса, у Лавкрафта, подарившего и нужное для данного случая определение: «эндуастос» — состояние между верой и неверием, когда знаешь, что происходящее невероятно, но принимаешь невозможное безоговорочно.

Тут можно было бы предположить, что автор лишь добросовестно описывает определенное устройство сознания, не способного справиться ни с одним происшествием без многочисленных литературных подпорок. Однако роман написан так, что для подобных предположений не возникает ни малейшего повода. В предисловии от «издателя» О. П. не зря предупредил, что воздерживается от оценок печатаемого ниже текста, находя писательский дар его автора безусловным и ничего не исправляя, если не считать технических огрехов. Дистанции между Олегом Постновым и повествователем не чувствуется нигде.

А душевное их сродство самым очевидным образом проступает на страницах, которые, похоже, призваны впрямую обозначить основную мысль всей книги. Там присутствует рассуждение о том, что недопустимо греться «на солнышке силлогизмов», отказываясь поразмыслить «о черной пустоте внизу». Ибо действительность — сложное хитросплетение, и где для большинства торжествует реальное, на самом деле царит иллюзия, демонстрируется некий театральный фокус, создающий обаяние достоверности, хотя тут просто декорации, сыгравшие злую шутку с излишне доверчивым зрителем. В сущности, ведь и роман Постнова — главным образом опыт демонтажа этих «декораций», а жизненная неудача его героя — в конечном счете расплата за то, что он поддался страху, когда они начали рассыпаться.

Несложно распознать, из каких источников Олег Постнов черпал свое вдохновение, обдумывая замысел «Страха» и отбирая нужные художественные ходы. Борхес упомянут у него только один раз и как бы между делом, но с подчеркнутой почтенностью к «великому аргентинцу». Мимоходом упомянут и Набоков, чтение которого помогло герою осознать, что его биография легко укладывается в контекст метафизической гнусности существования — увы, тоже сверх меры знакомый и сугубо литературный. Как будто бы описывается настоящая драма, а выходит просто вариация мотивов, обладающих почтенной литературной историей, но не доказывающих своей творческой действенности. И в итоге такое чувство, что почти все поддельно, — пользуясь определением самого автора, «вроде того, как, зайдя в антракте за кулисы, можно потрепать по щеке короля Лира или чмокнуть Джульетту в плечо».

Разумеется, нет ничего зазорного в том, чтобы отдать предпочтение таким литературным учителям. Ничуть не порок — следовать поэтике, смешивающей сон и явь, предполагающей реальность «зеленого мира» или опутывающей авторское повествование «сплетением чужих нитей». Решает ведь не выбор повествовательного ключа, а писательская установка или, говоря театральным языком, сверхзадача. Подразумеваемая «Страх», она преимущественно свелась к тому, чтобы показать, что в навыке создания текста, где многочисленные чужие нити образуют достаточно прочный клубок, автору не откажет никто.

Право же, это слишком скромный результат. Не стану судить, до какой степени новым является выбранное в «Страхе» художественное решение для современного русского романа, однако на европейском фоне оно выглядит вполне ожидаемым — наверняка это не тайна и для автора с его усердно выказываемой эрудицией. К тому же оно не только ожидаемо, а, пожалуй, уже несколько старомодно. Времена, когда подобные парады цитат считались неременным условием, чтобы снискать репутацию истинно современного прозаика, прошли. Велик ли выигрыш в том, что мы опять покажем свою сопричастность Европе, опоздав на десяток лет?

Говорить обо всем этом грустно и досадно, потому что Олег Постнов — писатель с несомненным дарованием. И проявилось оно отнюдь не в одних лишь интертекстуальных умениях, даже и вовсе не в них, а в доказанной им способности писать текст яркий и выразительный, незаемно метафоричный, согретый неподдельным лиризмом и невыдуманной ностальгией. Достаточно прочесть в его романе описание Киева под теплым июньским дождем, одноколенчатых лестниц, по которым так соблазнительно предпринимать небезопасные спуски на Подол, неразберихи улочек вроде Кожемякской или Дегтярной, запахов дегтя в безмянных тупичках, «инвентаря чужой закулисной жизни, усыпавшей склоны». Булгаков здесь, конечно, вспоминается немедленно, он даже назван впрямую, а все равно возникает ощущение подлинности самой картины и воодушевившей ее мысли о «поисках новых явлений мира, столь щедрого на гостинцы, если их ищешь».

Может быть, со временем, когда зеленые игры неокрепшего пера закончатся, Олег Постнов и сам почувствует, как справедлива эта им же сформулированная аксиома.

Алексей ЗВЕРЕВ.



ЛЮДИ И ДИБУКИ

Исаак Башевис Зингер. «Страсти» и другие рассказы. М., «Текст», 2001, 317 стр.

О том, что Исаак Башевис Зингер (1904 — 1991) — американский писатель, выходец из Польши, сочинявший на идиш, языке восточноевропейских евреев, — стал лауреатом Нобелевской премии 1978 года, наши читатели могли в то время узнать только из журналов «Америка» и «Курьер ЮНЕСКО» — отнюдь не самых доступных. Там же можно было прочесть и небольшую подборку рассказов Зингера, многие годы остававшуюся единственной его публикацией в нашей стране.

Литература на идиш — огромный фрагмент европейской культуры XX века — фактически была истреблена вместе с восточноевропейским еврейством во Вторую мировую войну и с уничтожением советских деятелей еврейской культуры в период «борьбы с космополитизмом». Памятником этой погибшей, погубленной культуре стало присуждение Исааку Башевису Зингеру Нобелевской премии.

Загадка Зингера: писатель, сочинявший на языке, на котором уже почти не осталось читателей.

Западный читатель знает Зингера в переводе на английский, а наш — соответственно в двойном переводе (по-русски существует лишь несколько переводов с языка оригинала — в том числе А. Эппеля и Л. Беринского). Между прочим, одним из первых читателей Зингера в нашей стране был Корней Чуковский — в 60-е годы он восторженно отзывался о его прозе в письмах к своей израильской корреспондентке. Чуковский читал Зингера, конечно, по-английски — в изданиях, привезенных или присланных кем-то из-за границы, лет за двадцать до того, как его начали широко издавать у нас.

Сборник рассказов «Страсти» (перевод с английского Д. Веденяпина) впервые был издан в Англии в 1976 году и, что важно, составлен самим автором.

«Страсти» — книга-складень, книга-двойчатка. Были такие книги в старину: на одной странице, рядом с буквицей, изображена заставка — солнце, на другой — луна. Рассказы, написанные под «солнечной» заставкой, — о людях из детства Зингера, евреях «штеттла» — польского местечка начала века. Время волшебным образом (оборот, который к Зингеру очень подходит) «законсервировалось» в этих местечках и этих людях. Круг их жизни очерчен вековечным укладом, исполнением предписанных раз и навсегда обязанностей и ритуалов, следованием заветам отцов и Писания — и в то же время в их жизнь мощно врывается и направляет ее Потустороннее. Вся наша жизнь, полагает Зингер, находится под огромным влиянием мистических сил — не важно, верим мы в их существование или нет.

Герои рассказов сборника, так сказать, «под знаком луны» — те же восточноевропейские евреи, но пережившие Холокост и большей частью успевшие до Второй

мировой войны сбежать от Гитлера в Америку. Обычный персонаж «американского» Зингера принадлежит современной, послефрейдовской цивилизации, то есть он уверен, что жизнь познаваема и управляется физическими законами, а человек состоит из нескольких неврозов, нескольких комплексов и нескольких фобий (так же, как другой герой его прозы — человек штеттла, укорененный в иудейской традиции, — точно знает, что жизнь непостижима — все в руках Провидения, полна тайн и чудес, но законы ее едины и записаны в Книге Бытия раз и навсегда).

Размеренного ритма и несуетного мира штеттла давно не существует, с начала XX века он вытеснялся на обочину существования громающим потоком современной жизни, границы и сердцевина его размывались эмансипацией и реформаторскими идеями в 20 — 30-х, и окончательно он был сожжен в топках Холокоста в 40-е — как кажется, навсегда.

Если на одном «полюсе» у Зингера — «закат европейского еврейства», то на другом должен быть, как можно ожидать, «рассвет еврейства американского» (и — рассвет Америки, созданный евреями — выходцами из Европы). Но в том-то и дело, что ничего похожего там нет. Его «лунные» люди почти всегда живут отраженным светом — светом своей юности, своего детства, а то и воспоминаниями о том, чего никогда не было с ними... Призрачные люди *того* мира, его давно исчезнувшие запахи, его навсегда ушедшие звуки проникают, «просачиваются» оттуда в мир нынешний — и это решительно и явственно меняет жизнь зингеровских персонажей («Последняя любовь», «Ханка», «Поклонница»). Гости из прошлого кажутся реальнее, чем настоящее героя, — хотя везде указано на мистический характер их появления: их имена не остаются в телефонной книге, номера их телефонов исчезают, сами они пропадают так же внезапно, как и появляются...

Рассказы из «заокеанского» цикла сами по себе поразительны. Герои американских новелл Зингера вполне могли бы стать героями другой американской прозы, какого-нибудь «Титана» или «Финансиста». Это — люди, во многом сотворившие феномен Америки XX века, создавшие Нью-Йорк — величайший город мира. Некоторые из них — просто олицетворение «американской мечты»: эмигранты первого поколения, покорители Америки и победители судьбы, казалось бы, стоящие на вершине жизненного успеха, — знаменитый еврейский писатель, лирический двойник автора («Поклонница»), миллионер Гарри Бендинер («Последняя любовь»), другой нью-йоркский миллионер, покровитель писателей и актеров Сэм Палка («Сэм Палка и Давид Вишковавер»), еще один покровитель еврейских писателей и художников, владелец фирмы недвижимости Борис Лемкин («Новогодний вечер»)... Каждый из них — «селфмейдмен», и разве могут быть сомнения в том, что он — сам себе режиссер, автор сценария собственной судьбы и исполнитель ее главной роли? В том-то и дело, говорит Зингер, что все не совсем так. Вовсе не в такой степени люди способны вносить поправки в свою судьбу, как об этом принято думать. Что-то им всем, зингеровским селфмейдменам, мешает чувствовать себя «в своей тарелке». Каждый из этих новых американцев несчастен и одинок, это человек, добровольно выпавший (или насильно вырванный) из традиции, лишенный чувства защищенности, он напуган будущим и беспомощен перед настоящим. Но судьба дает ему шанс найти опору в этом мире. И — не заключена ли здесь зингеровская ирония? — «опора» является в образе женщины, странной польской еврейки, одержимой дибуками (дибук — это душа умершего), с несложившейся личной жизнью, не сумевшей приспособиться к этому миру, как бы застрявшей в прошлом. Эта женщина принадлежит реальному историческому прошлому героя, и она же — проводник древней мистической традиции. Момент встречи с прошлым в прозе Зингера — всегда «момент истины». Преуспевающий Сэм Палка настолько нуждается в своей Ханне-Басе — посланнице из его юности — и вместе с тем настолько не способен соединить с ней, с этой странной и старомодной женщиной, свою нынешнюю жизнь, что ему ничего не остается, как стать собственным двойником — Давидом Вишковавером. И у Бориса Лемкина есть такой спутник из прошлого — друг и телохранитель Гарри, «тень Бориса», почти неграмотный человек, на самом деле — нянька, опекун и единственный друг капризного и неприспособленного к жизни Бориса, пожертвовавший своей карьерой и даже личным счастьем ради друга.

В прозе Зингера существуют, враждебно не принимая друг друга и в то же время постепенно проникая друг в друга, мир штеттла — архаичный, закрытый, *затерянный мир* (затерянный — для европейской цивилизации), где человек укоренен, где он всегда на своем месте, поддержанный инерцией мощной многовековой традиции, и мир мегаполиса — современного большого города, где человек выброшен из привычного уклада, предоставлен сам себе и *затерян в мире*. Пепел восточноевропейских местечек стучит в сердца новых американцев.

В одном автобиографическом рассказе герой — юный учитель, почти мальчик — видит удивительный сон: он борется с какой-то женщиной, и во время борьбы им странным образом передаются способности друг друга, как будто флюиды одного проникают в другого, — и эта борьба происходит в присутствии кого-то третьего, неназванного, распевającego рифмованные строчки («Учитель в местечке»). Этот сон — замечательная метафора зингеровского конфликта и зингеровского сюжета.

«Жизни мышья беготня» все-таки проходит в ожидании грядущего прихода Мессии — и оно одинаково осеняет и тесные малолюдные улочки европейского штеттла прошлого века, и переполненные людьми улицы современного американского мегаполиса.

Но это, так сказать, двоимирие внешнее. В двоящейся, мерцающей прозе Зингера — не важно, где происходит действие — в Польше начала века или в современной Америке, Бразилии или Португалии, — сквозь видимые образы материального мира постоянно прорывается свет, сияние — оттуда, из подлинно другой жизни, где души людей — живых и умерших — общаются, где нет непроходимой пропасти между мыслями и чувствами одних людей и других, где все живое, жившее и еще не родившееся связано и сцеплено в единую дрожащую, натянутую ткань. Зингеровская «ноосфера»...

Сборник озаглавлен «Страсти» — и необыкновенным страстям героев Зингера, как и чудесному стечению обстоятельств в их жизни, веришь как-то сразу и безоговорочно. Вообще эта проза вызывает у читателя максимальное сопереживание, редкую для современного чтения эмоциональную включенность — и почти наверняка понравится всем. По собственному признанию Зингера, во всех его рассказах звучит «музыка идиша» — но для читателей, которым эта музыка невнятна (а все же таких — большинство), он все равно окажется писателем жизненно важным. Читая его прозу, можно знать основные идеи Каббалы и подробности быта еврейских местечек начала века — а можно не знать. Простодушный читатель его прозы будет столь же вознагражден, как и оснащенный. Потому что эта проза совершенно не о том, как потомок польского раввина повстречал в Америке свою бывшую соотечественницу, а о том, например, как человек долгие годы живет в мучительном и несчастливом браке, не переставая мечтать о счастливой любви (или уже не надеясь ее встретить), потом встречает настоящую любовь... — и тут почти всегда оказывается, что соединиться с любимой невозможно. Что это? «Дама с собачкой»? Нет, это «Сэм Палка и Давид Вишковой». И еще — «Ее сын». И еще, и еще, и еще... Лучшие его рассказы — о том, как люди мучают друг друга и не могут расстаться, любят друг друга и не могут соединиться.

Зингеровская любовь — всегда любовь-страсть, любовь-зависимость, даже любовь-припадок (как много значил для него Достоевский!) — и всех его героев жалко. Страсть у Зингера — чаще всего женская — обладает совершенно разным «зарядом»: она может стать источником силы и желания, а может лишить мужчину силы и вообще обрубить какие-то возможности его дальнейшей жизни (об этом — один из самых пронзительных и страшных рассказов сборника, «Сестры»). О том, как материнская любовь-страсть разрушила жизнь сына, — рассказ «Танец» (уже из другой книги). Зингер знает, как часто страсть связана с зависимостью или жертвенностью. У него представлено много видов жертвенности — и, видимо, он отделяет подлинное великодушное самопожертвование (как у Гарри из рассказа «Новогодний вечер») от эгоистичной лжежертвенности, в основе которой — деспотизм, чувство собственности и страх одиночества.

Все его герои одержимы страстью (чаще всего любовной, хотя у Зингера страстью может стать все — и дружба, и вера в Бога, «и даже лузгание семечек», как

говорит один его персонаж), и эта «одержимость» у Зингера всегда как-то связана с другим, мистическим миром; человек, обуреваемый страстью, получает доступ к силам потусторонним, и их вмешательство делает возможным то, что не могло бы осуществиться в обычных обстоятельствах (об этом — рассказы «Ведьма», «Сестры»). Чудо возможно, как бы предупреждает Зингер, но оно возможно в любую сторону — его «окраска» зависит от души человека, через которую приводятся в действие механизмы чудесного, сами по себе безличные.

Мистика и знание странным образом не конфликтуют в рассказах Зингера. В центре его «современной» прозы — зачастую американский (или европейский) интеллеktуал. Писатель это подчеркивает. В его рассказах и повестях обычное дело — встретить полемику с идеями Спинозы или Шопенгауэра. В разговорах его герои то и дело прибегают к авторитету Павлова, Юнга, Ницше. Но как-то получается, что человек, вооруженный знанием новейших научных теорий, испытывает такое же бессилие перед загадками природы и жестокостью истории, как и его непросвещенный предок. «Я читала Фрейда, Юнга... но они не способны мне помочь», — признается одна из его «странных» героинь.

Блестяще образованный, европейски образованный писатель — сторонник ли Зингер прогресса, знания, познаваемости? Кажется, что его рассказы — не декларациями автора, а самой логикой повествования — бросают насмешливый вызов любимому лозунгу XX века: «Нам тайны нераскрытые раскрыть пора». «Объяснить вообще ничего нельзя», — повторяет он то и дело.

Еще одна горестная нота звучит в его сочинениях — то скрыто, то откровенно.

Вот рассказ «Три встречи» — тоже, кажется, в череде зингеровских историй о польской девушке, оказавшейся в Америке, которая пытается, но так и не может укорениться в новой жизни. Первая же встреча с героем — молодым писателем — стала для Ривкеле решающей и даже роковой, именно под влиянием его рассказов о Варшаве, его пылких уговоров покинуть «болото», ее родной Старый Стыков, — ради яркой и интересной жизни в столице она решается порвать с традицией и переменить свою участь. Сам герой, вспоминая об этом первом разговоре, признается: «Меня посетило странное чувство, что моими устами говорит дибук какого-то древнего „просвещенного“ пропагандиста». В их последнюю встречу, уже через много лет, в Америке, Ривкеле, которая испытала за это время много горя и разочарований, бросает своему «искусителю» горькую фразу: «Вы в ответе за все, что со мной произошло».

Здесь вступает очень важный для Зингера мотив — мотив ответственности: одного человека перед другим, одного народа перед другим, одной цивилизации перед другой... «Ты в ответе за тех, кого потревожил, за тех, кому не помог, за тех, кого не спас». У Зингера есть ряд рассказов, объединенных этим мотивом. Вот «Сын из Америки» (из одноименного сборника) — о том, как к старикам из польского местечка начала века приезжает сын, который давно эмигрировал в Америку, разбогател и теперь явился с дорогими подарками и большими деньгами. Но родители отказываются от его даров. «Что же будет с деньгами?» — спрашивает он. «Возьми их себе». — «Может быть, нам построить синагогу побольше?» — «В синагоге хватает места». — «Может быть, богадельню?» — «У нас никто не спит на улице». «Он хотел облагодетельствовать все местечко... Но местечко в этой глуши ни в чем не нуждалось».

Здесь эта тема звучит еще очень осторожно — в вариации «Не мешайте нам. Дайте нам возможность жить той жизнью, которой мы живем», — а дальше звенит, нарастая от рассказа к рассказу, и достигает, может быть, своего пика в «Гаснущих огнях».

В начале прошлого столетия мальчишки польского штеттла собрались в синагоге и слушают рассказы старого шамеса о необыкновенном празднике Ханука. Однажды, когда тот был малышом, на Хануку как-то ни одна свеча, ни один светильник не зажегся ни у раввина в доме, ни у кого. Так было два дня. На третий день к раввину пришла старушка и рассказала, что уже вторую ночь является ей во сне недавно умершая маленькая внучка и говорит, что она мечтала дожить до Хануки и просила молиться о том, чтобы увидеть ханукальные огни... Но они плохо

молились, и теперь их праздник состоится на ее могиле. Только на кладбище на ее могиле зажгутся их ханукальные свечи. Не знал раввин, что и сказать, а на следующий день огни гасли по-прежнему. В общем, городок отметил Хануку на кладбище, и в это время стих буран, чуть не всю неделю заметавший его снегом.

Анна Мисюк, одесская исследовательница творчества Зингера, предлагает такой вариант прочтения этого рассказа. Он написан почти сразу после войны, когда американские евреи только узнали первую страшную правду о Катастрофе. Они в этот момент почувствовали себя последними, оставшимися на краю, на грани, а за океаном простиралось огромное многомиллионное еврейское кладбище. К своим землякам, к еврейским общинам Штатов, обращается писатель: вы плохо молились, как бы говорит он им, вы боялись поднять свой голос, вы не помогли, не напряглись, а теперь они погибли, ваши родные, земляки, соплеменники, и праздничные огни обратились в поминальные.

Впрочем, тон осуждения и обличения не близок Зингеру. Если в его прозе есть упрек, то он действительно «невывыказанный».

Зингер мужественно знает, что физического спасения не существует. Существует физическая гибель, почти всегда ужасная, — как гибель европейского еврейства в XX веке.

Но есть еще надежда на другое спасение, на другую помощь. Хотя совершенно непонятно — ей-то откуда взяться после чудовищного опыта прошлого века, после невыносимого опыта человеческой истории вообще, после догадки, что, «в сущности, из этого положения есть только один выход: нужно вообще перестать праздновать шабат, называемый жизнью, и, разорвав цепь причин и следствий, мужественно встретить смерть — подлинную основу мироздания».

Зингер об этом помнил. Помнил и о другом. Вот об этом, например: «Внизу шумело море. С ревом пронесся самолет. Высоко-высоко сияла звезда, которую не смогло затмить ни фонари, ни неоновые рекламы. Хорошо, что хотя бы одну звезду видно, а то вообще забудешь о том, что есть небо».

Ольга КАНУННИКОВА.



БЕЗ НАРКОЗА

Николай Кононов. Пароль. Зимний сборник. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 110 стр.

Мы знаем немало поэтов, муза которых находится в ближайших родственных отношениях с покровительницей искусств музыкальных. В такой поэзии преобладает эвфоническое начало, стихи строятся как музыкальное произведение, изобилуют аллитерациями, ассонансами, сложной звуковой игрой. У других поэтов налицо близость к изобразительным искусствам — ярко выражен именно зрительный образный ряд, и стихи воздействуют прежде всего на ту часть нашего воображения, которой подведомственны всевозможные пластические искусства.

В поэзии Николая Кононова обе эти стихии представлены, пожалуй, в одинаковой степени. К нашему зрению его поэзия апеллирует так же часто, как и к слуху. (Равно как и сам автор, будучи человеком разносторонне образованным, столь же отменно разбирается в изобразительных искусствах, как и в музыке, — сейчас он активно выступает в качестве художественного критика.)

Однако среди вдохновительниц поэтического творчества Николая Кононова есть еще одна, гораздо более редкая, но весьма актуальная для сегодняшнего литературного процесса героиня. Это Асклепия, покровительница медицины. Особенно ярко проявилась ее роль в последней стихотворной книге Кононова, выпущенной издательством «Новое литературное обозрение» в серии книг, вошедших в «шорт-лист» премии Андрея Белого. Фактически все, с чем имеет дело читатель этого сборника, весь материал, представляющий интерес для нашего поэта, есть история болезни.

История болезни, история боли, боль в развитии — вот сквозная тема этой книги. Своя, общечеловеческая, чужого дяди, ангельская даже — здесь хватает всего. Любование этой болью. Мучительное стремление поставить диагноз. Просто констатация факта. Истошный крик, наконец.

Свети, свети сюда — как в цирке Чинизелли
взлетает интегралом акробат,
И формулу небытия под золотым платком
выносит фокусник,
Меня распиливали трижды.
О, больно, больно, больно, больно мне!
У фронтальной палатки меня сшивает
доктор Нафта без наркоза...

Поэт есть человек страдающий. Так было во все времена, так осталось и теперь. О том, откуда происходит поэзия, лучше всего сказано в пушкинском «Пророке». Конечно, «уголь, пылающий огнем» в груди поэта, на современном языке можно назвать патологически низким болевым порогом, но это, по сути, ничего не изменит. Важно, что только те немногие, кто обладает этим сомнительным для частной жизни, но незаменимым для творчества достоинством, в состоянии внять всему тому, что перечислено у Пушкина. Другое дело, что сама картина мира за эти два века, а в особенности в течение века двадцатого, переменилась. Переменился и взгляд поэта на нее — как на горные, так и на земные ее составляющие. Сегодняшний поэт, вооруженный мощным опытом юнгианства, психоаналитическим и постструктуралистским знанием, может позволить себе гораздо более смелое вторжение в те сферы, которые прежде казались закрытыми, табуированными. Именно так ведет себя и наш автор.

Современные психоаналитики активно практикуют так называемый метод парадоксальной интенции. Смысл его несложен: доводя ситуацию до абсурда, врач помогает пациенту захотеть именно того, чего тот раньше боялся. Таким образом, глядя на свой страх как бы со стороны, человек от него избавляется.

Николай Кононов совмещает в одном лице и терапевта, и пациента. Не случайно одно из стихотворений в этой книге именуется «Сеанс лингвокоррекции». Собственно, такую функцию выполняют многие стихи из «Пароля».

Стихи Кононова легко могут шокировать, поскольку его терапия — шоковая. Помню одно из поэтических чтений в Петербурге, когда некий взволнованный слушатель попытался броситься на поэта с кулаками — после того, как тот прочел свое стихотворение, посвященное «братьям-близнецам, московским комсомольцам Унылко».

Мамаше приелась дочь, и она тихоню 3-х лет
на участке
Душит прыгалкой, расчленяет тело, обливает
купоросом,
В топи утаптывает останки, но на другой день
Все выбалтывает по телефону мужу —
никчемному отставнику,
С которым не живет, и он копит на нее
ярость, и тайно
Приносит с собой кол возмездия, выточенный
из черенка
То ли лопаты, то ли мотыги, и без слез
детоубийцу
За садизм со словами: «Получи» — забивает...

Это стихотворение написано в форме кляузы от имени «коренного россиянина, москвича и обиженного вкладчика» Трофима Амфидольича Фонлебена. Здесь наиболее гротескным образом проявлена характерная для этой книги особенность — поэт проникает во внутренний мир некоего персонажа, существующего где-то по соседству, здесь и сейчас, и одновременно, как выражается наш автор, — «ниже лимба».

Заметим, однако, что Кононов далек от стремления к эпатажу ради эпатажа. Он ставит перед собой слишком серьезные задачи, чтобы отвлекаться на какие-либо дешевые трюки. Стихи, собранные в эту книгу, — свидетельство о катастро-

фическом сознании человека, живущего на переломе тысячелетий, в темном провале между творением и творцом, знаком и означаемым, — и стремящегося познать эту бездну, подчинить ее гармонической логике.

Вообще основной пафос поэтического творчества Николая Кононова можно определить как тотальное преодоление инерции — мыслительной, языковой, общепринято-поэтической.

Его поэтике свойственны резкие стилистические сдвиги. От возвышенного слога, от велеречивости, отсылающей к самому истоку русской поэзии, к силлабическим волхвованиям Симеона Полоцкого, поэта переносит к деструктивной эстетике замусоренного сленгом нашего бытового разговора, нежный слог традиционно-гармонического стиха перемежается с обценной лексикой.

Не менее характерны для него пространственные и временные смещения. От воскресшего Лазаря он молниеносно пикирует к дальнобойщику на «КаМАЗе», из устрашающего Мончегорска — к итальянским и голландским, по-своему травматическим красотам, а доктор Нафта из «Волшебной горы» Томаса Манна соседствует в его книге с арестованным турком, приехавшим в Россию строгать шаверму.

Эта многонаселенность — как если бы поэт живописал существование обитателей некой метафизической, необъятных размеров коммуналки, где соединены персонажи различных времен и народов, — прежде была не столь характерна для Николая Кононова. Возможно, эта новая особенность объясняется тем, что в последние годы автор «Пароля» самым активным образом пишет прозу. Разумеется, герои в его беллетристических вещах несколько иные, и действуют они по иным законам, диктуемым прозаической природой текста. Однако так же, как и в прозе, в книге «Пароль» его увлекает внутренняя символика человеческого бытия, которая придает аллегорический, тайный смысл разрозненным и, казалось бы, мало-значительным его фрагментам.

Каждая мелочь — вплоть до буквально материализованной — останавливает внимание автора.

Парни, сдуру выпрыгнувшие на лед,
Рыбачок, пропивший свой перемет,
Пристань у Михайловского дворца,
Желтая с левого торца...

Кто же, Господи, это с собой заберет?
Видимо, тот, кто вынырнет и не замрет
Здесь, тут, из полыньи, всерьез, навсегда,
Скользнув темными брызгами в провода...

Каждое из мгновений, попадающих в фокус авторской речи, словно под очень хорошим микроскопом, расслаивается до клетчатки, даже до молекулярного уровня, порождая у читателя ранящее чувство приобщенности к чужому, неувлимо становящемуся своим. Поэт с изумлением и ужасом влезает в шкуру каждого из своих героев, мучительно сопоставляя свой собственный духовный и телесный опыт с той терзающей его стихией, которая существует в заведомо аутентичном сознании Другого. В результате угол зрения оказывается смещен и деструкции подвергаются сами основы бытия.

Это доведение до абсурда всего и вся является для поэта важным средством самораскрытия и познания собственной мифологии. Чужая, фиктивная память, востребованная и заново осознаваемая поэтом, воспринимается уже как своя собственная.

Задача автора очевидна — это рационализация самых животрепещущих вопросов, отвечать на которые рано или поздно приходится каждому, кто наделен способностью мыслить и чувствовать.

Я выдохнул, когда в притон на полступени
ниже лимба все спустились.
Как будто Бога нет — на боковую все валится:
стаканы, облака, нечитанные книги.
Да было ль что-нибудь, а если и случилось —
не со мной. Не смей, не смей,
Не смей туда дышать... Коль стекла запотеют,
мы погибнем...

Среди того, что стремится преодолеть Николай Кононов в своей новой книге, на особом месте стоит и его собственная ритмика, ставшая своего рода визитной карточкой поэта. «Кононов — чемпион России по длине поэтической строки» — так характеризует его во вступительной статье к «Пароллю» Вячеслав Курицын. Бесконечный акцентный стих, нарочито утяжеленный, сбивчивый, нервический, прозаизированный, чередуется в его новой книге с вешами, проникнутыми иной мелодикой, — предельно прозрачными, лаконичными и не менее пылкими, чем те, «длинные».

Мрачно Ангел
Смотрит исподлобья,
Как на танке
Снегом на уголья

Валит Жуков —
Это для жуков,
Папа, мука,
Сумерки богов...

Наш поэт в данном случае поступает совсем как ребенок — по наблюдениям психологов, дети предпочитают или очень большие, соразмерные им, или совсем крошечные игрушки...

Из стихов, написанных именно так — лаконично, емко, на редкость виртуозно, целиком состояла прежняя книга Кононова «Змей», вышедшая в 1998 году. Сейчас поэт пишет в обеих этих манерах. Однако новая ритмика открыла шлюзы и для новой мелодики стиха — «музыки зыби», как сказано в одном из стихотворений. Эта музыка существенным образом меняет и само настроение, саму стилистическую окраску поэтики Кононова, привнося в стихи неожиданную для этого поэта гармонию.

«Цель поэзии — поэзия». Цель, преследуемая Николаем Кононовым, есть красота — и не как защита от действительности, но как нападение, как брошенная ей перчатка. Соединяя в один поток небесное и низменное, целомудрие и бесстыдство, сантименты и брутальность, поэт тем самым стремится убаюкать, угомонить, заговорить всю горечь времени и обреченность картины мира. Именно к ней и уже потом к читателю — скорее как к соглядатаю, нежели собеседнику — на самом деле обращено поэтическое творчество Николая Кононова. Своим пением, камланием он словно бы пытается уговорить мир еще хотя бы какое-то время не разрушаться, постоять в нетронутую великолепии. Ведь пока в мире есть столь очевидная, доступная уху и глазу красота, пока он может быть воспринят и воспроецирован как нечто, полное чувственной прелести и восторга, зыблющееся, летящее, трепещущее, как воздушный змей, насквозь пронизанное созвучиями и ритмами, — мир, пусть и обреченный, еще жив.

Синий тестостерон
Снегом со всех сторон
Набивается в рукава,
И мужает трава...

Светлана ИВАНОВА.

*

КРАСОТА СВЕРХ НЕОБХОДИМОГО

Татьяна Чередниченко. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 592 стр., ил.

По инерции ожидаешь, что текст будет последовательным изложением и даже (как это иногда бывает — чаще у философов, чем у музыковедов) целенаправленным развертыванием, развитием и исчерпанием некой идеи, — с многочисленными, обязательными по природе жанра примерами из музыкальной практики, дополняющими данной идее, претендующей на статус зеркала истины, придать дополнительный вес. (А примеры будут, скорее всего, непослушно выбиваться из красивой линии повествования, досадно мешать идее, невежливо не же-

лать вписываться в нее и даже сопрягаться с нею. Лучше бы этой музыки вообще не было! — хочется воскликнуть в таких случаях, — зачем она все портит?)

Здесь же сразу все по-другому. Отказ от изложения, ведущего от чего-то к чему-то, разрушает привычную парадигму. Текст разбит на блоки различной краткости, о связи между которыми, кажется, нет специальной заботы (связи, прямо или через расстояние иногда все же образующиеся, создают эффект «красоты сверх необходимого»). Блоки — это отдельные ракурсы, впечатления, моменты, фотографии (образов или идей). Постепенно совокупность моментов — взгляд пристальный и неравнодушный! — охватывает все пространство, образуя большую многомерную картину. Ее единство обеспечивается единством субъекта-созерцателя. Противоречия в картине — противоречия самой «натуры». Текст книги о современной музыке и об истории музыки на структурном уровне оказывается подобным как самой музыке — отказавшейся во многих значимых образцах от логики причинно обусловленного и целенаправленного движения, — так и истории, как она понимается сегодня, которая также не есть (уже) движение, определяемое некой единой (разной в разных моделях) движущей целью и/или причиной. С неожиданной стороны текст оказывается адекватным своему предмету.

Словосочетание «психологическая музыка» после 50-х годов XX века превратилось в ругательное. Это понятно. Музыка, рождаемая «из чувства», в продолжение последних ста пятидесяти лет слишком устала от себя и выдохлась. Парадокс, однако, в том, что музыка, называющая себя непсихологической, не только расчищает пространство для психологического, но, возможно, сама это пространство и обживает. Старый и новый психологизм соотносятся как разные стадии. Нынешний (или будущий) психологизм — это то, что после З. Фрейда и К. Г. Юнга (что Фрейд и Юнг случились давно, а музыкальное этому соответствие обещает быть осознанным и выраженным только теперь, — это, как кажется, лишь обычное несовпадение фаз во времени). Например, человек обнаруживает, что ему необходимо одиночество или что нужно оглянуться назад. Он вслушивается в свое желание. А если не так, то почему, например, Сильвестров? Новый психологизм — это то, что после структурализма. Объект найденный, конструкция внесубъективна, но на то и другое обращаем наше внимание и желание — мы.

Говорится ли о современности или о далеком прошлом, о конкретном или об общем, о людях или о явлениях, разговор всегда — о фундаментальном, существенном и часто предельном. Письмо интенсивное, прямое и ясное, без «лишних» оговорок и умолчаний, часто жесткое, не всегда безупречное и всегда — неравнодушное. Все это заставляет переживать текст глубоко и остро. Он задевает.

В связи с композиторами, героями этой книги (на их месте, конечно, могли бы быть и совсем другие люди), в разной степени и по-разному невольно думаешь о том, что в наше время (а может быть, и не только в наше) значительность человека, «вес» его жизненного пути, с одной стороны, и его известность, социальный резонанс на его деятельность — с другой, — вещи, по-видимому, не связанные друг с другом прямо. Поэтому важно помнить и понимать, что есть Люди. А пока есть Люди, есть и надежда, что «город» не будет разрушен.

Неужели только постоянное переживание близости смерти или непрерывный аскетический подвиг есть то, что может освободить нас от бессмысленности: от рутинного, вялого и тупого или от блестящего, пустого и башметообразного?

В притчах («случаях») имена людей называются прямо. Иногда это почти жестоко — при пересказе неприглядных историй имена реальных действующих лиц обычно умалчиваются. Но все оправдывает глубокая печаль. И становится понятно, что все правильно: раз сделано, то и названо. Печаль предохраняет от злорадства. Печаль, как я ее слышу, о людях, значит — и о нас тоже. Мелкое и глупое в других — это и наше. Мы того же теста, принадлежим той же вселенной. Печаль в том, что эти притчи — для нас.

Что сразу обратило мое внимание — это неожиданно прямое соответствие конструкции книги и ее названия. «Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портрет-

ты. Случаи». Похоже на «Музыкальное искусство XX века: творческий процесс, художественные явления, теоретические концепции» (название одного консерваторского сборника). Ожидаешь, что «проблемы, портреты, случаи» — условные точки, в совокупности определяющие некое поле, более или менее размытое в своих очертаниях. Оказывается же, что это — еще и вполне ясно обозначенные и отделенные друг от друга части текста. «Проблема» — то, что располагается под тем или иным «проблемным» заголовком. «Портрет» — под заголовком в виде имени или имен собственных. «Случай» — под заголовком, начинающимся со слова «случай». Помимо этого, объявленного в заглавии книги, есть еще «неподстрочные/подстрочные примечания», «контекст (конспективно)» и обычные, помещенные в конце разделов сноски. Все эти «проблемы-случай-контексты» причудливо чередуются друг с другом, образуя сложную и прихотливую конструкцию — типологически подобную таковым в современной музыке.

Конечно, нужно сказать и о композиторе Александре Рабиновиче (род. в 1947). То, что он делает, вполне сопоставимо с Арво Пяртом и Валентином Сильвестровым. И по роду, и по значению, и по силе, и по оригинальности.

Должен признаться, что тексты, написанные Татьяной Васильевной до конца 80-х (из тех немногих, что мне попадались на глаза), мне не нравились. В моем восприятии они представляют собой примерно следующее. В основании — некоторая рискованно-захватывающая, смело-сомнительная идея. Автор выстраивает сложную логическую конструкцию, с «дефинициями и систематизациями», монументальное сооружение, на вершине которого — исходная же идея, теперь уже во всем своем блеске. Однако досадным образом отдельным деталям постройки не было уделено должного внимания. Некоторые камни оказались недостаточно прочными, другие в спешке не совсем тщательно подогнаны друг к другу. И все здание, не успев возникнуть, катастрофически рушится. Понятно, ни сам текст, ни его автор — тот, что остается внутри текста, — об этом и не догадываются.

Когда книга вышла из печати и я впервые взял ее в руки, полистал и выборочно почитал, меня охватило редкое воодушевление, и я набрал номер Т. В., чтобы сообщить ей о своих восторгах. Я говорил что-то о том, как все это здорово, понастоящему сильно и глубоко, насколько книга действительно нужная и своевременная, что это не просто книга, а настоящий подвиг, как много она делает ясным и т. д. Что «эти случаи» вовсе не злые (как ей с укором только что кто-то говорил), а совсем наоборот, ибо наполнены печалью, ясно различимой для тех, кто умеет читать. О том заодно, что не любил ее прежние тексты, и проч.

Через некоторое время мне позвонили из журнала и спросили, не написал бы я рецензию на эту книгу. Ах, если бы заранее видеть все причинно-следственные связи! Всего-то только позвонил, высказался — и вот что из этого получилось...

По словам Т. В., хорошо она стала писать примерно с 1993 года. Действительно, разница между старыми и новыми текстами огромна. Единственный, пожалуй, реликт предыдущей манеры — некоторая не всегда аккуратность по отношению к «фактам». Неточностей разного рода набирается довольно много, и это может раздражать. Ошибки в частности могут провоцировать недоверие и ко всему остальному. Однако мне представляется, что это все-таки не совсем «неточности», не совсем «просто искажения». Скорее это «преломления», образующиеся через посредство «личного отношения». Факты предстают такими, какими они вспоминаются. В связи также и с целым, частью которого они являются. Поэтому фактически небывшее парадоксальным образом соответствует истине в ее существенном иногда едва ли не больше, нежели действительно случившееся. Пример. Сочинения Николая Сидельникова звучат крайне редко, почти не звучат вовсе. Последнее сочинение композитора, «Минотавр» для фортепиано (очень трудное для исполнения сочинение, длящееся более часа), как пишет Т. В., вообще ни разу не было исполнено. При том, что в действительности «Минотавр» несколько раз исполнялся вскоре после смерти автора композитором и пианистом Иваном Соколовым, уче-

ником Сидельникова, высказывание Т. В., по моему впечатлению, не только диссонансирует истине, но и оттеняет ее. Ибо действительность также и в том, что сочинения Сидельникова все равно почти не звучат, их — и «Минотавра» в том числе — все равно как бы и нет.

Да простится мне моя неловкая защитительная речь. Смысл книги, хочу я сказать, — совершенно в другом. В том, *о чем* эта книга, она точна. А была ли премьера такого-то сочинения в Швейцарии или в Австрии, начинается ли другое сочинение («In C» Терри Райли) ходом *ми-до* или, напротив, *до-ми* — в данном случае не важно.

Надо было решиться остановить свой взгляд на тех, социальная судьба которых с точки зрения общепринятых представлений не вполне убедительна. Или на тех, признание которых со стороны профессионального мира не всегда однозначно. Надо было увидеть — действительно увидеть — в этих людях то, что в них есть уникального. И распознать в том, что они делают, ценность самой высшей пробы. И рассказать об этом. И показать, какое богатство мы имеем — или могли бы иметь, если бы умели видеть и различать, если бы умели говорить.

Нужно было также окинуть взором историю музыки, чтобы понять день, к которому мы пришли, тонко продегустировать его и поставить ему диагноз. Заодно по-новому увидеть и саму историю, уже из опыта сегодняшнего дня. Заодно взглянуть и на «неисторические» музыкальные пласты — фольклор, каноническую культовую или церемониальную музыку и популярную музыку самых разных времен. И все это связать воедино в едином представлении.

Года два или три назад, в ответ на мартыновское «новое сакральное пространство» (сомнительность идеи я вижу уже в том, что, когда о нем — о сакральном пространстве — объявляют публично — как об очередном товаре, оно с автоматической неизбежностью превращается в пространство профанное) и поскольку публичные пространства вообще обнаруживают себя как нечто все менее и менее достоверное, я придумал формулировку: «новое приватное пространство». «Новое» — и ради «красного словца», и по необходимости, ибо старое в качестве пространства, в котором живет музыка, исчезло или было разрушено. Предчувствие и первое осуществление такого пространства я видел, например, в деятельности таких людей, как Гленн Гульд и Валентин Сильвестров. Я вспомнил об этом, читая главу «Новая частная жизнь», последнюю главу из книги Т. В.

Коллеги, желая сказать приятное автору, часто говорят: «Поздравляю. Очень удачное сочинение». А один композитор (не назову его имени) вполне серьезно так говорил ученикам своим: «Писать надо много, тогда больше шансов, что из написанного хоть что-нибудь окажется великим». Как если бы автор сам не очень понимает, что делает. Как если бы творчество — азартная игра: выпадет — не выпадет. А я думаю, нужно не поздравлять, а благодарить. Например, так: «Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы сделали это. Спасибо, что вы взяли на себя труд сделать это, мы знаем, что это большой труд. То, что вы сделали, очень важно для нас. Спасибо вам за это!»

Сергей ЗАГНИЙ,
композитор.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА

+11

Полка в «Новом мире» — совсем не велика, этажерочная. Вспомнилось тут же: в армии у меня, «Ваньки взводного», имелось в наличии всего книжек десять, из них половина — библиотечных. Этажерки не было, книжной полкой служил посылочный ящик с прилипшим сургуком на боку.

С тех пор прошло почти двадцать лет; моя домашняя библиотека так умножилась, что, бывает, по ночам я слышу, как обваливаются полки в шкафу. Утром поправляю полки, заново расставляю тяжелые тома и вдруг начинаю тосковать по фанерному ящичку с сургучной нашлепкой, по узкому выбору... Встанет перед глазами вечер, когда книжный голод гнал от заводской библиотеки в поселковую. Как рылся там до закрытия, а потом нес книгу за пазухой под шинелью, в предвкушении листания и чтения...

Николай Борисов. Сергей Радонежский. М., «Молодая гвардия», 2001, 298 стр. («Жизнь замечательных людей»).

Многoletний труд историка Николая Сергеевича Борисова прежде всего отличается удивительно достоверная интонация. Тон строгой учености и что-то северное в сдержанном благоговении. Никакой вычурности слога, никаких ярких красок и пафоса. Редкое соответствие древней традиции обращения со словом: «...назначая меру... Если что узнал от другого, не скрывать сего... но с признательностью объявлять, кто отец слова...» Ссылки на предшественников (Е. Е. Голубинского, В. О. Ключевского, Б. К. Зайцева...) всегда глубоко уважительны. Poleмика с современными исследователями отнесена в комментарии. Подробнейшая библиография. Уточненная с учетом современных данных хроника жизни преподобного Сергия. Приложение, куда вошли письма Василия Великого с рассуждениями об иночестве, послания митрополита Киприана.

С полной трезвостью и ясной грустью автор пишет в предисловии, что никакого религиозного ренессанса в России нет. Он просит нас различать видимость и сущность. «Иконами и церковными книжками торгуют теперь на каждом углу... Однако... мы ненамного приблизились к Сергию за счет устранения чисто формальных препятствий на этом пути. Скорее напротив. Всеобщее ожесточение, равнодушие к страданиям и смерти, царящие повсюду, явно свидетельствуют о том, что мы по сути нашей жизни все дальше и дальше уходим от заветов преподобного...»

Этот не укладывающийся в голову, пугающий контраст между восстановленным отчасти благолепием храмов, их дивной жизнью, устремляющей тысячи людей к горнему, и окружающей низостью, хамством, грязью, — этот контраст замечен повсюду, и мы к нему даже привыкли. Но когда попадаешь в Сергиев Посад, этот контраст становится почти невыносимым. Стоит выйти из монастырских стен и сделать несколько шагов по городу, как пьяная брань и разухабистая музыка из пивнушек вернет тебя на землю. И здесь, на Маковце, это ранит особенно больно.

Из книги Н. А. Борисова узнал, что все свои путешествия преподобный Сергий совершал пешком. (Оказывается, Василий Великий предписывал инокам при всех обстоятельствах не садиться на коня.) С черемуховым посохом в руках и котомкой за плечами он ходил не только в Переяславль и Серпухов, но и в далекий Нижний Новгород! В эпидемию чумы, через разбойничьи леса... Представить трудно. Но, читая о Преподобном, воображение в какие-то минуты проясняется до той детскости, что была неизменным свойством последнего северного сказителя Бориса Викторовича Шергина.

«...Исчезнет завеса веков, и мы, возжелавшие увидеть, как игумен Радонежский ронит лес на строение обители, как он шьет обушку на братию и как спешит по московской дороге... Все это мы увидим несомненно и реально. Таинственно и непостижимо, но совершенно реально станут ноги наши на земле Радонежа, на холме Маковца. Твои уши услышат стук топора в дремучей дебри. Ты пойдешь по тропинке и сквозь деревья увидишь белеющие срубы избушек-келий...»

Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1997 год. СПб., «Дмитрий Буланин», 2002, 486 стр.

Пушкинский дом представляет в этом ежегоднике сразу восемь новых публикаций. Среди них я повстречался с самой интересной для меня — с дневником 1945 года, принадлежащим Б. В. Шергину (публикация И. А. Красновой).

Полуслепой, тихий, белый от седины Борис Викторович Шергин казался современникам монахом, выпавшим из XVII века и чудом уцелевшим. Его кельей была

комната в полуподвале старого дома в центре Москвы. Он видел в окошко только ноги прохожих, кусочек стены соседнего дома и лоскуток неба над крышами.

В 30 — 70-е годы XX века Шергин был известен небольшому кругу писателей и читателей как собиратель поморских былей и сказаний. (На будущий год исполнится 110 лет со дня его рождения и 30 лет со дня смерти.) Когда в конце 80-х годов появились первые публикации из его обширной летописи-дневника, стало ясно, что это фрагменты главной книги Шергина. Увы, она до сих пор не издана, поскольку тетради дневника оказались в руках разных хранителей. Как пишет автор вступительной заметки к публикации в «Ежегоднике...» А. Н. Мартынова: «Научное описание фонда Б. В. Шергина было закончено в 1999 г. В числе других документов здесь содержатся записные книжки писателя и его дневники (1920-е — 1962). К сожалению, в Пушкинском доме отсутствуют записи 1946, 1951 — 1958, 1959, 1960 — 1961 годов. Дневники тех лет, что хранятся в ИРЛИ, также неполны...» Наверное, когда-нибудь выяснится история о том, как удалось столь варварски разорвать творческое наследие писателя.

Публикуемые в «Ежегоднике...» записи — драгоценный образец и духовной прозы, и совершенно забытого языка поморских сел и северных монастырей.

А. Б. Бодэ. Поэзия Русского Севера. Иллюстрированный обзор существующих памятников деревянного культового зодчества. М., «Эдиториал УРСС», 2002, 211 стр.

Попытка ревизии немногих уцелевших донныне памятников деревянного зодчества Русского Севера. Не только храмы и часовни, но и крестьянские дома, водяные мельницы, амбары, бани, мосты, колодцы и ограды. Описание, история каждой из уникальных построек. Авторские карандашные зарисовки (около двухсот!). Путеводитель. «Единственное регулярное пассажирское транспортное сообщение на нижней Онеге — это автобус, который ходит раз в сутки из Онеги в Городок и обратно. Дорога идет вдоль правого берега, мимо станции Вонгуда...»

Автор, историк архитектуры и художник Андрей Борисович Бодэ, пытается сдерживать чувства, не переходить на публицистику, он хочет остаться только специалистом. Но тем трагичнее выглядят его архитектурные заметы на фоне опустелого пейзажа. «От Масельги 16 километров до Порженского, где сохранился замечательный архитектурный ансамбль. Разъезженная тракторами дорога углубляется в глухой лес. После деревни Думино путь продолжается по лесной тропе. Раньше Порженское было оживленным селом. Сейчас осталось несколько пустующих домов. Посредине плавно спускающейся к озеру широкой поляны стоит церковь...»

Необозримого богатства, о котором еще недавно оповещали путеводители, более нет. Остались считанные и единственные в своем роде деревянные храмы. «В настоящее время Благовещенская церковь (у деревни Пустынька на Онеге. — Д. Ш.) является *единственным* сохранившимся на Русском Севере памятником с завершением основного объема в виде бочки...» «Сейчас на Мезени сохранилась только одна шатровая на крещатой бочке церковь в селе Кижма...»

Когда по всей стране крушили, взрывали и жгли храмы, в поселке Черкизово жил поэт, мечтавший в детстве быть садовником в глухом монастыре и воспевший (в 1938 году!) безвестных строителей русских храмов.

...А над всем этим срамом
Та церковь была —
Как невеста.

Дмитрий Кедрин. «Вкус узнавший всего земного...». М., Издательский дом «Время», 2001, 557 стр. («Поэтическая библиотека»).

В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения автора «Зодчих» Дмитрия Борисовича Кедрина, трагически погибшего при непроясненных до сих пор обстоятельствах осенью 1945 года.

Подготовленный дочерью поэта Светланой Дмитриевной и выпущенный издательством «Время» том Кедрина — наиболее полное на сегодняшний день издание его текстов. Не только стихотворений и поэм, но и записных книжек, писем.

Впервые опубликовано несколько стихотворений поэта, ранее не публиковавшихся по цензурным причинам. Среди них особенно поражает стихотворение «Нищенка», написанное двадцатилетним Кедриным в 1927 году.

Досыта евший и крепко пивший,
Тысячью сабель грозивший Москве,
Я говорю вам из гроба — бывший
Конногвардеец Андрей Жерве.
..Душно лежать мне, а как я встану,
С кем поведусь, где найду приют?..
В Павловске — музыка и фонтаны,
В Царском Селе, как и раньше, пьют.
Что принесу я к любимой двери?
Горечь? Отчаянье? Горесть стыда?
Мери! Вы помните Павловск, Мери?
Может, и вы изменились?.. Да!
Все миновало — одна в наколке
Черных кружев на седой голове, —
Мертвого мальчика разве только
Нищенка ждет на Страстной в Москве...

Завершает книгу «Послесловие», написанное С. Д. Кедриной. Это и повесть о детстве, и хроника жизни отца, написанная так, как может написать только близкий человек. Потерявшая отца пятнадцатилетняя девочка — ее голос слышится на каждой странице этой горькой и светлой прозы.

«Я постоянно ощущаю присутствие отца в Черкизове, в нашем маленьком бревенчатом доме... Та самая терраса, хотя и застекленная, и печка та самая, только без духовки... Здесь, в маленькой двенадцатиметровой комнате, ему хорошо работалось. Фанерные стены пропускали все звуки, а соседи наши не были тихонями: то играл баян у тети Фроси... то справа в большой беспокойной семье Мелиховых буянили и хватались за топоры. Наверное, желая заглушить эти звуки, отец приобрел тринадцать клеток с птицами...»

«Поэт М. Л. ... являлся в самое неподходящее время, часто оставался ночевать, а однажды, когда ждал папу, съел целую копченую рыбину, которую мама приготовила нам на ужин...»

«Однажды отец вернулся из Москвы, молча вошел в комнату и медленно опустился на стул. „Что с тобой, Митечка?“ — кинулась к нему мама. Отец какое-то время молчал, потом сказал: „Меня сегодня вызывал Ставский. Он называл меня дворянским отродьем, требовал, чтобы я выучил пять глав ‘Краткого курса ВКП(б)’ и сдал ему, иначе он загонит меня туда, куда Макар телят не гонял“, — отец закрыл лицо руками и вдруг зарыдал...»

А пронзительный рассказ о неудачной попытке эвакуации семьи Кедриных из Москвы в октябре 1941-го! «Поезд начинает медленно отходить. „Чемодан! — кричит мама в ужасе и бежит за поездом. — Там — твои стихи!“ — „Другие напишу! — говорит папа, догнав ее и взяв за руку. — Зато вот что я сохранил!“ И он вытаскивает из-за пазухи посмертную маску Пушкина...»

Я отчего-то всегда ощущал Кедрина не только как одного из любимых поэтов, но и как близкого человека. Причем это ощущение пришло не от стихов, а от фотопортретов поэта. Повесть Светланы Кедриной завершила это интуитивное узнавание, и теперь мне кажется, что я хорошо знал Дмитрия Борисовича. И боль утраты свежа.

Я помню чай в кустодиевском блюде,
И санный путь, чуть вьюга улеглась,
И капли слез, которые не льются
Из светло-серых с поволокой глаз...

Владимир Купченко. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877 — 1916. СПб., «Алетейя», 2002, 495 стр.

Первый том хроники, итог тридцатилетних архивных разысканий литературоведа Владимира Петровича Купченко, первого директора Дома-музея М. А. Волошина в Коктебеле и основателя отечественного волошиноведения. В многолетней

истории работы над этой фундаментальной книгой были и драматические эпизоды, потребовавшие от автора настоящего мужества. Клевета, обыски, допросы, увольнение из музея, работа ночным сторожем, вынужденная «эмиграция» в Ленинград. Шесть лет (с 1982-го по 1986-й) автор не мог вызволить свою рукопись из рук сотрудников Судакского райотдела КГБ.

Даже беглое упоминание обо всем этом в предисловии, несомненно, добавило бы автору читательской симпатии, но я узнал об этой истории не из книги, а от моего крымского коллеги. Предисловие же сдержанно и академично, и только в последних его строчках автор позволяет себе сказать «я»: «Сведение воедино всех собранных за 30 лет материалов и обнародование их может стать (я надеюсь!) толчком к новым сопоставлениям, дополнениям и открытиям других исследователей жизни и творчества Волошина. Думается, что „Летопись“ поможет исследователям и многих других деятелей культуры XX в. — прежде всего России и Франции...»

Не скажу за специалистов, но нашей семье книга при первом же знакомстве принесла радостное открытие. Обнаружив в именном указателе фамилию своего прадеда, я понял, что от легендарного поэта серебряного века меня отделяет всего два рукопожатия. 10 ноября 1916 года Максимилиан Волошин попал в Керченский военный лазарет, начальником которого был мой прадед по материнской линии полковник Елисей Иванович Волянский. Через пять дней поэт вышел из лазарета, где был признан негодным для военной службы «из-за невладения правой рукой». Вскоре поэт получил свидетельство об освобождении «навсегда от службы».

Короткое общение прадеда с Волошиным осталось неизвестным даже нашим домашним, хотя семья жила музыкой, литературой, в ней были свои поэты. Добрейший Елисей Иванович, блестящий военный хирург, отличившийся еще на русско-японской, он не успел оставить воспоминаний. Умер в Одессе, в крайней бедности, и, как я только что понял, листая книгу В. П. Купченко, — в те же дни 1932 года, когда ушел из жизни Максимилиан Александрович Волошин. Очевидно, в каждой семье бывают свои «странные сближенья».

Этим сближеньям и необъяснимым соприкосновениям судеб посвящен уникальный, без сомнения, сборник, составленный из сочинений подростков.

Человек в истории. Россия — XX век. Сборник работ победителей всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников. Редактор-составитель И. Л. Щербакова. М., «Мемориал» — «Звенья», 2002, 479 стр.

Эпиграфом здесь можно было поставить слова Ролана Барта о том, что «история — это время, когда моя мама была маленькой».

Первый конкурс «Человек в истории. Россия — XX век», организованный обществом «Мемориал», прошел в 1999 году. В нынешнем мае торжественно подводились итоги третьего. Немногочисленному жюри (в его составе — Светлана Алексиевич, Даниил Гранин, Александр Даниэль, Сигурд Шмидт и другие известные писатели и историки) пришлось нелегко — на третий конкурс поступило 2643 работы! И это при том, что информацию о конкурсе можно было найти лишь в двух-трех малотиражных изданиях.

В предисловии к сборнику лучших работ прошлого года Александр Юльевич Даниэль пишет: «Нашей основной трудностью стало не отсутствие достойных претендентов на призовые места, а проблема выбора самых достойных». В сборник вошли двадцать восемь исследований. География авторов — от Воркуты и Ухты до Тынды и Усолья-Сибирского. Темы — далеко выходящие за пределы школьных программ: новочеркасские события 1962-го, война глазами рядового, истории деревенского храма и дворянской усадьбы, судьбы спецпереселенцев на Вишере и малолетних узников финских концлагерей, ленинградская блокада и строительство БАМа, Афган и Чечня...

Организаторы конкурса установили планку требований на самом серьезном уровне. Подростки не терпят никакого заигрывания и никаких скидок на возраст. Одно из условий конкурса гласит: «Важно, чтобы все документы были тщательно откомментированы и подвергнуты критическому анализу».

Но самые удачные из работ, на мой взгляд, вовсе не те, что претендуют на академическую интонацию взрослых ученых и бесстрастный объективизм. Девочка пишет, анализируя детский дневник своей мамы: «Как и большинству людей того времени (80-е годы. — *Д. Ш.*), для Любы характерно двойное сознание. Больше всего Люба боится, что ее дневник прочитают родители или учителя...» Можно подумать, что современные подростки избавлены от такого «груза прошлого», как стыдливость, и спешат показать свои личные дневники учителям и родителям. Хочется верить, что такое время не наступит вовсе.

Замечательны те исследования, где детям удалось остаться детьми и в то же время подняться до сострадания. Где старшеклассники забыли о «научности» и вообще об истории как школьном предмете. Вот Лена Портнова из Мурманской области вспоминает, как в раннем детстве бабушка читала ей сказки, а на стене висела фотография. «... — Это дедушкина сестра Люся. Она погибла во время блокады в Ленинграде, пропала без вести... — Под грустный голос бабушки я незаметно засыпаю, а утром пристально разглядываю большую черно-белую фотографию, вставленную в деревянную рамку. На меня смотрит милая девушка с печальными темными глазами, мне ее очень жаль, она умерла такой молодой... С тех пор прошло около десяти лет. Я выросла, постарел мой дедушка, уже нет бабушки, стали старше мои родители, и только все так же печальна и молода тетя Люся...»

Борис Зайцев. Письма 1901 — 1922 гг. Статьи. Рецензии. Предисловие Е. К. Дейч. Составители Е. К. Дейч и Т. Ф. Прокопов. М., «Русская книга», 2001, 384 стр.

Борис Зайцев. Письма 1923 — 1971 гг. Статьи. Воспоминания современников. Составители Е. К. Дейч и Т. Ф. Прокопов. М., «Русская книга», 2001, 512 стр.

Непритязательные, ровные по тону, исключительно доброжелательные письма. Никаких душевных обнажений и страстей, все очень «прилично». И могло бы быть скучным, если бы не было так талантливо.

Переписка Бориса Константиновича Зайцева впервые публикуется в таком объеме: шестьсот тридцать писем. От послания А. П. Чехову до переписки с Виктором Лихоносовым. Замечательная проза одной замечательной жизни. Путь уравновешенный, внимательный к людям, книгам и красоте Божьего мира. Крепкое душевное здоровье и столь же крепкие привязанности, верность семейным и дружеским узам. Кажется, что на фоне таких человеческих достоинств литературный дар — не самое главное, чем был одарен Борис Зайцев.

В нем не было ничего, что могло бы ущемить кого-то, вызвать зависть. Ни гениальности, ни богатства, ни какой-то особой удачливости. Но был стоицизм христианина, благородство, смирение. И то, что в нашей литературе в XX веке была возможна такая судьба, — факт и удивительный, и утешительный.

Вот проникнутый светлым дружеским духом «притыкинский» цикл писем к писателю-ровеснику Ивану Новикову. (Зайцевы в 10-е годы часто и подолгу жили в имении Притыкино.) «Кроме любви к тебе как к человеку, я чувствую в тебе собрата по оружию; нас мало, царство пошлости и хамства вокруг необозримо... Мы... должны идти рука об руку, зная, что среди жизненного торжества наш путь всегда одинок... Я „воспарил“ совершенно неожиданно для себя, хотелось написать тебе несколько строк о нашей жизни... Наташа пошла — начала ходить, сегодня — первый день! Сейчас она засыпает, нянька урлыкает над ней...» (18 сентября 1913 года).

Высокая способность быть другом, собратом, товарищем — во все времена редкая в нашей писательской среде — одно это делает фигуру Зайцева особенной, почти несравненной. Вряд ли кто-то из русских литераторов мог радоваться за Бунина, получившего «Нобеля», искреннее, чем Борис Зайцев.

В зайцевских письмах, даже самых ранних, сквозит мудрость. Не вычитанная из книг, а природная. И если закрыть дату, то можно ошибиться в датировке письма на полвека. Вот, к примеру, письмо приятелю, написанное тридцатилетним Зайцевым в марте 1913 года: «Мне кажется, тебе очень горько, и ты многое видишь в неверном свете... Нет несноснее чувства — раздражения и озлобленности.

Тогда же, когда человек признается, что и на нем есть ответственность, доля грехов и вины, — ему становится легче... Человек должен *оттаять*... Это и значит, что... в нем есть дух живой. Вот, и оттаять я тебе от всего сердца желаю...»

В начале XX века критике трудно было объяснить успех рассказов молодого писателя. Все сходились лишь на том, что стиль его напоминает Тургенева. «Странен и неожидан был приход Бориса Зайцева в литературу. Это было в самое удушливое, самое кошмарное, самое больное время...» — вспоминал один из критиков в 1911 году. Загадку зайцевского успеха взялся объяснить Корней Чуковский. Его статья 1913 года «Поэзия косности» бешено талантлива, но энергия заблуждения приводит автора к грубым обобщениям: «Это поэзия вялости, инвалидности... она так шемяще прекрасна, и Зайцев восхитительный поэт, но наше несчастье, наше проклятие в том, что мы все — такие же Зайцевы. Вы только представьте себе на минуту огромную толпу, всю Россию, из одних только Борисов Зайцевых...» Всего через несколько лет Борис Зайцев, спасая семью, вынужден был бежать из «страны Зайцевых».

Через пятьдесят три года после той уничтожающей статьи два старика — Чуковский и Зайцев — обмениваются посланиями, совершенно братскими по духу. Оказалось, что на девятом десятке спорить совершенно не о чем. Баррикады падают, и старики легко через них переступают. Чуковский поздравляет Зайцева с юбилеем, а тот приветливо откликается: «Да, Вы были из первых, кто обо мне, мальчишке литературно, писал более полувека назад. Дай Вам Бог мира душевного и здоровья, „во всем благого поспешения“. С лучшими чувствами и признательностью (за прежнее и теперешнее)...»

Последнее письмо в двухтомнике — завещательное, адресовано правнуку Матвею, только тогда, в декабре 1971 года, родившемуся. «Дорогой Матвей Михайлович!.. Вы прочтете это письмо много позже, когда меня, вероятно, не будет уже на этом свете. Все равно, моя любовь к вам останется — навсегда... Дай вам Господь жизнь светлую, чистую и благородную — верю, что так и будет. Надеюсь на малое число ошибок и на многое число дел добрых. Ошибок не оправдывайте, но не унывайте, добром не гордитесь. Обнимаю вас с любовью и с самым искренним желанием всего лучшего. Ваш прадед Бор. Зайцев».

Дополняют издание исчерпывающие комментарии и указатель имен. На редкость безупречная корректура.

Зинаида Серебрякова. Альбом. Автор текста Наталия Александрова. М., «Белый город», 2001, 47 стр.

Альбом был давно анонсирован издательством в предыдущих книгах из серии «Мастера живописи», и я с нетерпением ждал его. Серебрякову издавали и в советские годы, но достать ее альбом было немислимо. Во всяком случае, у моего деда Леонида, выпускника монументально-фрескового отделения Института искусств, с юности влюбленного в работы Серебряковой (что равносильно влюбленности в саму художницу, ведь лучшие ее работы — это автопортреты), — так вот, у него были только открытки с репродукциями, отпечатанные ленинградской типографией имени Ивана Федорова в начале 30-х годов. Одна из них, «Девушка со свечой», всегда стояла в рамке на дедушкином секретере. Озаренная свечой девушка в ночной сорочке — для нас с сестренкой это была не репродукция картины из собрания Русского музея; эта озаренная девушка — *кто-то из наших*, думали мы, придет время, и нам непременно объяснят степень нашего родства...

В альбоме об этом портрете — всего две строчки, зато сама «Девушка со свечой» — во всей красе итальянской полиграфии. Немного жалко, что толковое повествование о жизни и творчестве временами сбивается на скороговорку экскурсовода. А там, где можно обойтись одним словом, теснятся три. «Она много *рисовала*, постоянно *рисовала* своих детей, особенно любила *рисовать* женские лица...» Ощущение, что автора подгоняли сроки. Есть сбои и буквальные — в строчках (в чем, конечно же, виноват не автор, а поспешность на верстке). К примеру, смысл последнего абзаца на стр. 36 совершенно не поддается расшифровке. Все это досадно, но вовсе не портит праздника — того, что теперь всегда со мной.

Почему-то мечтается, чтобы альбом Зинаиды Евгеньевны Серебряковой вовремя попал на глаза русским девочкам-подросткам, ведь каждый ее эскиз — очевидный, чистейший образец вечной женственности. После такой книги (хочется верить!) вряд ли возьмешь в руки «Cool-girl» или отбойный «Молоток».

Мартиролог русской военно-морской эмиграции по изданиям 1920 — 2000 гг. Редактор В. В. Лобыцын. М., «Пашков дом» — Феодосия, «Коктебель», 2001, 192 стр.

Книга памяти. Появилась она почти через двадцать лет после того, как в Лондоне скончался последний офицер Российского Императорского флота лейтенант Александр Цытович.

Редактор книги в предисловии пишет: «Мы попытались впервые составить мартиролог чинов Российского флота и Морского ведомства, в изгнании скончавшихся. Собрав сведения об их кончине со страниц печатных изданий начиная с 1920 г., мы составили список из 1890 фамилий. Много это или мало?.. Общее число лиц, причастных флоту, составляло более восьми тысяч человек...»

Список горестный, как всякий мартиролог, и очень скупой — по пять-шесть строчек на одного офицера. Но замечательно, что при этом составители приводят информацию о географических названиях, данных в честь офицеров русского флота, а также сведения об их основных литературных трудах; по большей части это воспоминания, до сих пор хранящиеся в рукописях. Им было о чем рассказать. Сюжеты их жизней были закручены так, что позавидовал бы любой мастер детективного жанра...

Вот только четыре наугад взятые фамилии.

«Афанасьев Григорий Митрофанович — гардемарин, 5 июля 1922 окончил Морской корпус в Бизерте, мичман французского флота. 24 мая 1940 погиб в проливе Ла-Манш на эсминце „Шакал“, пожертвовав собой для спасения команды; посмертно награжден французским правительством орденом Почетного легиона...»

«Грабяр Петр Николаевич — пулеметчик посыльного судна „Китобой“ Морских сил Северо-Западной армии, на котором в 1920 г. перешел до Копенгагена в знаменитом походе Ревель — Севастополь — Бизерта; в эмиграции — выдающийся французский иммунолог... Умер 26.01.1986, Париж».

«Дураков Алексей Петрович — гардемарин, окончил морское училище во Владивостоке (1920), будучи югославским партизаном, в августе 1944-го погиб в бою с немцами около Куманова в Сербии...»

«Щуров Павел Александрович — гардемарин, окончил бизертинский Морской корпус (1923), принял монашеский постриг и скончался как иеромонах Иов 18.08.1933 в монастыре Святого Иова Почаевского, Чехословакия...»

Ярослав Голованов. Заметки вашего современника. 1953 — 2000. В 3-х томах. Предисловие Юрия Карякина. Оформление Бориса Жутовского. М., «Доброе слово», 2001.

Не дожидаясь потомков, самому распорядиться дневником — это сейчас модно. Прижизненные дневниковые книги известных людей стали популярным жанром. О его чистоте говорить не приходится. У многолетнего научного обозревателя «Комсомольской правды» Ярослава Кирилловича Голованова на первом месте в названии книги стоит хорошее тихое слово «заметки».

В три тома уместилось почти пять десятилетий. Калейдоскоп знаменитых имен, потрясающих событий, редкостных фактов, умопомрачительных цифр, далеких географических названий (в конце последнего тома есть даже «Географический указатель стран и мест, где я был, и номера записных книжек, в которых они упоминаются»)... «Ветер, шторм, любовь, жирафы...»; «Познакомился с Луи Лурмэ, заместителем капитана Кусто по полярным экспедициям... Приглашал меня в Гренландию...»; «Ричмонд похож на Атланту...»; «Опять еду на аэрокосмический салон в Париж...»; «Из всех стран, где я побывал, Новая Зеландия показалась мне самой человеческой и разумно устроенной...»

Эта феерия удачливости, остроумия, спортивного азарта и жизнелюбия может вызвать раздражение у того, кто просто пролистает головановские «Заметки...» и не ощутит ни одиночества автора, ни того, что жизнь, столь богатая на друзей и путешествия, — это еще и прощания, и проводы.

Одна из первых записей (1954 год): «Умер папа... Листья железного венка мелко позванивали на поворотах автобуса...» Одна из последних записей (2000 год): «Сломал два ребра и повредил третье. С трудом сползаю с кровати и наползаю на нее. Умер Гриша Горин, а я даже не могу поехать попрощаться с ним...»

Газета востребовала только Голованова — «журналиста по космосу». Лирик, импрессионист, грустный человек — этот Голованов остался дома.

«В ноябре дует какой-то особый ветер, который и шумит совсем не так, как шумят ветра весны и лета... Снег на земле светится словно изнутри густым синим цветом, словно впитывая в себя угасающие краски неба. Это свечение длится совсем немного, минуты, а потом стремительно темнеет, как в театре, когда осветитель плавно двигает ручку реостата...» (из записей 1979 года).

А. Г. Мосин. Уральский исторический ономастикон. Екатеринбург, изд-во «Екатеринбург», 2001, 516 стр.

Первый за последние четверть века антропонимический словарь, составленный доктором исторических наук Алексеем Геннадьевичем Мосиным, не только продолжает традицию изучения древнерусской ономастики, заложенную Н. М. Тупиковым и С. Б. Веселовским, но и является первым опытом публикации регионального ономастикона.

2700 неканонических имен и прозвищ, отмеченных документами XV — первой половины XVIII века на пространстве от Прикамья до Западной Сибири. Во многих случаях приводятся биографические сведения — о месте и времени рождения человека, роде занятий, данные о родственниках, что делает книгу уникальным источником для тех, чьи родовые корни теряются на Урале.

Бросается в глаза, что фантазия наших предков в изобретении прозвищ хотя и была несколько богаче, чем в мои школьные годы, но в книге встречается удивительно много прозвищ, взятых, кажется, прямо с нашей улицы: Дубина, Кляча, Дылда, Косой, Долбило, Хохол и Пончик. Зато, похоже, сейчас совершенно исчезли такие нежные прозвища, как Весна, Крупинка, Жданка, Любим и Королек.

Книга, возможно, пополнит генеалогию нынешнего президента. В Смутное время на реке Колве жил крестьянин Богдашко Путин.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО

Итоги театрального сезона. Что, кроме воспоминаний, говорит о них? Премии, которых год от года становится все больше? Нет, не выходит.

Взять, например, самые высокие — Государственные, которыми в июне «подвели итоги» литературе и искусству 2001 года. В области театра наградили Петра Фоменко и команду его «Мастерской», группу актеров и режиссера Театра имени Евг. Вахтангова, Юрия Соломина, сыгравшего Фамусова в спектакле Сергея Женовача «Горе от ума», плюс одного представителя провинции — Юрия Копылова, режиссера из Ульяновска. Оставим в стороне театральную провинцию, о которой мы нынче почти ничего не знаем, — гастроли случаются редко, а многочисленные фестивали вывозят в Москву порой случайное и не самое лучшее. Поговорим о театральной Москве.

Безошибочным, бесспорным нельзя не назвать выбор Фоменко и Соломина. Один из лучших актеров Малого театра и русского театра вообще и режиссер, чье первенство сегодня мало кто оспаривает. Конечно, есть у нас еще и Анатолий Васильев, но Васильев занимается больше театральной наукой, а Фоменко — из тех,

кто не гнушается практической работы. В своей «Мастерской», помещения которой не позволяют быть слишком разнообразным в трактовке пространства, Фоменко ставит спектакли, поражающие широтой мысли. В «Одной абсолютно счастливой деревне», в «Войне и мире. Начало романа» Фоменко умудряется говорить о социальном, даже — всемирно-историческом, и одновременно его спектакли подробнейшим образом вникают в интимные, внутренние переживания человека. Фоменко — из тех, кто умеет резко сменять оптику, разглядывая человека то в лупу, то в телескоп, откуда-то очень издалека, — *землю всю охватывая разом*.

Теперь о «Горе от ума» в Малом: спектакль Сергея Женовача стал событием в первую очередь благодаря Юрию Соломину, который сыграл Фамусова — мужчину в полном расцвете лет, подтянутого, молодцеватого, даже очаровательного; некоторая удаленность от царского двора, так сказать, московская прописка, позволяет ему поровну делить свои заботы между делами Отечества и собственной семьи... В его Фамусове, против привычных прежних толкований, вовсе нет карикатуры, наоборот, Фамусов Соломина — едва ли не самый положительный герой этого «Горя от ума». В споре его с Чацким смешон скорее приезжий молодой человек, так и не научившийся слушать других. И еще: награждение лидера Малого театра, театра, верного классическим традициям русской театральной школы, театра, не стесняющегося своего консерватизма, — публичное (хотя и необременительное) свидетельство того, что слова новой власти о патриотических ценностях не расходятся с делами.

Несколько сложнее с группой товарищей из Вахтанговского театра. Примечательно, что премию за работу в спектакле «Дядюшкин сон» получили Этуш и Аронова, но не режиссер, в то время как по соседству Ирина Купченко и Максим Суханов делят премию с постановщиком «Сирано де Бержерака» Владимиром Мирзоевым. Приведет это к естественным в таких случаях обидам и печалям. Но, с другой стороны, тут как раз восторжествовала справедливость: Мария Аронова и Владимир Этуш играют во многом поверх режиссерского «многословия», а в «Сирано...» властная рука Мирзоева чувствуется в каждом шаге актеров. Его режиссура, известное дело, вызывает у многих неприятие и раздражение. Но разве в своих спектаклях он не является продолжателем как раз вахтанговских традиций?!

Тут, впрочем, различим еще один поворот премиально-театрального сюжета.

«Одна абсолютно счастливая деревня», «Война и мир. Начало романа» и «Семейное счастье» в «Мастерской Петра Фоменко» — конечно, из лучших спектаклей теперь уже позапрошлого сезона. Но ведь в то же время вышел «Шут Балакирев» Марка Захарова. Как можно было его обойти?! Там Олег Янковский сыграл Петра Первого, там вообще замечательно играют почти все — Александра Захарова, Александр Збруев, Николай Караченцов, Сергей Фролов... В тот же год Валентин Гафт и Елена Яковлева сыграли в спектакле Николая Коляды «Уйди-уйди», и их дуэт тоже следовало бы отнести к выдающимся достижениям...

Короче говоря, премии, как и чины, «людьми даются, а люди могут обмануться».

Кроме того, премия — любая премия — не в силах выявить те процессы, которые так и остаются внутритеатральными. Уход режиссера из театра, приход, появление нового театрального здания или кратковременная гастроль — все это, значимое для театральной публики и людей театра, естественно, никак не может быть зафиксировано в премиальных списках.

Оборотимся назад: уход Сергея Женовача из Театра на Малой Бронной в 1998-м определил очень многое — и для самого театра, и для Женовача, и для многих артистов, последовавших за своим режиссером. За режиссером, которому оказалось некуда их повести... А смерть Олега Ефремова в мае 2000-го многие тогда назвали главным событием театрального года. Физическое отсутствие Ефремова, который в последние годы не имел уже сил, чтобы работать «как лошадь», совершенно изменило облик не только МХАТа имени Чехова. И так далее. Прошедший сезон привел сразу нескольких новых главных, вывел из тени, ввел в круг московской театральной «номенклатуры» Андрея Житинкина, Романа Козака, Сергея Арцибашева, Вячеслава Долгачева... Тех, кто привык уже быть «вторым» или «приглашенным». Театральных бомжей или жителей театральных малогабариток судьба вдруг произвела в генералы и поселила во дворцы академий.

Прошедший сезон был труден, поскольку начинать его приходилось почти сразу после того, как триумфально завершилась Всемирная театральная олимпиада. Русский театр не был на ней бедным родственником, но слишком велико было число театральных событий, много настоящих, а не выдуманных шедевров. Воспоминание о них, то есть их присутствие в нашей театральной памяти, мешало воспринимать всерьез некоторых наших экспериментаторов..

«На память» о Театральной олимпиаде осталось в Москве два новых театральных здания — Центр имени Вс. Мейерхольда (пока он больше живет как прокатная площадка) и «Школа драматического искусства» на Сретенке. Васильевский театр в конце сезона стал даже поводом для скандала, когда городской голова однажды всерьез поинтересовался, чем же именно занимаются в только что отстроенном уникальном здании. Выяснилось, что спектаклей там не играют. И, не мудрствуя лукаво, решили тут же здание передать тем, кому оно особенно необходимо. То есть «Мастерской Петра Фоменко». Слава Богу, потом уже, поостыв, решили разобраться по существу. Оказалось, что новое здание открыли к Театральной олимпиаде с недоделками, а после олимпиады устранять их было уже не к спеху.

Но в дни Всемирной театральной олимпиады в недостроенном и недооткрытом здании Васильев сумел провести международный форум по проблемам театрального образования и эксперимента, дал выступить не только Тадаши Сузуки, но и монастырским хорам, суфийским дервишам, тувинским шаманам — чего (и кого) здесь только не было.

Здание поражало воображение не только наших, но и заморских театральных деятелей: мало кому удавалось так полно воплотить смелую фантазию. И те, кого новое здание привело в восхищение, особо отмечали, что построено оно не для успешно развивающейся антрепризы, не для знаменитого и, конечно, заслуживающего лучшей участи подвала. А для театра-лаборатории, единственного в Москве, который — по договору с городом — не обязан играть ежевечерние спектакли. Слово «школа» в названии васильевского театра (против других театров-«классов» и «школ») имело всегда прямой, первоначальный смысл: актеры, режиссеры сюда приходили не за известностью и славой, а в надежде на посвящение. На послушание, говоря уже не театральным, но церковным языком; отношение к васильевскому театру как к секте распространено в театральной среде.

«Это не просто театр», — говорят в столичном Комитете по культуре про «Школу драматического искусства». И этого совсем не хотят признавать многие коллеги по цеху, у которых горнее существование мастера вызывает естественное неприятие.

На протяжении многих лет Анатолий Васильев последовательно уходил «в подвал». Речь в том числе и о вполне реальном подвале на Поварской, который Васильев за прошедшие годы обжил и превратил в шикарные апартаменты для театральных экспериментов. Здание на Сретенке, таким образом, выглядело именно как царский подарок. Вроде как: «Ты много сделал для театральной науки, много всего напридумывал в подвальном своем заточении... Носи на здоровье!»

А Васильев «носить» как раз и не торопился. Привычный к лабораторной, скрытой от посторонних глаз работе, он не спешит открывать двери нового театра. И начал как раз с проекта театральной школы. Но время-то наступило строгое (как говорил, помнится, один из героев «Детей Арбата»). И если случаются какие подарки, то отрабатывать их приходится потом сполна...

На защиту Васильева поднялись его ученики. Они забыли старые обиды, приехали, учредили товарищество, которое получило название «Сретенка», и решили, что в помещении «Школы драматического искусства» в режиме нон-стоп будет проходить показ спектаклей учеников Анатолия Васильева. И этот фестиваль назвали скромно — «Репертуар». Анатолий Васильев поспешил объявить, что вслед за июньской премьерой, «Моцартом и Сальери», последует новая версия «Плача Иеремии». А потом он, может быть, возьмется поставить спектакль «памяти моряков, погибших в Баренцевом море». Что ж, чем больше — тем лучше. Наличие Васильева не только как театрального мыслителя и «алхимика», но как театрального практика пошло бы на пользу московской театральной атмосфере.

Так что в нынешней ситуации благополучный исход истории со зданием выглядит еще и как шанс возвращения Анатолия Васильева в реальный театр, шанс для многочисленных его учеников. Естественно, и как шанс для зрителей.

Первый спектакль на новом месте Васильев показал в середине июня. «Моцарт и Сальери. Реквием» — назвал он свое театральное сочинение, в котором музыка и жест равны по значению слову, а молчание уравнено в правах со звуком. Не спектакль, скорее — магическое действие, не «маленькая трагедия», а молитвословие. И речь актеров, как заведено с недавних пор у Васильева, похожа именно на молитву или заговор, в которых важно каждое слово. И потому ударение — на каждом, так что какой-нибудь предлог значит столько же, сколько и «гений», и «злодейство»... Интерес к «истокам», к «узкому взгляду скифа» (как называется очередная просветительская программа «Школы драматического искусства»), к шаманам и их зашифрованным пророчествам — все это чувствуется в сегодняшних сценических опытах Васильева-режиссера и Васильева-учителя.

«Моцарт и Сальери. Реквием» (где звучит не «Реквием Моцарта, а «Реквием» Владимира Мартынова, ставшего соратником и спутником в исканиях Анатолия Васильева) — это перенасыщенный раствор, в котором деталей больше, чем способен уловить нормальный человеческий глаз, больше, чем в силах усвоить человеческое сознание за два с половиной часа театрального времени. Давно не работавший «на зрителя», режиссер попытался вместить в короткий спектакль многое из того, что открылось ему в его лабораторных трудах, наверное, не рассчитанных на непосвященных. В этом первом спектакле какие-то приметы гениальности, поразительных открытий, прозрений (раз уж речь о нынешних религиозных истоках творчества Васильева) тонут, случается, в эпизодах театральной графомании. Отвыкший от встреч со зрителем, Васильев как будто разучился отделять зерна от плевел. И если в лабораторной работе ценно и то и другое, то спектакль — как всякий готовый продукт — нуждается, если воспользоваться производственными понятиями, в фильтрах грубой и тонкой очистки. Ныне же гениальная простота игры Игоря Яцко (он играет Моцарта) бывает неразличима за антуражем, за нагромождением реквизита и бутафории.

Выход из подвала, если позволено будет именно так определить нынешний период не творчества, но «социального статуса» Васильева, и не может проходить безболезненно. Но, судя по реакции публики на премьере «Моцарта и Сальери», зрители рады возвращению режиссера из многолетнего затворничества и возвращению в нашу жизнь театра, где не все исчерпывается внешним адюльтерным сюжетом. То есть публика, как бы ни пытались опровергнуть это мнение многочисленные и успешные антрепризы, радуется *сложному театру*.

Как много надежд связывали с новыми силами во главе старых московских театров! Александр Ширвиндт в Театре сатиры, Вячеслав Долгачев в Новом драматическом театре, Роман Козак в Театре имени Пушкина, Андрей Житинкин в Театре на Малой Бронной... В последний день 2001 года к ним присоединился Сергей Арцибашев, который возглавил Академический театр имени Маяковского.

О работе Арцибашева на новом посту судить рано: до конца сезона он успел раз или два показать новую версию «Женитьбы», где занял немало лучших актеров звездной труппы «Маяковки». Долгачев, который принял театр еще до начала сезона, как-то сразу «лег на дно», так и не выпустив за год ни одного спектакля (хотя говорят, что в провинции уже видели обещанную им премьеру — «Профессионалов успеха» Александра Гельмана; но — если верить тем же слухам — главные роли в спектакле играют приглашенные народные артисты Лев Дуров и Борис Щербаков).

Удачно прошел сезон у Романа Козака: на двух сценах вышло шесть или семь спектаклей, две премьеры в филиале театра идут «на ура». Сначала сам Козак поставил там японскую комедию «Академия смеха», где занял Андрея Панина и Николая Фоменко, потом Кирилл Серебренников взял пьесу скандально знаменитого англичанина Марка Равенхилла «Откровенные полярные снимки». В обоих случаях перед началом у входа в театр стоят перекупщики, билеты у них стоят по полторы тысячи. «Я постараюсь доказать, что театральное событие не всегда проходит при полупустом зале и что коммерческий успех хорошему спектаклю не про-

тивопоказан», — примерно так формулировал свою художественную программу Роман Козак. И вот — доказывает.

На большой сцене Козак поставил «Ромео и Джульетту» Шекспира.

Еще до начала спектакля бросается в глаза: под фамилиями многих исполнителей в программке значится — студент Школы-студии МХАТ.

Ухо реагирует на незнакомый текст — режиссер взял незатасканный, а вернее, совсем неизвестный театральной публике перевод Осии Сороки. Того самого переводчика, чей замечательный — и местами казалось, что вольный, — перевод «Короля Лира» увлек несколько лет назад ровесника Козака Сергея Женовача. Молодежная — *своя* — команда и новый перевод — конечно, не главные, но очень важные составляющие удачи спектакля Козака.

Сегодняшний текст, сегодняшнее не уличное, блатное, но — естественное, разговорное слово. И актеры одеты, как одеваются нынешние подростки, — разноцветно, небрежно. В первых сценах, пока одни задираются, готовятся к драке, катая перед собою игрушечных петухов, другие, где-то на периферии сцены, пинают мяч. Можно сказать: молодежь проводит свободное время кто — за футболом, кто — в драках, один двор против другого. И — если судить по каким-то то ли недостроенным, то ли полуразрушенным конструкциям (сценография Г. Алекси-Месхишвили читается репликой к знаменитым строительным лесам из телеспектакля Анатолия Эфроса) — на задворках. Все в порядке вещей, ничто не предвещает трагического поворота событий. Даже нож в руке Тибальта, которого в спектакле Козака на английский манер зовут Тибальтом, — этот нож кажется скорее страшилкой, средством для подъема адреналина в крови, никак не орудием кровопролития.

Говорят, на репетициях Роман Козак не раз повторял, что эта история могла случиться в любом южном городе, и даже для примера называл Туапсе. Столько страстей за три дня способно вместить только южное сознание, южный темперамент — на юге ведь и речь стремительнее, что уж говорить о чувствах, тем более — молодых.

Удача «Ромео и Джульетты» (равно и неудача) всегда складывается из удачного (или, наоборот, неудачного) выбора и игры двух заглавных героев. Как бы ни были хороши няня Джульетты или родители с обеих сторон. Заметим, что няня в исполнении Натальи Николаевой, совсем не старая, но смешная и трогательная, — действительно удача спектакля. Николаева и еще Владимир Николенко в роли Капулетти — свидетельство того, что в труппе Пушкинского театра есть свои хорошие актеры...

Козак, который поставил себе целью создание на вверенной ему территории Театра имени Пушкина театральных событий, интересных и массовому зрителю, готовому выложить на дорогой билет, и ценителям, — кажется, не проиграл. *Для всех* — тинейджерс лав стори, для избранных — новый перевод и повод поговорить об истоках и смысле трагедии на современной сцене. Для тех и других — несколько новых актеров, новых звезд, «обнадеживающих кумиров» (что-то из нынешних премиальных номинаций).

Красавица Джульетта — студентка Школы-студии МХАТ Александра Урсуляк — одинаково хороша и в девическом, детском веселье, и в драматическом проживании вдруг нахлынувшего чувства, и в смятении чувств. Простодушный Ромео — тоже студент Школы-студии МХАТ Сергей Лазарев (пока, на первых спектаклях, он был хорош только в своем простодушии, но, кажется, способен на большее, к тому же известно, что любовь сыграть труднее всего). Видавшие за последнее время немало студентов даже и на академических сценах, зрители отмечают мастерство этих, которым выпали главные роли.

Подвергнув некоторому сокращению длинную пьесу, постановщик, по собственному признанию, постарался освободить вполне естественную в любые времена историю любви и вражды от каких-то социальных и политических подробностей. Ушла, казалось, незначущая сцена Ромео с аптекарем, как бы параллельная монологу Джульетты, обращенному к склянке с зельем, и следующий за нею разговор брата Лоренцо с братом Джованни, из которого становится видна подоплека роковых недоразумений, после чего пьеса стремительно катится к трагической развязке... То есть под нож попали сцены, нужные трагедии. В итоге осталась история

любви, которая, порывая с беззаботностью, взмывает вдруг до поэтических высот, к невозможной уже, казалось, серьезности. И зал эту серьезность принимает. Но трагедия рока, созданная Шекспиром, трагедия, которую ничто не в силах предотвратить и изменить, в этой частной истории растворилась.

«Ромео и Джульетта», наверное, нельзя назвать полной удачей, если в итоге нет хотя бы невольно навернувшейся слезы. Отсутствие в программке самого слова «трагедия», указания на жанр, — попытка уйти от ответа, но не сам ответ.

Смерть — еще не трагедия. Для того чтобы она стала трагедией не в бытовом, а в поэтическом понимании, нужно, наверное, чтобы мы успели осознать роковую неизбежность событий. Цепь случайностей не воспринимается как трагедия. Считать ли это потерей, имея в активе хороший спектакль — вполне современную историю любви, веселую, местами — лирическую? И немного печальную...

Но речь не о недостатках спектакля, а о его свойствах. О возможности и невозможности трагедии. О чистом жанре, который возвращается на сцену и которым озаботился вдруг наш театр. Конечно, комедий выпускалось больше. Но и трагедии, подлинные трагедии, трагедии всерьез — тоже примета минувшего сезона: «Антигона» во МХАТе имени Чехова и «Антигона» в Филиале театра имени Пушкина, «Ромео и Джульетта» Козака, «Макбетт» Ионеско в «Сатириконе», где как бы «сворачивается» трагическая история, теснимая невеселым юмором, но не исчезает, не уходит вовсе. К этому списку можно добавить и «чистую» средневековую трагикомедию «Селестина», которую несколько адаптировал и поставил в «Современнике» Николай Коляда.

Продолжим разговор о театрах, которые обрели новых руководителей. Поговорим о грустном, поскольку грустны ныне дела в Театре сатиры и на Малой Бронной.

Хорошее начало — пьесой Жана Ануя «Орнифль» — скоро забылось, поскольку следом в Сатире вышли «Время и семья Конвей» и «Игра» (мюзикл по мотивам «Свадьбы Кречинского»). Разные по качеству, эти спектакли были схожи в одном: в обоих случаях ошибкой стало само приглашение постановщика. И Владимир Иванов, который поставил в Сатире «Время и семью Конвей», и Михаил Козаков, режиссер «Игры», оказались не теми, кто был нужен театру, отвыкшему от твердой режиссерской руки. «Время и семья Конвей» — не то произведение, которое хорошо может смотреться на большой сцене Театра сатиры, вообще трудной для обживания и приурочения. Полным провалом закончилась история с «Игрой», с попыткой вернуться к легенде: много лет назад Козаков уже начинал ставить этот мюзикл в Театре сатиры с Ширвиндтом — Кречинским, но премьера не вышла из-за отъезда постановщика в Израиль (лишнее доказательство старой истины, что реанимировать в театре ничего нельзя, но особенно опасно это занятие, когда речь идет о прекрасных театральных легендах).

Годы, проведенные без строгого «присмотра», в театре обыкновенно ведут к тому, что театром начинает править актерское братство: спектакли ставят по заказу первых актеров, которые сами составляют и регулируют репертуар, принаравливая свои выходы к графику антреприз. Театр — не как помещение с труппой, но как живой организм (и как теперь уже почти легенда, известная нам по примерам БДТ времен Товстоногова, Таганки и «Современника») — может жить, повинувшись одной воле, и только до тех пор, пока есть художественная власть.

Этой воли пока не сумел продемонстрировать Александр Ширвиндт. А кредита, который позволял бы театру жить хоть какое-то время, не думая о будущем и последствиях, у него, увы, не было...

Грустны дела и в Театре на Малой Бронной. За сезон новый руководитель Андрей Житинкин успел поставить «Портрет Дориана Грея», «Лулу», «Калигулу» и «Метеор» Дюрренматта. Нестандартный выбор и — стандартное решение, знакомое по прежним спектаклям Житинкина. По части идей они чаще всего, если так можно выразиться, плелись за Виктюком. Репертуарная новизна никак не оправдывалась в самих спектаклях, пионерский выбор материала не находил поддержки в театральной форме. Но одно дело — когда режиссер трудился на чужих площадках, ограниченный сроками, работой чужих цехов и малым знанием труппы. Другое дело — когда все свое, все под рукой, все готовы подчиниться и пойти следом

за ним к вершинам успеха. И когда выходят в результате сырые, неделанные спектакли, когда актеры застывают в недоумении, просто не понимая, чем же именно они сейчас заняты, извинять Житинкина желания нет... Одно дело — судьба режиссеров, лишенных шанса, вынужденных при советской власти десятилетиями работать «вторыми» и очередными. Другое дело — когда дан шанс и этим шансом воспользовались так недаровито и небрежно.

Количество премьер — знак сезона. Оправившись от всех финансовых потерь, театры снова вышли на «крейсерскую скорость». Критики не успевали толком пережевать и пережить удачи и потери, встречавшиеся на пути, поскольку на каждом километре их поджидали свежие театральные впечатления. Лидером сезона стал чеховский МХАТ: двенадцать премьер!

Олег Табаков как будто не очень полагался на качество и потому решил поставить количественный рекорд. Видно, не слишком рассчитывая на отклик определенной публики, он решил осчастливить всех сразу, спектаклями на разные вкусы. Тем, кто любит серьезное и немного скучное искусство, — «Антигона» Темура Чхеидзе; тем, кому любо старшее поколение МХАТа, — «Ретро» Андрея Мягкова; буржуазная мелодрама «Священный огонь», по идее, должна была удовлетворить запросы соответствующей имущественной группы...

На протяжении всего сезона Табаков собирал труппу, пробуя в спектаклях то тех, то других, приглашая их порой на один-единственный спектакль. По всему видно, что он приветствует как раз серьезные, длительные отношения, но пока что его МХАТ живет как богатая антреприза, способная даже на проходную, эпизодическую роль позвать актера со стороны.

В последнее время уже не с тою же страстью, что прежде, но еще слышатся голоса тех, кто вступает за театральные академии, кто предупреждает об опасности, которая угрожает русскому репертуарному театру. А между тем — возможно, помимо воли охранителей, но не без их участия — границы русского репертуарного театра размываются. Лет пять тому назад за «полуантрепризность» нападали на Иосифа Райхельгауза. Сейчас так — приглашениями на главные и неглавные роли — живут уже многие театры.

Но вернемся к табаковскому МХАТу и его новой репертуарной политике.

Установка худрука на то, что театр — это «театрально-зрелищное предприятие», дает о себе знать: полный зал воспринимается как полный успех, пустой, вернее, неполный — как неудача и повод для исключения спектакля из репертуара. Нынешний МХАТ имени Чехова работает скорее по правилам, когда-то положенным для себя Федором Коршем. Театр — то же производство, которое не может существовать без коммерческого успеха. Неудача — не повод для рефлексии, поскольку на конвейере уже следующий продукт-спектакль.

К слову, как раз Табаков, и именно как художественный руководитель, — среди тех, кто определил направление сезона: прошедший сезон «вывел в люди» сразу многих молодых (кое-кто из них к тому времени даже не успел распрощаться со своими «университетами»). Можно было бы сказать — целое поколение, но остережемся: слишком разными, непохожими друг на друга оказываются режиссеры-ровесники, а мы все еще привыкли мыслить о поколении в искусстве как о людях, объединенных не только возрастом, но и схожими художественными принципами.

Спектакли Нины Чусовой, Николая Рошина, Ольги Субботиной, Кирилла Серебренникова, Миндаугаса Карбаускиса, Василия Сенина совершенно непохожи друг на друга, так что даже трудно поверить, что некоторые из их создателей учились у одного учителя. Их одновременный выход поразителен тем еще, что почти каждый из них получил не одну, а сразу две «попытки», так что удачный дебют тут же имел подтверждение. Их зазывали, им уступали место, их продвигали, что воспринималось сначала как нарушение неких естественных театральных законов. Табаков, например, дал поставить Миндаугасу Карбаускису целых три спектакля — в «Табакерке» молодой ученик Фоменко выпустил «Долгий рождественский обед» Уайлдера и «Лицедея» Бернхарда, а во МХАТе имени Чехова он поставил на только что открытой Новой сцене собственную инсценировку «Старосветских помещиков». На той же экспериментальной сцене Елена Невежина под конец сезона по-

ставила «Преступление и наказание» (и тоже — в своей сценической версии). Роман Козак пригласил на постановки Владимира Агеева и Кирилла Серебренникова. Василий Сенин дебютировал в Театре имени Вахтангова «Сказкой» Набокова, а потом в Центре имени Мейерхольда поставил пьесу Кольтеса «Роберто Зукко».

Фестиваль «Новая драма», впервые прошедший в Москве в конце мая — начале июня (и снова среди застрельщиков был Табаков, интерес которого к новым пьесам нельзя назвать случайным или праздным), лишь подтвердил ощущение, что молодые режиссеры, помимо прочего, способствуют еще и «репертуарному расширению»: они участвуют в экспериментальных проектах «Документальная пьеса», не боясь ни «консервативных» чувств и ценностей, ни радикальных, пограничных ситуаций. (К слову, минувший сезон дал еще три спектакля «по Гришковцу» — два «Города» и одну «Планету»; из чего-то неожиданного и экзотического Гришковец постепенно становится доступным репертуарным автором, у которого тоже случаются неудачи или полуудачи.)

В конце концов, прошедший сезон был просто сезоном сразу многих хороших спектаклей и замечательно сыгранных ролей. Перечислим лучшие и остановимся на этом: Александр Калягин сыграл папашу Убю, Константин Райкин — синьора Тодеро — хозяина, Игорь Гордин — чеховского Гурова, Сергей Маковецкий — Городничего. Как всегда, блестящих актерских работ было много в Малом, среди лучших Валерий Баринов — Наполеон и Евгения Глушенко — Жозефина в «Корсиканке».

Уроки лучшего театра нам преподал, как ни обидно это признать москвичам, Петербург. Сначала Малый драматический театр привез в Москву спектакль Льва Додина «Московский хор» по пьесе Людмилы Петрушевской. Спектакль, который в очередной раз доказывает неисчерпанность психологического, осмысленного театра. Потом, уже под занавес сезона, в «Сатириконе» поставил пьесу Ионеско «Макбетт» петербургский режиссер Юрий Бутусов. И этот спектакль открыл замечательную труппу, часто блекнущую на фоне премьеры — Константина Райкина. В «Макбетте» же блестяще сыграли по меньшей мере двое — Григорий Сиятвинда и Денис Суханов. Так что влияние Петербурга сегодня чувствуется не только в политической сфере.

КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

КОПЕЙКА

Фильм «Копейка» И. Дыховичного анонсируется как история народного автомобиля «ВАЗ-2101». Этот первый сошедший с конвейера образец «Жигулей» (в просторечии — «копейка») прожил долгую жизнь; за тридцать лет тридцать раз переходил из рук в руки, повидал на своем веку и членов Политбюро, и цеховиков, и воров, и проституток, и честных инженеров, и богемных художников, чтобы в конце концов стать музейной редкостью, игрушкой «новых богатых», а в финале принести счастье простому прекрасному юноше и не менее прекрасной девушке, которые от широты душевной катают на «копейке» малолетних уличных попрошаек.

Потенциальный зритель может ненароком подумать, что судьба «копейки» — «судьба народная», что похождения автомобиля в фильме — способ воскресить пеструю российскую жизнь трех последних десятилетий. И будет жестоко разочарован. Никакой «правды жизни», никакой последовательной реконструкции быта, никакой даже сколько-нибудь достоверной истории взаимоотношений народа с автомобилем в картине Дыховичного нет.

Ведь что такое любовь простого советского человека к индивидуальному средству передвижения? Это глубокая привязанность (чтобы не сказать — прикованность), исполненная муравьиной заботы. Включающая в себя многочасовое лежание под машиной, бесконечные толки «с мужиками» возле гаража, поиск запчастей, замену карбюратора, аккумулятора, подвески и проч. Нечто подобное слегка намечено в первых кадрах картины, где на экране телемонитора мы видим чумазого дядьку в

замасленной спецовке (С. Мазаев), который, стоя на фоне цеховых конструкций, косноязычно бормочет: «Ничего машина. Хорошая. Тридцать лет бегаёт, как новенькая. Я вот только в семьдесят седьмом году подвеску поменял...» Монолог прерывает истеричный возглас режиссера: «Уберите это чучело! Где сценарий?!» (имеется в виду сценарий телесюжета о тридцатилетии «копейки»).

На этой перепалке квазидокументальный пролог заканчивается. И дальше все в фильме идет уже по сценарию, написанному не кем-нибудь, а культовым писателем современности В. Сорокиным. Соответственно все дальнейшее к «судьбе народной» и даже «автомобильной» отношения не имеет, а имеет отношение лишь к прозе вышеозначенного писателя. (За исключением, быть может, лирического финала, где Дыховичный снял собственного сына и юную красавицу жену; так что романтическая интонация, по всей видимости, исходит от режиссера.)

Сорокинская проза — вещь весьма специфическая. Ее главный пафос — уничтожение смыслов, «десемантизация», как формулирует культовый, опять-таки, критик В. Курицын. «В поисках зон, свободных от смыслов, — пишет он, — Сорокин много внимания уделяет испражнениям как самой несемантизированной универсалии...» По поводу семантической нагруженности «говна» с критиком можно поспорить, но главное уловлено точно. Проза Сорокина отчасти напоминает офисную машинку для уничтожения документов: берется текст (как правило — чужой), пропускается через хитро устроенный механизм «деконструкции», и вылезает куча бумаги, где напечатаны вроде те же слова, а смысла — ноль. К чести великой русской литературы надо сказать, что многие ее тексты выдерживают подобную операцию и после разбавления инородной лексикой и вкрапления инородных сюжетных мотивов сохраняют некую память о смысле. Но то — великие тексты. В «Копейке» же объектом деконструктивных манипуляций становится наша отнюдь не великая жизнь, опыт повседневного существования обывателя в советско-постсоветской стране.

В сущности, сорокинская «машинка» устроена просто. Роль «резаков», уничтожающих сакральный смысл «авторитетного» текста, выполняют явления, вытесненные из зоны высокой культуры, — капрофагия, извращенный секс, гиньольные описания сцен насилия с разбрызганными мозгами, отрезанными конечностями и проч., телесные аномалии... В фильме, предназначенном для широкого проката (Дыховичный очень настаивает на коммерческой значимости проекта), наиболее скандальные сорокинские эксцессы слегка смягчены: поедание говна заменено в кадре выпиванием мочи; отсутствует гомосексуальный аспект — секс на экране «здоровый», хотя подчас и с несколькими партнерами сразу; сцена кровавого членовредительства подается как страшный сон одного из героев... Но есть тут и излюбленные Сорокиным черви-опарыши, и карлики-лилипуты, и «авторитетная» кантовская фраза про «звездное небо над нами и моральный закон внутри нас», которая с завидным упорством вкладывается в уста персонажей, кому до «морального закона» далеко, как до звезд. Иначе говоря, невинная история автомобиля «копейка» пропущена в фильме сквозь фильтр всевозможных сорокинских «извращений» с целью показать: в жизни этого социума — как прошлой, так и настоящей — смысл отсутствует начисто.

Второй принцип сорокинского письма, естественно вытекающий из первого, — девальвация субъекта высказывания. «Сорокинский текст — это литературность как таковая, мясо письма, вполне равнодушное к своей собственной семантике, инфинитив дискурсивности. Но поскольку дискурсивность реализуется только в чьей-то речи и поскольку всякий субъект речи транслирует самость, а авторство всегда заражено идеей абсолюта, последовательное следование литературе оборачивается насилием и полным расхерачиванием машины желаний» (Курицын). «Расхерачивание машины желаний» есть разрушение субъекта с его более или менее вменяемыми стремлениями, мотивами, реакциями и превращение персонажа в «органчик», производящий поток бессмысленных слов и не менее бессмысленных жестов. Такой персонаж способен на все. Цели его абсурдны, поступки идиотичны; человек без «я» превращается в сгусток бессмысленной витальной энергии и с остервенением жрет, пьет, трахается, давится в очередях неизвестно за чем или в порыве слепой агрессии лупцует себе подобных.

Герои фильма в основном этим и занимаются. К какой-либо «созидательной» деятельности имеют отношение лишь вечно пьяный автослесарь Бубука (С. Маза-

ев), который всякий раз возвращает «копейку» к жизни (при этом «созидатель» зверски размахивает кувалдой в рапиде, освещенный отблесками какого-то адского пламени), физик-теоретик Антон (О. Ковалов), который выписывает свое открытие мочой на снегу, и богемный художник Юра (Петлюра), черпающий вдохновение в беспорядочном сексе, сопровождаемом электрическими разрядами, да в порке, которой регулярно подвергают его две деревенские бабки. Остальные персонажи по большей части либо воруют, либо стучат, либо сажают или же торгуют собой, занимаются рэкетом и убивают... И практически все эти милые люди совершают абсолютно непредсказуемые поступки.

Вот, например, во второй новелле родители юного генерала (попавшего в номенклатурный рай благодаря исключительным сексуальным способностям) обменивают подаренную сыном «копейку» на машину для изготовления колбасы. На кой хрен им эта машина? В силу родственных связей они и так колбасой обеспечены по гроб жизни. Но машина в картине важна: работа этого грандиозного механизма, через тоненькую трубочку выдавливающего колбасный фарш в надетую сверху кишку, становится метафорой и структурой самого фильма, похожего на безразмерную колбасу или связку сосисок, начиненных одинаковым фаршем, и метафорой жизни, где на поверхности вроде бы индивидуальная форма, а внутри — единообразная каша бессмысленных вождений.

Потому-то большинство исполнителей играют в фильме по несколько ролей. Потому-то персонажи с легкостью перепрыгивают из одной социальной ячейки в другую: чиновник ОВИРа становится кооператором, дочка строгого гэбэшника — валютной проституткой, рядовой — генералом, богемный художник сотрудничает с братвой, а модная актриса модного театра спит с грузинским цеховиком Гиви... И автомобиль «копейка», хозяевами которого они поочередно оказываются, — суетный фетиш, та самая «пустота», за которой когда-то выстраивалась знаменитая сорокинская «Очередь». Потому-то «копейкой» не дорожат: легко обменивают, проигрывают в карты, продают за бесценок или просто дарят первому встречному. Вождение к пустоте не дает героям остановиться: овладев машиной, они тут же пытаются завладеть чем-то еще, столь же бессмысленным и вожденным.

В результате все герои фильма — раскрашенные куклы, которые мелькают и исчезают с экрана еще до того, как зритель успеет всерьез озаботиться их судьбой. Да и как может быть живым персонаж, все действия которого, включая даже физиологические отправления, обусловлены сугубо «литературными» нуждами. Не случайно скрепляющим элементом фильма является закадровый текст, принадлежащий герою, который погибает где-то в середине картины. Персонаж из плоти и крови исчезает, литературная функция остается. Без этого комментария в «Копейке» вообще никто ничего бы не понял.

Дыховичный, конечно же, отдает себе отчет в кромешной условности происходящего и расцветивает свой бесконечный дивертисмент разного рода кинематографическими примочками. Тут тебе и престарелый пионер, и сказочный зверь из папье-маше; пенсионеры, летающие на стульях и попадающие в телевизор во время трансляции фигурного катания; «говорящий портрет» и мультипликация, размытые серии стоп-кадров и мечущаяся «догматическая» камера... Но никакие цитаты и спецэффекты не в силах придать языку «Копейки» актуальность и эстетическую вменяемость. Ведь нет ничего труднее, чем убедительно передать на экране бессмысленность и абсурд. Тут необходима очень жесткая форма. А фильм, который снимался пять лет, так что авторы к концу уже подзабыли, что было в начале, клинически страдает именно отсутствием внятной структуры. Он мог бы длиться до бесконечности; никакого развития ни на уровне сюжета, ни на уровне формы здесь нет, а все переключки, рифмы и повторы — случайны и не работают на добавление смысла.

Необязательность и рыхлость постройки делает фильм опасно близким к эстетике достопамятной перестроечной чернухи-порнухи с ее «Ворами в законе», «Брюнетками за 30 копеек» и проч. Ведь на своем уровне кинематограф уже проделал по отношению к советским реалиям «деконструкцию» сродни сорокинской, только без всякого стилистического блеска. Тогда, в пору перестройки, низовые элементы советского бытия от секса до сексотов, от говна до разбрызганных моз-

гов, от братков до чиновников-взяточников совершенно заполнили экран. И тогда же опрокидывание с ног на голову советской мифологии доказало свою художественную непродуктивность.

Дыховичный второй раз вошел «в ту же реку» и снял перестроечный «сборник анекдотов», отличающийся разве что более высоким уровнем текста. Однако текст в кино — дело десятое. Главное — структура визуального повествования. В «Копейке» нам предложен набор разномастных аттракционов в расчете на то, что народ развлечения любит и, похохатывая, будет ловиться на зрительские манки — гэбэшника с «Архипелагом ГУЛАГ» под матрасом, обросших шерстью грузин, пасторальных пейзажей с двустолковой и деревенских бабок, поряющих на морозе художника-авангардиста. Купится на «новых русских», потерявших счет деньгам и детям, на пролетария, всадившего нож в спину олигарху, на свою беду остановившемуся поговорить по сотовому под его (пролетария) окошком; купится на прелести похотливых гетер и зрелище члена Политбюро, в раздражении топором рубящего на кухне свиную голову. Распадающийся, затянутый донельзя капустаник — вот что находит кинематограф, забредая в поисках добротной литературной основы в элитарный огород В. Сорокина.

Думаю, кино в эти игры играет не от хорошей жизни. Не в силах справиться с туманной реальностью, оно пытается компенсировать отсутствие осмысленной картины мира — зрелищем; и тут чем больше всего наворочено — тем лучше. Зрителям нравится. Им, видно, тоже хочется забыться, забыть, отстранить от себя пережитый опыт. Прозаические опусы Сорокина позволяют современникам дистанцироваться от смысла когда-то кем-то написанных текстов. Кино по его сценарию дает возможность уйти от безнадежных поисков смысла всеми нами прожитой жизни. Думаю, что ненадолго. Ведь смысл в человеческом существовании — категория определяющая. И сколько его ни «деконструируй» — все равно придется потом конструировать.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

Словари рифм. «Лаборатория рифмы»

Если рифма существует, значит, ее необходимо изучать. Если рифма состоит из слов, значит, должен существовать словарь рифм.

Словари рифм действительно существуют, и довольно многочисленные. В Сети больше всего словарей английских рифм. Самый известный словарь выложен на сайте RhymeZone (<http://www.rhymezone.com>).

Словарь устроен очень просто: вы вводите слово и получаете полный набор рифмующихся с ним слов английского языка: односложных, двусложных и т. д. Кроме того, можно получить по запросу антонимы, синонимы, паронимы, омофоны, омографы и т. д. И даже полный набор (симфонию) тех шекспировских строк, где это слово встречается. Этот словарь может быть полезен и интересен, даже если вы не собираетесь сочинять рифмованные стихи на английском языке. Словарь немецких рифм (<http://www.2rhyme.ch>) не так богат и предлагает поиск только рифмующихся слов.

Словарь русских рифм на сегодняшний день в Сети обнаружить не удалось. Это выглядит явным пробелом — тем более, что полные словари изданы: Абрамов Н. Полный словарь русских рифм. Словарь русских синонимов. М., 1996; Федченко С. М. Словарь русских созвучий. Около 150 000 единиц. М., 1995; Фок П. М. Практический словарь рифм. М., 1993.

В принципе, это не беда, вместо словаря рифм всегда можно воспользоваться обратным словарем русского языка. Такой словарь выложен на сайте «Обратные

словари» (<http://speakrus.narod.ru/zaliznyak/zalizr.htm>). За основу этого обратного словаря взят «Грамматический словарь русского языка» А. А. Зализняка (М., «Русский язык», 1980), выложенный на сайте «Страница С. А. Старостина» (<http://starling.rinet.ru>). Необходимо отметить и изданные словари: «Обратный словарь русского языка». Ок. 125 000. Научно-редакционный совет изд-ва «Советская энциклопедия»; Вычислительный центр АН СССР. М., «Советская энциклопедия», 1974; «Обратный словарь русского языка». Под редакцией А. А. Зализняка. М., «Советская энциклопедия», 1974.

Обратный словарь можно «просеять», учитывая ударный гласный, и словарь точных рифм будет готов (замечу — именно точных). Если ударения проставлены, эту работу вполне может выполнить совсем простая программа.

Зачем нужны полные словари рифм? Сам по себе подобный словарь, видимо, представляет небольшую ценность, пока мы не возьмем тот или иной семантически окрашенный его срез, пока мы его не «динамизируем», как говорил Тынников, с точки зрения использования рифмующихся слов в поэтической практике. Мы можем рассмотреть частоту использования рифм в тот или иной период развития поэзии во всем корпусе текстов, или отдельным поэтом, или группой поэтов. И тут словарь рифм нам очень многое скажет.

В рецензии на книгу «Александр Блок. Исследования и материалы» (СПб., «Дмитрий Буланин», 1998), опубликованной на сайте «Петербургский книжный вестник» (<http://bookman.spb.ru/02/Blok/Blok.htm>), мы читаем: «...настоящей жемчужиной сборника является „Словарь рифм А. Блока“, впервые составленный Т. Ю. Максимовой по образцу „Словаря рифм М. Ю. Лермонтова“, с „Указателем рифмических гнезд“. Весь удивительный, страшный и прекрасный мир блоковской поэзии встает за скромными строчками словаря, сразу вызывающими в памяти то или иное стихотворение: „бездонна — влюбленно“, „безжеланно — туманно“, „запастий — страсти“, „нем он — демон“, „придорожной — невозможный, осторожной“... В самом деле, кому еще может принадлежать такой набор рифм? Блоковская поэтика узнается сразу, и словарь читается как своеобразный путеводитель по его творчеству...»

Словарей рифм отдельных поэтов или отдельных произведений очень немного. Кроме словарей Блока и Лермонтова («Лермонтовская энциклопедия». М., «Советская энциклопедия», 1981) можно указать «Словарь рифм Иосифа Бродского». Составитель А. Бабакин. Тюмень, «Мандрика», 1998; «Словарь рифм Марины Цветаевой». Составитель А. Бабакин. Тюмень, «Мандрика», 2000; «Словарь рифм романа „Евгений Онегин“ А. С. Пушкина». Изд-во СГУ, 1998. Ни один из этих словарей в Сети не выставлен.

Если бы был создан полный словарь русских рифм с указанной частотой использования, разделенный по периодам, то сравнение со словарем рифм конкретного поэта могло бы дать огромную информацию для размышления. Только в этом случае можно было бы выявить характерные для временного среза рифмы, которые поэт не использует, которых он избегает. Это иногда может сказать о поэтике больше, чем исследование использованных возможностей. Тем более, что исследователь всегда отстает по времени, и в то время, когда проводится исследование, резкие отличия творчества поэта от общепринятого фона могут уже стереться — так часто бывает, когда речь идет о великих поэтах, сильно повлиявших как на поэтический язык вообще, так и на рифму в частности.

Академическая необходимость словарей рифм сомнений не вызывает. Но, может быть, они нужны не только исследователю, но и практикующему поэту для быстрого подбора рифмующегося слова? Не нужно больше мучительно перебирать слова, нужно просто заглянуть в словарь рифм — и это решит все проблемы.

«Сочинение рифм уходит в прошлое. Словарь предоставляет уникальную возможность находить практически все рифмы к любым словам в любых грамматических формах. Универсальная система организации рифм, простота и удобство в пользовании в сочетании с наиболее полной базой рифм русского языка дают основание полагать, что словарь станет настольной книгой для всех профессиональных поэтов и творческих людей» («Лаборатория рифмы», <http://rifma.com.ru>)

Автор сайта Владимир Онуфриев). Или анонс одного из словарей английских рифм: «A sweet dream of a graphomaniac: you press a word and get a rhyme for it immediately» (<http://www.rhymer.com>). («Сладкая греза графомана: вы вводите слово и немедленно получаете рифму к нему».)

Возможно, для каких-то творческих людей словарь рифм и окажется полезен в «сочинении» стихов и избавит их от «сочинения» рифм, но в том, что касается профессиональных поэтов, я вынужден Владимира Онуфриева разочаровать. Никогда ни один поэт при настоящей поэтической работе не пользовался словарем рифм и пользоваться не будет. Потому что поэт рифмы не сочиняет, не подбирает, не ищет. Если четверостишие не рождается как целое, вместе со всеми рифмами и прочими аллитерациями, то как бы хороши ни были две первые строки, скорее всего, они будут отправлены на переплавку.

Рифма рождается «случайно» при встрече созвучных слов. Перед поэтом всегда стоит творческая задача, в которой поиск рифмы играет исключительно служебную роль, и выполняется этот поиск — как и все создание поэтического текста — интуитивно, даже если пишется венوک сонетов.

Иногда нельзя заранее сказать, рифмуется в данном конкретном тексте пара слов или нет, это тоже зависит от творческой задачи.

Но ты зеваешь: «Мол, у этой песни
Припев какой-то скучный...» — Почему?
Совсем не скучный, он традиционный.

Вдоль вереницы зданий станционных
С дурашливым шенком на поводке,
Под зонтиком, в пальто демисезонных
Мы вышли наконец к Москва-реке.

(Сергей Гандлевский. «Еще далёко мне до патриарха»)

Рифма или не рифма «традиционный — станционных»? Вроде бы по всем параметрам это нормальная неточная рифма. Но если мы читаем стихотворение, то первое впечатление — это впечатление случайного созвучия, которое становится рифмой только позднее — в следующих строфах, где белый стих плавно перетекает в стих рифмованный. Если бы случайное созвучие не было подкреплено дальнейшими рифмованными строфами, оно рифмой не стало бы.

Другая трудность составления практического словаря рифм была отмечена Давидом Самойловым в его «Книге о русской рифме» (М., 1982). Рифма двадцатого века — это рифма словарная, то есть рифмуются не окончания, не ударные гласные, а целые слова. И здесь от того, как именно строится стихотворение, какая решается задача, зависит, станут слова рифмой или не станут.

«Лаборатория рифмы», полностью посвященная исследованию рифмы, не смотря на решительные заявки и рекламную шелуху в стиле «Fine!», пока представляет собой очень сырой сайт. Дизайн сайта демонстрирует чуть ли не все детские болезни новизны в Интернете. Одних счетчиков десятка полтора, многие ссылки на сайте ведут к несуществующим страницам, оставляет желать лучшего собственно дизайнерское решение. На мой взгляд, сайт следовало делать гораздо строже, без бегущих, переворачивающихся, моргающих деталей.

Главное на сайте, то, ради чего, как можно понять из заявлений автора, сайт и создавался, — это электронный словарь русских рифм. Как уже было отмечено, такого словаря в Сети пока нет, и он был бы безусловно полезен. Но автор сайта решил не выкладывать словарь целиком или в виде поисковой системы, как, например, на RhymeZone, а представлять по небольшому фрагменту:

«Материал подается по следующей схеме:

рифмы обновляются с периодичностью 3 — 10 дней;
рифморяды даются в таком же порядке, в каком они организованы в словаре;
новые рифмы не добавляются, а заменяют существующие;
для удобства подаются анонсы и список уже опубликованных рифм.
Не упустите возможность собрать все рифмы!

Опубликованные рифмы: БА (05.06.2002)

На очереди: БЕ, БИ, БО, БУ, БЯ...»

Предполагается, что, потрясенные нездешней новизной этого словаря, читатели и поэты будут копировать фрагменты и сохранять их у себя. Не думаю, что это лучший способ публикации. Сказать об этом словаре как о чем-то существующем просто нечего, и когда станет это возможно, неизвестно.

На сайте выложены (на этот раз полностью) «Словарь поэтических терминов в примерах» и «Словарь разновидностей рифмы». И тот и другой вызывают серьезные сомнения в профессионализме их создателя.

«Словарь поэтических терминов в примерах» представляет собой очень сильно сокращенный словарь Квятковского (К в я т к о в с к и й А. Поэтический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1966)¹. Есть и дополнения. Например, словарная статья: «БЕСКОНЕЧНЫЙ СТИХ — стихи с кольцевой структурой, где конец переходит в начало. Всем известен стих: „У попа была собака”. А вот пример бесконечной басни:

...Сидел на ветке
Как-то гордый попугай.
И, взлетая очень редко,
Он смеялся с птичьих стай...
„Будет дымка голубая,
Красивее облака...”

В. В. Онуфриев».

Подозреваю, что сама статья «Бесконечный стих» и была введена в словарь для того, чтобы автор сайта мог блеснуть своим поэтическим шедевром.

Автор настаивает на своем первенстве и никаких ссылок на другие словари не дает. Причин может быть две: либо он их не знает — тогда это редкое невежество, и оно было бы простительно, если бы не запредельные претензии. Либо автор знаком с другими словарями и их использует, но ссылок не дает, — а это уже плагиат.

«Словарь поэтических терминов» еще следует какой-то традиции, но «Словарь разновидностей рифмы» — это пример кустарного производства. «Родная», «дружественная» и даже «двоюродная» рифма — эти понятия прямо-таки новое слово в стиховедении.

Тем не менее развивать проект необходимо, но автору следует вести более открытую политику — не выкладывать по одной страничке рифм, а выложить сразу весь словарь, это действительно могло бы сделать сайт привлекательным. Следовало бы указать источники по возможности всех сведений, собранных на сайте, — это придало бы вес и филологическую строгость материалу, а заодно потребовало бы от автора практически полного пересмотра выставленных словарей.

Можно сконцентрировать на сайте множество уже существующих материалов, посвященных русской рифме. Например, вышеупомянутые словари рифм отдельных поэтов.

Начато хорошее дело, но, по сути, оно только заявлено. Загубить его легко, а вот довести до профессионального уровня очень трудно.

¹ Новейшее исправленное и дополненное переиздание: Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. М., «Дрофа», 1998; 2000. (*Примеч. ред.*)



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Борис Акунин. Внеклассное чтение. Роман. М., «ОЛМА-Пресс», 2002, 382 стр. + 379 стр., 300 000 экз.

Новый роман Акунина, в котором действует уже знакомый читателю по роману «Алтын-толобас» Николас Фандорин, а повествование, так же как и в предыдущем романе, оформлено в два потока: наше время и Россия XVIII столетия. Значительным событием появление этого романа делает цифра в выходных данных: тираж 300 000 экземпляров. За последние десять лет работы с библиографией мне не приходилось вписывать такую оглушительную цифру в данные о новой книге современного прозаика.

Юрий Андрухович. Перверзия. Перевод с украинского А. Бражкиной, И. Сиды. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 386 стр., 2000 экз.

Роман одного из ведущих прозаиков новой волны в украинской литературе. Журнал уже писал о предыдущих его романах (см. «Сетевая литература», 2000, № 12, и «Библиография. Книжки», 2001, № 11).

Ирина Василькова. Белым по белому. Сорок стихотворений. М., Издательство «МХТ», 2002, 75 стр.

Вторая книга стихов (первая — «Поверх лесов и вод». М., «ЭРА», 2001) — продолжение знакомства с автором, долгое время писавшим «в стол» и, может быть, благодаря этой — довольно редкой в современной литературе — ситуации сосредоточенности и неспешности представшим перед публикой сложившимся поэтом. Стихи разных лет, собранные Васильковой в три цикла («Белым флагом», «Полнолуние», «Белыми нитками»), производят впечатление написанных на одном дыхании. Автор предисловия Татьяна Бек, представляя поэта как «остро отдельного, некичливо яркого и упорно традиционного», также отметила это качество: «Как ни окрести эту плотную череду не случайно сведенных вместе стихов, эту совокупность, — она являет собой внутреннее единство, сплошное, как белый цвет, в котором все оттенки радуги».

Александр Генис. Раз. Культурология. М., «Подкова», «ЭКСМО», 2002, 504 стр., 6000 экз.

Александр Генис. Два. Расследования. М., «Подкова», «ЭКСМО», 2002, 492 стр., 6000 экз.

Александр Генис. Три. Личное. М., «Подкова», «ЭКСМО», 2002, 456 стр., 6000 экз.

Трехтомное собрание сочинений, написанных за прошедшее десятилетие. В первом томе культурологическая эссеистика — циклы «Американская азбука», «Вавилонская башня», «Билет в Китай», «Пейзажи». Во втором — литературно-критическая эссеистика: циклы «Беседы о новой словесности» (о Синявском, Битове, Макашине, Довлатове, Саше Соколове, Толстой, Пелевине и других), «Швы времени» и «Частный случай». Третий том составили философская проза «Темнота и тишина», филологический роман «Довлатов и окрестности» и автобиографическая проза «Трикотаж». Нервная, остроумная, афористичная, лирически-взволнованная и философски нагруженная (к своей ипостаси философа автор относится с легкой иронией, но именно эта самоирония и придает весомость его «максимам»), ностальгическая, веселая и всегда предельно серьезная проза, написанная в жанрах, изобретаемых каждый раз заново самим Генисом. Предисловие к трехтомнику с некоторым пиитическим даже волнением написала Татьяна Толстая: «Генис-писатель, Генис-культуролог, Генис-кулинар, Генис-странник, Генис-голос, — который из них настоящий? И знает ли он сам себя? В поисках себя он выходит в мир. ...Мы — за ним, а он — от нас, только следы, четко отпечатавшиеся на странице, еще хранят память о его присутствии, только уголь его таланта дымится, — дым очага русской словесности, дым отечества, вечерний костерок, радость повара или грамотно притоптанный бивуак вечного скитальца, вечного путешественника? Мы — за ним, а он уже шагает куда-то с утречка пораньше; любопытный к миру и шедрый к нам, он опять уходит вперед, чтобы разведать, разузнать, приостановиться, присесть, рассказать и снова собраться в дорогу».

Дуглас Коупленд. Жизнь после Бога. Роман. Перевод с английского В. Симонова. СПб., «Симпозиум», 2002, 286 стр., 5000 экз.

Роман канадского писателя, написанный после «Поколения X», принесшего ему всемирную известность. Грустное, лирическое и ироничное повествование про расчеты героя романа с молодостью, про обретение им зрелости и соответственно нового взгляда на реальность как на «доведенный до схематизма мир тотального потребления, индивидуализма и быстрого исполнения желаний. Бог остался где-то позади, за поворотом шоссе, по которому катит на „форде-мустанге” герой романа, рефлексирующий одинокий канадец, которому перевалило за тридцать...» («Книжное обозрение»).

Григорий Медведев. Ядерный загар. М., ЗАО «МК-Периодика», 2002, 512 стр., 5000 экз.

Сборник художественной и документальной прозы, автор которой сочетает в себе талант прозаика и доскональное знание темы (по первой профессии Медведев инженер-энергетик с большим опытом работы на атомных электростанциях). Основу сборника составили «Чернобыльские тетради», первоначально публиковавшиеся в «Новом мире» (1989, № 6), предисловие к этому тексту написано А. Д. Сахаровым. Также в книгу вошли повести «Ядерный загар» и «Энергоблок» (см. рецензию С. Костырко в № 8 за 1987 год), рассказ «Теплое бревно» и два публицистических очерка «Шестнадцать лет спустя» и «Ядерные хвосты». Предисловие к книге — Г. А. Явлинского, послесловие — С. Костырко.

Орхан Памук. Меня зовут красный. Роман. Перевод с турецкого В. Феоновой. СПб., «Амфора», 2002, 538 стр., 4000 экз.

Роман одного из ведущих прозаиков Турции, романтический мифологический средневековый Стамбул глазами современного художника.

Йоргос Сеферис. Шесть ночей на Акрополе. Перевод с новогреческого и послесловие Олега Цыбенко. СПб., «Алетейя», 2002, 256 стр., 1000 экз.

Роман классика европейской литературы, лауреата Нобелевской премии 1963 года, греческого поэта Йоргоса Сефериса (1900 — 1971) — единственное его законченное прозаическое произведение. Попытка написать лирико-философское сочинение. «Идеологическую фантазмагорию или фантазмагоричную идеологию», посвященную судьбам Европы и европейской культуры в начавшемся XX веке; действие романа происходит в Афинах 20-х годов. Работа над романом шла почти тридцать лет (с 1926 по 1954 год), и тем не менее при жизни автора он так и не был опубликован. На родине роман вышел в 1974 году, на русском языке публикуется впервые.

Владимир Сорокин. Лед. Роман. М., «Ad marginem», 2002, 318 стр., 30 000 экз. Новый роман известного писателя-фантаста с претензиями на философию.

Владимир Яковенко. Русское золото. М., «Олимп», 2002, 316 стр., 10 000 экз.

Попытка совместить традиции современной русской психологической прозы со стилистикой триллера — детективный сюжет развивается на жестко прописанном социально-психологическом фоне жизни середины 90-х.



Лидия Бердяева. Профессия: жена философа. Составление, предисловие и комментарии Е. Бронникова. М., «Молодая гвардия», 2002, 262 стр.

Дневники жены Николая Бердяева с записями 1934 — 1945 годов.

Михаил Гробман. Левиафан. Дневники 1963 — 1971 годов. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 544 стр., 2000 экз.

Дневники известного поэта и художника-авангардиста, писавшиеся в последние восемь лет перед эмиграцией, воспроизводят легендарную уже атмосферу жизни московского художественного андерграунда 60-х. В ближайшем окружении автора — Станислав Фанталов, Анатолий Тюков, Анатолий Брусиловский, Андрей Судаков, Михаил Шемякин, Эдуард Штейнберг, Борис Алимов, Владимир Немухин, Евгений Крапивницкий, Илья Кабаков, Игорь Холин, Эдуард Лимонов, Геннадий Айги, Генрих Сапгир, Всеволод Некрасов и другие. Приложенный к тексту «Указатель упоминающихся имен» занимает 35 страниц. Последняя дневниковая запись (30.IX.1971) заканчивается фразами: «Самолет „Ил” взял курс на Вену. Невероятное ощущение неотвратимо приближающейся свободы».

Институтки. Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. Составление, подготовка текста и комментарии В. М. Боковой и Л. Г. Сахаровой.

Вступительная статья А. Ф. Белоусова. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 576 стр., 3000 экз.

Воспоминания шести воспитанниц Воспитательного общества благородных девиц при Смольном монастыре, впоследствии — Смольного института (1768 — 1919), начинаются в этом издании записками выпускницы первого выпуска Глафиры Ивановны Ржевской (1759 — 1826) и заканчиваются воспоминаниями Татьяны Григорьевны Морозовой (1904 — 1997), которая покинула институт осенью 1919 года. История института представлена также в воспоминаниях А. В. Стерлиговой, А. Н. Энгельгардт, Е. Н. Водозовой. Учеба, общение, быт, история страны.

К 200-летию Боратынского. Сборник материалов международной научной конференции, состоявшейся 21 — 23 февраля 2000 года (Москва — Мураново). М., ИМЛИ РАН, 2002, 367 стр.

Кроме многочисленных статей литературоведов (И. А. Пильщиков, Л. В. Дерюгина, М. И. Шапир, С. Г. Бочаров, Олег Зырянов, А. М. Песков и другие), литераторов (А. Кушнер, Ю. Кублановский, О. Мраморнов) о творчестве и о судьбе Боратынского, сборник содержит републикацию работы Г. О. Винокура «Баратынской и символисты» (предисловие и примечания С. Г. Бочарова), а также «Речь Петра Боратынского по поводу женитьбы польского короля Сигизмунда-Августа на Варваре Радзивилл (17 ноября 1560 года)» в переводе с польского М. Е. Бычковой, она же выступает в сборнике с сообщением «Легенда о происхождении Боратынских».

Андрей Немзер. Памятные даты. От Гавриила Державина до Юрия Давыдова. М., «Время», 2002, 511 стр., 3000 экз.

Новая книга одного из ведущих современных критиков — после первой («Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е». М., «Новое литературное обозрение», 1998), посвященной новейшей русской литературе, вторая представляет историю русской (и отчасти — европейской) литературы от Державина, Карамзина, Булгарина, Грибоедова, Пушкина до Твардовского, Астафьева, Трифонова. Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

П. П. Перцов. Литературные воспоминания 1890 — 1902 гг. Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии А. В. Лаврова. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 496 стр., 2000 экз.

Мемуары критика, публициста, редактора религиозно-философского журнала «Новый путь» Петра Петровича Перцова (1868 — 1947). Среди персонажей — Владимир Соловьев, В. Розанов, Н. Михайловский, С. Дягилев, З. Гиппиус, В. Брюсов, А. Белый, Д. Мережковский, А. Скабичевский, Ф. Сологуб. В книгу вошли не издававшиеся с 1933 года «Литературные воспоминания»; а также, в «Приложениях», — впервые публикуемые «Литературные воспоминания. Часть II», «Силуэты старого Петербурга», «Театральные силуэты», «О Владимире Соловьеве. (Встречи и воспоминания)»; выходявшие отдельными изданиями, но труднодоступные сегодня очерки «Ранний Блок» (1922), «Брюсов начала века» (1940) и некоторые другие работы. Журнал намерен отрецензировать эти мемуары.

Марсель Райх-Раницкий. Моя жизнь. Перевод с немецкого В. Брун-Цеховского. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 528 стр., 2000 экз.

Автобиографическая книга одного из самых авторитетных в Германии литературных критиков, судьбу которого определило его положение «наполовину немца, наполовину поляка и на сто процентов еврея». Первая половина книги повествует о попытках автора выжить в условиях надвигающейся войны — в 1938 году как еврей он был депортирован из Германии, где прошло детство и юность, в Польшу, жил в Варшавском гетто, спасая, прячась в польской семье; после войны, побывав короткое время сотрудником польских служб безопасности и дипломатическим работником, оказался в положении полубезработного опального литератора, исключенного из коммунистической партии. В 1958 году смог переехать в ФРГ. Во второй части книги автор сосредоточивается на описании своей литературной судьбы и литературной жизни Германии. Перед нами записки именно критика, имеющего свою, выработанную профессиональной точкой зрения на особенности писательской психологии и поведения (например, разговаривая с Анной Зегерс, автор вдруг обнаруживает, что «эта достойная и заслуживающая любви женщина не поняла свой собственный роман „Седьмой крест“». Она и понятия не имела об утонченности примененных в книге художественных средств, о виртуозной композиции... Чему я научился из этого разговора с Анной Зегерс? Тому, что большинство писателей понимает в литературе не больше, чем птицы в орнитологии». Другое наблюдение: для Станислава Ежи Леца в общении «существовала только одна тема — его стихотворения, его афоризмы, его поэтические переводы... Примерно через час Лец вдруг сказал: „Так больше не пойдет. Мы говорим все обо мне да обо мне. Давайте теперь

поговорим о вас. Как *вам* понравилась моя последняя книга?"... Я не знал еще ни одного писателя, который не был бы тщеславным и эгоцентричным, разве только это был очень уж плохой автор...». Острый глаз, независимость суждений умного, много испытавшего человека и притом профессионала придают неожиданную рельефность его литературным портретам. Среди тех, с кем сводила Рейх-Раницкого профессия, были Эрих Кёстнер, Элиас Канетти, Теодор Адорно, Генрих Бёлль, Макс Фриш, Ингеборн Бахман, участники «Группы 47».

Ирина Рейфман. Ритуализированная агрессия. Дуэль в русской культуре и литературе. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 336 стр., 2000 экз.

Монография профессора кафедры славянских языков и литератур Колумбийского университета — история дуэли в России с ее «этикой и эстетикой», поведенческими кодами и идеологией; описание самых знаменитых дуэлей и дуэлянтов; «дуэльный дискурс» в русской литературе с наиболее детальной проработкой этой темы на материале творчества Бестужева-Марлинского (глава «Александр Бестужев-Марлинский. Брестер и апологет дуэли») и Достоевского (глава «Как воздержаться от дуэли. Поединок в произведениях Достоевского»).

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА

«Вестник Омского университета», «Время МН», «Время новостей», «Газета», «День и ночь», «Демократический выбор», «День литературы», «Ex libris НГ», «Завтра», «Известия», «Иностранная литература», «Искусство кино», «Итоги», «Книжное обозрение», «Коммерсантъ», «Лебедь», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Логос», «Москва», «Московские новости», «Народ Книги в мире книг», «Народное образование», «Наш современник», «НГ—Религии», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новое время», «Общая газета», «Огонек», «Отечественные записки», «Раувоу», «Пателефон Сквер», «Подъем», «Посев», «Правозащитник», «Простор», «Россия», «Русский Журнал», «Семь сторон света», «Складчина», «Топос», «Труд», «Факел»

Борис Агеев. Человек уходит. Мотив Конца Света в повести Евгения Носова «Увятские шлемоносцы». — «Наш современник», 2002, № 5 <<http://read.at/nashovr>>
См. также: Евгений Носов, «Сронилося колечко», «Два сольди» — «Москва», 2002, № 1; Евгений Носов, «Фагот» — «Москва», 2002, № 5 <<http://www.moskvam.ru>>

См. также: «Статья, которую обо мне написал Солженицын в „Новом мире“, как будто развязала мне руки. Я окрылен, вдохновлен. Но, увы, мои чернила кончаются <...>», — говорил Евгений Носов («Известия», 2002, № 100, 14 июня). 13 июня на 78-м году жизни в Курске русский прозаик Евгений Иванович Носов скончался.

См. также речь Евгения Носова при получении премии Александра Солженицына («Литературная газета», 2001, № 19-20, 16 — 22 мая), речь Александра Солженицына на этой церемонии («Новый мир», 2001, № 5) и этюд из «Литературной коллекции» Александра Солженицына о прозе Евгения Носова («Новый мир», 2000, № 7).

Михаил Айзенберг. *Qui pro quo*. — «Время новостей», 2002, № 91, 24 мая <<http://www.vremya.ru>>

«Люди, говорящие о конце поэзии, путают поэзию с мифом о поэте. Поэт заслонял поэзию, он как будто и был ею. Этот миф кончается, как-то выветривается. Звучит как обветшалый вздор. Неловко произнести даже само слово „поэт“, рисуется нечто несусветное, одно вместо другого. (Как если бы при слове „шелест“ в воображении являлся облик бывшего члена Политбюро.)»

Юрий Архипов. Гибель богов по-русски и по-немецки. — «Литературная газета», 2002, № 22, 29 мая — 4 июня <<http://www.lgz.ru>>

«Как-то раз [немецкие] устроители одного поэтического фестиваля решили посоветоваться со мной, кого бы им пригласить от России. От каждой страны предполагалось три гостя. „Итак, вакансий три?“ — спросил я. „Нет, две, — ответили мне обреченно. — Мимо Пригова мы все равно не проскочим“...»

Виктор Астафьев. Приключения Спирьки. Начало повести. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 2002, № 3-4 (35), март — апрель <<http://www.din.krasline.ru>>

Надиктованная глава. Единственная. Последняя попытка больного писателя заставить себя работать.

См. также: «<...> Погибает Игарка, погибает Туруханск, погибает Норильск, погибает много пролетарских городов, построенных при советской власти. И они погибнут, потому что они строились без Божьего благословения, на человеческих костях», — говорит **Виктор Астафьев** осенью 2001 года («Посев», 2002, № 5). Он же: «Когда-то я с восторгом повторял фразу Константина Симонова <...> что „всю правду о войне знает только народ“. Когда я поработал над военным романом, над двумя книгами, вчитался во многое, я понял: нет, не знает всей правды народ и не узнает никогда. „Всю правду о войне знает только Бог“. Это моя фраза. Можете ею пользоваться».

Сергей Балмасов. Лбищенский рейд и уничтожение штаба Чапаева. — «Посев», 2002, № 4 <<http://posev.ru>>

«Уничтожение легендарного героя красных — Чапаева — одна из самых выдающихся побед белых». Сокращенный вариант статьи из альманаха «Белая Гвардия» (№ 5).

Павел Басинский. Писатель нашего времени. Три портрета. Послесловие Александра Мелихова. — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 2.

Пелевин. Кабаков. Акунин. Не хороши.

Фредерик Бергедер. Последняя инвентаризация перед продажей. Главы из книги. Перевод с французского Ирины Волевич. — «Иностранная литература», 2002, № 4 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

Французы назвали 50 лучших книг XX века. Первые пятнадцать: Альбер Камю, «Посторонний»; Марсель Пруст, «В поисках утраченного времени»; Франц Кафка, «Процесс»; Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; Андре Мальро, «Условия человеческого существования»; Луи-Фердинанд Селин, «Путешествие на край ночи»; Джон Стейнбек, «Гроздь гнева»; Эрнст Хемингуэй, «По ком звонит колокол»; Ален-Фурнье, «Большой Мольн»; Борис Виан, «Пена дней»; Симона де Бовуар, «Второй пол»; Сэмюэл Беккет, «В ожидании Годо»; Жан-Поль Сартр, «Бытие и ничто»; Умберто Эко, «Имя розы»; Александр Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ»...

Исайя Берлин. Европейское единство и превратности его судьбы. Перевод Анны Курт. — «Неприкосновенный запас», 2002, № 1 (21) <<http://magazines.russ.ru/nz>>

См. также: **Исайя Берлин**, «Мой интеллектуальный путь» — «Логос», 2001, № 4 (30) <<http://www.ruthenia.ru/logos>>; **Анатолий Найман**, «Сэр» — «Октябрь», 2000, № 11, 12; 2001, № 3 <<http://magazines.russ.ru/October>>; **Игорь Ефимов**, «Краткое перемирие в вечной войне» — «Новый мир», 2002, № 4.

Андрей Битов. Зачистка горячей точки «Я». Пока есть точка прикрепления, человек способен вынести все потери. — «Новая газета», 2002, № 37, 27 мая <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Только тебе кажется, что ты гордыню преодолел, — как штамм вируса прорвется другим путем. И вот начинаешь думать: жил ты при Советской власти и всегда не любил начальство — а может быть, и это было гордыней?»

См. также: «<...> сейчас мне очень нравятся вопросы: „Чем вы нас порадуете? Что вы приготовили?“ Да вы еще и того не прочитали», — говорит **Андрей Битов** в беседе с Екатериной Варкан («Жизнь в этой жизни» — «Ex libris НГ», 2002, № 18, 30 мая <<http://exlibris.ng.ru>>).

См. также: «Такое впечатление, как будто выметают. Как будто приходит другой мир и хочет окончательно сказать, что он — другой! И происходит уборка поколения, уборка XX века», — пишет **Андрей Битов** («Время Медного всадника» — «Новая газета», 2002, № 40, 6 июня).

Юрий Бондарев. Отец, мать, бабушка и я; «Новая критика». — «Литературная газета», 2002, № 23, 5 — 11 июня.

Два мгновения.

Владимир Бондаренко. Отверженный поэт. Русская муза Николая Тряпкина. — «Завтра», 2002, № 20, май <<http://www.zavtra.ru>>

«[Николай Тряпкин] был нашим русским дервишем, понятным всем своими прибаутками, частушками, плясовыми и в то же время непонятым почти никому в своих магических эзотерических прозрениях».

Александра Борисенко. Песни невинности и песни опыта. О новых переводах «Винни-Пуха». — «Иностранная литература», 2002, № 4.

«<...> В. Руднев, со всей его интеллектуальной эквилибристикой, не хотел обидеть Заходера — и уж тем более не собирался *заменять* заходеровский перевод своим экспериментальным конструктором, а В. Вебер хотел».

Дмитрий Быков. Быков-quickly: взгляд-37. — «Русский Журнал» <www.russ.ru/ist_sovr>

«[Владимир] Сорокин — лишь чуть более радикальный стилистически, но ничуть не более сложный автор, нежели ведущий программы „Вокруг смеха“ [пародист Александр Иванов]».

Дмитрий Быков. Три соблазна Михаила Булгакова. — «Огонек», 2002, № 19-20, май <<http://www.gopnet.ru/ogonyok>>

«Пошлость — в некоей генеральной интенции: в допущении самой мысли о том, что некто великий и могучий, творящий зло, доброжелательно следит за нами и намеревается сделать нам добро».

Андрей Ваганов. Эволюцию направляет саморазвивающаяся инструкция. Цивилизация во Вселенной, возможно, и возникает часто, но живут очень короткие время. — «Независимая газета», 2002, № 97, 22 мая <<http://www.ng.ru>>

Говорит президент Международной ассоциации геохимии и космохимии, директор Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН, автор книги «Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью. Происхождение и принципы эволюции» (М., 2001), академик **Эрик Галимов:** «<...> Упорядочение — это не что иное, как ограничение свободы. Мерой беспорядка — если хотите, мерой свободы — является энтропия. Увеличение порядка — это ограничение свободы. На языке термодинамики — это уменьшение энтропии, на языке теории информации — увеличение информации. Эволюция жизни связана с возрастанием упорядочения, то есть все новых и новых ограничений в свободе взаимодействий. Описание такого естественного механизма я и ставил своей задачей, механизма, который в рамках известных законов, безо всякого их нарушения прокладывает дорогу порядку навстречу миру, движущемуся в сторону хаоса <...>».

Андрей Ванденко. Утомленный свободой. — «Итоги», 2002, № 20, май <<http://www.itogi.ru>>

Говорит режиссер **Андрей Кончаловский:** «Жаль, политкорректность мешает Путину открыто сказать, что в России не может быть демократии, как и еще в 90 процентах стран. Какая демократия возможна в Китае, если там живут сплошь конфуцианцы?»

Владимир Варава. Русский «гендер». — «Подъем», Воронеж, 2002, № 5 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>

«Разрушение семьи (уже не святости брака, не метафизических основ, а „биологии“ семьи) достигло сейчас невероятных размеров...» Поэтому всем — читать Розанова.

Алим Велитов. И все-таки ему удалось улететь. — «Ex libris НГ», 2002, № 17, 23 мая <<http://exlibris.ng.ru>>

Федерико Феллини — создатель комиксов. См. также в сетевом журнале «Комиксолет»: <http://comics.aha.ru>

См. также: **Федерико Феллини, Шарлотта Чэндлер,** «Мой трюк — режиссура» — «Искусство кино», 2002, № 1, 2, 3, 4, 5 <<http://www.kinoart.ru>>; **Федерико Феллини, Шарлотта Чэндлер,** «Я вспоминаю» — М., «Вагриус», 2002.

Вячеслав Влещенко. Почему в воровском мире был культ Есенина? — «Литература», 2002, № 19, 16 — 22 мая <<http://www.1september.ru>>

«Итак, если у [Анатолия] Жигулина Есенин — единственный поэт, чьи стихи пробуждают *высокие* чувства даже в душе убийц, насильников, бандитов, <...> то [Варлам] Шаламов объясняет культ Есенина у „блатных“ наличием в стихах поэта *низких*, низменных, циничных чувств <...>».

Александр Воронель. Торжество воображения. Феноменологические заметки. — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 4.

Тематический номер «Петербург — Иерусалим». Публицистические заметки главного редактора израильского журнала «22» о феномене русского еврейства в Израиле: «<...> эта группа составляет резерв сторонников модернизации в израильском обществе».

Андрей Воронцов. Победители «сверхчеловеков». Повесть. — «Наш современник», 2002, № 5.

Из семейной хроники Воронцовых/Подгурских. «Наши деды *поднялись*, вошли по трупам сверхчеловеков в горящие Кёнигсберг и Берлин. Их оказалось невозможно победить. А нас?»

И. Вошинин. Социальная философия солидаризма. — «Посев», 2002, № 4.

«Авторов, оставивших нам в наследие систему социальной философии солидаризма, четверо: французы Ренувье и Изуле, немец Пеш и русский С. Франк...» Здесь же: **В. В. Помогаев**, «Истоки национально-трудового строя русского солидаризма» — «Посев», 2002, № 4.

Рената Гальцева. Великий отказ. — «Посев», 2002, № 5.

«Вряд ли в нашей власти повернуть колесо истории вспять, но те из нас, кто не захвачен духом века сего, кто перестал обольщаться иллюзией прогресса, должны осознать себя живущими в мире антикультуры и свидетельствовать об этом в меру своих сил. Остальное — не нашего ума дело». См. также: **Рената Гальцева**, «Тяжба о России» — «Новый мир», 2002, № 7, 8.

Валерий Ганичев. «Русский орден» в ЦК партии: мифы и реальность. — «Завтра», 2002, № 23, 4 июня.

«У меня было очень много встреч с Михаилом Александровичем Шолоховым, и он мне рассказывал, что написал записку в ЦК о положении русского народа, об отсутствии защитников его интересов в правительстве, в ЦК, в любых государственных структурах. Суслов и Андропов эту записку замотали».

См. также письмо **Михаила Шолохова** от 14 марта 1978 года, адресованное Л. И. Брежневу. «<...> Симптоматично в этом смысле появление на советском экране фильма А. Митты «Как царь Петр арапа женил», в котором открыто унижается достоинство русской нации, оплеваются прогрессивные начинания Петра I, осмеиваются русская история и наш народ <...>» («Завтра», 2002, № 21).

См. также: **Николай Митрохин**, «Этнонационалистическая мифология в советском партийно-государственном аппарате» — «Отечественные записки», 2002, № 3 <<http://www.strana—oz.ru>>

Татьяна Глушкова. Из неопубликованного. Публикацию подготовила Валентина Мальми. Послесловие Евгения Нефедова. — «День литературы», 2002, № 5, май <<http://www.zavtra.ru>>

«<...> то уже ничего не рифмуется, / ничего не звучит / (даже пыльного марша / громовых духовых / не слышать), / потому что смолкают музы, / когда умолкают / пушки» («Третий Рим»).

Владимир Губайловский. О ямбе. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Поэт, работая в традиционной технике, учится быть независимым».

Декларация принципов терпимости. Принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее двадцать восьмой сессии в Париже, утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. — «Правозащитник», 2002, № 1 <<http://www.hro.org/editions/hrdef>>

«<...> Терпимость — это понятие, означающее отказ от догматизма, *от абсолютизации истины* (курсив мой. — А. В.) и утверждающее нормы, установленные в международных правовых актах в области прав человека <...>».

Саша Денисова. Жена Набокова. — «Огонек», 2002, № 18, апрель.

«Никто с полной уверенностью не знает, нужна ли писателю жена...» См. также: **Омри Ронен**, «Вера» — «Звезда», 2002, № 1 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

Владимир Н. Еременко. Три встречи. — «Литературная Россия», 2002, № 23, 7 июня <<http://www.litrossia.ru>>.

С Шолоховым.

Анатолий Железняк, Лидия Железняк, Олег Заславский. Ответный удар. Кто же все-таки спланировал атаку на нью-йоркские небоскребы? — «Новая газета», 2002, № 34, 16 мая.

Игра ума: за терактом (будто бы) стоял... японец (возможно, американский) — преступный гений, мстящий Америке за Хиросиму и Нагасаки.

Жизнь в свете дружбы и любви. «Шестидесятник» Жуховицкий стал «семидесятиником». Беседу вел Владимир Дагуров. — «Литературная Россия», 2002, № 19-20, 17 мая.

«„Отгепель” — это был очень короткий период, каких-нибудь полгода», — считает Леонид Жуховицкий.

Марк Завадский. Поэзия тела. — «Факел детям не игрушка». Журнал для тех, кому больше всех надо. Учредитель — Федерация Интернет Образования. Главный редактор Юрий Грымов. 2002, № 3 <<http://www.fakel.org>>

Говорит **Вячеслав Курицын**, организатор открытого поэтического состязания «Русский слэм»: «Если ты пишешь стихи — ты поэт. А как еще определить поэта? Все другие способы являются тоталитарными». См. также: <http://guelman.ru/slava>

Захлебнись или засохну. Беседовали Ольга и Александр Николаевы. — «Время MN», 2002, № 91, 28 мая <<http://www.vremyamn.ru>>

Говорит (тот самый) **Владимир Сорокин**: «<...> доказательство бытия Божьего заложено уже в строении атома».

Александр Иголкин. Умение ставить вопросы. — «Наш современник», 2002, № 5. «Заслугой Г. В. Костырченко [автора книги „Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм”] является убедительное доказательство: планов депортации евреев [в 1953 году] не было и быть не могло».

Юрий Каграманов. Посмотрите, кто пришел. — «Посев», 2002, № 4.

«<...> но основное их [лимоновцев] мироощущение никуда из нашего общества не исчезнет, покуда молодежь входит в жизнь под знаком враждебных небес и неприветливого будущего».

Николай Калягин. «Какою мерою мерите...». — «Москва», 2002, № 5 <<http://www.moskvam.ru>>

«<...> Вот это фарисейское любование своей чистотой, своим „идеализмом” — в виду растерзанной России, которая-де за грехи свои наказана и которую мы, идеалисты, своевременно предупредили в вещих „Вехах”, так что нам, идеалистам, просто не о чем в этой ситуации печалиться, — вот это и есть большой соловьевский *стиль*, несмысленный соловьевский *след* в истории русской мысли. <...> Спаслась душа Соловьева или погибла — с этим разберутся без нас. Не наша это забота. Полезно для нас помнить о том, что мера, какую мерил нашу Россию Владимир Соловьев, — дрянная мера». См. также: **Николай Калягин**, «Чтения о русской поэзии» — «Москва», 2000, с № 1 по 12.

Алексей Кара-Мурза. «Не надо придумывать нового! Мы возвращаемся к самим себе». — «Посев», 2002, № 5.

«<...> Азию в России всегда вводили насильно, а стоило страну чуть освободить — и она тут же направлялась в Европу. Петр же, при всем его западничестве, был типичным авторитарным правителем и привел Россию как раз к положению Азии в Европе».

М. Н. Катков. Роман Тургенева [«Отцы и дети»] и его критики. Републикация, вступительная статья и примечания Л. И. Соболева. — «Литература», 2002, № 22, 8 — 15 июня.

Впервые: «Русский вестник», 1862, № 5.

Степан Кашурко (руководитель поискового центра «Подвиг» Международного Союза ветеранов войн и Вооруженных Сил). Кара непогребенных. — «Завтра», 2002, № 20, май.

«Душам не захороненных солдат на небесах больно. Поэтому в местах их гибели стоит отчаянный жуткий стон. Его слышим мы, но не слышит власть. Не слышит — и он ей не страшен. Пока».

Руслан Киреев. Вокруг Шекспира. Заметки читателя. — «Литература», 2002, № 22, 8 — 15 июня.

Джюльетта как предвестница г-жи Реналь, Анны Карениной, Скарлетт и Анисьи.

Г. Кокунько. Между двумя днями рождения. — «Посев», 2002, № 5.

«Если уж можно кому-то праздновать 22 апреля — то не вижу никаких оснований запрещать еще кому-то „гуляния” двумя днями раньше!»

Николай Кокухин. Фальшивое завещание графа Толстого. — «Литературная Россия», 2002, № 22, 31 мая.

«Пятнадцатая глава [„Хаджи-Мурата,»] — это сплошная фальшь, гнилой плод заблудившегося, помраченного непомерной гордыней ума старого писателя. <...> Повесть

получилась откровенно антирусской. Этим и объясняется, на мой взгляд, тот стыд, который ощущал в себе Лев Николаевич как в разгар работы над повестью, так и после ее окончания».

Модест Колеров. Умер Александр Носов. — «Неприкосновенный запас», 2002, № 1 (21).

«Если и был в России полноценный, культурно и исторически пережитый антикоммунизм, которому равно чужды розовое „шестидесятничество” и диссидентский антипатриотизм, то одним из самых ярких антикоммунистов был Носов».

«Мы вместе пережили октябрь 1993 года — и Носов был среди тех немногих, кто — помня исторический опыт 1917 года — стал на сторону государства, которое во имя свободы расстреляло блок коммунистов и диссидентов».

«Наше либеральное движение всегда морально отставало от таких искренних и честных своих сторонников, каким был Александр Носов, нашей буржуазии всегда не хватало такой свободы от сиюминутного эгоизма».

Модест Колеров, Николай Плотников. Диалог о левизне. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«Но сейчас-то и выясняется, что критика *status quo* — это не монополия левых. Скорее, наоборот, идейный консерватизм сегодня может с не меньшим успехом осуществлять критическую функцию» (Николай Плотников).

Мария Корякина-Астафьева. Рассказы, которые я не успела ему рассказать... — «День и ночь», Красноярск, 2002, № 3-4 (35), март — апрель.

Ему — то есть Виктору Петровичу Астафьеву.

Владимир Костров. Не пора ли призвать соловья? Беседу вела Елена Новикова. — «Литературная Россия», 2002, № 23, 7 июня.

«Ну, нельзя мат считать частью жизни...»

Марк Костров. Инструкция по созданию одноэтажной планеты. — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 2.

Советы новгородца: «<...> под полом [палатки] прорывается канавка, в нее укладываются пластмассовые вездесущие обрезанные бутылки <...>».

См. также очерки **Марка Кострова** в «Новом мире»: «По реке Мсте от Новгорода до Кривого Колена» (1999, № 8); «Житие на Кармянной» (1998, № 8); «Рыбные дни Новгородчины» (1997, № 3); «Глубинка» (1995, № 11); «Дульные тормоза» (1995, № 1); «Вариации переходного периода» (1994, № 10); «Как уцелеть в наше смутное время? Советы болотного жителя» (1993, № 9).

Юрий Кублановский. Закрытая книга. — «Труд-7», 2002, № 91, 30 мая — 5 июня <<http://www.trud.ru>>

«<...> отказ от чтения [современной литературы] некоторой части интеллигенции можно трактовать и как результат инстинкта самосохранения, стремления избежать порчи».

Культура движется взрывами. Беседа с главой «*Ad marginem*» Александром Ивановым и ведущим редактором издательства Михаилом Котоминым. Беседу вел Андрей Смирнов. — «Завтра», 2002, № 22, 29 мая.

Говорит **Михаил Котомин**: «У книги нет истории, книга — это кусок бумаги. Как говорил Маркс: „У литературы нет своей истории”. Не надо делать вид, что книга — нечто важное само по себе, талмуд этакий. Это вещь, целиком принадлежащая контексту: политическому, культурному, социальному. На бумаге — сгусток этого контекста, концентрация социальной или культурной энергии».

Станислав Куняев. Поэзия. Судьба. Россия. — «Наш современник», 2002, № 5.

«<...> Так что если и были польские офицеры в Катыни расстреляны в марте 1940 года, то надо тщательно уточнять, кем. Может быть, и не совсем русскими. Или совсем не русскими <...>. Тогда и Едwabна будет выглядеть как польское отмщение за Катынь. Вот ведь с какого конца клубок может размотаться! И нам, русским, в этом еврейско-польском клубке нечего будет делать». Начало книги см.: «Наш современник», 2001, № 2, 3, 4, 6.

О. А. Кутмина. «Живые души» Андрея Битова. — «Вестник Омского университета». Ежеквартальный журнал. Омск, 2000, выпуск 1.

«Название „Живые души” — из списка возможных вариантов заглавия для романа Битова „Оглашенные” (1995 г.)...»

Александр Кушнер. Предназначение поэта — быть поэтом. — «Литературная газета», 2002, № 22, 29 мая — 4 июня.

«Считаю, что поэтический эпос вытесняется, только не прозой, а стихами. <...> Книга лирических стихов — это и есть поэма, там стихи, взявшись за руки, дают панорамное представление о жизни. И не нужен сюжет, не нужны персонажи, герои...»

Кайса Эберг Линдстен. Астрид Линдгрэн и шведское общество. Перевод со шведского А. Поливановой. — «Неприкосновенный запас», 2002, № 1 (21).

«Однако детским писателям Нобелевскую премию не давали никогда».

«Разговоры о том, что Астрид Линдгрэн своим непреложным авторитетом парализовала шведскую детскую литературу, затихли».

Семен Липкин. «Тем, кого я переводил, я часто советовал, что убрать, где расширить...» Беседовала Елена Калашникова. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

О чтении: «<...> я с раннего детства ходил в Библиотеку приказчиков-христиан и Библиотеку приказчиков-иудеев, которые были недалеко друг от друга».

О Мандельштаме: «Нервный, жил материально плохо, писал мало, халтурой не занимался, в то время работал в „Московском комсомольце“...»

Протоиерей Андрей Логвинов. Губы шепчут молитву. Стихи. — «Наш современник», 2002, № 5.

«Я хорошо родной народ: / Гораздо чаще отпеваю, / Чем в жизнь крещеньем принимаю. / Изводится российский род. / Как будто на передовой — / Накрыли нас, и паства тает, / И смерть до рвоты кровь глотает. / Я так устал, я сам не свой...»

Ср.: «<...> за всем нашим общественным процессом стоят именно эти два лозунга: у одних — „хотим жить, как в цивилизованном мире“, у других — просто „хотим жить“. А поскольку существующая в России перспектива не дает шансов ни для того, ни для другого, ответ у обеих категорий может быть только один — сокращаться, сворачиваться. <...> Одни просто естественно исходят в небытие. Это такая фундаментальная форма русского бунта. Другие уходят за границу. Они эмигрируют. Эмиграция — это вторая форма русского бунта. И кстати, здесь заключена замечательная архетипическая параллель между уходом за границу и уходом в небытие» (**Вадим Цимбурский**, «ЗАО „Россия“» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>).

М. В. Истории о Мяо Босю. — «Семь сторон света». Идея, составление и редакция — Вячеслав Суриков. Дизайн и каллиграфия — Вениамин Грибков. Тираж 500 экз. Омск, 2001, № 1.

Есть и такой журнал (по крайней мере первый выпуск): квазияпонисто-китаистый, красивый, с картинками. «Фальшиво подпеваю ветру. / Осенний парк. / Никто меня не слышит» (Олеся Кривцова).

См. также сайт русских хайку <<http://haiku.ru>>

Журнал мне подарили в Омске, куда я съездил благодаря Фонду социально-экономических и интеллектуальных программ (фонд С. А. Филатова) в рамках подготовки Второго форума молодых писателей.

Наталья Маркова. Феномен телепузиков. — «Народное образование». Российский общественно-педагогический журнал. Основан Министерством народного просвещения в 1803 году. 2002, № 2 (1315).

Не коммерция только, а один из экспериментов по моделированию поведения детей. Доказательно.

Леонид Мартынов. Театр. [Новелла-воспоминание]. Публикация Г. Суховой-Мартыновой. — «Складчина». Литературная газета. Омск, 2002, № 0, март.

«Теперь я поведаю о том, как я писал пьесы и что из этого получилось...» Газета «Складчина» — новое периодическое издание Омского отделения Союза российских писателей, продолжающее традицию одноименных литературных ежегодников (1995 — 1997).

Новелла Матвеева. Ночная стража. — «Литературная газета», 2002, № 20-21, 22 — 28 мая.

Много стихотворений. С неожиданными рисунками автора. См. также: **Новелла Матвеева**, «Устойчивость вещей» — «Знамя», 2002, № 5.

Алексей Машевский. Карамзин-поэт. — «Литература», 2002, № 20, 23 — 31 мая.

«Поздние стихи Карамзина — это стихи государственника поневоле...»

Николай Мельников. Набоков после «Лолиты». Неотлакированное интервью «великого В. Н.». — «Московские новости», 2002, № 21 <<http://www.mn.ru>>

«Не думаю, чтобы я даже когда-нибудь разговаривал с двенадцатилетней школьницей», — утверждал **Владимир Набоков**.

Мария Мишуровская. Интеллект/безумие — это больно. — «Факел детям не игрушка». Журнал для тех, кому больше всех надо. 2002, № 4 <<http://www.fakel.org>> «Явным шизофреником, например, был стихотворец Велимир Хлебников...»

Ср.: «Порой [проза Пелевина] отдает шизофренией, но почти каждый второй хороший писатель был шизофреником», — говорил незадолго до смерти **Виктор Астафьев** («Московские новости», 2002, № 22).

Андре Моруа. Роберт и Элизабет Браунинг. Перевод с французского В. Меранова. — «Иностранная литература», 2002, № 5.

Love story.

Ксения Мяло. На берегах единой Европы. О превратностях великой мечты. — «Наш современник», 2002, № 5.

«<...> Ведь и сама внутриукраинская война 1941 — 1945 годов была в огромной мере лишь продолжением борьбы „западнцев” (униатов) и „москвофилов”, на протяжении 400 лет после заключения Брестской унии составлявшей нерв внутриукраинской драмы. Перечтите „Гайдамаков” Шевченко, господя, — неужели это все тоже Сталин устроил?»

«**Называть СМИ „четвертой властью” — ошибка.** Беседу вела Татьяна Мохрякова. — «Литературная газета», 2002, № 23, 5 — 11 июня.

Говорит поэт и философ **Владимир Микушевич**: «<...> Да, так говорят, но ведь это метафора. Государство составляют три власти. Четвертой быть не может. Власть — это ответственность. <...> По-моему, миф о «четвертой власти» парализует телевидение.

Ср.: «<...> Более того, современный человек вообще не может быть уверен в том, что те или иные явления, [о которых сообщают СМИ], действительно *происходят*. По странной прихоти судьбы, образованный и высокоинформированный человек двадцать первого века имеет все шансы урваться в своем уровне мировосприятия с обитателем античного мира, для которого все земли, лежащие за туманным краем его Ойкумены, станут загадочными мирами, населенными фантастическими животными и сказочными чудовищами типа Осамы бин Ладена», — пишет **Евгений Матусевич** («Излучение» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/netcult>>).

Видиа С. Найпол. Два мира. Речь по поводу присуждения Нобелевской премии, произнесенная в Стокгольме 7 декабря 2001 года. Перевод с английского М. Дадяна. — «Иностранная литература», 2002, № 5.

«Может показаться странным, что человеку, почти полвека отдавшему словам и эмоциям, нечем поделиться. Однако все хоть сколько-нибудь ценное, что есть в моей личности, сосредоточено в моих книгах. <...> Я утверждаю, что я есть сумма моих книг».

Александр Неверов. Как диссидент диссиденту... — «Итоги», 2002, № 21, май.

Вопрос: каким бы Солженицын был президентом? «Плохим, — уверен **Владимир Войнович**. — Он бы не справился. Это я не в укор ему говорю. Я думаю, что и Сахаров бы не справился».

«Сейчас — после выхода книги [о Солженицыне] — меня опять станут ругать непонятно за что», — *заранее* жаловался **Войнович** («Книжное обозрение», 2002, № 23-24, 3 июня).

«Сам же Войнович считает, что этой книгой продолжает „бороться с мифотворчеством”, ибо „общество, в котором есть такие священные коровы (как Солженицын. — *А. Л.*), не свободно и его легко закрепить в случае чего”. Удивительное заявление. Это о Солженицыне-то нельзя высказать критических соображений? Да их только и делают, что высказывают — все, кому не лень», — пишет Алла **Латынина** («Время МН», 2002, № 93, 4 июня).

Ср.: «Нелюбовь к Солженицыну — это феномен макрофобии, то есть неприятия всего большого, выдающегося за привычные границы. Я не психолог, но подозреваю, что комплекс этот зарождается в детстве. „Я не люблю Солженицына”. А вы попробуйте его просто не замечать. Не получается?» — размышляет **Павел Басинский** («Топос», 2002, 29 мая <<http://www.topos.ru>>).

Алексей Нелькин (Санкт-Петербург). Методические рекомендации к изучению поэзии Иосифа Бродского в 11-м классе. — «Литература», 2002, № 23, 16 — 22 июня.

За-аче-е-ем?!

Андрей Новиков. Смертная казнь с правом переписки. — «Новое время», 2002, № 2948, 26 мая <<http://www.newtimes.ru>>

«Тем не менее нужно признать, что казнь есть нечто большее, чем наказание. Это нечто неизбежное в этом мире, который, как выяснилось, даже Бога встречает гвоздями. Невозможно в полной мере отменить смертную казнь, не отменив сам этот мир».

Виген Оганян. Справедливость — в победе над равным. Право владения оружием есть великое право свободного гражданина. — «Независимая газета», 2002, № 111, 7 июня.

«<...> Из сказанного следует, что отмена смертной казни справедлива, но при условии разрешения на свободную продажу оружия».

См. также: «Наша разрешительная система достаточно отлажена, чтобы надежно учесть легальное гражданское оружие — револьверы и пистолеты. Я считаю, что россияне вправе защищать себя с оружием в руках», — говорит министр юстиции **Юрий Чайка** («Огонек», 2002, № 12-13).

Андрей Н. Окара. Алексей Степанович Хомяков: еще одно «наше все». Триединство Церкви, власти и бизнеса как моделируемый *main-stream* путинской России. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Алексей Степанович [Хомяков] обогатил не менее как 15 сфер человеческой активности: философ, православный богослов, замечательный поэт, историк, математик, промышленник и теоретик хозяйства, социолог, правовед и много кто еще. <...> В русском культурном сознании как-то уж очень сильно окостенел пантеон знаковых образов: Пушкин — „наше все“ на все времена, где-то на второй ступени Лермонтов и Чайковский, универсальный „сверхчеловек“ — Ломоносов, на „экспорт“ — Толстой с Достоевским, Гоголь — по разряду „больших чудаков“. Все свободные места в „иерархии“ заняты, и нынешняя актуальная культурно-идеологическая задача состоит в коррекции и раскрутке имиджа Хомякова в качестве универсальной фигуры первого ряда и общенационального значения». Эта же статья — в «Ex libris НГ», 2002, № 18, 30 мая.

Валентин Оскоцкий. Валентин Распутин в двух лицах. — «Демократический выбор». Еженедельная либеральная газета. 2002, № 18, 16 — 22 мая <<http://www.demvyb.ru>>

Прозаик Распутин хорош, а публицист — не очень, даже совсем не хорош.

Олег Павлов. «Я не знаю, что напишу завтра, да и смогу ли написать...» Беседа вела Елена Калашникова. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Девяностые годы — странное время. Проза была умнее своих критиков, но беднее жизни».

«<...> впечатление именно от кино сегодня для меня самое сильное, то есть самое жизненное. Оно современно, по-настоящему драматично и трагедийно, что как-то уходит из литературы. Притом — даже американское. При этом совершенно интеллектуальное кино смотрят массы людей, чего не происходит в литературе».

«Я бы хотел воскреснуть...»

Марина Павлова. «Поэзия — плуг, взрывающий время...» Опыт внимательного чтения стихотворения О. Мандельштама «Золотистого меда струя из бутылки текла...». — «Литература», 2002, № 22, 8 — 15 июня.

Здесь же: **Анна Сергеева-Клягис**, «„Из стакана в стакан“». Мандельштам и Батюшков» — «Литература», 2002, № 22, 8 — 15 июня.

Памятка для не ожидающих допроса. Беседа с Александром [Сергеевичем] Есениным-Вольпиным [4 декабря 1998 года]. — «Неприкосновенный запас», 2002, № 1 (21).

«Я в 69-м писал „Памятку“... писал, помню, по совету [Петра] Григоренко. Начали сажать после оккупации Чехословакии, и вот тогда возникла надобность...» Тут же: **Михаил Айзенберг**, «Опережающее примечание к беседе с Александром Есениным-Вольпиным» — «Неприкосновенный запас», 2002, № 1. См. также: **Юлия Ларина**, «Плохой гражданин СССР. Сын Сергея Есенина приехал на родину» — «Московские новости», 2002, № 20).

Александр Панченко. «Мы живы памятью». Беседу вела Юлия Кантор. — «Известия», 2002, № 95, 5 июня <<http://www.izvestia.ru>>

Последнее интервью академика. «У нас словесная цивилизация, у нас же национальная мечта — книжку написать».

Геннадий Петров. «В Европе народ совершенно сумасшедший». — «Московские новости», 2002, № 18.

Говорит бывший лидер УНА-УНСО **Дмитрий Корчинский**: «Я вполне уважаю пророка Мухаммада (пусть Господь благословит его и приветствует), но я понимаю, что мусульман можно любить только на расстоянии. <...> Дугину с Прохановым нужно серьезно потусоваться среди азиатских людей, чтобы понять, что не надо никаких евразийских проектов. Какими бы плохими ни были американцы и израильтяне, мы с ними часть единого целого».

Лев Пирогов. Предчувствие. Мировой, войны — нужное подчеркнуть. — «Ех libris НГ», 2002, № 17, 23 мая.

«<...> когда, например, наблюдаешь в День Победы по российскому *MTV* длинный „просветительский“ фильм о Второй мировой войне. Сначала „целевой аудитории“ (четыренадцатилетние — будущее страны) рассказывают о нацистских зверствах в отношении евреев, потом — о выдающейся роли американского экспедиционного корпуса, который нацистов победил, а евреев спас. На этом история войны, кроме шуток, заканчивается. <...> после такого фильма так и подмывает выйти на улицу с железным прутом и „отомстить“ за деда Ивана...»

Андрей Плахов. Глазное дно. Атомоход «Герман». — «Факел детям не игрушка». Журнал для тех, кому больше всех надо. 2002, № 3 <<http://www.fakel.org>>

Говорит режиссер **Алексей Герман**: «Я с большим уважением отношусь к Никите Михалкову, пусть руководит Союзом [кинематографистов], если что-то получится, дай ему Бог здоровья. <...> Но то, что он сейчас говорит, я все это давно слышал. Его идея — показать Россию, какой она должна быть, чтобы это был пример для подражания. Я это слышал еще от Жданова <...> я это в школе проходил. Михалков прав, наверное, в одном. Не надо говорить по телевизору „эта страна“, надо говорить „наша страна“...»

Ср.: «Или Алексей Герман — человек, это же глыбища, неприкасаемый. И всем недоволен. Он недоволен, когда его душила советская власть и он снимал замечательные фильмы. Потом разрушили Союз кинематографистов, прокат, строй, власть, страну, и казалось бы, на обломках этого самовластия написали бы имена — только снимай и снимай, а он снимает картину шесть лет. И попробуй сказать что-нибудь плохое... С другой стороны, если посмотреть внимательно, то, Боже мой, он всю жизнь жил в пятикомнатной большой квартире своего отца — известного писателя, популярный человек, и свинцовых мерзостей советской власти он не видел, кроме цензуры, но ее вообще все видели. За что же он так ненавидит это дело? И возникает вопрос: а хотел бы я, чтобы мои дети воспитывались только на таком фильме, [как „Хрусталеv...“]? Есть у него дети? Не знаю. <...> Я думаю, что просто надо заменять приговоры — вместо 15 лет каждый день смотришь „Хрусталеv, машину“ — каждый Божий день. <...>», — говорит **Никита Михалков** («Московские новости», 2002, № 22, 11 июня).

Ср.: «Он [Михалков] причисляет себя к консерваторам, но по сути остается романтиком, я же достаточно сухой человек и, в отличие от Никиты, идеализирующего романовскую Россию, совсем не люблю те времена. Ничего в них не было хорошего», — говорит режиссер **Андрей Кончаловский** («Итоги», 2002, № 20, май <<http://www.itogi.ru>>).

Андрей Плахов. Совсем скоро. Линч не жует пережеванное. — «Факел детям не игрушка». Журнал для тех, кому больше всех надо. 2002, № 2.

Говорит режиссер **Дэвид Линч**: «Если бы Феллини сделал свой фильм [«Восемь с половиной»] сегодня, он бы просто не имел коммерческого проката». См. также: <http://www.davidlynch.com>

Сергей Потолыцын (Сыктывкар). Об «Элементарных частицах» М. Уэльбека. — «Иностранная литература», 2002, № 5.

«По духу и темпераменту опус М. Уэльбека мне более всего напоминает „Крейцерову сонату“ Л. Н. Толстого, тем более что и вопросы, поднятые в двух произведениях, и способы их разрешения необычайно близки — с учетом, конечно, временных и культурных различий». См. также: **Михаил Золотоносов**, «Частицы литературы» — «Московские новости», 2001, № 38; **Интеллектуальный бестселлер или учебник сексопатологии?** (Александр Шаталов, Владимир Шаров, Николай Александров об «Элементарных частицах» Мишеля Уэльбека) — «Дружба народов», 2001, № 10 <<http://magazines.russ.ru/druzhiba>>; **Валерий Липневич**, «Невозможность любви» — «Новый мир», 2001, № 12.

Александр Проханов. Покрасим историю в красный цвет. — «Завтра», 2002, № 18.

«<...> „Красный смысл“ открыт не Марксом — он запечатлен в наскальных рунах, в Христовых притчах, в крике „ура!“ на устах советского пехотинца. Он содержится в спектральной вспышке „первичного взрыва“, с которого началось Вселенная. „Красный смысл“ — в преодолении вселенского зла и смерти, в сотворении другой истории, другого царства, другого любящего и верящего человечества. Оно, иное, соединится в любви и братстве для великого „Общего дела“, чтобы не было больше надгробных рыданий, не было „слезы ребенка“, убитого оленя, погасшей звезды. Чтобы Вселенная не провалилась в „черную дыру“ мироздания. И мы в первомайской колонне, исповедующие религию „красного смысла“, несем над собой огромную алую икону, где Ангел с пурпурными крыльями держит в тонких перстах весенний подснежник <...>».

Ср.: «<...> другого примера такого рода публицистики я в газетах не знаю: доказательства никаких, идеи отсутствуют, а только громоздятся метафора на метафору, образ на образ — сюрреалистические, слепоглазые пузыри земли. Больше всего это похоже на

пророчества юродивых: чистые „не працы бене кололацы” <...>, — так о прохановских передовицах пишет **Александр Гаврилов** («Книжное обозрение», 2002, № 17, 22 апреля).

См. также фантастическое интервью **Александра Проханова** журналу «Playboy» (2002, № 5, май):

«Антисемитизм — пикантная тема для людей культуры».

«Как правило, [на войне] я не убивал».

«Насколько ненавижу Лужкова, настолько я влюблен в новые конфигурации [Москвы]».

«Чтобы умертвить бабочку, ее не бьют молотком по голове. Бабочку умертвляют очень тонким, нежным эротическим нажатием на ее хитиновую оболочку в районе груди».

«Playboy» спрашивает, что писатель сажает на даче. Ответ: «Коноплю, мак...»

См. также интервью **Александра Проханова** газете «Деловой вторник», 2002, № 17, 28 мая (приложение к газете «Труд» от 28 мая): «В „Плейбое” <...> ничего страшного и возмутительного не заметил. Красивая обнаженная натура, прелестная женская грудь...»

31 мая с. г. в Санкт-Петербурге роман **Александра Проханова** «Господин Гексоген» получил премию «Национальный бестселлер». «<...> если говорить образами — мы ведь только ими и умеем говорить, — то в армии современной есть такая хреновина под названием „Змей Горыныч”. С помощью ее взрывают минные поля перед наступлением. Ее запускают, а она, как ракета, как «Формула-1», мчится с грохотом на противника, подрывая фугасы, мины, целые минные поля. И все это взлетает вверх. „Змей Горыныч” без потерь доходит до цели, оставляя взорванную землю, по которой уже можно пройти войскам. Вот это и произошло с „Гексогеном”, — комментирует **Александр Проханов** результаты «НацБеста» («Ex libris НГ», 2002, № 19, 6 июня).

«<...> прорыв из искусственно созданной властями, магнатами, репрессивными органами резервации для неслепотных русских национальных писателей. <...> дело в тотальном провале либеральной культуры», — ликует **Владимир Бондаренко** («Завтра», 2002, № 24, 11 июня).

«<...> почему это в ультралиберальном издательстве [«Ad marginem»], как нас иногда именуют (что, разумеется, не так), выходит Проханов? <...> Еще предьявляется эстетический упрек — отсутствие вкуса, плохой стиль. Хочется спросить господ филологов, философов: а какой вкус есть в „Песне о нибелунгах”? Там нет никакого вкуса. Или описание щита Ахилла в „Илиаде” Гомера. Прогон на десять страниц какой-то байды. Проханов — писатель, восстановивший некие архаические структуры, эпические. Здесь, конечно, понятие вкуса не работает. Все это для XVIII века. Парфюмерия, специи, вкусно — не вкусно. Для Гомера это не работает», — говорит издатель **Александр Иванов** («Завтра», 2002, № 22, 29 мая).

«<...> господин Проханов идет вопреки всем существующим правилам литературной игры, не просто отвергая, но яростно вытаптывая принятые критерии и „хорошего литературного вкуса”, и „политической корректности”. Впрочем, и то и другое сплошь и рядом оказываются синонимами общественного и художественного конформизма. Уже само по себе такое отрицание — дело благое и плодотворное, но высокого литературного качества, конечно, не гарантирует. Однако рискованное пари — ни более ни менее, как возродить большую литературную форму в современной России, сохранившуюся лишь в области бульварного чтения, написать роман, подводящий итоги русского XX века, — господин Проханов выигрывает, книга, которую легко (ошибочно) воспринять как злободневный политический памфлет, стала грандиозным апокалиптическим видением. <...> При этом галлюцинации визионера-автора (а книга написана в жанре галлюцинации и порой вызывает ассоциации с психоделической прозой Хантера Томпсона или Берроуза) настолько убедительны, что кажутся гораздо более достоверными, чем, к счастью, немногочисленные „реалистические” страницы, отведенные воспоминаниям главного героя о некогда прожитой им идиллии», — объясняет свой выбор один из членов жюри, сотрудник буржуазной газеты «Коммерсантъ», кинокритик **Михаил Трофименков** («Завтра», 2002, № 24, 11 июня).

«Это, простите за выражение, в профессиональном смысле — чушь собачья. Я не знаю, что такое „литературный истеблишмент” — нет такого эстетического понятия. Я не знаю, что такое „существующие правила литературной игры” — разве что штамп плохой околосредственной журналистики. Я не понимаю, что такое „хороший литературный вкус”, — я знаком с несколькими вариантами „теории стилей”, а „вкус” — это из области светского трепса о литературе...» — откликается на рассуждения Трофименкова **Александр Агеев** («Время МН», 2002, № 100, 15 июня).

«Казус с поэтом-лауреатом [Прохановым] просто высветил непримиримое различие между двумя пониманиями культуры. С одной стороны, есть обывательское (нем-зеро-агеевское тож) понимание, редкостным образом совпадающее с этимологическим смыслом слова культура, — от *colo, colui, cultum* — „возделывать, благоустроить”. Агрикола, он же земледelec, возделывая землю, засеивает ее добрыми злаками, а вредные злаки в меру своих сил не допускает до произрастания. Так он реализует различие меж-

ду природой и культурой. Культурный же человек потому и культурен, что овладел искусством хотя бы частичного покорения в себе скотских начал, то есть воздерживается от многих природных позывов. Культура — это система табу <...> Для богемы и ориентирующейся на нее публики культура есть процесс снятия запретов. Творчество как беспрестанное растабуирование, как последовательное, одно за другим отключение защитных механизмов. <...> Доколе богема более или менее надежно заперта в мансарде и «Бродячей собаке», экспериментаторский зуд носит замкнуто-локальный характер и до поры до времени общественно безопасен, принося вред лишь самим экспериментаторам. Но поскольку в мансарде скучно, да и кубатура недостаточна, рано или поздно происходит попытка прорыва вовне», — пишет **Максим Соколов** («Бессмысленная и беспощадная» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>).

«Равнодушие зажавшейся элиты, прежде всего интеллектуальной, но также финансовой. И — нарастающая агрессия голодных маргинальных слоев. Вот диагноз нашего сегодняшнего состояния. Те, кто состоялся в новой жизни, вписались в нее, вдруг, в одночасье успокоились, удовлетвоились сами собой и своим положением. И начали лениво перебирать пустые культурные знаки, как четки после сытного обеда», — констатирует **Александр Архангельский** («Известия», 2002, № 98, 8 июня).

«Дело знакомое: победе большевиков в России и нацистов в Германии спешествовали не только жадные до власти и харча люмпены, но и „утомленные культурой“, манерные умники. А также представители крупного капитала, самоуверенно полагающие, что всегда сумеют загнать джинна в бутылку. <...> байки о „сумерках литературы“, провоцирующие пустопорожные и выгодные только шпане „дискуссии“, небрежение реальными писательскими свершениями, завистливое восхищение масскультом, заискивание перед „продвинутой“ молодежью (премия „Дебют“ — истинная кузница поколенческого шовинизма), „благородная“ групповщина (днями огласят лауреатов Государственной премии по литературе — заранее стыдно), экстаз „рыночной идеологии“, якобы освобождающей от химер совести, порядочности, здравомыслия, вкуса (кем надо быть, чтобы не понимать: жадность, глупость, бездарность и подлость существовали до социализма или капитализма и переживут *любой* общественный уклад!), — все это *наши достижения*. Эта серо-буро-малиновая муть обречена была отлиться в „гексогенные“ тексты, погромные инсталляции (и чем, спрашивается, „художник“, испоганивший портрет Сахарова, лучше-хуже другого — того, что под сладкий лепет комментаторов курочил топором иконы?) и перформансы вроде того, что изувечил на Киевском шоссе Татьяну Сапунову — „архаичного“ человека, напомнившего нам, что такое нравственное чувство. И культура. Боюсь, урок не впрок», — пишет **Андрей Немзер** («Время новостей», 2002, № 97, 3 июня).

«Я верю, что Проханов мог бы остановить автомобиль, чтобы убрать нехорошую табличку. <...> А Проханов между тем писатель отличный. Животный (так! — *А. В.*), дикий, путаный, идеологически сомнительный, такой кусок раскаленной души, такой поток инкрустированного поноса, такая сила в клетке, бес в ребре, одуван на челе, Путин в радугу превращается — настоящий, короче, писатель», — считает **Вячеслав Курицын** («Курицын-weekly от 10 июня. Гексоген без ссылок» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/news>>).

«Споря с Прохановым (а не отрицая и не запрещая его), либерал укрепляется в собственных убеждениях. Нельзя спорить только с рыночником или постмодернистом: с ними возможен разговор о гонорах и литературных стратегиях, о новых электронных СМИ и о пиаровских технологиях, но спор по существу немыслим, ибо убеждений нет. Со всеми остальными — включая антисемитов, евразийцев и оголтелых врагов государственности — спорить можно и должно: в споре приобретаются друзья», — пишет **Дмитрий Быков** («Быков-quickly: взгляд-38» — «Русский Журнал» <www.russ.ru/ist_sovr>).

Большую подборку рецензий, бесед и текст романа см. на сайте: <http://www.geksogen.veshnyaki.ru>

См. также: **Мария Ремизова**, «Гексоген + пиар = осетрина» — «Новый мир», 2002, № 10.

Юрий Прохоров. Три списка 28 гвардейцев-панфиловцев. — «Простор», Алма-Ата, 2002, № 3 <<http://prostor.samal.kz>>

Герои и обстоятельства.

Пушкиниана-2001. Составил Олег Трунов. — «Книжное обозрение», 2002, № 23-24, 3 июня.

Библиография. См. также: **Пушкиниана[-1999]** — «Книжное обозрение», 2000, № 23, 24, 25, 26, 27; **Пушкиниана-2000**. — «Книжное обозрение», 2001, № 23-24, 4 июня.

Леонид Радзиховский. В ожидании Ле Пена. — «Время MN», 2002, № 83, 21 мая.

«Да, в наших условиях управляемая демократия не только неизбежна, она и хороша — разумная власть может поставить практически неодолимый барьер перед любыми

ми, в том числе правонационалистическими, экстремистами. Но <...> если та же самая власть сама развернется в сторону национал-популизма (демократия, „народ просит“) — вот тогда уж точно мало кому не покажется».

Кавад Раш. «Ни шагу назад, сибиряки!» — «Завтра», 2002, № 19, 6 мая.

«Русский штыковой удар — вершина боевой собранности национального духа, его высшее православное проявление, формула вдохновенной неустрашимости „за други своя“...»

«Перед Ельней навсегда перестала существовать РККА, созданная Троцким. Сталин, подписав указ № 308 о создании новой гвардии, похоронил творение своего удачливого и ненавистного соперника. Под Москвой родилась подлинная русская армия...»

«Ельня, как Фермопилы, как Марафон или Бородино, стала принадлежать тысячелетиям...»

А также: «Магда [Геббельс] послала сыну от первого брака Гаральду Квандту последнее письмо с Ханной Рейч. Письмо датировано 28 апреля 1945 года. <...> „Наша идея для меня — всё: всё прекрасное, доброе и благородное, что у меня было в жизни. Мир, который настанет после ухода фюрера и национал-социализма, не стоит того, чтобы в нем жить, поэтому, уходя из жизни, я возьму с собой детей. Им будет плохо в той жизни, которая настанет после нас; поэтому милостивый Бог простит меня за то, что я сама дам им избавление. Ты же должен жить, и я прошу тебя только об одном: никогда не забывай, что ты немец; никогда не совершай поступков, противных твоей чести, и не делай ничего такого, что бросило бы тень на нашу смерть <...>».

Григорий Ревзин. Иосиф и его братья. — «Коммерсантъ», 2002, № 96, 6 июня <<http://www.kommersant.ru>>

30 лет назад Бродский покинул СССР. Тоже дата.

Михаил Ремизов. Спрут. — «Русский Журнал» <www.russ.ru/politics>

«<...> единственная возможность соответствовать своей миссии заключается для государства не в том, чтобы возводить свое здание на песке абстрактно-правового принципа, а в том, чтобы обеспечить себе порядковое превосходство [над мафией] (и, кстати, решить „проблему коррупции“), открыто заимствовав черты мафии. То есть став *корпорацией* — с очень жесткими правилами внутренней (внутриаппаратной) мобилизации, с очень выраженной этикой коллективного господства, с очень широким диапазоном средств и с очень большими (национально-историческими) амбициями».

Михаил Ремизов. Ядерный суверенитет. — «Русский Журнал» <www.russ.ru/politics>

«<...> именно теперь, когда мир празднует очередное „окончание холодной войны“, хочется с особым ехидством заглянуть в лица миролюбивых. Понимают ли они, что уже не увидят войны такой безопасной, такой системной и такой щадящей по своему климату?»

Роман — целая жизнь. Вступительное слово Владимира Лаптуна. — «Литературная Россия», 2002, № 21, 24 мая.

Несколько документов из Центрального государственного архива Республики Мордовия (ЦГА РМ) — штрихи к портрету М. М. Бахтина-педагога, более пятнадцати лет читавшего лекции в Мордовском пединституте и университете.

Нина Салохина. Квадратные цветы. — «Патефон Сквер». Создатель и идеолог Кинес Кизиитов. Омск, 2002, № 3 <<http://www.Partyphone.narod.ru>>

Воспоминания учительницы тюремной колонии, где отбывал срок «великий сибирский поэт XX века» Аркадий Кутилов (1940 — 1985). См. также: **Геннадий Великосельский**, «Опознан, но невостребован» — «Арион», 2001, № 4 <<http://arion.ru>>

Ольга Славникова. Я — одинокий человек в литературе. Беседовал Олег Прокурин. — «Русский журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«„Дебют“ — это не просто очередной литературный конкурс; это, с одной стороны, огромная поисковая программа, с другой — *message*, который говорит молодым людям: литература существует, есть смысл писать художественные тексты, они где-то востребованы».

«В Москве мне безумно нравится. Москва действует на меня тонизирующим образом. Я вдруг почувствовала, что это действительно *мой* город. <...> В Москве я увидела иные ракурсы жизни. Вот это циркулирование интернациональной информации — я его буквально своими жабрами ловлю. Мне это все очень интересно. Я здесь себя чувствую как рыба в воде».

См. также в этом номере: Ольга Славникова, «К кому едет ревизор? Проза „поколения next“».

Виктор Суворов. Из жизни авантюриста Адольфа Гитлера. [Выборка из книги «Самоубийство»]. Предисловие Валерия Лебедева. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, № 271, 12 мая <<http://www.lebed.com>>

Интересная цитата: «В 1919 году он [Мартин Борман] воевал в Прибалтике против Красной Армии. И попал в плен, в спецлагерь в районе Осташкова. В то время лагерь-монастырь находился в подчинении Региструпра. Это учреждение, сменив несколько вывесок, в настоящее время известно под названием ГРУ. В начале 20-х годов главной задачей Региструпра и его начальника товарища Уншлихта была подготовка коммунистической революции в Германии. В Осташкове Региструпр держал пленных иностранцев. Там будущий заместитель Гитлера по партии мотал срок в 1920 и 1921 годах <...>». Полный текст книги **В. Суворова** «Самоубийство» можно прочитать по адресу: <http://militera.lib.ru/research/suvorov5/index.html>

Тайна беззакония. По книге иеродиакона Авеля (Семенова) и Александра Дроздова «Знамение пререкаемо». Вступительное слово Георгия Судовцева. — «Завтра», 2002, № 23, 4 июня.

<...> Мировое правительство — это современный политико-религиозный идол, за которым стоит диавол, и признание его действий, участие в создаваемой им глобальной компьютерной системе является актом поклонения этому мировому истукану, а с ним и сатане, и приобщает человека их злым делам».

Виктор Троицкий. «Бить по всем направлениям и там, где не били». — «Посев», 2002, № 4.

Подробная запись беседы Сталина с выпускниками и преподавателями Института Красной профессуры 9 декабря 1930 года. Сделана М. Б. Митиным. Хранится в Государственном архиве социально-политической истории. «Деборин и его ученики в области гносеологии — плехановцы. <...> Разворошить надо основательно также Бухарина. <...> Бить — главная проблема».

Валентина Федотова. «Другая Европа». — «Москва», 2002, № 5.
Россия — не Запад и не Восток, а *другая Европа*.

Сергей Федякин. 1946-й. — «Литература», 2002, № 18, 8 — 15 мая.

«Однако не Бек, не Воробьев, не Виктор Некрасов дали к 46-му главную прозу о войне. Только одинокая фигура Андрея Платонова сумела перемолоть и навсегда одухотворить общий пафос „высоких слов“...» См. здесь же: **Лазарь Лазарев**, «Верность правде. Творческий путь Виктора Некрасова» — «Литература», 2002, № 18.

Александр Фоменко. Жан-Мари Ле Пен: «Мы больше не являемся действительно свободной и независимой страной». Лидер Национального фронта убежден, что сегодняшняя система Франции — это «тоталитаризм с человеческим лицом». — «Независимая газета», 2002, № 108, 4 мая.

«Глобализация есть вполне конкретный феномен конкретной эпохи, а не некий итог развития человечества», — считает **Ле Пен**.

Ср.: «<...> глобализация означает не утверждение либеральной системы в общемировом масштабе (как предполагал Фукуяма), а повсеместное сворачивание демократических свобод и институтов», — пишет **Алексей Лапшин** («Оруэллу и не снилось...» — «Завтра», 2002, № 18).

Александр Ципко. Кошмар левизны. — «Россия». Ежедневная общенациональная газета. 2002, № 489, 27 мая <<http://www.rgz.ru>>

<...> проекты Евгения Киселева — типа пресловутой программы „За стеклом“ — представляют куда большую угрозу для духовного здоровья страны, чем все эти самостоятельные националистические движения молодых».

«Трагедия постсоветской, посткоммунистической России не в мнимой „правой“ угрозе, а в том, что у нас в отличие от Европы нет настоящих цивилизованных „правых“, нет носителей правых традиций, нет тех, кто мог бы противостоять либеральным аномалиям».

Священник Ярослав Шипов. Рассказы. — «Наш современник», 2002, № 5.
Из жизни.

Валерий Шубинский. Мессианский вирус. Фридрих Горенштейн, Россия и еврейство: попытка введения в тему. — «Народ Книги в мире книг». Издание Ассоциации еврейских библиотек. Санкт-Петербург, 2002, № 38, апрель.

<...> Но безумие Горенштейна было еще большим. Он желал быть *еврейским* Достоевским».

Глеб Шульпяков. Задание на лето. Роль великой русской литературы сегодня взял на себя перевод. — «Ex libris НГ», 2002, № 17, 23 мая.

«<...> роль русского романа, который, как мы понимаем, теперь окончательно провалился, выполняет в наши дни роман переводной — в исполнении Пола Теру, Орхана Памука, Истона Эллиса, Джозефа Кутзее, Иена Макьюэна, Джорджа Сондерса, Анджея Стасюка, Коупленда, Малькольма Бредбери, Чеслава Милоша, Джулиана Барнса, Фредерика Бегбедера, Мишеля Уэльбека, Питера Акройда, Хавьера Мариаса, далее со всеми остановками в издательствах, которые этими романами занимаются <...>».

Мирча Элиаде. Три эссе. Перевод с румынского и вступление Анастасии Старицкой. — «Иностранная литература», 2002, № 5.

«Апология мужества» (1928), «Воспитание духовной культуры: методы» (1935), «Одна подробность из „Парцифалья”» (1938).

Арина Яковлева. Евгений Евтушенко: сам себе назначил пятый пенальти. — «Новая газета», 2002, № 36, 23 мая.

Говорит **Евгений Евтушенко**: «<...> В конце концов, настоящая демократия — когда государство поддерживает искусство, но не контролирует его <...>».

Он же: «Судя по тому, что знаю, я не вижу [в литературе] никаких фигур национального масштаба» («Ex libris НГ», 2002, № 17, 23 мая).

«<...> И артистизма у поэта не убавилось. Напротив, необыкновенный дар мимики, умение играть лицом, голосом, интонацией, кажется, лишь усилились. Словом — мэтр, лицо эпохи. Великий имитатор совести...» — так **Николай Александров** описывает свои впечатления от вечера Евтушенко в Кремле («Газета», 2002, 31 мая <<http://www.gzt.ru>>).

«Даже критик, обозвавший Евгения Евтушенко „имитатором совести”, не смог не признать, что творческий вечер поэта в Кремлевском дворце, собравший около пяти тысяч человек, удался вполне», — пишет министр культуры **Михаил Швыдкой** («Московские новости», 2002, № 21).

Составитель **Андрей Василевский** <www.avas.da.ru>.

«Дружба народов», «Континент», «Октябрь», «Отечественные записки»

Андрей Астанин. Песни улетающих лун. Поэма снов. — «Континент», № 111 (2002, № 1).

Между прочим, перед нами — специальный «русско-израильский», или, как пишут в редакционном вступлении, «шире — „русско-еврейский” тематический номер» «Континента».

Дебютанту Андрею Астанину — 31 год. Эта публикация, на мой взгляд, — одно из вершинных открытий редакции. Изумительная многослойная, поэтическая проза, в которой мистически перемешаны бесчеловечные времена и человеческие судьбы. В переплетении двух главных линий — сказочной белорусской мистерии (заквашенной на языческом сюжете) и кровавых событий начала прошлого века — осмыслиется *возмездие* и *прощение*. Музыка языка этой прозы заслуживает отдельного серьезного разговора. Как и портреты героев многостраничной *поэмы*. Автор живет в Москве, по образованию — педагог.

Прочая проза *специального* номера ощутимо предсказуема. Извиняюсь, до ломоты в скалах. Кроме — зажигательной повести **Валерия Мухарьнова** «Трудное счастье Борьки Филькенштейна». Автор вообще-то драматург и кинорежиссер.

Константин Барановский, Игорь Яковенко. В зоне турбулентности. 11 сентября 2001 года: вежа и повод для раздумий? Беседу ведет Ирина Доронина. — «Дружба народов», 2002, № 5.

Редакционная врезка предупреждает: «Многое в размышлениях, которые мы предлагаем вашему вниманию, способно покоробить и напугать неискущенного читателя <...> никто не собирается выдавать сказанное ниже за истину в последней инстанции <...>» и т. д. Вот И. Я. говорит о двух русских вариантах: «Первый — мы стоим на месте, никуда не отступаем и тогда теряем идентичность. Второй — мы частично утрачиваем пространство, но сохраняем идентичность. Эта проблема перед русскими еще не стала в полный рост. Если Россия окажется частью Европы, а похоже, делается именно этот выбор, я вижу как неизбежность территориальную коррективную в исторической перспективе. И разумеется, в России будет происходить сущностное расхождение на ту часть об-

щества, ментальность которой не вписывается в современный мир, — эти люди будут бомжевать, опускаться, просто вымирать, — и ту часть общества, которая найдет свое место в яростном и страшном мире, который стал развиваться за минувшие десять — пятнадцать лет. Последние — люди, „вписанные” в мировой контекст: они знают языки, пользуются компьютерами, „сидят” в Интернете...». А К. Б. считает, что главное свершилось: свою зону турбулентности (это когда трясет. — П. К.) Россия прошла, а в общечеловеческую — после 11.09.02. — только вступила. «Вместе со всем миром».

Равиль Бухараев. Письма в другую комнату. Главы из книги. — «Дружба народов», 2002, № 6.

Хорошо сказал о Бухараеве в своем последнем обзоре Евгений Ермолин («Континент», № 111): «Чудесно встречается прошлое и настоящее, мир радуется автору переключками, созвучиями <...> Мистическое воодушевление настраивает автора на патетическую волну». Воистину так. Образно говоря, эта проза дышит «полной грудью».

Борис Василевский. Новый Цинциннат, или Много ли слону яблок надо. — «Дружба народов», 2002, № 5.

Лирическое, философское, социологическое, литературоведческое, экономическое, живописное, мемуарное, бесконечное — признание в любви своему земельному участку. Симфоническая ода огородника. В этой дачной беллетристике «учтено все».

Георгий Гачев. Космос, эрос и логос России. — «Отечественные записки», 2002, № 3 (4).

«Россия — как бутерброд (ох, немецкое слово-то выпирает, один шаг до *червоточения* Логоса. — П. К.): нижний ломоть — земля-страна, природа, поверху покров аппарата Державы, а посреди кусок мяса — Жизни, человечинки слой — Народ, кто вечный мальчик и отрок, недоросль — недоразвившийся стать Мужчиной самостоящим, а всего русского человека снизу и сверху прижимали-прикрывали и не допускали встать вертикально самоответственно за судьбу страны».

Бутерброд-сумасброд, не ходи из ворот, а не то пропадешь... и т. д. По Корнею Ивановичу, по Чуковскому.

Георгий Гачев. Россия и ее приемный сын (в связи с книгой А. И. Солженицына «Двести лет вместе (1795 — 1995)», часть 1. М., «Русский путь», 2001). — «Континент», № 111 (2002, № 1).

«А сюжет: Россия и Еврейство — самокормный: создает интеллектуальное, проблемное силевое поле с огромной разностью потенциалов — вглядываааться (sic! ну на чьем еще *поле* встретишь такое. — П. К.) друг в друга из столь полярных полюсов. Отсюда же — и „влечение — род недуга” меж русскими и евреями, Эрос-Ярость, та „любовь к ненавидимому”, о чем Жаботинский. А та влюбленность художников из евреев в русскую природу — Левитан, Пастернак! Последний так бы и впился в белоснежное тело России, русской женщины!.. Тут страсть минус-Космоса ко Сверх-Космосу».

На той же странице архипрелюбопытный пассаж — с обрамлениями — об антисемитизме, который «насколько мучителен для еврея как человека — настолько полезен для еврейства как народа»...

Редакция «Континента», само собой, «накапала» страничку успокоительного предисловия. К шести гачевским.

Андрей Геласимов. Жажда. — «Октябрь», 2002, № 5.

По (моему) сравнению с прошлогодним, дебютным, чуть-чуть сэлинджеровским «Дневником подростка», влюбленного в Одри Хэпберн («Октябрь», 2001, № 12), — новая вещь, как ни странно, *не релитературена*. Впрочем, не знаю.

Геополитика. — «Отечественные записки», 2002, № 3 (4).

Отлично составленная *справка*: «отцы основатели», национальные школы и прочее. Кстати, в этом же номере «Записок» есть аналогичная справка по «Исследованиям национального характера и картины мира».

Владимир Губайловский. Автостоп. Поэма. — «Дружба народов», 2002, № 6.

В какой-то день и час какой-то,
наездившись до столбняка,
умоюсь прямо из брандспойта
у колеса грузовика.
И что-то выявится четче,
и станет ясен тот рубеж,
где за повтором «Авва отче»
кликнул звательный падеж.

Лев Гудков. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам. — «Отечественные записки», 2002, № 3 (4).

О судьбе «мультикультурализма» в России, «который не стал таким же поколенческим знаменем, как, например, постмодернизм». «И обязан он этому своей недостаточной пустоте». На ту же тему см. в номере статью **Владимира Малахова** «Осуществим ли в России русский проект?».

Десять разговоров с раввином. Адин Штейнзальц отвечает на вопросы Михаила Горелика. — «Континент», № 111 (2002, № 1).

Интервью руководителя Института талмудических публикаций. Беседа поделена на десять глав. Названия некоторых: «Чем Каин убил Авеля?», «Тигры на свадьбе», «Осел и контрабандист», «В фантомном мире», «Пес и кот», «Летающие тарелки».

«— Бердяев мечтал о том, чтобы встретиться со своим котом после смерти.

— Вопрос в том, мечтал ли об этом его кот. Я в этом сильно сомневаюсь. Вот если бы у Бердяева была собака, она бы наверняка мечтала о встрече...» И т. д. Аплудисменты Горелику, создавшему совершенно особую *партикуру* в рамках жанра. Посмотрите и на самого (варианты ударения различны) чудесного раввина (из предисловия: «На любой предмет Адин Штейнзальц смотрит глазами человека еврейской традиции, более того, глазами человека, ставшего сегодня одним из ее символов»), его фотография — на обложке журнала.

Анна Зализняк, Ирина Левонтина, Алексей Шмелев. Ключевые идеи русской языковой картины мира. — «Отечественные записки», 2002, № 3 (4).

«Еще одной важной составляющей русской языковой картины мира является представление о непредсказуемости мира: человек не может ни предвидеть будущее, ни повлиять на него. В русском языке есть огромное количество языковых средств, призванных описывать жизнь человека как какой-то таинственный (природный) процесс. В результате создается такое представление, что человек не сам действует, а с ним нечто происходит. А мы только оглядываемся вокруг и разводим руками: *так сложилось (вышло, получилось, случилось)*. Мы досадуем: *вот угораздило!* — или радуемся: *повезло*. А поправ в затруднительное положение, надеемся, что как-нибудь *образуется*».

Елена Иваницкая. После дебюта. — «Дружба народов», 2002, № 6.

Год спустя после разбора произведений дебютантов-прозаиков проверяется, «оправдываются ли читательски-критические надежды». В целом сочинения Дмитрия Рагозина, Максима Павлова и Елены Долгопят — «выдержали». Наибольшую читательскую радость Елене Иваницкой — и тогда и сейчас — принесла проза Долгопят. Мне тоже.

Михаил Копелиович. Ближневосточный гордиев узел. — «Континент», № 111 (2002, № 1).

С 1990 года автор живет в Израиле. Много печатается и там и здесь.

Огнедышащий (и очень доказательный) — многостраничный — текст о том, как народ Израиля, коротко говоря, сам позорно *позволил* произойти всему тому, что произошло и происходит. «Эгоизм, о котором после очередного теракта, унесшего очередные человеческие жизни (вот, только что передали по радио, 18.06.02, 9 утра: взорван автобус, 19 погибших, 50 раненых. — *П. К.*), мы заглушали естественный в этих обстоятельствах страх кто чем сумеет: упованием на мудрость правителей, знающих, как лучше; шапкозакидательской жвачкой („мы всех сильнее“); глубокомысленными рассуждениями о длительности и глубине еврейско-арабского конфликта, который не может разрешиться в одну минуту и без жертв; традиционным миролюбием евреев, которое рано или поздно расположит к нам наших врагов. И получалось (кто признавался себе в этом, кто — нет), что жертвы как бы не должны приниматься в расчет, или „мертвый, в гробе мирно спи — жизни радуйся, живущий“». Такая вот философия с подлянкой!»

Много цифр, цитат из договорных и прочих документов, интересные (и беспощадные!) экскурсы в историю Израиля и стран Европы. Есть и авторское послесловие, ибо текст был написан до 11 сентября прошлого года.

Владимир Корнилов. Что ответу в смертный час? Публикация Л. Г. Беспаловой. — «Дружба народов», 2002, № 6.

«Это ты меня спасла / И от смерти и от жизни, / Полной мелкой укоризны, / Не доверия и зла...»

Все публикуемые стихи были написаны в 2001 году.

Юлий Крелин. Прогулки по земле обетованной. (Фрагменты путевых заметок). — «Континент», № 111 (2002, № 1).

Повествование известного писателя (и — врача-хирурга) о поездках к сыну-эмигранту. Посещение товарища-медика, ныне живущего в киббуце, стоит целой повести.

Есть такое: «Народ, додумавшийся до вершин абстракции, до идеи Бога-мысли, до „не создай себе кумира“; народ, отвергнувший все формы идолопоклонства, — этот народ все же создал себе подобие кумира в виде строгих ритуалов, неколебимых догм и дурацкой формы одежды, не соответствующей ни времени, ни месту сегодняшнего обитания евреев. Внешняя, нарочитая, не врожденная одинаковость — в конце концов, тот же кумир». И еще о форме, четыре страницы спустя: «Бывает, девушки (в израильской армии. — П. К.) не могут привыкнуть к форме. Обижаются, когда им не разрешают носить длинные сережки. Но тогда психолог в благожелательной беседе выясняет причину несовместимости. И все улаживается».

Борис Крячко. Рассказы. — «Дружба народов», 2002, № 5.

Это вторая (в России) публикация из литературного наследия замечательного прозаика, много лет жившего в Эстонии. *Слышимая* проза, доверительная. См. в «Новом мире» (2000, № 11) рецензию **Евгения Ермолина** на «Избранную прозу» Бориса Юлиановича Крячко.

Валентин Курбатов. Одна счастливая весна. — «Дружба народов», 2002, № 6.

Воспоминание (1983 год) об общении с Валентином Берестовым и его женой, художницей Татьяной Александровой. Письма. Сценки. Сюжеты.

«Поразительную зачеркнутую строку нашел в „Онегине“, — пишет Курбатову Валентин Дмитриевич. — *Все ставки жизни проиграл.* Это и есть суть. Пушкин снял эту строку, чтобы „Онегин“ понимался многозначно...»

В сторону: Берестов чувствовал Пушкина (особенно Пушкина-ребенка) как никто. На память приходит лишь тыняновское чувство. Помню, как он показывал мне *голос Пушкина*; Берестову казалось, что он его *слышал*.

Виталий Куренной. Русский экшн: структурно-социальный анализ. — «Отечественные записки», 2002, № 3 (4).

Разбирается явление *русского боевика*, точнее, балабановского «Брата-2». Поразительны результаты сравнения этого фильма с голливудскими произведениями и своим «молочным собратом».

Ольга Лебедушкина. Часть пространства, которая занята Богом... — «Дружба народов», 2002, № 5.

...Осмысленная и воспета Светланой Кековой, Геннадием Русаковым и Виктором Кривулиным. «Их объединяют в первую очередь две вещи. Во-первых, это бесконечно резонирующее слово, связанное бесчисленными нитями явных и скрытых цитат с самыми разными поэтическими эпохами и стилями. <...> Во-вторых, одна из главных тем во всех трех случаях — страдание. Не абстрактная философская категория, а некое неизбежное и мучительное условие существования...». Кстати, о «резонирующем», «чужом» слове тонко замечено, что оно — «не иронически дистанцировано». У Кековой — особенно.

Тигран Лерсарян. Бескрайняя равнина конца времен. — «Отечественные записки», 2002, № 3 (4).

«Русский всегда „защищается“, даже и тогда, когда кажется, что он нападает. Но русский Хартленд (по крупнейшему геополитику Х. Маккиндеру, *Хартленд* — это сердце Земли, „географическая ось истории“, располагающаяся на Русской равнине. — П. К.) — это еще и постоянная угроза миру. Там, в уральских горах, заперты до Конца Времен апокалиптические народы-разрушители, приход которых и будет означать Армагеддон».

Инна Лиснянская. Тихие дни и тихие вечера. Стихи. — «Дружба народов», 2002, № 5.

Стихотворения, написанные в 2001 году. «Но если о смерти? — я с нею накоротке...» — самая точная, на мой взгляд, иллюстрация к известному высказыванию о поэзии Лиснянской — Иосифа Бродского. «Единственное эхо, которое я отчетливо различаю в стихах Лиснянской, — эхо ахматовское, и слава Богу. Она совершенно замечательный лирик, особенно в коротких стихах, — это стихи чрезвычайной интенсивности. Из всех русских поэтов, которых я знаю на сегодняшний день, Лиснянская, может быть, точнее, чем кто иной, пишет о смерти, — это действительно самое прямое отношение с „предметом“, о котором она говорит. А это ведь одна из самых главных тем в литературе...» («Русская мысль», 1983, 3 февраля).

Светлана Лурье. В поисках русского национального характера. — «Отечественные записки», 2002, № 3 (4).

«Русский „образ себя“ (мы-образ) <...> всегда очень связан с образом себя как *носителей добра*. «В борьбе внутриэтнических альтернатив *спонтанное самоструктуриро-*

вание этноса продолжается. Скорее рано, чем поздно должно выкристаллизоваться новое, приемлемое для нынешнего русского общества понимание русской „миссии“, и она, разумеется, будет невыполнима. Других миссий у народов и не бывает».

Татьяна Малкина. Черный квадрат: каждый рисует свое. — «Отечественные записки», 2002, № 3 (4).

Редакционная вступительная статья к очередному, «геополитическому», номеру «ОЗ», больше похожему на тематический сборник или альманах. «На сегодня идеальным интерфейсом Черного квадрата (сиречь национальной идеи, больше всего похожей на картину Малевича. — П. К.) в России является Владимир Путин. На тревожный интеллигентский вопрос, не готовят ли власти идеологическую диверсию в виде спущенной сверху национальной идеи, Путин, снисходительно улыбаясь, поясняет, что национальная идеология не спускается сверху, а рождается в недрах нации. На вопрос, каким должно быть будущее России, Путин отвечает лапидарным „Достойная жизнь“. Если разом представить себе все возможное многообразие толкований слова „достойная“ (от путинского до масхадовского), голова пойдет кругом. Так что думать об этом полезно постепенно и все время».

Вот спасибо. «Разом» — ни за что не буду, ни-ни. Начну постепенно. Но как милы эти штришки: *снисходительно, лапидарный...*

Кстати, настоящий номер «Записок» блестяще отрецензирован Р. М. Фрумкиной в сетевом «Русском журнале» 6 мая с. г. В целом данный геополитический проект сочувствующая «ОЗ» Фрумкина оценила как неудачный — заметив, в частности, что в противоположность одним авторам, «изложившим позиции, то есть то, что можно принимать, отвергать или оспаривать, а также несколькими социологам, комментирующим эмпирические материалы ФОМа (Фонда „Общественное мнение“. — П. К.), многие уважаемые авторы предложили читателям тексты с непонятным статусом. В них есть тема, но, выражаясь филологически, нет *ремы...*». Согласно «Лингвистическому энциклопедическому словарю», *рема* — это «компонент актуального членения предложения, то, что утверждается или спрашивается об исходном пункте сообщения — теме и создает предикативность, законченное выражение мысли».

Евгений Назаров. Один день одной судьбы. — «Дружба народов», 2002, № 6.

Вместе с аттестованными выше «Песнями улетающих лун» Андрея Астанина это — самое яркое мое чтение в текущем месяце. Доброжелательное, спокойное, лиричное, неторопливое повествование о своем действительно *одном дне*. Абсолютно сюжетное. Событий — немного, больше размышлений и воспоминаний. Торопиться автору некуда: он болен рассеянным склерозом. Он любит и любим (жена, дочь). Он сумел все принять, и оторваться от этой в общем-то вполне бесхитростной прозы, пока не дочитаешь, невозможно. Евгений Назаров никого ни о чем не просит, в отношении к себе — печально-ироничен, он даже успевает «поделиться опытом», ибо его лечение вначале было неправильным. Однако рассказу о говорящем попугайчике, который скрашивает ему часы одиночества, уделено тоже немало. Короче говоря, я считаю, что это совсем небольшое произведение, напечатанное в журнальном разделе «Публицистика», должно оказаться номинированным на одну из наших литературных премий. Назарову, кстати, деньги очень не помешают: главная кормилица-то в доме — жена. А он — «лежачий». Название его повествованию, думаю, дали в редакции.

Людмила Петрушевская. Из летних записей. «Карамзиндеревенский дневник». Стихи. — «Октябрь», 2002, № 5.

Эти замечательные верлибры — как *левая аминокислота* по отношению к *больничной поэме* Эльмиры Котляр. Их, для меня, держит вместе общий сострадательно-болевого стержень. *Натуралистическое* напряжение решительно разводит по полюсам. Кстати, в «Новом мире» (1994, № 9) первая публикация из этого петрушевского цикла называлась «Карамзин. Деревенский дневник». Не хочется думать, что в «Октябре» — печатка.

Александр Ревич. На ветрах эпохи. Цикл поэм. — «Дружба народов», 2002, № 5.

В двух первых (из трех) маленьких поэмах ушедшая жизнь предстает увиденной глазами четырех- и пятилетнего мальчика — и заново проживается спустя многие десятилетия («Я снова мальчик, снова трушу, / хотя все знаю наперед...»). Очень печально, очень хорошо.

Роман Сенчин. Рассказы. — «Дружба народов», 2002, № 5.

Всего два: «Приближаются сумерки» и «Иджим». Оба о необъяснимой сладости искушения, которое я назвал бы «проживанием за чертой». Человек, скорее всего, и не перешагнет барьера, но *не прожить* — хотя бы в воображении — это страшное, магнитно-недостижимое мгновение — невозможно. С головой в омут, чтоб дух захватывало.

Константин Фрумкин. Традиционалисты: портрет на фоне текстов. — «Дружба народов», 2002, № 6.

Идеологи, идеи, идеомы. Автор, что называется, глубоко в теме. Читать это все, честно говоря, как-то неуютно.

Борис Хазанов. Творческий путь Геббельса. — «Октябрь», 2002, № 5.

Интересная научная работа с привлечением массы документов. Серьезная.

Предлагаю *названия* возможным будущим очеркам Хазанова, если когда-нибудь и остальные фигуры вождей рейха станут героями его исторической публицистики. Ну, например: «Жизнь и судьба Адольфа Гитлера», «Живой Герман Геринг», «Слово о Бормане».

Я же не вырываю из контекста. А мог бы: «Литература была предметом особого пощения Геббельса — в конце концов, он сам был писателем». Между тем в тексте нет ни эпатажа, ни постмодернизма. Ничего такого.

Леонид Юзефович. Гроза 1987 г. — «Дружба народов», 2002, № 6.

«Она думала о том, что до весны, может быть, не доживет, и тогда, значит, эта гроза — последняя в ее жизни, но страха смерти не было. Душа, невесомая от сознания исполненного долга, рвалась к небесам, туда, где рвались и сверкали электрические разряды. Когда она умрет, дочь наденет ей на палец проволочное медное колечко, а конец проволоки выведет из гроба наружу. Так советовала сделать соседка, чтобы душе легче было покинуть тело. По проволоке она стечет в землю и уйдет в небеса. Чем честнее живешь, тем больше в душе электричества, а оно везде одинаково, на земле, в земле и на небе. Так чего ее бояться, смерти-то?»

Составитель Павел Крючков.



АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



ДАТЫ: 30 августа (11 сентября) исполняется 120 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова (1882 — 1938).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Сентябрь

10 лет назад — в № 9, 11 за 1992 год напечатаны фрагменты книги Дмитрия Галковского «Бесконечный тупик».

15 лет назад — в № 9 за 1987 год напечатан «Капитан Дикштейн» Михаила Кураева.

35 лет назад — в № 9 за 1967 год напечатаны рассказы Василия Шукшина «В профиль и анфас», «Думы», «Как помирал старик», «Раскас», «Чудик».

45 лет назад — в № 9 за 1957 год напечатано выступление Н. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа», а в № 9, 10 — «Владимирские проселки» Вл. Солоухина.

SUMMARY



This issue offers a novel by Irina Polyanskaya «The Events Horizon», «One's Own Truth» — a tale by Viktoriya Tokareva, and two short stories by Nina Gorlanova. Vladimir Zakharov, Veronika Kapustina, Yefim Bershin and Aleksey Purin present their new poems.

The sectional offerings of this issue are as follows:

Close and Distant contains epistolary materials from the archives of the famous representatives of Russian literature and Russian post-revolutionary emigration: the letters by the writer Ivan Shmelev to the writer Nikolay Roshchin (1925) and some fragments from the correspondence of Vladimir Veidle (an art and literary critic) and Gleb Strouve (1976)

Philisophy-History-Politics presents: Aleksander Neklessa's article «History Transmutation — The 11th of September 2001: the Historical Outlook and the Retrospective».

Time and Morals section contains the article by Tatyana Cherednichenko «The Cops».

Literary critique section publishes an article by Olga Slavnikova «Whom is the Inspector to Visit» highlighting the results and the experience of the «Debut» literary prize awarded to young people — beginners in literature.

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,
А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким,
А. С. Кушнер, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий,
П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замяткина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.04.2002 г. Подписано к печати 31.07.2002 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9 450 экз. Зак. 2318. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ,
101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, рукописи и сетевые публикации не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию» до 1 декабря 2002 года.

Состав жюри:

**ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ, поэт,
литературный критик, интернет-обозреватель;**

**ВИКТОР КУЛЛЭ, поэт, главный редактор
журнала «Старое литературное обозрение»;**

**АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,
президент Благотворительного Резервного фонда;**

**ОЛЬГА НОВИКОВА, председатель жюри,
прозаик, зам. зав. отделом прозы «Нового мира»;**

**МАРИЯ РЕМИЗОВА, литературный критик,
сотрудник журнала «Континент»;**

АНТОН УТКИН, прозаик.

Координаторы премии:

**главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ;**

**генеральный директор Благотворительного Резервного фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.**

Сумма премии — 3000 \$.

**Объявление лауреата и торжественное вручение премии
состоится в начале 2003 года.**

Контактные телефоны: (095) 209-57-02, 200-54-96.

E-mail: newworld@newtimes.ru